This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4345.8.2

THE SLAVIC COLLECTION

Harvard College Library

GIFT OF

W. A. Gardner

May 17, 1897

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

РУССКИХЪ АВТОРОВЪ.

СОЧИНЕНІЯ

НЕСТОРА КУКОЛЬНИКА.

Повѣсти и Разсказы.

III

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Печатано въ типографіи И. Фишона.
1852.

Slav. 4345.8.2

HARVARD COLLEGE
LIBRARY.
Gift of
W. A. Gardner.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С.-Петербургъ 14-го Апрѣля 1852 года.

Цензоръ *Ал. Крыловъ*.

Цензоръ *А. Фрейганъ*.

Егоръ Ивановичъ

СИЛЬВАНОВСКІЙ.

или

ЗАВОЕВАНІЕ ФИНЛЯНДІИ ПРИ ПЕТРѢ ВЕЛИКОМЪ.

—

I.

Все заимствовано человѣкомъ у природы. И узоры ситцевъ взяты съ финляндскихъ шхеръ, съ этихъ безчисленныхъ острововъ, которыми обсыпано Великое Княжество вдоль живописныхъ береговъ своихъ. Но архипелагъ противъ Або по истинѣ натуральный ситецъ, одни имена острововъ составили немалый томъ, а сколько еще безъимянныхъ! На одномъ изъ этихъ острововъ, по имени Римито, стоялъ старинный за́мокъ, огражденный моремъ и гранитомъ отъ всякаго человѣческаго покушенія. Не смотря на воинственный видъ свой, за́мокъ походилъ болѣе на островъ Цитеры, потому что прелестная баронесса, во временномъ вдовствѣ своемъ, не хотѣла скучать, и въ отсутствіи мужа любила убивать скучное время въ мужской бесѣдѣ; мужъ былъ далече съ непобѣдимымъ королемъ Шведовъ, съ сѣвернымъ Александ-

ромъ; громилъ Датчанъ, Поляковъ и насъ, безъ прервы, и утѣшалъ супругу нѣжными письмами, которыя могли служить лучшими матеріалами для его біографіи: съ величайшею подробностью онъ описывалъ сраженія, число убитыхъ и плѣнныхъ; сколько удалось извести народа ему самому; сколько другу его, также барону и сосѣду, у котораго былъ замокъ, жена и дѣти на другомъ островѣ, имени котораго я не открылъ. Баронесса Отилія читала эти нѣжныя письма больше по обязанности, и отвѣчала на нихъ оффиціальнымъ образомъ, а именно:

«Любезный баронъ! Письмо ваше отъ такого-то числа я получила. Успѣхи оружія королевскаго приводятъ всю Финляндію въ восторгъ. Мы, то и дѣло, празднуемъ ваши побѣды. Желая вамъ и лавровъ и благополучнаго возвращенія, долгомъ почитаю донести, что наша единородная Августа счастливо перенесла оспу, не оставившую ни малѣйшаго слѣда, и теперь весьма оправляется. Старый Робертъ просилъ у меня позволенія, на отмели противъ замка поставить настоящій маякъ, потому что суда нерѣдко тутъ терпятъ поврежденія, а противъ бесѣдки, въ большомъ саду, устроить ванны, потому что Абоскіе ученые нашли, что въ этомъ мѣстѣ лучше купаться, нежели во всѣхъ здѣшнихъ шхерахъ. Не зная вашей на этотъ счетъ воли, я не осмѣлилась разрѣшить Роберта, но не могу скрыть, что отъ этого мы могли бы много выиграть, потому что уже и теперь Абоскіе гости нанимаютъ у поселянъ лачужки и купаются въ томъ мѣстѣ. Такъ какъ весна въ началѣ, то, съ вашего позволенія, все могло бы быть окончено къ половинѣ іюля, къ самому лучшему времени для морскихъ купаній. Больше писать нечего.

«Ваша вѣрная Отилія.»

Какъ это письмо, такъ и всѣ другія, какія вамъ читать случится, требуютъ комментарія. Не мѣстныя выгоды купалень, а красота и любезность Отиліи были причиною, что островъ Римито вдругъ превратился въ цѣлебный. Абоскіе профессора, какъ и всѣ доктора на свѣтѣ, потворствовали склонностямъ паціентовъ и, дѣйствительно, дали факультетскую аттестацію Римито. Замѣчательно, что больные купальники бо́льшею частію были холостые люди, и страдали неисцѣлимою болѣзнью: страстною, пламенною любовью къ баронессѣ. Одинъ изъ Абоскихъ профессоровъ и самъ захворалъ тѣмъ же недугомъ и, не смотря на лѣта, усердно прохлаждалъ пылающее тѣло—цитерскими волнами. Черный любовникъ выдумалъ еще предлогъ для своего сближенія съ обитательницею за́мка. Онъ усердно занимался воспитаніемъ семилѣтней Августы и училъ ее латинскому языку, вѣроятно для того, чтобы она могла переводить маменькѣ тѣ стихи, которыя профессоръ сочинялъ въ честь Отиліи. Семилѣтняя Августа ничего не теряла отъ этихъ уроковъ; профессоръ, кромѣ латинскаго языка, былъ свѣдущъ во многихъ наукахъ; бесѣды его полюбила любознательная дѣвочка; профессоръ умѣлъ понравиться питомицѣ, очень хорошо понимая, что мать всегда любитъ тѣхъ, которые любятъ ея дѣтей. Отилія, съ своей стороны, при всей проницательности зрѣлой кокетки, никакъ не могла догадаться, что́ руководило профессорскимъ сердцемъ, съ признательностью принимала его услуги, обращалась съ нимъ ласко-

во, даже дружески. Профессоръ сталъ домашнимъ, вскорѣ и необходимымъ человѣкомъ. Въ семейномъ совѣтѣ онъ имѣлъ почетное мѣсто и нерѣдко кастелянъ Робертъ долженъ былъ уступать его умствованіямъ. Такъ случилось и на послѣднемъ совѣщаніи, которое было причиною настоящаго разсказа. Кастелянъ Робертъ возставалъ, всѣми силами своего ума и краснорѣчія, противъ проекта Абоской молодежи.

— «Баронесса,» говорилъ старикъ: «я и такъ не знаю, что́ буду отвѣчать барону по многимъ статьямъ нашего поведенія. Во-первыхъ, безпрерывные праздники, гулянья, охота, иллюминаціи — все это истощаетъ казну за́мка, а доходы теперь плохіе. Съ эстляндскихъ нашихъ помѣстій мы не получаемъ ничего; подъ предлогомъ войны, арендаторы не платятъ. Во-вторыхъ...»

— «Да я не вижу,» перебила Отилія: «отчего поѣздка въ Або можетъ принести ущербъ твоей казнѣ; компаніоны и не позволятъ мнѣ сдѣлать какіе либо расходы. Мы пробудемъ тамъ съ недѣлю. Для за́мка — это истинная экономія...»

— «Такъ, но баронъ именно изволилъ наказывать, чтобы ваша милость никуда не уѣзжали съ острова...»

— «Такіе наказы,» перервалъ профессоръ: «могутъ давать только варвары. Просвѣщенные люди могутъ имъ и не повиноваться. Война продолжится десять, пятнадцать лѣтъ; и лучшую пору жизни, когда во цвѣтѣ всѣ прелести, когда возрастъ требуетъ всѣхъ невинныхъ утѣхъ, а образованіе из-

браннаго общества — баронесса должна заживо сидѣть въ этомъ каменномъ гробѣ и утѣшаться успѣхами шведскаго оружія. Побѣдамъ этимъ конца не будетъ, потому что Карлъ молодъ, и остановится, какъ Александръ Македонскій, тамъ, гдѣ можетъ быть теперь и самое имя его еще неизвѣстно. А баронесса тутъ сиди и читай реляціи. Нѣтъ! Это безчеловѣчно, противуестественно. Баронъ и самъ не далъ бы такого приказанія, еслибъ зналъ Карла! Никто изъ насъ не ожидалъ, что изъ этого юноши выйдетъ первый завоеватель міра! Пустяки! Тутъ и спорить нечего о томъ, можно ли ѣхать или нельзя. Мы должны разсудить только, какъ снарядиться въ путь, кого и что взять, какъ перевезти гардеробъ баронессы Такъ сказать, хозяйственныя мѣры должны быть обсужены — и я подаю голосъ взять съ собою и Августу, чтобы ученье ея не прерывалось, тѣмъ болѣе, что она уже съ большимъ успѣхомъ проходитъ вторую коньюгацію правильныхъ глаголовъ...»

— «Само собою разумѣется. Я безъ Августы не поѣду. Я пропаду съ тоски.»

И совѣтъ не слушалъ уже ни въ чемъ стариннаго своего совѣтника. Тщетно Робертъ пугалъ бурями, подводными камнями, неудобствами плаванія на лодкахъ въ такое время, когда природа любитъ играть съ моремъ. За шумнымъ обѣдомъ баронесса изрекла слово согласія. Молодежь въ восторгѣ принялась приготовлять увеселительную поѣздку и утреннее солнце слѣдующаго дня освѣтило флотилію парусныхъ или, такъ называемыхъ, островскихъ

лодокъ, украшенныхъ флагами, устланныхъ коврами. Профессоръ снаряжалъ лодку, на которой должна была ѣхать баронесса. Мачта оканчивалась золотымъ голубемъ, который держалъ флагъ съ надписью: Victoria ad victos descendit. Парусъ былъ окрашенъ зеленою краскою (цвѣтъ надежды); на носу сидѣлъ лебедь съ распущенными крыльями, а на кормѣ самъ профессоръ, неизвѣстно по какому поводу въ шлемѣ и латахъ, которыя онъ, не безъ труда, выпросилъ у Роберта изъ оружейной замка. Прибытіе баронессы съ дочерью на пристань возвѣщено было пушечными выстрѣлами. На многихъ лодкахъ раздалась музыка; вѣтеръ не благопріятствовалъ плаванію и потому съ мѣста пошли на веслахъ. На лодкѣ баронессы, кромѣ хозяйки съ дочерью, профессора на рулѣ и двухъ старыхъ, но богатыхъ селадоновъ, ни кого не было. Молодежь хотѣла показать свою удаль на собственныхъ суденышкахъ, и потому плаваніе сначала не обѣщало большаго удовольствія. Но, пока, сердце Отиліи еще никому не принадлежало положительно, даже мужу. Она легко понимала, что если отдастъ преимущество одному, то потеряетъ всѣхъ. Баронесса была добродѣтельна по разсчету, и если можетъ быть ей и нравился кто-либо болѣе другихъ, то счастливецъ наименѣе могъ замѣтить свое счастіе. Баронесса умѣла заглушать душевныя движенія и давать имъ направленіе ad libitum.

— «И море взволновалось, увидавъ невиданную богиню красоты на своемъ лонѣ,» сказалъ одинъ изъ селадоновъ...

— «Я привыкла съ дѣтства не бояться моря. Для Финновъ оно больше отчизна, чѣмъ гранитныя наши скалы. Мы будто родились въ морѣ.»

— «А вы плаваете...»

— «Не только я, Августа проплыветъ, я думаю, до берега.»

— «Дальше, маменька...»

— «Вотъ видите. Я не испытала, но мнѣ кажется, что буря одушевила бы меня необыкновенною силою и не одолѣла бы въ волнахъ. Я доплыла бы до берега.»

— «Волны бы донесли васъ, баронесса, а люди бы имъ завидовали.»

— «Мнѣ одного жаль, что мы идемъ на веслахъ.»

— «Поставьте парусъ!» сказалъ профессоръ, но лоцманъ, который про-случай помѣстился возлѣ профессора, сказалъ:

— «Не совѣтую! Погода ненадежна, на веслахъ мы доберемся до Або. Долго, но за то безопасно. Вѣтеръ меня не радуетъ.»

И всѣ смолкли. Какая-то грусть разлилась по всѣмъ лицамъ; вѣтеръ крѣпчалъ; погода видимо измѣнялась; на полпути страшная загадка разрѣшилась сильнымъ штормомъ: и флагъ и голубь давно уже улетѣли съ мачты; нѣсколько разъ попадали на мель; но больше счастіемъ, чѣмъ искусствомъ лоцмана, удавалось спасать и лодку и пловцевъ; не только спутниковъ, но уже ничего нельзя было видѣть въ густой ткани проливнаго дождя; волны вставали огромными горами, вынося на

своемъ темени пловцевъ, которые забыли о своей храбрости и, прижимаясь другъ къ другу, съ ужасомъ безмолвно глядѣли, въ какую пропасть бросить ихъ буря, какою волною велитъ море стереть ихъ съ лица земли. Одинъ только профессоръ не молчалъ. По-шведски, по-фински, по-латынѣ призывалъ на помощь боговъ Рима. Блеснулъ и лучь утѣшенія: сквозь сѣть дождя, въ жемчужной пѣнѣ волнъ, изрѣдка на горизонтѣ возвышались и чернѣли мачты и ребра кораблей. Вотъ одинъ корабль явственно выступилъ на сцену въ десяти шагахъ; но мнимое спасенье обратилось въ гибель: лодка набѣжала на якорный канатъ того же корабля, перевернулась и — пловцевъ не стало!

— «Фабіанъ? Видѣлъ?» спросилъ одиннадцатилѣтній мальчикъ у своего сверстника, который копался въ небольшой лодкѣ; третій мальчикъ десяти лѣтъ несъ на берегъ весла. То были дѣти финнскихъ матросовъ. Заслыша бурю, они на плохой своей дѣтской лодкѣ понеслись на дерзкую прогулку; прогулялись, устали и воротились благополучно къ родной скалѣ.

— «Видѣлъ!» отвѣчалъ Фабіанъ.

— «Такъ чего же мѣшкаешь; эй, Карлъ! неси весла назадъ! Надо у моря людей отнять, а не то утонутъ.»

Безъ удивленія выслушали товарищи рѣчь Эрика и въ нѣсколько мгновеній, не лодка, а нѣчто въ родѣ большой солонки, управляемой тремя пигмеями, какъ щепка перебѣгало съ волны на волну; дружно махали весла, будто крылья у окуня; вотъ до-

неслись они и до корабля, съ котораго немалое число зрителей глядѣли въ воду и разсуждали комитетомъ: можно ли, должно ли въ такую бурю подать помощь утопающимъ; наши финнскіе матросики не обратили даже вниманія на комитетъ; ихъ занимало другое зрѣлище: весьма близко плавало что́-то похожее на узелъ; крикъ увѣрялъ, что этотъ узелъ живетъ; усилія ихъ удвоились, они достигли своей добычи. Эрикъ бросилъ канатъ; дитя уцѣпилось за него обѣими рученками; Эрикъ употребилъ всѣ свои силы, волна помогла ему и Августа очутилась въ лодкѣ.

— «Боже мой!» закричала она будто въ горячкѣ. «Гдѣ маменька? Спасите, помогите, вотъ она! Божусь, она!»

И точно, послѣднія силы баронессы были уже наисходѣ; борьба была слишкомъ продолжительна для женщины; еще нѣсколько мгновеній и никакое искусство не могло бы спасти Отилію, но солонка была уже подлѣ, тотъ же канатъ въ ее рукахъ; но какъ попасть въ лодку. Для такой дородной, роскошной тяжести силъ всѣхъ трехъ пигмеевъ было бы слишкомъ мало.

— «Ступай къ кораблю!» скомандовалъ Эрикъ. Баронесса не безъ труда плыла на буксирѣ и когда подъѣхали къ кораблю, съ него уже была спущена лодка; подвигъ пигмеевъ пристыдилъ комитетъ; онъ рѣшился подать позднюю помощь — и принялъ баронессу Отилію не безъ смущенія. Едва только она съ дочерью перебралась на корабль, пигмеи, почитая экспедицію свою оконченною, пустились

въ обратный путь, прежнимъ порядкомъ вошли въ свою гавань, за высокую скалу, разснастили судно, то есть, снесли на берегъ весла и руль, и бѣгомъ побѣжали къ небольшой лачужкѣ, сколоченной изъ досокъ, гдѣ ихъ встрѣтилъ гнѣвный голосъ стараго Эрика.

— «Эрикъ,» сказалъ старикъ: «не всякая буря впору молодцу. Иной погодѣ надо кланяться, съ другой бороться, отъ третьей сторонить. Однако жъ, спасибо, сынокъ! Все видѣлъ. Не всякая чайка пролетитъ по заливу по-твоему въ такой глупый штормъ. Спасибо! Чай измучились? Прилягьте, а я вамъ принесу коржей и мяса.»

Отецъ ушелъ, но сынъ стоялъ въ раздумьѣ у родимаго порога и глядѣлъ въ ту сторону, гдѣ опрокинулась лодка.

— «Ну, Эрикъ? Объ чемъ?»

— «Объ чемъ? Вѣдь на лодкѣ той не одно же это бабьё было. А другіе гдѣ? Вотъ только эту черную шляпу подхватилъ багромъ, а гдѣ тотъ, съ чьей головы эта шляпа...»

— «Всѣхъ утопленниковъ не выудишь,» сказалъ отецъ, принося крѣпкія какъ гранитъ черные коржи хлѣба и говядину въ деревянной посудинѣ. «Вы больше сдѣлали чѣмъ могли. Другихъ пусть выручаютъ другіе. Вотъ видишь, погода стихаетъ. Вотъ съ корабля идутъ на поискъ. Во-время! Ужъ и видно, что не Финны! Ну, да полно объ этомъ. Покушайте, да засните, дѣти Завтра пойдетъ въ путь и нашъ корабль, если будетъ вѣтеръ; такъ знаете ли что́, возьму я и васъ, чаекъ, съ собою: даромъ-

что малыши, а послѣ сегодняшняго годитесь въ юнги!»

— «Въ юнги!» радостно закричалъ Эрикъ.

— «Пора служить морю, которое васъ выростило на мягкой волнѣ своей. Поѣдемъ далече. Мой капитанъ идетъ на промыселъ къ норвежскимъ берегамъ; вотъ тамъ-то море увидите, такъ море— ничего не видно; а въ добрый часъ развѣ съ льдиной встрѣтишься; съ бѣлымъ орломъ поздороваешься и опять только небо да вода. И та вода уже идетъ до самаго конца свѣта.»

— «А ты бывалъ тамъ?»

— «Гдѣ? на концѣ свѣта! Кромѣ Олая Тросборга, тамъ никто не бывалъ; да и Олаю помогъ нечистый. Онъ былъ изъ нашихъ, изъ Финновъ; жилъ далече, на томъ концѣ, за Выборгомъ; тамъ всякимъ колдовствомъ людъ занимается; вотъ и онъ въ колдуны пошелъ и съ помощью бѣсовъ построилъ себѣ судно и горячею мѣдью обшилъ; льдина нажметъ на корабль и разстаетъ, а Олай все дальше, да дальше; такъ и наконецъ свѣта и проѣхалъ, и вернулся тѣмъ же путемъ. Ни что̀ колдовской мѣди не охолодило.»

— «А что̀ же онъ на концѣ свѣта видѣлъ?»

— «Что̀ видѣлъ? Чудеса, да и полно; вотъ купайте, а я вамъ, пожалуй, разскажу.»

И пошелъ старикъ разсказывать, что̀ Олай Тросборгъ на концѣ свѣта видѣлъ; дѣти отъ любопытства аппетитъ потеряли, особенно Эрикъ; и солнце зашло за Або, и городъ утонулъ въ вечернемъ туманѣ, и звѣзды зажглись, а старикъ все-еще

разсказывалъ. Наконецъ ракета прекратила бесѣду; другая, третья ракета возвѣстила начало фейерверка и старикъ отпустилъ дѣтей въ городъ, поглядѣть на городскія потѣхи въ послѣдній разъ передъ отъѣздомъ на промыселъ. И было на что поглядѣть. На красивомъ лугу, надъ живописною Аурой, устроенъ былъ амфитеатръ; люди толпились кругомъ рогатокъ, ограждавшихъ почетныя мѣста; а эти мѣста были заняты дамами и городскими щеголями; дѣти, какъ дѣти, и между людской волны съумѣли пробраться къ самымъ рогаткамъ и спокойно разсматривали блестящую публику, освѣщаемую непостояннымъ блескомъ потѣшныхъ огней. Вспыхнулъ щитъ, представлявшій аллегорію: Торжество цитерской богини; и Эрикъ въ царицѣ праздника узналъ свою утопленницу.

— «Фабіанъ? Видишь?»

— «Вижу!»

— «Это она!»

— «Она!»

— «Хорошо что мы ее вытащили, а то бы и этихъ огней не было. Ужъ не сестра ли это короля?»

— «Вотъ выдумалъ. Это жена бургомистра!»

— «Нѣтъ, братъ! Эта барыня глядитъ выше... Подойдемъ поближе! Ночью всѣ кошки сѣры; а прогонятъ, отойдемъ...»

— «Пожалуй!»

И дѣти проползли между рогатокъ, какъ комары, и помѣстились довольно близко отъ центра амфитеатра, гдѣ сидѣла баронесса Отилія.

Щитъ сгорѣлъ и гости во тмѣ поднялись, смѣшались и стали расходиться. Дѣти смѣлѣе бросились въ толпу, окружавшую баронессу.

— «Я слишкомъ глубоко тронута,» говорила она: «слишкомъ много чести. Но, къ несчастію, не могла вкусить этого удовольствія вполнѣ. Мои крохотные избавители до сихъ поръ не награждены.»

Фабіанъ и Карлъ дернули за полу Эрика.

— «Чувство справедливое,» замѣтилъ кто-то: «повѣрьте, что въ наше время и дѣти уже не безкорыстны. Увидите, что они съ отцемъ, съ матерью, съ сестрами и со всѣми родственниками прійдутъ къ вамъ не просить, а требовать награды.»

— «Неправда!» сказалъ Эрикъ громко, твердымъ и звучнымъ голосомъ.

— «Онъ здѣсь!» вскричала баронесса: «гдѣ онъ? Ищите, зовите его.»

Испуганный Эрикъ бросился бѣжать, Фабіанъ и Карлъ за нимъ. Поднялась тревога. Ловите, ловите! раздавались крики со всѣхъ сторонъ; и дѣти не могли себѣ проложить дорогу въ такомъ многолюдствѣ, попались въ плѣнъ и черезъ полчаса очутились въ блистательной залѣ, гдѣ приготовленъ былъ балъ для баронессы, и куда всѣ гости съ фейерверка уже собрались. Первая узнала ихъ Августа и безъ церемоніи бросилась на шею Эрику.

— «Вотъ онъ, маменька, вотъ нашъ спаситель!» кричала Августа.

Дѣтей окружило все общество, подъ предводительствомъ царицы праздника. Какъ дикіе звѣрки въ корзинѣ, они поглядывали изъ подлобья на гостей и только изрѣдка отряхивали отъ глазъ бѣлыя кудри, которыя не совсѣмъ опрятною прядью разбѣгались по ихъ лицамъ; профессоръ выступилъ впередъ и, взявъ за голову Эрика, сказалъ:

— «Знаешь ли, ребенокъ, чью жизнь ты имѣлъ счастіе спасти?»

— «Не знаю, да и знать не надо. Я вытащилъ бы и тебя, если бы ты подвернулся подъ-руку. Что́ вы къ намъ пристали? Отпустите! Батюшка будетъ безпокоиться...»

— «А гдѣ же твой отецъ?»

— «Тамъ гдѣ надо! Мы не скажемъ, гдѣ нашъ отецъ...»

— «Отчего же не скажешь.»

— «Оттого, что тутъ есть господинъ, который насъ обидѣлъ. Такъ пусть же эта обида до отца не дойдетъ. Прощайте!»

— «Нѣтъ, любезный!» прервала баронесса: «такъ ты отъ меня не уйдешь. Я должна наградить васъ.»

— «Наградить?» Эрикъ засмѣялся.

Баронесса поняло то́, чего и не думалъ Эрикъ. Онъ смѣялся, не понимая, за что́ хотятъ награждать его; а баронесса истолковала смѣхъ его въ томъ смыслѣ, что за спасеніе жизни нѣтъ награды.

— «По крайней мѣрѣ,» сказала она: «ты примешь на память отъ меня бездѣлицу...»

— «Да зачѣмъ мнѣ тебя помнить. Что́ ты мнѣ, мать, сестра, что́ ли?»

Въ это самое время вошелъ въ залу старый Эрикъ, въ синей курткѣ, съ кожаною шляпой въ рукахъ.

— «Батюшка!» закричали дѣти.

— «Что́ вы тутъ напроказили, шалуны? Меня испугали слухи, что васъ захватила полиція: Пойду, сказалъ я, возьму дѣтей, высѣку. Вотъ я и пришелъ...»

— «И пришелъ очень кстати,» перебила баронесса. «Дѣти твои спасли жизнь мнѣ и моей дочери. Я хотѣла наградить ихъ, а они бросились бѣжать отъ награды.»

— «Ну, такъ не высѣку, а расцѣлую. Молодцы! Пойдемъ домой! Каждому по три пряника и по деньгѣ. Дѣтей моихъ никто не смѣй баловать. Самъ накажу, самъ и помилую, самъ и награды назначу. Пойдемъ!»

— «Нѣтъ, старикъ! Баронесса Кивинербъ не отпуститъ тебя безъ награды.»

— «Я и самъ уйду. Никто насъ не задержитъ. Пойдемъ!»

Ушли. Никто не смѣлъ противиться старому Эрику. Баронесса послала узнать, гдѣ живетъ старикъ, кто онъ, какой имѣетъ достатокъ; но старикъ, замѣтивъ лазутчиковъ, въ одно мгновеніе снарядился въ далекій путь, забралъ дѣтей, сѣлъ на лодку, и ночью еще переѣхалъ на корабль своего капитана и друга, съ которымъ рѣшился раздѣлить труды и выгоды про-

должительнаго и опаснаго путешествія. Передъ разсвѣтомъ еще, какъ нарочно, подулъ благопріятный вѣтеръ. Поставили паруса и баронесса, утомленная и дневными опасностями и блескомъ праздника, еще покоилась сномъ сладостнымъ, когда ея избавители сказали родимому Або прости, надолго, — и величественно, на бѣлыхъ крыльяхъ, пронеслись мимо ея оконъ, закрытыхъ пурпурными занавѣсами. Августа уже не спала; въ мезонинѣ она сидѣла съ нянькой у окна и долго любовалась спокойнымъ, гордымъ ходомъ корабля, который, какъ осторожная птица, искусно облеталъ подводные камни и, наконецъ, исчезъ изъ вида. Августа не знала кто были пловцы, но ей было грустно.

— «Куда они?» спросила она.

— «Не знаю?» отвѣчала няня. «Куда нибудь за товарами, а можетъ быть и дальше.»

— «Куда же дальше?»

— «Много странъ и морей на бѣломъ свѣтѣ. Финнъ всюду ходитъ.»

—

II.

Прошло немного лѣтъ счетомъ, но въ человѣческой жизни семь годовъ — десятая доля. Наступилъ вѣчнопамятный 1709 годъ; на островѣ Римито произошло много перемѣнъ; баронесса праздновала тридцать второе рожденіе, но уже не была полновластною царицею праздника. Четырнадцатилѣтняя Августа невольно была причиною тай-

вой междоусобной войны; многіе поклонники матери перешли на сторону дочери, а дочь? Странно создана природа, но еще разнообразнѣе, непостижимѣе — душа человѣка Въ природѣ оригинальнаго гораздо менѣе, чѣмъ между людьми; игра, уклоненіе отъ общаго порядка — тамъ слишкомъ замѣтны; въ человѣчествѣ напротивъ: чудакъ глядится, какъ въ зеркало, въ другаго чудака, тотъ смѣется надъ третьимъ и такъ далѣе, сегодня, завтра, и вчера; исторія человѣческихъ странностей, и видоизмѣняется ежеминутно. Есть люди, которые любятъ объяснять поводы странностей человѣческаго нрава: имъ и книги въ руки; мы любимъ ихъ описывать, по возможности, съ натуры. Августа, какъ гласитъ натура или исторія, что все одно и то же, во-первыхъ, весьма бѣгло говорила по-латынѣ, нѣсколько понимала по-гречески и по-еврейски и бесѣду Эоніуса, знакомаго намъ профессора, предпочитала всѣмъ разговорамъ Абоской молодежи; плавала какъ рыба, ѣздила верхомъ какъ центавръ, пѣла только финнскія пѣсни, и то тѣ, въ которыхъ море принимало поэтическое участіе. Въ альбомѣ ея хранилось до двухъ сотъ такихъ пѣсень и множество картинокъ, снятыхъ съ лучшихъ видовъ финнскаго прибережья. Августа не любила своего имени и просила, требовала, чтобы ее звали Гальціоной. Сказку Овидія объ этой птицѣ она знала наизусть, и ужъ вѣрно не проходило недѣли, чтобы она не прочитала ее ученому гостю, а если такого не случалось, такъ нѣжно любимому морю.

Дѣйствительно, страсть ея къ влажной стихіи походила на пламенную любовь къ человѣку; по цѣлымъ часамъ просиживала она одна въ приморской бесѣдкѣ или на скалѣ и носилась мыслью по волнамъ; уходила съ ними въ открытое море и тамъ разливалась душею въ безбрежную, безграничную думу. Вотъ и сегодня, когда весь замокъ, полный гостьми, готовился къ празднеству рожденія Отиліи, она убѣжала отъ людей, и на дальней скалѣ задумала обычную думу. Живописное море, усыпанное безчисленными островами и скалами, какъ будто узнало свою подругу, взволновалось, разъигралось; вѣтеръ оборвалъ и унесъ вѣнокъ изъ свѣжихъ цвѣтовъ съ головы Августы; но она не замѣчала этихъ дикихъ ласкъ; глаза ея завидѣли судно, которое, повинуясь вѣтру, невольно стремилось къ берегамъ острова. Сердце ея сильно забилось. Ей почудилось, что когда-то, давно, давно, она видѣла этотъ корабль съ тѣмъ же гордымъ ходомъ, съ тою же величественною физіономіей; какъ угодно, но и у кораблей есть физіономія, черты, которыя помнишь и узнаешь далече. Августа не сомнѣвалась, что она увидѣла стараго знакомца, когда корабль въ недальнемъ разстояніи отъ острова собралъ паруса и бросилъ якорь.

— «Вотъ гости и ко мнѣ!» сказала она съ улыбкой, сама смѣясь своей мысли: «долго ли погостите! Нѣтъ! Перемѣнится вѣтеръ и желѣзный якорь, которымъ выранили нѣжное лоно моего друга, какъ зубъ изъ челюсти звѣря, выдернетъ

неумолимый вòротъ и снова въ путь! Зачѣмъ я дѣвица!»

И Августа забывала о своихъ гостяхъ, о морѣ, обо всемъ; другая дума впилась въ сердце — и сердце дрожало отъ досады и презрѣнія.—«Онъ здѣсь!» вскричала Августа. «На бархатной лодкѣ съ позолоченными веслами, самъ въ кружевахъ и лентахъ, въ цѣпочкахъ и запонкахъ. Ха, ха, ха!»

И звонкій смѣхъ огласилъ пустынную окрестность. Но то было не веселье, нѣтъ, язвительный, задушевный сарказмъ; отъ него больно тому уму, который его создалъ, горько тѣмъ устамъ, которыя ёго произнесли! Августа закрыла глаза и проснулась тогда только, когда вѣтеръ принесъ ей звуки человѣческаго голоса. Она взглянула на море; лодка съ пловцами приближалась къ подножію скалы; люди ловко причалили, выскочили на берегъ, привязали лодку и чинно, покойно, весело стали подыматься прямо къ тому мѣсту, гдѣ сидѣла Августа... Съ неизъяснимымъ, живымъ любопытствомъ глядѣла она на своихъ гостей; ихъ было трое, всѣ въ одинакихъ синихъ курткахъ и одинакихъ кожаныхъ шляпахъ. Ростомъ одинъ былъ нѣсколько повыше, и этотъ казалось и лѣтами былъ постарше; онъ не разъ оглядывался на корабль и нѣжная заботливость выражалась на прекрасномъ, хотя и смугломъ лицѣ его. Взглянувъ на него, Августа оторопѣла. То былъ Эрикъ, но уже не дитя, а взрослый юноша; пухъ бороды давно уже пробился, но острое желѣзо не прикасалось еще къ нѣжному лицу. Кудри его достига-

ли плечъ, но были тщательно учесаны и блистали пріятнымъ лоскомъ; тѣло его сложилось статно и стройно. Не только для благодарной Августы, жилицы морскаго прибрежья, но для самой прихотливой кокетки версальскаго двора Эрикъ показался бы красавцемъ, и тутъ не было бы обмана глазъ. Эрикъ, точно, былъ красавецъ. Фабіанъ и Карлъ были также прекрасные юноши, но, видно, во всемъ уступали старшему брату, даже въ поступи, которая выказывала какое-то небрежное спокойствіе, искреннюю гордость, неподдѣльную важность. На вершинѣ скалы, въ пяти шагахъ отъ Августы, Эрикъ обернулся лицемъ къ кораблю и сказалъ пріятнымъ, хотя и нѣсколько грубымъ, голосомъ:

— «Что́, моя Гальціона?! У родныхъ береговъ, да еще не дома! Гдѣ твои якори себѣ гнѣздышко выбьютъ. Въ Або ты родилась Гальціона, дай Богъ тебѣ и умереть въ Або! Отдохни, любовь моя, ненадолго наша разлука. Ну, прощай, Гальціона, до свиданія!»

Августа совершенно смутилась. Сходство именъ ее поразило. Ей даже показалось, что Эрикъ говорилъ съ нею и Августа съ трепетомъ сказала:

— «Не прощай, а здравствуй!»

— «Здравствуй, прелесть финнскихъ скалъ! Здравствуй, красавица! Много странъ видалъ, а ты краше островов далекой Атлантиды! Не краснѣй! Эрикъ никогда не лгалъ, а правда не должна дѣвичьяго лица румянить. Здравствуй, красивая роза! и скажи намъ: тутъ за́мокъ; тутъ можетъ-быть богатые люди живутъ. У насъ дорогіе товары

есть. Мы и пловцы, и купцы. Торговля — дочь моря...»

— «О, у насъ найдете много купцовъ! Въ зáмкѣ тма гостей! Пойдемъ, я проведу васъ.»

— «А ты изъ этого зáмка?»

— «Да... О чемъ ты вздохнулъ!.»

— «Такъ!.. Ужъ кто бы ни жилъ въ зáмкѣ, а у богатыхъ и въ соблазнѣ нѣтъ недостатка. Божій цвѣтокъ красенъ въ саду, а въ пышныхъ хоромахъ и на него пыль ляжетъ. Ну, да не мое дѣло о чужихъ цвѣткахъ заботиться; радъ бы и свои продать...»

— «Продай ихъ мнѣ.»

— «Дорогоньки для тебя, любезная! Чай, ты въ зáмкѣ прислужница.»

— «Слуга послѣдняя, хотя мнѣ многіе служить готовы.»

— «Понимаю, понимаю. Тó-то же. Для тебя мои цвѣтки не пригодны. Чай такихъ и у шведской королевы нѣтъ...»

— «А чтó стоютъ?...»

— «Чтó стоютъ! Больше чѣмъ самое большое серебряное блюдо. А вотъ для тебя есть у насъ другіе товары; ожерелья, запонки, кольца, серьги; и хорошо, и недорого. Мы, правду сказать, не для торга сюда пристали; а вотъ съ вѣтромъ у насъ вышла размолвка. Семь лѣтъ не семь дней. И камни мѣста перемѣняютъ. Такъ на память я не понадѣялся; берегу мою Гальціону. Она мнѣ слишкомъ дорогá...»

— «А почему же она тебѣ такъ дорога?..»

— «Капитанъ умеръ, отцу моему въ наслѣдство оставилъ: отецъ умеръ, мнѣ отказалъ Гальціону. Я умру. Не знаю, кому она достанется. Впрочемъ, жизнь корабля, какъ жизнь моряка. Одно мгновеніе — и морской пирушкѣ конецъ; ляжетъ въ гробъ безъ крышки; жилъ на волнѣ, та же волна его и прикроетъ. Не твоимъ хорошенькимъ и молодымъ ушамъ морскія пѣсни слушать.»

— «Въ самомъ дѣлѣ?» спросила значительно Августа и взглянула на Эрика такъ гордо, такъ величественно, что у того на морской душѣ буря сдѣлалась. Эрикъ отвернулся и не отвѣчалъ. Молча прошли они остальной путь. Августа повела ихъ на крыльце, убранное цвѣтами; на лѣстницѣ разставлены были также дорогіе цвѣтки; въ большой залѣ толпа гостей бросилась на встрѣчу Августѣ, но она никого не замѣчала, шла скоро и, остановясь передъ матерью, обремененною пышнымъ нарядомъ и украшенною уже не природой, а искусствомъ, почтительно преклонилась и сказала:

— «Я привела къ вамъ, баронесса, еще гостей, которые изъ далекихъ странъ пріѣхали поздравить васъ съ днемъ рожденія...»

— «Матросы!» гнѣвно сказала Отилія. «Я не ожидала отъ тебя, Августа, подобной глупости. Твои герои годны для дѣтскихъ сказокъ, а не для праздника въ старомъ замкѣ бароновъ Кивинербъ. Эоніусъ! попросите этихъ матросовъ возвратиться туда, откуда пришли...»

— «Этого я не позволю! Въ день вашего рожденія я имѣю право просить у васъ милости — вы сами...»

— «Чего же ты просишь?»

— «Чтобы эти матросы были нашими гостями точно такъ же, какъ и баронъ Наварбэ и другіе.»

— «На это я не могу согласиться, и ты на такое требованіе не имѣешь права.»

— «Если не я, такъ они его имѣютъ.»

— «Это какимъ образомъ.»

— «Всмотритесь, матушка: эти матросы имѣли счастіе, семь лѣтъ тому назадъ, спасти жизнь вашу.»

— «Неужели?» съ примѣтнымъ смущеніемъ спросила баронесса. «О, конечно, я рада васъ всегда видѣть. Вы будете дорогими гостями у насъ. Я назначу для вашего угощенія...»

— «Меня, маменька! Я имъ такъ же обязана жизнью и мнѣ пріятно въ такой день заступить для нихъ ваше мѣсто. Давайте ваши шляпы! Будьте какъ дома! За столомъ вы будете занимать меня своими разсказами, а я буду васъ подчивать.»

Матросы совершенно смутились, особенно Эрикъ, который вспомнилъ свой разговоръ съ Августой и чувствовалъ, что онъ слишкомъ виноватъ передъ нею. Съ другой стороны ему не понравилось и общество, окружавшее баронессу. Это не волны морскія, его враги, его друзья и собесѣдники. Ни за что бы онъ не остался, если бы тутъ не было существа, которое онъ обидѣлъ, хотя и невольно, и которому повиноваться теперь стало ему и пріятно и лестно. Но и тутъ бѣда. Вся зала оглашалась французскими фразами, пересыпанными для колорита шведскими словами. Онъ почти ничего

не понималъ что́ вокругъ говорили, а многіе говорили объ немъ; это онъ ясно видѣлъ по направленію взоровъ. Эрикъ стоялъ какъ на иголкахъ. Неудовольствіе, написанное на лицѣ баронессы Отиліи, еще болѣе умножало его замѣшательство. Но вотъ огромныя двери отворились. Зашитый въ шелковыя тесьмы драбантъ громогласно пригласилъ къ столу, и гости стали сочетаться для шествія въ столовую; баронъ Наварбэ подалъ руку Августѣ, но та присѣла и сказала:

— «Извините, баронъ! У меня есть пара!» и, схвативъ Эрика за руку, почти потащила въ столовую.

Не грозные взоры — молніи бросала Отилія на дочь; та не догадывалась; въ какомъ-то странномъ обаяніи, она занималась только своими гостями, лучше сказать, гостемъ; долгъ благодарности оправдывалъ ея поведеніе; отвѣты Эрика поселяли къ нему уваженіе и заставляли забывать его званіе и одежду. Баронъ Наварбэ, молодой щеголь, примѣтно ухаживавшій за матерью и дочерью вмѣстѣ, и мысленно почти всѣмъ кругомъ знакомыхъ нареченный женихъ Августы, помѣстился насупротивъ своей невѣсты и бросалъ изрѣдка вопросы, которыми примѣтно хотѣлъ унизить Эрика.

— «Кто у тебя капитанъ?» спросилъ баронъ.

— «Я,» отвѣчалъ Эрикъ спокойно. «А у тебя кто?»

— «Я не матросъ...»

— «И не военный? Нынче король, говорятъ, нуждается въ войскѣ. Грѣхъ не служить тому, кто можетъ...»

— «А на какомъ кораблѣ ты капитаномъ?» спросилъ Наварбэ.

— «На своемъ? А какъ зовутъ твой замокъ?..»

Этотъ вопросъ крѣпко смутилъ барона и сорвалъ со всѣхъ устъ коварную улыбку. Баронъ былъ уже безъ баронства; расточительность его и предковъ оставила только значительный капиталъ долговъ; баронъ ушелъ изъ Швеціи отъ долговъ, чтобы въ Финляндіи поправить свое состояніе выгодною женитьбой. Ударъ былъ мѣтокъ. Эрикъ освободилъ себя отъ дальнѣйшихъ распросовъ. Баронъ, пробормотавъ въ отвѣтъ что-то непонятное, сказалъ съ улыбкою :

— «А что касается до войны, то должно признаться, слухи не совсѣмъ хороши.»

Эта ловкая выходка возбудила общій разговоръ, который поглотилъ вниманіе всѣхъ, даже Эрика, даже Августы.

— «Да!» сказалъ Эоніусъ печально. «Король вступилъ давно въ Московію; поистинѣ, нельзя не удивиться, что Карла донынѣ еще нѣтъ въ Москвѣ; ожидаемъ этой вѣсти каждое мгновеніе...»

— «И не дождемся,» сказалъ Эрикъ съ самодовольствіемъ, котораго не умѣлъ скрывать. «Король Карлъ въ Турціи.»

— «Въ Турціи!» воскликнули всѣ, вскочивъ съ мѣста.

— «Въ турецкомъ городѣ Бендерахъ!»

— «А побѣдоносная армія?..»

— «Разбита подъ Полтавой, русской деревуш-

кой, взята въ плѣнъ на русской границѣ. Ушелъ только Карлъ и его драбанты.»

— «Тебѣ приснилось...»

— «Не мнѣ, а развѣ курантщикамъ. По всему нѣмецкому поморью читаютъ люди газеты, разсказываютъ что́ читаютъ, и радуются. Въ первый разъ въ жизни я пожалѣлъ, что не умѣю читать.»

Августа съ печалью взглянула на Эрика. Тотъ продолжалъ: — «Могучъ и страшенъ долженъ быть этотъ Петръ, когда сломалъ Карла, побѣдой своей напугалъ другія земли. Всѣ говорятъ въ голосъ, что Петръ заплатитъ Карлу за посѣщеніе его земли тою же монетой. Говорятъ, будто Нетеборгъ уже взятъ; на Невѣ русскій городъ поставленъ; варвары собираются на Выборгъ. Я пріѣхалъ проститься съ Або — и...»

Эрикъ невольно взглянулъ на Августу и не кончилъ рѣчи. Величайшій безпорядокъ прекратилъ пиршество. Патріоты окружили Эрика; Финны шептались по угламъ; дамы осиротѣли; ни прелести хозяекъ, ни соблазнъ богатаго пира не удержали гостей; всѣ разъѣхались, всѣ спѣшили въ Або или для того, чтобы принести печальную вѣсть, или чтобы ее повѣрить, надѣясь, что мѣстное начальство должно уже имѣть оффиціальное увѣдомленіе. Въ за́мкѣ остался только Наварбэ, да матросы. Наварбэ старался занять матушка. Матросы пошли гулять въ садъ съ Августой... Погуляли, погуляли, наговорились и на той же скалѣ, гдѣ встрѣтились, разстались. Встрѣтились странно, разстались также не такъ, какъ обыкновенно раз-

стаются; не охотно; безпрестанно задумываясь; глаза то наливаются слезами, то вспыхнутъ и горятъ словно фальшивый огонь на кораблѣ въ часъ гибели... Словъ было немного, да и тѣ такъ несвязны, что я и повторять ихъ не хочу... Наконецъ-таки разстались. Эрикъ бросился опрометью съ отлогой скалы, однимъ прыжкомъ вскочилъ въ лодку и кричалъ: отчаливай! Скорѣе отчаливай! Августа вскрикнула и долго, долго стояла на скалѣ съ простертыми къ морю руками...

— «Подымай паруса!» кричалъ Эрикъ на кораблѣ. Матросы съ удивленіемъ смотрѣли на своего повелителя. Море едва колебалось, какъ-будто во снѣ вспоминало какъ волновалъ его еще поутру буйный вѣтеръ. Тишь была такая, что ни веревочка въ снастяхъ не колыхалась. Эрикъ скоро замѣтилъ это и сказалъ съ печалью:

— «Видно, Богъ за грѣхи предковъ приковалъ васъ къ этому мѣсту! О! недобромъ дышетъ этотъ берегъ!..»

Напрасно братья и товарищи старались узнать причину такой непонятной, странной горести. Эрикъ упрямо молчалъ; когда вопросы переполнили мѣру его терпѣнія, Эрикъ воскресъ; какъ строгій начальникъ, уложилъ экипажъ спать; а самъ на чистой, какъ полъ у опрятнаго Финна, палубѣ, усѣлся и не сводилъ глазъ съ огонька, который горѣлъ въ высокой башнѣ замка. Эрикъ не ошибся; тамъ сидѣла Августа и заливалась горькими слезами; она только-что отслушала строгій, грозный, горячій выговоръ изъ устъ Отиліи, которая уже при-

нималась за проповѣдь морали и за сватовство: два свойства женскаго возраста, когда онъ перейдетъ экваторъ жизни, то есть, тридцать лѣтъ. Свои проказы, шалости, даже пороки, забываетъ женщина въ этомъ полушаріи; чего ей не прощали старухи, то и она преслѣдуетъ въ молоденькихъ баловницахъ жизни и свѣта; что́ на нее слагали клевета и зависть, ту самую пѣсню поетъ она теперь въ честь другихъ. Не обвиняйте, не презирайте этихъ недостатковъ; распускаются листья, цвѣтетъ цвѣтъ, зрѣетъ плодъ, распадается и растеніе окружаетъ себя тлѣніемъ собственнаго существа своего; не исправить вамъ порядка; вѣчно цвѣсти, вѣчно нравиться — невозможно... Послѣ выговора, Отилія, по тому же естественному порядку, принялась за сватовство и рѣшительно объявила, что Августа завтра же должна быть невѣстою Наварбэ, а черезъ годъ—его женою... Сказала и ушла. Подвигъ весьма неблагоразумный. Надо было выслушать, что́ на это скажетъ Августа. Но Отилія не сомнѣвалась въ силѣ своей, въ повиновеніи дочери, тѣмъ болѣе, что сама стала баронессой Кивинебръ точно такимъ же порядкомъ.— Ушла Отилія и легла спать такъ спокойно, какъ-будто отдала приказаніе заложить лошадей или подать завтракъ. Уснула такъ же спокойно, но за то Августа всю ночь проплакала, продумала; перемѣнила тысячу предположеній, ни одного не утвердила, но едва встало солнце, еще и птицы не всѣ проснулись, еще волны дрожали гладкимъ, прозрачнымъ стекломъ, Августа уже была на ска-

лѣ, и звала Эрика бѣлымъ платкомъ, и Эрикъ узналъ ее, и не спускалъ лодки, не будилъ товарищей, бухъ въ море и вотъ облитый морской волной онъ передъ дѣвой...

— «Эрикъ! Увези меня отсюда?..»

— «Куда?»

— «Куда-нибудь! Только избавь меня отъ такого жениха, отъ такого мужа! Я не перенесу. Я умру сегодня же. Спаси жизнь мою во второй разъ! Она твоя, Эрикъ! Ты вырвалъ ее у морской бездны, вырви изъ рукъ ненавистнаго человѣка.»

— «Это труднѣе. Но что́ я могу? Какъ я могу? Я бѣдный матросъ! Я...» Эрикъ зарыдалъ и сквозь вопля душевнаго съ трудомъ прибавилъ: «Я — невѣжа!..»

— «Свѣтъ науки, какъ свѣтъ Божій, для всѣхъ, Эрикъ!»

— «Правда! Твоя правда, дочь бароновъ и богатыхъ владѣтелей! Вотъ этихъ титловъ не купишь; надо во второй разъ родиться. Прощай, Августа! Прощай навсегда! Я спѣшу умереть... Мнѣ не нужно жизни... Постой!.. Ты въ опасности. Ты требуешь отъ меня услуги, ты хочешь уйти отъ ненавистнаго... Вѣтеръ! Умилосердись! Подними крылья и я спасу Августу.»

Но лѣнивый вѣтеръ и не думалъ подыматься. Между тѣмъ на кораблѣ проснулись и спустили лодку; въ за́мкѣ кто-то подсмотрѣлъ, что Августа, заплаканная, убѣжала на скалу; поднялась суматоха. Сама Отилія пошла за нею съ людьми и Наварбэ. Изъдали еще она увидѣла картину, ко-

торая привела ее въ бѣшенство. Эрикъ не успѣлъ принять какихъ-либо мѣръ въ свою защиту, какъ люди вырвали у него изъ рукъ Августу, а Наварбэ съ шпагой въ рукахъ изъдали приказывалъ Эрику сдаться. Августа была уже далеко. Отилія осыпала бранью Эрика, упреками барона.

— «Если не умѣете убить этого звѣря, такъ предайте его проклятію и пойдемъ! Теперь уже нельзя медлить! Сегодня, сейчасъ должно совершиться обрученіе. Пойдемъ!»

Эрикъ оглянулся и съ бѣшеною улыбкою закричалъ:

— «Не уйдетъ!»

Какъ тигръ въ два прыжка Эрикъ былъ возлѣ барона; дюжія руки подняли на воздухъ щедушнаго противника; въ одно мгновеніе, прежде нежели Отилія успѣла призвать людей на помощь, Эрикъ, перепрыгивая съ камня на камень съ своею добычей, достигъ лодки и перевезъ Наварбэ на корабль. Вѣроятно, шумъ и крикъ всей этой суеты нарушилъ сонъ вѣтра; онъ всталъ, и пошелъ въ путь; въ виду баронессы и людей подняли якорь, распустили паруса и увезли жениха, который на колѣняхъ упрашивалъ неумолимаго Эрика не увозить его съ острова... Напрасно! На полпути уже, когда Наварбэ и Эрикъ нѣсколько успокоились, послѣдній увелъ барона въ свою каюту, и сказалъ ему:

— «Я здѣсь чужой! Родился я на этихъ берегахъ, но отецъ и я, мы столько потерпѣли отъ шведскаго владычества, что и пересказать трудно.

Впрочемъ, это не твое дѣло! Мы все-таки Финны. Ты хочешь жениться на Августѣ, но этому быть нельзя. Она дочь Финляндіи — ты Шведъ. Это первое. Она тебя ненавидитъ. Это второе и главное. Если ты сейчасъ же письменно отъ руки ея не откажешься, такъ на что́ мнѣ тебя держать на бѣломъ свѣтѣ: брошу тебя въ море, а самъ, вмѣсто Або; пойду въ новый петровскій городъ, куда со всѣхъ сторонъ зовутъ и корабли и моряковъ. Понялъ?»

— «Не совсѣмъ хорошо...»

— «Ну, такъ въ море!»

— «Понялъ! Понялъ! Но какая тебѣ въ томъ польза, женюсь ли я или нѣтъ?»

— «Не твое дѣло. Пиши:» По доброй волѣ, совершенно обдумавъ, безъ малѣйшаго съ чьей-либо стороны принужденія, отказываюсь, «— а не то въ мѣшокъ и воду.»

— «Но это будетъ ложь...»

— «Необходимая! Но, баронъ, мы слишкомъ близко отъ Або. Лишнее слово и писать будетъ уже поздно. У моего товарища есть письменный снарядъ. Изволь-ка — садиться и писать.»

Баронъ повиновался. Товарищъ Эрика прочелъ письмо вслухъ, запечаталъ; баронъ сдѣлалъ надпись. Эрикъ спряталъ письмо въ карманъ и, протянувъ Наварбэ руку, сказалъ весело:

— «Ну, теперь мы можемъ быть даже друзьями. Скажи, пожалуй, гдѣ ты живешь въ Або?»

— «Я... Я еще не имѣю постояннаго пристанища. Я живу съ сестрой. Признаюсь, мнѣ очень жаль

что она не можетъ имѣть всѣхъ выгодъ, какими пользовалась въ Швеціи, но, я надѣюсь...»

— «Достать денегъ! Этимъ добромъ я могу снабдить тебя, если будешь вести себя такъ, какъ мнѣ угодно. Ну, въ Або мы это устроимъ.»

— «Послушай, любезный другъ, оно, конечно, въ Або ты вѣроятно имѣешь деньги, знакомыхъ купцовъ, то́, другое; но не забудь, ты меня увезъ экспромтомъ, при мнѣ не было ни книжника, ни кошелька; а на первый случай, такъ сказать, для перваго шага...»

— «Возьми мой кошелекъ! Мы разсчитаемся! Да! Надо всегда поступать осторожно. Дай мнѣ росписку въ томъ, что́ получилъ и когда заплатишь.»

Корабль подходилъ къ тому мѣсту, гдѣ семь лѣтъ тому назадъ стояла бѣдная избушка стараго Эрика. Теперь тутъ уже былъ городъ. Красивые дома сошлись въ узкія улицы; тутъ стало людно, шумно; хотя эта часть Або все-еще считалась загородною и вмѣщала бѣднѣйшее противъ другихъ частей народонаселеніе. Со вздохомъ посмотрѣлъ Эрикъ на родимое пепелище.

— «Фабіанъ? Видишь?» спросилъ онъ со вздохомъ.

— «Вижу!» отвѣчалъ тотъ. Двѣ крупныя слезы катились по миловидному лицу юноши. Всѣ три брата, какъ-будто условясь, подали другъ другу руки и подняли взоры къ небу съ молитвой за стараго Эрика. Якорь уцѣпился за гранитный берегъ; паруса опустились; но никто бы не думалъ

съѣзжать на землю, если бы баронъ не спѣшилъ къ сестрѣ, которая, по его словамъ, жила въ десяти шагахъ отъ пристани.

— «Мы тебя проводимъ!» сказалъ Эрикъ.

— «Очень радъ! Очень благодаренъ!»

—

III.

Баронесса Наварбэ никакъ не ожидала столь поспѣшнаго возвращенія своего брата и въ бѣдной своей обители утѣшала себя, какъ могла, бесѣдою молодыхъ абоскихъ студіозовъ; ихъ было трое; старшій, хотя и не довольно миловидный, Матвѣй Гуннорамусъ, школьнымъ остроуміемъ оглушалъ баронессу и собесѣдниковъ; если бы въ рѣчахъ его не было такъ много цитатъ и латыни, то шутки его годны были бы для какого угодно салона: это давало ему какое-то владычество въ бесѣдѣ; но какъ для шутокъ необходима цѣль, то Гуннорамусъ и выбралъ себѣ для того товарища, смиреннаго Густава Малинотуса, который скромно и молча сидѣлъ въ углу плохо освѣщенной и дурно убранной комнаты, только изрѣдка страстно поглядывалъ на баронессу и пресыщался безмолвнымъ созерцаніемъ зрѣлой ея красоты. Не смотря на остроуміе Матвѣевыхъ шутокъ, Ульрика, такъ звали баронессу, не безъ чувства поглядывала на Густава; она была увѣрена, что Густавъ молчитъ и все переноситъ только для того, чтобы ссорой и местью не возмутить ея веселья; ей даже иногда становилось жаль Густа-

ва; она слегка принимала его защиту, но отстаивать его сильно не рѣшалась, боясь утратить остроумнаго собесѣдника, а еще болѣе, чтобы не подать дерзкому юношѣ какого повода къ мести. На третьяго она мало обращала вниманія, потому что третій былъ глупъ, только смѣялся и поддакивалъ оратору, или отъ себя говорилъ баронессѣ такіе комплименты, какіе и теперь любезники низшаго порядка расточаютъ во французскихъ кадриляхъ и въ другихъ удобныхъ случаяхъ. Приходъ барона не возмутилъ бы теченія этой бесѣды, если бы съ нимъ не пожаловали странные гости. Баронъ, взглянувъ на студентовъ, покраснѣлъ до ушей и, обратясь къ Эрику, сказалъ съ примѣтнымъ замѣшательствомъ:

— «Рекомендую вамъ, господа, мою сестру и нашихъ молодыхъ родственниковъ. Всѣ они дѣти богатыхъ, именитыхъ фамилій; учатся въ здѣшнемъ университетѣ; отличаются познаніями, и особенно поведеніемъ. Вотъ, напримѣръ, Густавъ Малинотусъ! Про него говоритъ Эоніусъ, будто онъ знаетъ больше, чѣмъ всѣ здѣшніе профессора.»

— «Включительно съ библіотекой,» перебилъ Матвѣй: «впрочемъ, тутъ нѣтъ ничего удивительнаго! Онъ проглотилъ черта, и теперь ученость Густава принадлежитъ новому жильцу его тѣла. Fecit pactum cum satana.»

Имѣлъ ли Матвѣй какія-либо причины сдѣлать подобную выходку, или она сорвалась шутки-ради, только Густавъ отъ этихъ словъ поблѣднѣлъ какъ полотно и дрожащими устами шепталъ что-то.

Ульрика, и сама смущенная неожиданнымъ посѣщеніемъ странныхъ гостей, а также и красивою ихъ наружностью, притомъ же чувствуя, что бесѣда съ этими, такъ-называемыми, родственниками не всякому покажется безукоризненною, не замѣтила, что дѣлалось съ Густавомъ, и спѣшила перемѣнить разговоръ.

— «Братецъ,» сказала она: «и пріѣздъ вашъ, и эти гости для меня загадка.»

— «А между тѣмъ тутъ все очень просто. Эти господа купцы объѣхали цѣлый свѣтъ; навезли много дорогихъ товаровъ и разныхъ извѣстій, которыя дороже ихъ товаровъ. Король Карлъ въ Турціи!»

Студенты, не исключая и Густава, вскочили и глядѣли на барона съ нѣмымъ любопытствомъ.

— «Вотъ пусть онъ самъ разскажетъ. Онъ говоритъ не хуже Матвѣя.»

Ульрика какъ-будто обрадовалась, что Карлъ Двѣнадцатый попалъ въ Турцію и тѣмъ далъ возможность пригласить красиваго матроса и богатаго купца сѣсть въ кресла, разсказать исторію и вообще выручить ее изъ непріятнаго положенія. Эрикъ сѣлъ, разсказалъ исторію, но Ульрика не слушала, а глядѣла, глядѣла и невольно стала соперницей Августы; Густавъ былъ позабытъ; о немъ вспомнили, когда гости уже довольно поздно стали откланиваться, но вспомнили для невыгоднаго сравненія. Само собою разумѣется, что и баронъ и баронесса, отложивъ спѣсь убѣдительно приглашали не оставлять ихъ посѣщеніями; что квартира у нихъ

только на короткое время, что они ждутъ денегъ изъ Швеціи, а получатъ, такъ заживутъ по-баронски; что не смотря на родъ и званіе, они люди простые, и уважаютъ въ каждомъ сословіи достойныхъ людей... Эти рѣчи не обольстили Эрика, но Фабіанъ, неопытный, недальновидный, почти ребенокъ, счелъ ихъ за наличную монету, и третью ихъ долю принялъ на свой счетъ. Густавъ ближе и лучше всѣхъ понималъ тайное ихъ значеніе, и какъ-только они вышли на улицу, онъ взялъ за руку Эрика, отвелъ всторону и голосомъ, въ которомъ слишкомъ было замѣтно душевное волненіе, сказалъ:

— «Слушай! Кто бы ты ни былъ, какою бы силой подземной ни обладалъ, но я надѣюсь, что ты не захочешь быть моимъ соперникомъ! Погляди, Матвѣю недолго шутить надо мной! Дни его сочтены.. Сочту я и твою жизнь, и поставлю ей короткій итогъ .. Она моя, она должна быть моя. Слишкомъ велика моя жертва, она за все уплата! Понялъ?...»

— «Ни одного слова. Объяснись, ученый мужъ, попросту. Мнѣ съ тобой нечего дѣлить.»

— «Того-то я и хочу. Ни ногой въ домъ барона.»

— «Просишь?»

— «Требую.»

— «Я къ такимъ требованіямъ не привыкъ. Я и вѣтра не всегда слушаюсь, а ужъ тебя и подавно. Сколько разберу, такъ ты сестру этого барончика больно полюбилъ.»

— «Ну, да!»

— «А сестра барончика тебя не любитъ.»

— «Любила; начинала уже любить шепотъ мой, взоры мои. О, я утопалъ въ блаженствѣ, я видѣлъ какъ мудрость сильна, какъ наука дѣйствительна. Я былъ близокъ къ цѣли. Но пришелъ ты — и добыча моя убѣжала далече. Я смотрѣлъ на нее, я читалъ на ея лицѣ какъ въ книгѣ; пожаръ вспыхнулъ, да легко потушить... Наука одолѣетъ это ничтожное пламя, но ты не долженъ съ нею видѣться.»

— «Пожалуй! Мнѣ ея любви не нужно!»

— «Ты будешь мнѣ другомъ.»

— «И этого мнѣ не надо: А вотъ что̀! Я хочу быть такимъ же ученымъ какъ ты.»

— «Какъ я? Безумецъ! Это сто́итъ... Стоитъ дорого.»

— «Хотя бы жизни.»

— «Какой жизни?»

— «Какой? одна жизнь. Но я хочу статъ ученымъ скоро, проворно, въ годъ, въ мѣсяцъ, какъ можно скорѣе, чтобы не успѣли вырвать и у меня дорого́й добычи. Понялъ?»

— «Ни одного слова! Но все равно. Ты готовъ отказаться отъ баронессы, я готовъ тебя учить; немного нужно, чтобы попасть на депозицію. А потомъ путь гладокъ, да безконеченъ, путь есть и короткій, да страшенъ. Ну, да все равно. Прійдешь на распутіе, погадаешь, поворожишь — и тогда... О, наука соблазнительна; но въ женщинѣ стократъ больше соблазна. Я испыталъ и то и другое.»

— «И я тоже! Но поздно. Ну, такъ ты берешься меня учить.»

— «По ночамъ. Дни мнѣ самому нужны.»

— «А когда же ты спишь?»

— «Я?» съ горькой улыбкой спросилъ Густавъ. «Видно, ты не любилъ какъ слѣдуетъ Любовь и сонъ — враги. Пойдемъ учиться! Въ обществѣ человѣка съ сердцемъ и мнѣ полегче. Пойдемъ!»

— «Изволь! только мнѣ надо сказать слова два братьямъ.»

И послѣ короткаго разговора съ Фабіаномъ, Эрикъ отправился съ Густавомъ на край города. На берегу Ауры, за высокой оградой, стоялъ домъ, въ которомъ жилъ Густавъ; онъ самъ отперъ калитку; огромный песъ съ лаемъ бросился ему на встрѣчу: но по слову Густава, поджавъ хвостъ, воротился и скрылся въ своей конурѣ. Въ потемкахъ вошли они въ покой; Густавъ подошелъ къ какому-то хитрому снаряду; приложилъ лучину; вспыхнулъ огонь и освѣтилъ комнату. Странно было убранство таинственнаго жилища; вездѣ валялись людскіе черепы и кости, на креслахъ сидѣла неподвижная красавица и странными глазами смотрѣла на черную доску, на которой красною краской начерчены были непонятныя письмена. Въ этой комнатѣ было три очага и множество разныхъ орудій, стекла, посуды и проч. Сѣрный, удушливый запахъ охватилъ Эрика еще на порогѣ и навелъ на него чувство опасенія и любопытства.

— «Не горитъ ли тутъ что́?» спросилъ Эрикъ.

— «Горѣло! И все сгоритъ!»

— «Кромѣ души человѣка.»

Густавъ вздрогнулъ и дико посмотрѣлъ на гостя. Глубокая задумчивость разлилась по лицу хозяина, и Эрикъ имѣлъ все время разсматривать убранство комнаты на покоѣ.

— «Кто эта красавица?» наконецъ спросилъ онъ. Густавъ будто проснулся отъ громоваго удара, поспѣшно схватилъ покрывало и накинулъ на красавицу.

— «Не твое дѣло!» Между-тѣмъ говорилъ онъ: «Я привяжу ея душу къ этому тѣлу, и если она не сдастся — обѣ умрутъ вмѣстѣ.»

Эрикъ не удивлялся дикости рѣчей Густава, но предметы, его окружавшіе, поселили въ немъ опасенія, а послѣднія слова заставили вздрогнуть.

— «Кто онъ?» спросилъ онъ съ трепетомъ.

— «Не твое дѣло! Давай учиться! Исполнимъ свято нашъ договоръ. Я буду учить тебя, ты не приближайся къ дому баронессы. Учить! Съ чего начать, чему учить! Все не такъ, какъ въ книгахъ! Ты по узкой, обрывистой тропинкѣ станешь спускаться въ бездну, на каждомъ шагѣ будешь спотыкаться о камни сомнѣній, дно бездны всегда будетъ стоять передъ тобой такъ плоско, такъ близко, что покажется будто въ одинъ прыжокъ, ты ужъ и на немъ, а между тѣмъ неправда: оно все уходитъ, уходитъ, пока ноги твои не обольются кровью; холодный потъ не истощитъ послѣднихъ силъ твоихъ; онѣмѣютъ члены; ты падешь подъ тяжестью трудовъ; проснешь-

ся — и увидишь, что ты опять на верху, бездна опять подъ тобою; ты сходилъ туда будто во снѣ — вотъ твоя наука!»

— «Однако же есть на свѣтѣ ученые люди; они знаютъ...»

— «Что́ они знаютъ? Они знаютъ политику, исторію, математику, физику, элоквенцію и логику, они говорятъ по-гречески, по-еврейски, и все-таки не знаютъ ничего. Всѣ эти пути ведутъ въ разныя стороны. Познаніе природы пріобрѣтается дорого́ю цѣною; жертва не сто́итъ покупки.»

Густавъ остановился и задумался. Эрикъ также размышлялъ о содержаніи рѣчей Густава, но не могъ понять ихъ тайнаго смысла. Въ этомъ молчаливомъ состояніи пробыли оба не малое время; крикъ пѣтуха разбудилъ обоихъ.

— «Трудное время миновалось!» сказалъ Густавъ со вздохомъ. «Давай учиться, чему учатся въ нашей академіи, что́ необходимо для депозиціи.»

И взявъ за руку Эрика, усадилъ его за столъ и начались уроки; каждую ночь послѣ полуночи Эрикъ являлся къ своему странному учителю; но тотъ принималъ его уже не въ лабораторіи, но въ чистой, опрятной комнатѣ, гдѣ только и было что столъ, два стула, да книга́, по которой Эрикъ учился. Густавъ не могъ не удивляться изумительно быстрымъ успѣхамъ ученика. Эрикъ глоталъ знанія; жажда ученія сама себя разжигала. Всю душу его раздѣлили между собой мысль объ Августѣ и наука; на кораблѣ, братья и товарищи

не могли узнать своего хозяина; товары лежали непроданными; Гальціона требовала починокъ; Эрикъ о ней и слушать не хотѣлъ; запершись въ каютѣ, онъ читалъ, читалъ, а бѣдный Фабіанъ скучалъ и тосковалъ по баронессѣ, приставалъ къ брату, чтобы пойти посѣтить барона, доказывалъ какъ неучтиво пренебрегать приглашеніями людей; ни что не могло не только поколебать Эрика, но даже выманить у него хотя одно отвѣтное слово. И баронессѣ больно хотѣлось видѣть красавца матроса, но Густавъ увѣрилъ ее, что новые знакомцы съ кораблемъ своимъ неизвѣстно куда уѣхали. Слѣдственно, никто не нарушалъ покоя, необходимаго для ученія. Между тѣмъ быстро приближалась злая финляндская зима. Гальціону разснастили; товары перевезли въ новый домъ Эрика, который онъ нанялъ не въ дальнемъ разстояніи отъ дома учителя. Фабіанъ утѣшился знакомствомъ съ миловидной сосѣдкой; Карлъ отъ скуки также отъискалъ себѣ подругу, а Эрикъ учился, и въ одну зиму совершенно приготовился къ депозиціи. Наступилъ и день этой странной церемоніи. Въ городѣ съ утра было замѣтно необыкновенное движеніе; на улицѣ, по которой должна была проходить процессія, не смотря на свѣжесть весенняго воздуха, всѣ окна были раскрыты, и вмѣщали прелестныхъ зрительницъ. Новички между тѣмъ собрались къ депозитору, начальнику церемоніи. Первый явился Эрикъ. Депозиторъ еще приготовлялся къ своему дѣлу, то есть, пилъ добрую водку и закусывалъ салакушкой. Въ рукахъ у него тор-

чалъ огромный коржъ чернаго хлѣба, испеченнаго прошедшею осенью.

— «Bene!» сказалъ онъ, увидѣвъ Эрика. «Quid tecum habetur?» то есть, что́ съ тобою имѣется. Эрикъ почтительно вынулъ кусокъ чернаго сукна и положилъ на столъ; назначенный для подарковъ. Депозиторъ не получалъ жалованья, а существовалъ на счетъ добровольныхъ приношеній отъ поступившихъ въ академію студентовъ.

— «Vivat magnificus! Doctorem te esse juvat!» воскликнулъ онъ, увидавъ столь значительный и необходимый для его гардероба подарокъ.—«Dignus! Dignissimus!» продолжалъ онъ, наливая полный кубокъ водки. — «Bibendum est!» прибавилъ онъ торжественно и подалъ водку ученику. Эрикъ выпилъ душкомъ, сказавъ: «Gratias ago!»

— «Optime! Ну, постой же, голубчикъ, за твою щедрость я тебѣ такъ испачкаю рожу, что она будетъ чернѣе твоего сукна. Садись!»

Эрикъ сѣлъ, а депозиторъ принесъ огромную жестянку съ сажей и, дѣйствительно, красивое лицо Эрика въ одно мгновеніе стало чернѣе сукна; во рту у него очутились огромные кабаньи клыки; поверхъ опрятнаго новаго кафтана, на плечахъ Эрика очутился какой-то балахонъ изъ разноцвѣтныхъ лоскутьевъ, на головѣ шапка съ ослиными ушами и рогами...

«Vade in alteram officinam!»

И Эрикъ безмолвно повиновался. Перешелъ въ другую комнату, куда одинъ за другимъ собрались всѣ новички, распачканные и одѣтые въ такомъ

же родѣ. Съ послѣднимъ вошелъ и самъ депозиторъ, съ огромною аллебардой въ рукахъ.

— «Ite! Tendite!» воскликнулъ онъ; чухонка отворила дверь на крыльце и весь маскарадъ двинулся въ путь. Депозиторъ шелъ сзади и размахивалъ своею аллебардой, причемъ иногда доставалось нѣкоторымъ изъ стада, особенно тѣмъ, которые принесли неважные подарки. Стадо, видно, чувствовало свое безобразіе и силу руки пастыря и не шло, а бѣжало по улицѣ; общій хохотъ провожалъ ихъ, но это было ничто въ сравненіи съ муками, которыя ихъ ожидали въ академической большой залѣ. Тамъ, въ парадномъ нарядѣ, сидѣли всѣ члены академіи съ подобающею мѣсту и сану ихъ важностью; толпа посѣтителей окружала то мѣсто, куда депозиторъ уставилъ новичковъ въ кружокъ и равнялъ ихъ своею аллебардой. Уставивъ всѣхъ, депозиторъ сталъ корчить имъ разныя рожи, которыя всѣ были хуже его натуральной физіономіи, а эта физіономія была прескверная, присѣдалъ, хохоталъ, словомъ, такъ хорошо осмѣивалъ ихъ невѣжество, что новички не знали куда дѣваться, а публика помирала со смѣха. Затѣмъ депозиторъ приступилъ къ рѣчи, которую помѣщаемъ въ переводѣ. «Дурни, болваны. Сія аллебарда изъ вашихъ гранитныхъ туловищъ истешетъ людей! Зачѣмъ вы сюда пришли, безобразныя чудовища? А? Зачѣмъ? Что́ же ты не отвѣчаешь, осля! Клыки мѣшаютъ! Видишь, какія колья выростилъ! Вотъ я тебя!»

И тутъ не было только одной угрозы. Нѣтъ; ал-

лебарда прикасалась къ спинѣ любаго ученика съ нѣкоторою силою, и, само собою разумѣется, любила спину тѣхъ, которыхъ не любилъ депозиторъ.

— «Ты думаешь, осля, что я у тебя не вырву твоихъ пороковъ, не сотру твоихъ роговъ невѣжества, не обрѣжу ушей твоей глупости. Постой, погоди! Есть у меня свои инструменты, я тебя преобразую...»

И депозиторъ отдавалъ аллебарду, а самъ огромными щипцами, обыкновенно тѣхъ, которые не угодили подарочкомъ, хваталъ за горло, сваливалъ на земь и вырывалъ клыки.

— «Такъ дѣйствуетъ мать-наука! Долой клыки! Долой рога и уши! А ты что́ изгорбился? Видишь, какъ невѣжество разрослось на твоей глупой спинѣ. Постой, я тебя выровняю!»

Депозиторъ бросалъ щипцы, вынималъ стругъ и стругалъ на полу лежавшаго ученика, поддѣлываясь голосомъ подъ шумъ струга. Это дѣйствіе производило самый значительный эффектъ. Публика, въ восторгѣ, рукоплескала и кричала: «браво!» Но всѣхъ обычаевъ, всѣхъ мучительствъ депозиціи не опишешь; въ заключеніе, депозитору подавали воду ведрами и онъ окачивалъ и умывалъ каждаго и вытиралъ лице жесткою тряпкой.

— «Что́, нелюбо?» спросилъ онъ, вытирая такимъ полотенцемъ Эрика. «Э, братъ, наука жестка; за то послѣ усладитъ жизнь твою. Это я говорю по опыту. Liberus Academiae studiosus!» воскликнулъ депозиторъ въ заключеніе и подвелъ Эрика къ членамъ консисторіи. Церемонія кончи-

лась и Эрикъ съ гордостью возвратился домой; студентъ Аураической Академіи, онъ могъ уже смѣло явиться въ самый знатный домъ, не только въ Финляндіи, но и во всей Швеціи. Теперь уже никому не было дѣла до его происхожденія и рода. Со временъ ученой Христины, уваженіе къ наукамъ во всей Швеціи достигло высокой степени. Все это очень хорошо зналъ Эрикъ и почиталъ себя въ правѣ явиться почетнымъ гостемъ въ замокъ Кивинербъ. И самое время тому благопріятствовало. Майское солнце огрѣвало гранитные берега моря и ледъ уходилъ Богъ знаетъ куда; изрѣдка только можно было встрѣтить кочующую льдину, заблудшую въ этомъ лабиринтѣ островов и камней. Хотя тотчасъ послѣ пріема въ студенты назначался для новичковъ родъ искуса, такъ-называемаго, пенализма, то есть, шесть мѣсяцевъ поступившіе въ университетъ должны были служить старымъ студентамъ, но какъ Эрикъ попалъ въ прислугу Густава Малинотуса, то само собою разумѣется, что у такого господина слугѣ рѣшительно нечего было дѣлать и Эрикъ сталъ собираться въ путь. На Гальціонѣ дѣятельность воскресла; корабль починили и оснастили въ нѣсколько дней, и въ первое воскресенье располагали отправиться на Римито. Наступило и воскресенье. Братья уже шли на пристань, но необыкновенное по улицамъ движеніе народа ихъ удержало. Въ особенности бѣгали и хлопотали Шведы; напротивъ того, Финны съ улыбкою проходили по улицамъ смирно и перешептывались очень покойно. Недалеко отъ пристани, на площади, гдѣ

обыкновенно собирались шкипера и лоцмана́ и уговаривались съ купцами, народъ стоялъ толпами; издали еще можно было отличать кружки шведскіе отъ финнскихъ: первые оглушительно шумѣли, послѣдніе бесѣдовали тихо. Эрикъ и его братья подошли къ своимъ непримѣтно и стали участниками покойнаго разговора.

— «Чего они глотку дерутъ!» говорилъ опрятно одѣтый Финнъ, который въ сапожномъ цехѣ занималъ мѣсто старшины. «Не бойся, они не такъ кричали, когда узнали, что Карлъ вступилъ въ русскую землю. Что́ же тутъ худаго? размѣнялись посѣщеніями. Русскій царь подъ Выборгомъ, прійдетъ и въ нашъ городъ.»

— «И шведскія таможни вылетъ въ море, пусть они тамъ рыбу удятъ, а не послѣднюю деньгу изъ финнскаго кармана. Мой своякъ изъ Вильманстранда снарядился ко мнѣ въ гости; взялъ для всей моей семьи шесть подарковъ; вѣдь одно царство; чего бояться — поѣхалъ; въ шести мѣстахъ остановили; въ каждомъ отобрали по одному подарочку; своякъ пріѣхалъ въ гости, да безъ гостинцевъ. Сталъ-было жаловаться. Ахъ ты, рыжій Финнъ, негодяй! Вотъ выдумалъ! На Шведовъ жаловаться. Возьми свою суплику назадъ и проваливай, а не то спиной поплатишься.»

— «Да, вотъ и со мной хорошъ былъ случай. Стоялъ я съ своимъ суденышкомъ на рейдѣ; привели плѣнныхъ, казенныхъ судовъ было много; да что́ своихъ безпокоить; посадили Русскихъ на мое, приказали въ Стокгольмъ ѣхать: я было-доказы-

вать, что несправедливо. Ту же пѣсню пропѣли, что̀ твоему свояку, да припугнули такъ, что я скорѣй ну паруса поднимать, да якорь вытаскивать. Отвезъ, хоть бы талеръ заплатили. Я вотъ теперь только и жду, чтобы вѣтеръ сталъ покрѣпче; улизну въ открытое море.»

— «Да и надо спѣшить, товарищъ! Помнишь въ прошломъ году, сколько нашихъ моряковъ похватали въ солдаты; сами, не бойсь, не пошли. Видишь, имъ нѣкогда, финскою землей заправляютъ. И такъ на нашихъ скалахъ немного народу водилось; а теперь въ иной округѣ только овецъ встрѣтишь и тѣ безъ пастуховъ: весь людъ на войну угнали.»

— «И на судѣ финнское слово нынче ничего не сто̀итъ. Нѣтъ такой тяжбы у Шведа съ Финномъ, чтобы Шведъ не выигралъ. Видишь, судья одинъ всегда изъ нашихъ, да на одного нашего двое Шведовъ. Поди, тягайся! Такъ теперь только молчать надо, пусть говорятъ за насъ русскія пушки.»

— «Спрячь твое слово, товарищъ! Много ушей шведскихъ въ Або, да и своихъ остерегайся. Нынче, чуть Финнъ годокъ другой у Шведа прослужитъ, тотъ же Шведъ станетъ, а пуще тѣ, что̀ побогаче; тѣ языка и стороны своей стыдятся. Вотъ тебѣ и договорились. Глядите, военный народъ идетъ, ужъ не безъ того, чтобы кого изъ нашихъ не захватили.»

И подозрительно оглядываясь, Финны поспѣшили къ пристани и на утлыхъ лодкахъ старались по-

скорѣе выйти въ море; на веслахъ это было сдѣлать нетрудно, но съ парусными большими судами возни много. И на Гальціонѣ не успѣли еще вытащить якорь, какъ къ кораблю уже пріѣхала лодка и привезла шведскаго офицера.

— «Опусти трапъ,» кричалъ онъ.

— «Зачѣмъ?» спросилъ Эрикъ съ гордостью.

— «Не твое дѣло! Ты гляди въ свои книги, черный жукъ; мнѣ тебя не надо. Зови шкипера.»

— «Я самъ шкиперъ.»

— «Ну, такъ опускай трапъ, а то мнѣ некогда.»

— «И мнѣ тоже. Я также спѣшу.»

— «Эй, гляди, болванъ! Теперь военное время. Разстрѣляютъ.»

— «Да объяви, что́ ты отъ меня хочешь? Что́ тебѣ надо на моемъ кораблѣ?

— «Мѣста. Ты долженъ отвезти меня на Римито.»

— «Не долженъ.»

— «Эй, гляди, не разсуждай много. Полковникъ баронъ Кивинербъ возьметъ твое судно на абордажъ и тогда...»

— «Кивинербъ! Трапъ, трапъ!» кричалъ Эрикъ, не слушая угрозъ незванаго гостя. Полковникъ не могъ понять причины ни такого оборота въ пріемѣ, ни радости Эрика. Съ изумленіемъ онъ смотрѣлъ на всѣ учтивости радушнаго хозяина, на поспѣшность, съ которою подымали паруса и старались поскорѣе выйти изъ гавани; уже далече отъ Або, онъ рѣшился обратить рѣчь къ Эрику.

— «Послушай, жукъ! Ты меня знаешь, что ли?»

— «По имени только, благородный баронъ!» отвѣчалъ Эрикъ смѣшавшись. «Вы спѣшите домой, въ свой прекрасный замокъ, къ прекрасной супругѣ и...»

— «Да, любезный!» отвѣчалъ баронъ разсѣянно, съ примѣтною грустью. «Я надѣялся или... воротиться или пріѣхать побѣдителемъ.»

Баронъ горько улыбнулся.

— «Что жъ? хоть не въ плѣну, и за то надо благодарить Бога.»

— «Хуже, любезный, хуже! Я отпущенъ на аккордъ! Я далъ слово не сражаться съ побѣдителями моего короля! Но слухи... Я не могъ иначе сдѣлать.»

— «Уважаю ваши тайны, баронъ, но не понимаю, какіе слухи могли возмутить ваше спокойствіе. На Римѣ то все спокойно попрежнему.»

— «Да, у камней и волнъ, а не у людей! Я боюсь и возвратиться на островъ. Бѣдная Августа! Но ужъ если мнѣ удастся отъискать этого колдуна, я его изуродую. Сабля моя въ послѣдній разъ погуляетъ на его смоленой фигурѣ. Оскорбленіе дома можно еще очистить даже судомъ—но чары... О, я его! я его!«

И баронъ былъ внѣ себя. Эрикъ былъ пораженъ этимъ разговоромъ, но благоразуміе совѣтовало не продолжать бесѣды, и Эрикъ въ сильномъ волненіи отвернулся.

— «Жукъ! Ты бывалъ на нашемъ берегу?»

— «Бывалъ.»

— «Видѣлъ жену и дочь?»

— «Видѣлъ.»

— «Что же Августа? Больна, исхудала...»

— «Больна! исхудала! Что вы говорите! И году нѣтъ! О, Боже мой, Боже! Зачѣмъ не я радостно снялъ бы я на себя недуги всего человѣчества за дорогое здоровье.»

— «Что это значитъ, жукъ?»

Эрикъ опомнился, но уже поздно. Тайна вырвалась. Нельзя было запираться.

— «Что значитъ? Ничего не значитъ, или лучше сказать правду, что я обожаю Августу, люблю ее больше жизни и смѣю думать...»

— «Что ты смѣешь думать, моль дрянная! Что ты смѣешь...»

— «Думать, что и она меня любитъ.»

— «Убью и тебя и ее! Я назначилъ ей жениха. Отилія не умѣла управиться съ ребенкомъ. Я не воскъ, не игрушка, а этотъ матросишка, этотъ моржъ, этотъ...»

— «Тише, баронъ! Этотъ моржъ передъ вами, и вы въ моей власти.»

— «Ты! О, какая радость!.. Ты...»

Баронъ злобно улыбнулся и замолкъ; но эта злобная улыбка не переставала пробѣгать по устамъ исковерканнымъ и сабельнымъ ударомъ и надеждою близкой мести. Показались башни замка, тамъ и берегъ, ближе, ближе, на пристани примѣтны стали люди; радость барона возрастала; онъ съ адскимъ удовольствіемъ поглядывалъ на Эрика, но тотъ отвѣчалъ ему мрачными и гордыми взгля-

дами, и какъ только завидѣлъ баркасъ зажа, закричалъ:

— «Заряжай пушки и ружья!»

— «Зачѣмъ?» спросилъ баронъ.

— «Мое дѣло. Подайте мнѣ саблю и пистолеты. Подымите флагъ Гальціоны.»

Флагъ былъ поднятъ въ то самое время, когда корабль, повернувъ, тихо приближался къ пристани. На берегу толпа заволновалась, и баронъ и Эрикъ оба узнали, что причиною этого волненія была Августа. Увидавъ Гальціону, она бросилась къ берегу; мгновеніе и она бы упала въ море, но Отилія, баронъ Наварбэ и слуги успѣли удержать ее; обморокъ, непритворный и сильный, оковалъ Августу — но вотъ была перекинута лѣстница на пристань. Баронъ и Эрикъ оба стояли у выхода и каждый указывалъ рукою на холодную, бездыханную дѣвушку.

— «Ступай, жестокій отецъ!» наконецъ сказалъ Эрикъ: «наслаждайся плодами твоей неумѣстной гордости! Прости навѣки...»

— «Эй, люди, сюда! Схватите этого бездѣльника!»

— «Милости просимъ! Ну, что же вы! Ступайте, я васъ жду, баронъ, и васъ тоже!»

— «О, если такъ...» и баронъ, обнаживъ саблю, бросился на Эрика, но по мановенію капитана, товарищи въ одно мгновеніе обезоружили и высадили барона на берегъ.

— «Долой лѣстницу! прибавь парусовъ!»

И Гальціона тихо стала удаляться отъ берега. Эрикъ стоялъ на палубѣ, сложивъ на груди руки

и въ глубокой горести глядѣлъ на мраморную Августу, около которой все-еще хлопотали люди; но замѣтивъ въ толпѣ Наварбэ, Эрикъ вспыхнулъ, руки съ сжатыми кулаками поднялись вверхъ.

— «Баронъ Наварбэ!» закричалъ онъ не своимъ голосомъ: «я жду тебя въ Або!»

Голосъ Эрика возвратилъ чувства Августѣ.

— «Эрикъ! Эрикъ!» закричала она.

— «Августа!..»

— «Я твоя, Эрикъ!»

— «Я твой до гроба!»

— «Приходи за мной, Эрикъ!»

— «Приду, до свиданія!!..»

IV.

Баронесса Наварбэ, съ своими обыкновенными собесѣдниками, сидѣла въ той же бѣдной комнатѣ и утѣшалась шутками нашего знакомаго Гунорамуса; Густавъ Малинотусъ сидѣлъ въ углу попрежнему и наводилъ свои баттареи на сердце Ульрики; однимъ словомъ, все было точно такъ же, какъ за годъ передъ тѣмъ; вдругъ двери отворились и вошелъ жукъ, но не тотъ жукъ, о которомъ вы думаете, а просто магистратскій чиновникъ, съ двумя полицейскими приставами.

— «Именемъ короля и сената,» возразилъ онъ съ магистратскою важностью: «кто не принадлежитъ къ дому сему, удалися!»

— «Что такое?» воскликнула баронесса. «Я дома одна, барона нѣтъ.»

— «За нимъ послано. А вы, господа, извольте уйти, вамъ тутъ не мѣсто.»

— «Что случилось?» спросила баронесса, дрожа всѣмъ тѣломъ.

— «Дѣло самое обыкновенное, баронесса! Кто не имѣетъ денегъ, беретъ въ займы; кто даетъ на срокъ, послѣ срока требуетъ свою собственность; а если у плательщика нѣтъ наличныхъ, онъ платитъ своею личностью.»

— «Я васъ не понимаю, достойный сановникъ...»

— «Да вамъ и понимать незачѣмъ: господа пристава опишутъ и опечатаютъ имущество, барона привезутъ и отведутъ квартиру на счетъ города; все совершится какъ слѣдуетъ въ силу законовъ, безъ малѣйшаго шума и неудовольствія.»

— «А велика ли сумма?»

— «Бездѣлица, съ процентами не наберется еще тысячи ефимковъ.»

— «Кому же долженъ мой братъ?»

— «Лицу незначительному; онъ былъ еще недавно простой матросскій сынъ, звали его Эрикомъ, другаго прозвища у него не было, теперь онъ студіозусъ академіи и прозывается не просто Эрикомъ, а еще Сильванусомъ.»

Ульрика затрепетала. Ей легко было догадаться, что страшный заимодавецъ — былъ минутный гость ихъ, который въ самую короткую бесѣду умѣлъ произвести на нее такое сильное впечатлѣніе.

— «Такъ Эрикъ здѣсь?» спросила она нетвердымъ голосомъ: «онъ возвратился.»

— «Откуда? Да онъ никуда и не ѣздилъ. Онъ

все время учился въ академіи. Профессора отзываются о немъ какъ о чудѣ, дивномъ явленіи природы; успѣхи его въ наукахъ невѣроятны.»

Досадно стало Ульрикѣ, что она была игрушкой Малинотуса, и вмѣстѣ любопытно видѣть ученаго красавца. На что́ не рѣшится страстная женщина; чего не придумаетъ кипящее воображеніе красавицы?

— «Вы говорите,» перебила она: «что не будетъ и тысячи ефимковъ. Изъ такихъ пустяковъ затѣваете судебное дѣло, приходите нарушать спокойствіе дома! Попросите этого матроса пожаловать ко мнѣ, сейчасъ же, и если угодно, я ему отдамъ деньги.»

Достойный чиновникъ, которому было очень хорошо извѣстно положеніе дѣлъ дома Наварбэ, совершенно смутился. Онъ не могъ противорѣчить. По законамъ Ульрика имѣла право требовать трехдневной отсрочки, а тутъ она вызывалась заплатить сейчасъ, на мѣстѣ. Чиновникъ пробормоталъ прощальное слово и удалился. Въ сильномъ волненіи прогуливалась Ульрика по комнатѣ, безпрестанно прислушиваясь, не идетъ ли Эрикъ. Наконецъ дослушалась. Эрикъ вошелъ и Ульрика смутилась.

— «Что́ вамъ угодно?» спросила она дрожащимъ голосомъ.

— «Что́ вамъ отъ меня угодно, баронесса?»

— «Да! Братъ мой вамъ долженъ...»

— «Долженъ.»

— «И вы хотите...»

— «Хочу моихъ денегъ.»

— «Умилосердись, Эрикъ! Нашъ домъ подвергнется стыду; моего брата станутъ таскать изъ суда въ судъ, тогда какъ черезъ мѣсяцъ, не больше, онъ будетъ богатъ и заплатитъ вамъ вдвое. Вы развѣ не знаете, что онъ женится! Это уже рѣшено. Августа Кивинербъ единственная наслѣдница.»

— «Сказки, баронесса! Онъ не женится! Я не дамъ жениться! Вы сказали уже все?»

На всѣ убѣжденія и мольбы Ульрики, Эрикъ отвѣчалъ съ тою же холодностью; напрасно она красовалась на всѣ возможные лады; перемѣшивала слезы съ умилительными улыбками, ни что̀ не помогло. Эрикъ не понималъ, а можетъ-быть и не хотѣлъ понять, къ чему Ульрика направляла свою обольстительную бесѣду. Въ бѣшенствѣ оставилъ онъ Армиду; страсть, не находя пищи, перемѣняетъ огонь свой, и любовь охватило пламя мщенія. Какъ нарочно, любопытство ли или другое чувство привело Густава на помощь Ульрикѣ.

— «А!» возопила она: «такъ онъ уѣхалъ! Пропалъ! Утонулъ! А?»

Малинотусъ поблѣднѣлъ.

— «Онъ живъ, но я желала бы, чтобы онъ умеръ въ позорѣ, передъ цѣлымъ народомъ.»

— «За что̀ такая ненависть, баронесса?»

— «За то, за то... что онъ хочетъ опозорить нашъ домъ; требуетъ денегъ; не внемлетъ моимъ убѣжденіямъ, презираетъ меня...»

Съ послѣдними словами брызнули жаркія слезы.

Баронесса была чудно хороша; у Малинотуса голова кругомъ пошла...

— «Вы просили, Эрика?»

— «Умолила.»

— «Вы... Онъ... былъ здѣсь.»

— «Вотъ на этомъ мѣстѣ...»

— «Измѣнникъ! Извергъ! Воръ! О, располагайте моею рукою. Хотите, я готовъ зарѣзать, отравить. Довольно! Я не могу болѣе таить того, что во мнѣ такъ долго творится! Я и такъ ужъ истомился. Баронесса! Я люблю васъ, люблю безумно, отчаянно... Я умираю, задыхаюсь отъ страсти.»

— «Перестань, Густавъ, ребячиться!» сказала баронесса такъ спокойно, какъ-будто на веселой прогулкѣ услышала нечаянное признаніе уличнаго волокиты. «Подумаемъ лучше,» продолжала она покойно: «какъ спасти брата, какъ наказать мальчишку. Онъ чудо въ академіи; успѣхи его въ наукахъ невѣроятны. Посмотримъ, устоитъ ли его школьная мудрость противъ женщины. Я еще не теряю надежды побѣдить этого школьника.»

— «Побѣдить! Баронесса, не доведите и меня до отчаянія; не пренебрегайте и средствами Малинотуса. Знайте, что я пойду къ моему сопернику въ слуги. Я готовъ на все. Я васъ люблю безумно, баронесса.»

— «На все!»

— «На все! Дивная мысль посѣтила меня! Я могу погубить Эрика въ день, въ часъ, сію минуту... Отъ моихъ обвиненій онъ не отдѣлается.

Хотите — и черезъ часъ не баронъ, а Эрикъ будетъ сидѣть въ тюрьмѣ, черезъ недѣлю — его не станетъ, по суду, по законамъ. Хотите!»

— «Хочу!» не безъ трепета сказала Ульрика.

— «Но за эту услугу...»

— «Исполни, а тогда уже...»

— «Что тогда? Что Ульрика? Неужели въ сердцѣ твоемъ нѣтъ ужъ и жалости къ моимъ страданіямъ.»

Ульрика протянула руку, и Густавъ жаркими устами прильнулъ къ прекрасной ручкѣ.

— «Опомнись, Густавъ!... За дѣло!.. Не то черные нарушатъ нашу бесѣду, спокойствіе и честь дома Наварбэ...»

— «Прости, волшебница! Ты услышишь, что можетъ выдумать и исполнить настоящая любовь! До свиданія!...»

V.

Въ красивой комнатѣ, убранной книгами, различными учебными пособіями и коврами сидѣли три брата. Фабіанъ съ Карломъ играли въ шахматы; Эрикъ былъ погруженъ въ чтеніе огромной рукописи, ветхой, истертой и блѣдно-рыжаго письма. «Вздоръ», повторялъ онъ весьма часто: «Пустяки! Этого быть не можетъ.» Наконецъ расхохотался.

— «Что тамъ такое, разскажи, Эрикъ,» отозвался Карлъ.

— «И разсказывать стыдно, не только писать.»

людей вырвать и на рукахъ унести взрослаго мужчину. Несли его двое. Нечистый и его рабъ Эрикъ Сильванусъ. Далѣе, сопернику никто не даетъ денегъ въ займы, и соперникъ у соперника денегъ не возьметъ. Росписка барона Наварбэ писана въ аду. Наконецъ найдены явныя улики; черныя книги разнаго рода.

Эрикъ. Одна только — и то глупыя сказки, которыя я купилъ случайно на рынкѣ у одного бѣдняка за бездѣлицу.

Эоніусъ. Не одна, а цѣлый коробъ найденъ въ твоей кухнѣ подъ печкой, гдѣ обитало семейство кошекъ, звѣрей, какъ извѣстно, служащихъ дьяволу и приверженцамъ его. По моему мнѣнію, столь явныя обвиненія не подлежатъ верификаціи. Эрикъ Сильванусъ подвиженъ смерти.

Профессоръ Кевасъ. Признаюсь, что я не вижу доказательствъ.

Всѣ. Явныя, явныя!

Эоніусъ. Притомъ же Финны весьма падки на чернокнижничество. Должно сильными примѣрами отучить народъ отъ этого грѣха. Вы, почтенный собратъ, сами вѣрите въ разныя привидѣнія и только потому, что и наука не разрушила въ васъ элементовъ финской натуры.

Кевасъ. Почтенный собратъ! Не смотря на то, что я Финнъ, но осмѣлюсь сказать публично, что всѣ разсказы о чернокнижничествѣ признаю нелѣпостью, которая оскорбляетъ религію и просвѣщеніе. Точно такое же мнѣніе имѣю и объ арестѣ студіоза Сильванусa, котораго знаю какъ

скромнаго юношу и прилежнаго ученика. Успѣхи его въ наукахъ...

Эоніусъ. И доказываютъ связь его съ преисподнимъ свѣтомъ. Могъ ли бы Финнъ, безъ этой помощи, такъ быстро подвизаться на ученомъ поприщѣ?

Кевасъ. Я опасаюсь вашей горячности, господа! Такъ вы этакъ и меня пожалуете въ чернокнижники.

Проканцлеръ. Оставьте споры личные! Что́ же намъ дѣлать съ Сильванусомъ?

Эоніусъ. Сжечь публично.

Кевасъ. Отпустить.

Прочіе. Подвергнуть дѣйствительнымъ разспросамъ на основаніи законовъ.

Проканцлеръ. Вотъ это мнѣніе основательно.

И Сильвануса отвели въ темницу, приковали къ прежнему мѣсту и заперли, а консисторія отправилась завтракать къ проканцлеру.

Того же вечера съ ужасными испытателями явился Эоніусъ въ темницу.

Всѣ фанатики ужасны, но всѣхъ ужаснѣе фанатики ученые. Эоніусъ, какъ только вошелъ въ темницу съ страшными спутниками, съ осторожностью, сталъ приближаться къ узнику, шепотомъ повторяя различныя заклинанія, какія прошедшій семнадцатый вѣкъ съ своими предшественниками придумалъ противъ чернокнижниковъ и разнаго рода и масти колдуновъ. Эоніусъ вѣрилъ силѣ этихъ заклинаній, потому что какъ только истощилъ весь запасъ этихъ нравственныхъ талисма-

новъ, съ неистовствомъ бросился на Эрика, не убоялся схватить его за руку и возопилъ страшнымъ голосомъ пополамъ по-шведски и по-латыни.

— «Monstrum! Чудовище! Consummatum est! Погибнешь отъ огня геенны! Кайся, грѣшникъ, облей слезами страшное твое преступленіе! Готовься къ суду небесному; отъ земнаго не спасутъ тебя никакія волхвованія!.. Слышишь, готовятъ уже для твоего прокаженнаго тѣла кузницу; изженутъ изъ тебя духа нечистаго огнемъ и желѣзомъ. Ну, что же? Каешься!»

— «Смѣюсь надъ твоимъ безуміемъ, Pater Eonius!»

— «Ахъ ты, рыжій колдунишка, финнская вѣдьма въ честномъ образѣ студіоза! Палачи! Сюда!»

Палачи было-подвинулись впередъ такъ же опасливо; какъ вдругъ на улицѣ раздался странный гулъ; какъ будто цѣлый городъ взволновался, что море и волны народныя шумя перебѣгали изъ улицы въ улицу; гулъ этотъ наводилъ ужасъ, особенно въ темницѣ, въ присутствіи такого злаго чародѣя, какъ Эрикъ.

— «Это его штуки!» сказалъ палачъ, дрожа всѣмъ тѣломъ. Довольно было этого замѣчанія. Насмѣшливая улыбка Эрика какъ-будто подтверждала догадку; палачи въ ужасѣ побросали свои орудія и бросились бѣжать. Эоніусъ остался, но не надолго; гулъ возрасталъ; Эрикъ хохоталъ отъ души; Эоніусъ выскочилъ въ корридоръ, забылъ даже запереть темницу, выбѣжалъ на улицу и ужасъ его возросъ еще болѣе отъ картины, ко-

торая представилась его глазамъ. Улицы были биткомъ набиты народомъ и солдатами На площади всѣ главные сановники, члены университета и почетные граждане окружали генерала Любенера; къ нимъ подошелъ и Эоніусъ.

— «Не затѣвайте, генералъ, этого страшнаго дѣла,» говорилъ вице-канцлеръ. «Умоляю васъ, отложите планъ, который уже распространилъ уныніе; недалеко и до отчаянія; Финны насъ терпятъ, но когда узнаютъ навѣрно, что мы хотимъ сжечь ихъ лучшій городъ, ихъ столицу — междоусобная война вспыхнетъ Насъ мало, а число Финновъ удвоитъ отчаяніе.»

— «Но неужели отдать Або Русскимъ безъ боя,» возразилъ генералъ.

— «Сразимся.»

— «Насъ побьютъ. Съ Русскими идетъ Голицынъ, левъ московскій, а Финны насъ не поддержатъ.»

— «О!» возопилъ Эоніусъ: «живыхъ выдадутъ Русскимъ.»

— «Выборгъ, Вильманстрандъ, Фридрихсгамъ, уже въ рукахъ ихъ. А послѣднія о нихъ вѣсти принесли курьеры изъ Гельсингфорса.»

Эоніусъ присѣлъ отъ ужаса.

— «Сжечь Або, сжечь!» запищалъ онъ: «нечего жалѣть измѣнниковъ.»

— «Умилосердитесь! Война какъ фортуна! То одному; то другому благопріятствуетъ. Зачѣмъ намъ жечь города?»

— «Все равно. Русскіе сожгутъ.»

— «Не сожгли же тѣхъ городовъ, что́ взяли; и если мы уступимъ Або безъ боя, я увѣренъ, что онъ будетъ цѣлъ и невредимъ.»

— «А соблазнъ добычи!»

— «Богатства увеземъ; теперь тма судовъ въ гавани. Прикажите вашимъ солдатамъ оцѣпить гавань, не допускать частныхъ людей спасать свои пожитки; прежде нагрузимъ суда коронным добромъ; а если останется мѣсто для частныхъ лицъ, пожалуй!»

— «Вы подали, проканцлеръ, премудрый совѣтъ. Раньше трехъ дней ожидать гостей трудно.»

— «Трехъ дней!» сквозь зубы пробормоталъ Эоніусъ. «Довольно времени, чтобы сжечь этого чернокнижника!»

И Эоніусъ отправился хлопотать о приготовленіяхъ къ рѣшительной битвѣ съ приверженцемъ преисподняго міра. Первый день прошелъ въ ужасной суматохѣ; коронное добро, книги, архивы, казну, украшенія церковныя, перетаскивали на купеческіе корабли со всѣхъ сторонъ; сановники, хранители короннаго добра успѣли сохранить и свое. Граждане изъ Шведовъ напрасно старались пробраться въ гавань и нагрузить корабли, даже собственные, женами, дочерьми и пожитками. Солдаты ихъ не пропускали, отъ чего надъ Або стоялъ вопль будто шатеръ какой, а Финны хладнокровно глядѣли на шведскіе сборы, даже не улыбались, чтобы не обнаружить что̀ дѣлалось на душѣ ихъ, сохраняя наружную безпечность, тайно они слѣдили за каждымъ движеніемъ Шведовъ, опасаясь,

чтобы планъ Любенера не осуществился отъ усердія бѣглецовъ. Одинъ Эоніусъ не думалъ о своихъ пожиткахъ и продолжалъ хлопотать по своему дѣлу. Страшный планъ свой сообщилъ онъ только одному депозитору, но тотъ, погладивъ свою суконную щегольскую мантію, рѣшительно отказался содѣйствовать профессору. Эоніусъ сталъ подчивать несговорчиваго и съ помощью разныхъ настоекъ и наливокъ убѣдилъ депозитора. Пошли приготовленія, и утромъ третьяго дня, когда въ Або не было уже, кромѣ Эоніуса, ни одного Шведа, на площади передъ ратушею изумленные жители увидали костеръ: вѣсть объ этихъ ужасахъ пронеслась по городу съ быстротою каждаго нелѣпаго слуха. Весь городъ стоялъ около костра и въ ближайшихъ улицахъ. Эоніусъ торжественно открылъ шествіе; за нимъ не безъ труда тащился съ аллебардой депозиторъ; такъ онъ былъ растроганъ профессорскими убѣжденіями; за депозиторомъ два пристава вели на цѣпяхъ истомленнаго голодомъ чародѣя. Не смотря на то, что каждую минуту ожидали Русскихъ, народъ съ удовольствіемъ смотрѣлъ на костеръ и колдуна; осыпалъ его проклятіями, хвалилъ ревность Эоніуса. Эрика возвели на костеръ а Эоніусъ, ставъ на возвышеніе, нарочно приготовленное, возгласилъ такъ:

— «Любезные сограждане! Не попустимъ безнаказно смѣяться надъ нами. Докажемъ свѣту, что ни бури военныя, ни смятенія городскія въ нашемъ любезномъ Або не удержатъ меча правосудія надъ головою окаяннаго преступника. Видите ли легіоны

демоновъ, около васъ блуждающіе; слышите ли топотъ ихъ ногъ, то есть, копытъ діавольскихъ; бьются въ злобѣ; слышите ли крики ихъ радости. О, ужасъ! Они стремятся на насъ; хотятъ вырвать изъ рукъ правосудія своего любимца! Стойте твердо! Это чары, чудища, привидѣнія, въ нихъ нѣтъ тѣла, то́ духи.»

Но уже никто не вѣрилъ Эоніусу; каждый различалъ ясно топотъ конскихъ копытъ, каждый узналъ русскихъ драгуновъ; толпа разбрызнулась и въ потокѣ своемъ унесла Эоніуса; площадь опустѣла; только на кострѣ стоялъ одинъ Эрикъ на колѣняхъ и, вознеся глаза къ небу, горячо молился.

— «По домамъ!» кричали драгуны и казаки, разгоняя бѣгущихъ. Вслѣдъ за ними на красивомъ конѣ показался рослый и довольно тучный всадникъ; его окружали офицеры разнаго ранга; за нимъ слѣдовала многочисленная конница; костеръ и незнакомецъ въ молитвѣ поразили его.

— «Это что́ за диво? Гаврилычъ, ты по-чухонски разумѣешь: поди-ка, разспроси, что́ за позорище.»

Дюжій конникъ, непринадлежавшій по костюму ни къ одному изъ тогдашнихъ конныхъ полковъ, подскакалъ къ костру, разспросилъ Эрика по-шведски и возвратясь сказалъ:

— «Доношу твоему княжескому сіятельству, что это молодой Финнъ. Шведы всклепали на него, будто онъ злой колдунъ и хотѣли поджарить, да вотъ, говоритъ, спасибо что проворно пришли;

не то не нашли бы и косточекъ, и золу бы вѣтромъ разнесло.»

— «Такъ что́ же ты, Гаврилычъ, не отпустилъ его. Мы нечистаго не боимся.»

— «Да его такъ желѣзными веревками скрутили, что безъ кузнеца ему и воли не будетъ.»

— «Ну, такъ изволь же, Гаврилычъ, какъ умѣешь, цѣпи распутать и ко мнѣ его на квартиру поставь: хочу на колдуна поглядѣть. Отродясь не видывалъ.»

Князь со свитой поѣхалъ дальше, а Гаврилычъ взялъ себѣ помощниковъ, освободилъ его и объявилъ волю князя.

— «Я счастливъ,» сказалъ Эрикъ: «что мнѣ позволяютъ поблагодарить словами моего освободителя; желалъ бы ему доказать мою благодарность на дѣлѣ.»

— «Да ужъ коли ты колдунъ,» сказалъ Гаврилычъ: «такъ многое можешь.»

— «Съ трудомъ могу идти. Отощалъ. Три дня безъ пищи!»

Гаврилычъ поглядѣлъ на него сомнительно и замоталъ головою.

— «Знаю,» продолжалъ Эрикъ: «что послѣ такого поста объѣдаться опасно, а все-таки еслибъ перекусить.»

— «Перекусить-то, братъ, нечего, а выпить, дѣло иное; я безъ питейнаго запаса ни шага не сдѣлаю; на-ка, братъ, походную чарку.»

И разговоръ и подчиванье все это шло по пути; Эрикъ хлѣбнулъ водки чуть-чуть и ободрился; у

дома, гдѣ отвели квартиру для покорителя Финляндіи, уже стояли, съ хлѣбомъ съ солью, почетные граждане изъ финляндскихъ уроженцевъ. Шведовъ и духа не было; а если которые не успѣли уйти, то скрывались на чердакахъ и сѣновалахъ. Князь съ похода переодѣвался, но и туадетъ у него походилъ на жизнь; живо, проворно, чисто — и гости недолго ждали князя. Двери отворились. Не безъ трепета въ пріемной комнатѣ у стѣнокъ расположились Финны; между ними и Эрикъ съ Гаврилычемъ. Къ удивленію абосскихъ жителей, князь вышелъ не въ военномъ мундирѣ, а въ блестящемъ парчевомъ кафтанѣ, въ огромномъ парикѣ, въ какихъ ходили при дворѣ принца Регента Орлеанскаго; на груди, въ сіяніи алмазовъ, покоился портретъ Петра Великаго. Не смотря на одежду мирную, все обличало въ князѣ мужа войны. Ему было лѣтъ подъ сорокъ; черныя брови и усы придавали много выразительности умному лицу; онъ былъ дороденъ, но дородство не препятствовало стройности его фигуры. Въ походкѣ не было умышленной важности; въ движеніяхъ разсчета. Молодцемъ князь вышелъ въ пріемную, ласково поклонился и безъ дальнихъ церемоній сказалъ Финнамъ:

— «Здравствуйте, господа! Будьте покойны! Вы не враги наши; а мы ваши гости на походѣ! Курица у послѣдняго изъ васъ не провадетъ безнаказанно. Это мои солдатушки вѣдаютъ и ничего не тронутъ. Налоговъ и поборовъ никакихъ; что платили Шведамъ, то платите и намъ; а если пла-

тили имъ много, уменьшимъ, разсчитаемся. Внутреннія таможни, заставы и всѣ эти стѣснительные для добраго торга рогатки, выкиньте вонъ. Торгуй кто чѣмъ и сколько хочешь. Намъ вашего добра не надо; своего довольно. И про молитву тожъ. Молись каждый по своей вѣрѣ. За все за это въ заплату прошу у васъ добраго порядка, согласія, тишины. Занимайся каждый своимъ дѣломъ, и нашему не мѣшай. А наше дѣло изъ всей Финляндіи, какъ государь говоритъ, Шведовъ подальше отбоярить. Все, господа! Больше сказать вамъ ничего не имѣю.»

Хотя толмачъ и не въ совершенной точности передалъ слова князя, но трудно описать, какой восторгъ эти слова произвели въ слушателяхъ; какими прыжками и тѣлодвиженіями сопровождалось слушанье княжей рѣчи; Финны едва вѣрили глазамъ и ушамъ своимъ и только кланялись; когда дѣло дошло до заставъ и внутреннихъ таможень, восторгъ обратился въ неистовство; Финны бросились цѣловать руки князя и золотому кафтану досталось; поизмяли его порядочно. Князь только успѣвалъ говорить: «съ Богомъ, съ Богомъ!» Насилу отстали, ушли, но за то вся улица, гдѣ князь остановился, покрылась народомъ; пѣсни сочинялись и пѣлись тутъ же въ честь князя. Между тѣмъ въ пріемной остался только князь, да Эрикъ съ Гаврилычемъ.

— «Ну, колдунъ, а ты что? Вѣрно, приворожилъ къ себѣ красавицу? А?»

— «Воевода!» отвѣчалъ Эрикъ: «я подозрѣваю,

что вся эта исторія со мною была плодомъ зависти и злобы моихъ враговъ; кого именно, не знаю; но надѣюсь, что время раскроетъ истину.»

— «Какой ты человѣкъ?»

Эрикъ отвѣчалъ:

— «Матросъ, купецъ, студіозъ здѣшней академіи.»

— «Вотъ какъ! Люблю и я свѣтъ наукъ и жалѣю, что глупый страхъ разогналъ здѣшнихъ ученыхъ. Они лишили бѣдныхъ учениковъ великаго земнаго блага. Война можетъ затянуться, а потому ты собери всѣхъ учениковъ, которые остались въ Або, и приведи ко мнѣ. Ну, пока прощай! Надо прилечь! Послѣдній переходъ былъ утомителенъ! До свиданія!»

Князь ушелъ съ Гаврилычемъ, а Эрикъ въ задумчивости простоялъ еще нѣсколько въ пріемной. Раздался на улицѣ новый гимнъ князю и Эрикъ опомнился. Проходя домой по улицамъ, онъ видѣлъ повсемѣстную радость. Народъ ликовалъ, приготовлялъ иллюминацію, пѣлъ; одинъ Эрикъ былъ печаленъ. Домой онъ не могъ попасть весьма долго; все было заперто; Эрикъ рѣшился выломать двери; сосѣди помогли и Эрикъ нашелъ свой домъ въ совершенномъ порядкѣ; недоставало только книгъ, забранныхъ Эоніусомъ Даже драгоцѣнные товары, сложенные въ небольшой кладовой, были цѣлы; на дверяхъ висѣла городская печать, но съ нею Эрикъ не призналъ нужнымъ церемониться; снялъ какъ печать съ пустаго письма и весьма обрадовался, что состояніе его не расхищено. Но

въ то же время мысль о братьяхъ ядовитымъ червемъ впилась въ сердце; онъ сталъ искать ихъ повсюду, наконецъ на чердакѣ между разною рухлядью что-то зашевелилось. Эрикъ подошелъ, то былъ Карлъ, испачканный пылью и соромъ.

— «Ты здѣсь?» спросилъ Эрикъ. «Что ты тутъ дѣлаешь?»

— «Братъ, Эрикъ! ты не сгорѣлъ!»

— «Ты не сгорѣлъ, братъ, Эрикъ!» закричалъ Фабіанъ изъ другаго угла и оба порядочно испачкали его въ своихъ объятіяхъ.

Тогда Фабіанъ и Карлъ стали разсказывать оба вдругъ и такъ много, что нельзя было ничего понять. Эрикъ остановилъ ихъ.

— «Слушайте, друзья мои!» сказалъ онъ: «все кончилось благополучно. Русскіе въ Або!»

— «Русскіе въ Або!!»

— «Прежде всего намъ надо озаботиться, чего бы намъ покушать, а тамъ переговоримъ.»

— «Все есть! Ничего не тронули! Колдовская пища — ядъ! Ничего не тронули!»

— «Ну, такъ пойдемъ, подкрѣпимъ наши силы, а тамъ что-нибудь придумаемъ.»

За обѣдомъ разсказывая о русскомъ полководцѣ, Эрикъ вспомнилъ объ его приказаніи и, не кончивъ трапезы, одѣлся почище и отправился къ знакомымъ студентамъ. Надо было проходить мимо гавани, совершенно опустѣвшей; на синихъ волнахъ качалась только одна Гальціона. Эрикъ заплакалъ отъ радости.

— «Кто спасъ тебя, милую!» воскликнулъ онъ громко.

— «Про кого ты говоришь,» спросилъ тутъ сидѣвшій нищій.

— «Про этотъ корабль.»

— «Это корабль колдовской; боялись садиться на такое судно: того гляди вступилось бы за хозяина.»

— «Вступится, вступится моя Гальціона за бѣднаго Эрика. Знаешь ли, старикъ...»

Но старика уже не было. Онъ бѣжалъ отъ Эрика безъ оглядки. Эрикъ махнулъ рукой и въ полной радости отправился въ свой путь. Немногихъ студентовъ засталъ онъ дома; и тѣ собирались бѣжать тою же ночью въ Остерботнію, куда удалились всѣ шведскія войска. Разсказы Эрика про Голицына ихъ удивляли, но не могли вселить довѣрчивости, тѣмъ болѣе, что разсказывалъ сообщникъ сатаны... При всемъ томъ нѣкоторые рѣшились выйти изъ дома и поглядѣть, что дѣлается на улицахъ. Съ Эрикомъ никто не пошелъ. Наконецъ Эрикъ достигъ уединеннаго жилища Малинотуса. На стукъ его никто не откликнулся.

— «Вѣрно, сидитъ у своей богини или ушелъ вмѣстѣ съ нею. Навѣдаемся,» сказалъ Эрикъ и не ошибся. Онъ нашелъ ихъ въ жаркомъ разговорѣ.

— «Эрикъ не сгорѣлъ,» кричала баронесса, вырываясь изъ рукъ Малинотуса: «и наше условіе не исполнилось...»

— «А! Такъ вотъ кому я обязанъ костромъ и безславіемъ!» сказалъ Эрикъ и собесѣдники онѣ-

мѣли: «Я самъ пришелъ увѣдомить васъ о моемъ освобожденіи и требовать денегъ. Гдѣ баронъ? Теперь другой судъ, другая расправа! Во второй разъ не сдѣлаете меня чародѣемъ.»

— «Чудовище!» завопилъ Малинотусъ: «ты нарушилъ условіе, ты былъ здѣсь.»

— «Нечестивецъ!» отвѣчалъ Эрикъ: «ты, кажется, заплатилъ мнѣ за свою обиду сторицею; теперь я въ долгу и, повѣрь, разсчитаюсь не хуже тебя. Я радъ, что поймалъ тебя; я знаю про тебя больше, чѣмъ ты думаешь; моихъ уликъ не опровергнетъ ни даже вмѣшательство Русскихъ. Теперь я все понимаю. Книги, что найдены у меня въ кухнѣ, твои. Не только книги, мы у тебя въ домѣ найдемъ и не то еще; объяснимъ и завѣтную куклу.»

Сначала Малинотусъ покраснѣлъ, но скоро блѣдность смѣнила краску; губы дрожали. Какъ только рѣчь коснулась куклы, онъ бросился изъ комнаты и оставилъ Ульрику во власти соперника.

— «Ну, баронесса! онъ не уйдетъ, но и сообщники этого заговора должны поплатиться. Баронъ будетъ-таки сидѣть въ тюрьмѣ, но чѣмъ я отомщу вамъ?»

— «Эрикъ, Эрикъ! Если бы ты зналъ поводы этого безумнаго поступка, можетъ быть ты простилъ бы мнѣ. Тутъ виновата не я, а ты.»

— «Я? Это любопытно. Такъ какъ теперь нѣтъ уже вашимъ хитростямъ никакого приличнаго исхода; такъ какъ я судомъ буду требовать моего оправданія...»

— «Судомъ!»

— «Да, судомъ! То не лучше ли вамъ признаться теперь же.»

— «Признаться, чтобы испытать до конца твое презрѣніе? Чтобы ты опять оттолкнулъ меня?»

— «Что́ за притча? Вы, пожалуй, станете увѣрять, что любовь ко мнѣ...»

— «Не любовь, а страсть безумная. О! я не въ силахъ продолжать.»

Эрикъ улыбнулся и задумался. Взглянувъ на него Ульрика ободрилась и съ ласкою подошла къ юношѣ, котораго несчастія, близость къ смерти, позоръ, все, сдѣлали для нея дороже, любезнѣе... И онъ посмотрѣлъ на нее безъ злобы. Самолюбіе прощало, чувство человѣческой слабости ходатайствовало за Ульрику. Безъ словъ, вперивъ другъ въ друга взоры, они мысленно простили одинъ другаго; Эрикъ вздохнулъ и сказалъ тихо:

— «Жаль, что я не могу любить тебя!»

Ульрика покраснѣла, взоры поникли. Эрику дѣйствительно стало жаль баронессы. Онъ сказалъ еще тише:

— «Я люблю другую. Твой братъ — мой соперникъ.»

— «Твой соперникъ! Такъ знай же Эрикъ, что твоя Августа дала уже слово моему брату.»

— «Неправда!»

— «На, прочти это письмо.»

И Ульрика принесла письмо барона Наварбэ. Эрикъ прочелъ слѣдующее.

«Милая Ульрика! Не вини, что я не съ тобою. Наконецъ мои дѣла пошли на ладъ. Августу увѣрили, что она околдована съ помощію нечистаго; убѣдили, что простой матросишка не могъ безъ преисподней помощи произвести такого впечатлѣнія на благородную дѣвушку; что самая наружность его — маска, обманъ, видѣніе. Дорого стоило мнѣ это дѣло. Эоніусъ взялъ съ меня много денегъ; я опять задолжалъ, но задолжалъ, по крайней мѣрѣ, будущему тестю. Всю исторію мы разыграли превосходно и вчера Августа склонилась на мою просьбу, подъ видомъ покорности волѣ отца. Свадьба была назначена черезъ недѣлю, но Русскіе въ Або, Аренфельдъ писалъ къ полковнику и приглашалъ его въ армію. Кивиннербъ ѣдетъ, и, представь себѣ, требуетъ, чтобы и я ѣхалъ волонтеромъ. У Аренфельда подъ Вазой двѣнадцать тысячъ войска самаго отличнаго; надѣются разбить Русскихъ и тогда отпраздну́емъ и побѣду и свадьбу. Податель этого письма человѣкъ нужный: дай ему пріютъ и не разспрашивай его ни о чемъ. До свиданія!

твой братъ, Н.»

Несчастіе дѣлаетъ людей благоразумными; Эрикъ, хотя и мѣнялся въ лицѣ, когда читалъ письмо, но умѣлъ скрыть свое отчаяніе, умѣлъ заглушить вопли сердца, умѣлъ притвориться.

— «Ульрика!» сказалъ онъ съ нѣжностью: «прощаю Августѣ, какъ я простилъ тебѣ. Богъ съ вами! Ее спасти уже нельзя, позволь по крайней мѣрѣ озаботиться о тебѣ. Ты не знаешь Малинотуса?»

— «О, знаю и трепещу!..»

— «Не бойся! онъ прійдетъ съ своею адскою местью, придетъ сегодня; онъ будетъ спѣшить преступленіемъ, но я скрою въ домѣ твоемъ вооруженныхъ людей, его схватятъ, осудятъ, разстрѣ-

няютъ безъ всякаго допроса. Ты будешь освобождена и отъ его мести, и отъ позорной тяжбы. Между-тѣмъ я самъ прійду къ тебѣ на стражу.»

— «Ты не обманываешь меня, Эрикъ?»

— «Клянусь!»

И уклоняясь отъ дальнѣйшихъ разспросовъ, Эрикъ ушелъ. Ульрика и не замѣтила, что письмо осталось у него въ рукахъ.

—

— «Что́, видно привелъ школяровъ,» сказалъ князь, когда Гаврилычъ доложилъ объ Эрикѣ.

— «Школяры давно стоятъ въ пріемной, а онъ пришелъ одинъ...»

— «А гдѣ паспорты?»

— «Вотъ тутъ.»

— «Подай!»

И князь съ кипою бумагъ вышелъ въ пріемную; тамъ, дѣйствительно, ожидали его студіозы между страхомъ и надеждою. Правда, ихъ было только четверо, а пятый Эрикъ.

— «Только?» сказалъ Голицынъ.

— «Это, видишь, смѣльчаки,» объяснилъ Гаврилычъ: «а другіе по домамъ притаились: хотятъ видѣть, что́ съ этими будетъ.»

— «Молодые люди! Каждый край нуждается въ добрыхъ воинахъ, а также въ ученыхъ людяхъ. Война прекратила ваши полезныя занятія. Теперь вамъ тутъ учиться не у кого. Ваши наставники переселились въ Швецію. Война можетъ продолжиться; срока ей не назначишь; а потому васъ тутъ въ плѣну держать нечего. Ступайте съ Бо-

гомъ! Учитесь на пользу общую! Вотъ ваши паспорты на свободный проѣздъ въ Швецію, да каждому Гаврилычъ отсчитаетъ по пяти рублей денегъ на дорогу. Съ Богомъ! Скажите Шведамъ, что Русскіе чтятъ просвѣщеніе!»

Гаврилычъ раздавалъ изумленнымъ студентамъ паспорты и деньги. Они стояли разинувъ ротъ и не могли произнести слова. Князь отъ изъявленія благодарности ушелъ въ спальню. Студенты ушли въ какомъ-то столбнякѣ; остался одинъ Эрикъ.

— «Пріятель,» сказалъ онъ Гаврилычу, отдавая и паспортъ и деньги: «Возьми все это назадъ; я взялъ при нихъ, чтобы не подать подозрѣнія, а у меня до князя иное дѣло.»

— «Какое?» спросилъ князь съ живостью, возвращаясь въ пріемную.

— «А вотъ позволь прочесть вотъ это письмецо, а онъ пускай переводитъ; оно касается и до меня и Русскихъ.»

— «Вотъ что́!» сказалъ князь, выслушавъ переводъ Гаврилыча: «Такъ и твое и наше дѣло тутъ объясняется. Ты мѣшаешься въ мое, а я вмѣшаюсь въ твое. По рукамъ! Что́ это Апраксинъ не подсылаетъ мнѣ корабликовъ. Надо бы по островамъ осмотрѣться. Чай, тма бѣглецовъ засѣло на этихъ отмѣляхъ.»

— «Ваше сіятельство! Благодаря колдовству моему, темные люди не коснулись моего достатка, и корабль мой, «Гальціона,» во всей гавани только одна и уцѣлѣла: позвольте предложить ее на-службу русскую. Я знаю въ нашихъ мѣстахъ каждый

каменекъ. «Гальціона» въ порядкѣ и подыметъ людей больше двухъ-сотъ человѣкъ. Мы бы заглянули на первый случай на Римито. Захватили бы кого можно.»

— «Идетъ! А когда же?»

— «Да если Богъ дастъ вѣтеръ, такъ сегодня ночью. А пока, ваше сіятельство, не прикажете ли задержать эту важную особу, которую не велятъ разспрашивать; и это можно сдѣлать безъ шума, если пожалуете мнѣ въ помощь парочку смѣтливыхъ молодцовъ.»

— «А для языка я съ ними пойду...» прикинулъ Гаврилычъ.

— «А команда корабельная пусть сядетъ на мой корабль, будто беретъ его въ секвестръ, а я братьевъ туда пошлю, самъ ночью къ нему вернусь; къ утру захватимъ на Римито кого будетъ можно.»

— «Все умно и толково,» сказалъ князь съ улыбкою: «только, право, не знаю, изъ чего ты намъ служишь?»

— «Изъ чести, князь, и изъ мести! Я здѣсь, пока Русскіе здѣсь.»

— «А если уйдемъ?»

— «И я съ вами.»

— «По рукамъ! Ты нашъ! Ты офицеръ русской службы.»

— «Князь!»

— «Голицынъ тебя пожаловалъ и кончено. За дѣло!»

Ульрика едва могла дождаться своего гостя; за-

саду припрятали, а сами усѣлись и давай бесѣдовать. Ульрика блаженствовала, смѣялась, пылала, надѣялась. Въ жару разговора послышался шорохъ; дверь тихо отворилась. Вошелъ Эоніусъ.

— «Такъ это важная особа?» спросилъ Эрикъ тихо.

— «Онъ... онъ...»

Эоніусъ, въ ужасѣ, стоялъ на порогѣ и не смѣлъ сдѣлать шага.

— «Милости просимъ! пожалуйте!» сказалъ насмѣшливо Эрикъ: «одно меня удивляетъ, какъ вы, Pater Aeonius, успѣли побывать на Римито и воротиться такъ рано въ Або.»

— «Порожденіе эхидны! Говорилъ: — Сожгите! Нѣтъ, а онъ, колдунъ, проникъ и эту тайну.»

— «Путь не близокъ! И въ одинъ день! Чудо! Видно, гребцы лихіе!!»

— «Умолкни сатанинское племя! Не уйдешь ты отъ темницы.»

— «Я уже тамъ былъ, пришелъ просить васъ туда на мое мѣсто. Эй!»

Эоніусъ хотѣлъ бѣжать, но его сзади схватили дюжіе солдаты, завязали ротъ и увлекли къ князю; Гаврилычъ принялъ его съ рукъ на руки и представилъ Голицыну, въ самое то время, когда Або запылалъ иллюминаціей.

— «Спрячьте его куда-нибудь на время. Надо пойти прогуляться по городу.»

И князь съ многочисленной свитой отправился на иллюминацію. Толпы народа провожали его по улицамъ; со всѣхъ сторонъ раздавались пѣсни;

князь пожелалъ видѣть гавань; подходя къ берегу, онъ замѣтилъ только-что отчалившую лодку; при свѣтѣ факеловъ онъ узналъ, что на рулѣ сидѣлъ Эрикъ, передъ нимъ закутанная женщина.

— «Молодъ, хорошъ,» сказалъ князь: «видно, что у него любовишекъ много.»

Но эта новая любовь Эрика весьма изумилась, когда на «Гальціонѣ» нашла цѣлую армію усачей. Братья Эрика увели ее въ каюту; а Эрикъ выжидалъ вѣтра и дождался: вѣтеръ подулъ и еще не разсвѣло, какъ «Гальціона» бросила якорь у береговъ Римито, подъ скалой, скрывавшей замокъ Кивинербъ отъ русскихъ солдатъ. Къ удивленію капитана, Эрикъ, хотя и дурно, говорилъ по-русски. Капитанъ не скрылъ отъ него, что ему странно видѣть Финна, который говоритъ по-русски.

— «Въ академіи Аурской,» отвѣчалъ Эрикъ: «учатъ по-русски.»

Эрикъ не обманывалъ; дѣйствительно, въ этой академіи преподавали русскій языкъ съ цѣлью обращать Русскихъ въ христіанскую вѣру!! Немногіе, и то неохотно, учились этому языку; Эрикъ, какъ мы видѣли, былъ дальновиднѣе своихъ товарищей и слабое знаніе языка помогло ему. Но за чѣмъ предупреждать читателей. Дессантная армія сошла на берегъ. Команда раздѣлилась между Эрикомъ и капитаномъ; капитанъ пошелъ прямо на замокъ, Эрикъ въ обходъ съ другой стороны. Капитанъ подвигался медленно; напротивъ того, Эрикъ усиленнымъ маршемъ

быстро обогнулъ кривой путь, постучался въ ворота. Его окликнули и отворили калитку безъ всякихъ предосторожностей; но и предосторожности были бы излишны; потому что въ замкѣ, кромѣ женщинъ и старыхъ слугъ, никого не было. Эрикъ сильно опечалился и больно обрадовался: ему не хотѣлось брать въ плѣнъ отца Августы, а крѣпко желалось достать барона Наварбэ и припрятать. Но на нѣтъ, и суда нѣтъ. Онъ приказалъ отворить другія ворота Русскимъ, а самъ поспѣшилъ успокоить дамъ. До баронессъ уже долетѣлъ слухъ о странномъ посѣщеніи; въ спальныхъ нарядахъ онѣ бѣгали изъ комнаты въ комнату, искали мѣста, гдѣ бы спрятаться, но въ суматохѣ не находили дороги; Августа наткнулась на Эрика и вскрикнула. На крикъ ея прибѣжали слуги со свѣчами и баронесса Отилія. Узнавъ Эрика, всѣ чуть-было опять не разбѣжались, но слова его удержали ихъ и разувѣрили.

— «Успокойтесь!» сказалъ онъ: «Мы ищемъ измѣнниковъ, которые даютъ честное слово не сражаться противъ великодушныхъ непріятелей и при первомъ случаѣ бѣгутъ въ лѣсъ. Куда скрылся баронъ Кивинербъ?»

— «Мы не обязаны въ этомъ давать отвѣта,» отвѣчала съ гордостью Отилія. «Пойдемъ, Августа! Нето онъ опять околдуетъ тебя!»

— «Стыдитесь, баронесса, раздѣлять съ чернью предразсудки, свойственные одному невѣжеству. Но не обо мнѣ рѣчь. Я знаю все, что здѣсь случилось. Вотъ, Августа, письмо вашего жениха.

Прочтете на досугѣ, а теперь, съ матушкой, милости просимъ пожаловать на корабль; я васъ отвезу въ Або; правительство должно имѣть заложниковъ въ вѣрности барона Кивинерба.»

Обѣ перепугались не на шутку, но должны были повиноваться. «Гальціона» къ вечеру воротилась въ Або съ плѣнницами.

— «Да что́ ты мнѣ, братецъ,» сказалъ князь: «навезъ бабья. Держи ихъ себѣ гдѣ хочешь. Радъ, что ты поймалъ и свою зазнобушку, да мнѣ не того было нужно. Мнѣ надо языковъ, да вѣстей, гдѣ Аренфельдъ, гдѣ Людекеръ, сколько у каждаго войска, что́ они затѣваютъ.»

— «И эти вѣсти будутъ. Я поѣду на «Гальціонѣ» подъ шведскимъ флагомъ, и ворочусь съ полными руками. Для этого не нужно мнѣ ни одного солдата. Позволите?»

— «Изволь! А я ужъ приберегу твоихъ плѣнницъ. Послушай, однако же, дружище: не дурно бы мнѣ наконецъ знать, какъ зовутъ моего добраго офицера.»

— «Эрикъ Сильванусъ.»

— «Егоръ Сильвановскій; ну, такъ ступай, Егорушка, да возвращайся проворнѣе.»

Князь исполнилъ свое слово. Всѣ три баронессы были помѣщены въ красивомъ домѣ, подъ охраненіемъ стараго капитана и почетнаго караула. Въ Або возстановилась тишина и веселіе. Отилія и Ульрика забыли, что онѣ въ плѣну; балы, вечеринки, русскіе офицеры изгладили изъ памяти многое. Ульрика даже перестала считать соперни-

цей Августу, потому что у Эрика явилось много счастливыхъ соперниковъ. Ульрика избирала, или лучше, выбирала, а соперники надѣялись. Но Августа! Письмо Наварбэ привело ее въ справедливое негодованіе. Эрикъ сталъ ей теперь втрое дороже. Но гдѣ же Эрикъ? Вотъ уже прошелъ и сентябрь. Гдѣ Эрикъ? Вотъ уже и зимній балъ. Надо ѣхать; тамъ будетъ князь; это прощальный вечеръ отъ города. Князь выступаетъ въ походъ въ Остерботнію. Августа была печальна; Ульрика еще печальнѣе, потому что всѣ поклонники уходили съ княземъ. Оставался въ Або древній гарнизонъ и дряхлый комендантъ. Съѣхались. Князь долго медлилъ, наконецъ явился съ обычной свитой. Въ этой свитѣ всѣ три баронессы замѣтили вдругъ и узнали флотскаго офицера. То былъ Эрикъ. Само собою разумѣется, что Эрикъ поспѣшилъ къ Августѣ; Отилія и Ульрика не могли ему въ этомъ воспрепятствовать. Князь съ улыбкой поглядывалъ на счастливую чету, далъ имъ время наговориться, наконецъ пробывъ на балѣ небольше часа, обласкавъ всѣхъ, поговоривъ съ каждымъ, онъ подошелъ и къ нашей четѣ.

— «Ну, Егоръ Ивановичъ! Пора ѣхать! Мы выступаемъ въ походъ сегодня, сейчасъ, сію минуту. Простись съ дамами и поѣдемъ!»

— «Эрикъ! Милый Эрикъ! Тебя убьютъ!» закричала Августа къ общему соблазну.

— «Августа! Я долженъ заслужить твою руку.»

— «Я не пущу тебя! У меня опять тебя отнимутъ.»

— «Князь не допуститъ! Прощай!»

Съ трудомъ разлучили нѣжныхъ голубковъ. Отилія и Ульрика, воротясь домой, на полной волѣ журили Августу; но та съ предчувствіемъ блаженства, молчала и, вѣроятно, даже не слышала ядовитыхъ рѣчей.

—

Наступила и зима, дюжая сѣверная зима. Корпусъ Голицына, раздѣленный на отряды, повсемѣстно побѣждалъ Шведовъ; наконецъ въ началѣ февраля соединился недалеко отъ Вазы. Эрикъ, за льдомъ, оставилъ свою Гальціону и велъ партизанскую войну по прибрежью; отрядъ его состоялъ изъ шестидесяти человѣкъ молодыхъ рекрутъ, въ томъ числѣ были волонтеры изъ Финновъ. Аренфельдъ, собиравшій у Вазы шведскія войска и по льду ожидавшій подкрѣпленій изъ Швеціи, не могъ понять какимъ образомъ шайка Эрика, разъѣзжавшая на финскихъ коникахъ, въ морозъ и въ виду арміи могла продолжать свои дерзскія, отчаянныя дѣйствія. Отъ Христиненштадта до Вазы не было сообщенія по милости Эрика. Въ первомъ городѣ покоилась во льду его Гальціона и тамъ была главная квартира его шайки. Дерзость этихъ наѣздниковъ вывела, наконецъ, Аренфельда изъ терпѣнія и онъ со всею арміей пошелъ къ Христиненштадту; но на полпути въ Пёртомѣ, селѣ, недалече отъ морскаго берега, узналъ, что шайка повернула на Ильмолу, навстрѣчу Голицыну. Эта вѣсть обрадовала шведскаго полководца.

Войска у него было немало, солдаты испытан-

ные, надежные, одна побѣда могла рѣшить судьбу Финляндіи и покрыть славою побѣдителя, возвысить въ Швеціи духъ воинственный, который въ это время сталъ упадать видимо. Аренфельдъ повернулъ на Ильмолу и почью засталъ тамъ всю шайку Эрика. Наѣздники едва успѣли вскочить на коней, брызнули въ глазахъ авангарда въ стороны и въ бѣгствѣ убили нѣсколько человѣкъ изъ погони. Аренфельдъ пошелъ шибче, но утромъ узналъ, что наѣздники въ ту же ночь напали на его арріергардъ и взяли пушку и канцелярію съ двумя канцеляристами. Наконецъ у деревни Лаппо завидѣли Русскихъ: они строились въ боевой порядокъ. Князь на конѣ объѣзжалъ ряды; наѣздники, въ родѣ княжескихъ тѣлохранителей, гарцовали на снѣжной долинѣ.

— «Товарищи!» сказалъ князь солдатамъ: «Теперь у насъ есть вѣрныя вѣсти, что у Аренфельда всего восемь тысячъ, такъ какъ намъ и прежде доносилъ Сильвановскій. Знайте, что я взялъ съ собою васъ только восемь тысячъ, прочіе сидятъ въ Летимякахъ. Побьемъ Шведа, это несумнительно, но зато не станетъ отговариваться, что у насъ было людей и пушекъ больше. Ну, а дѣлу васъ учить нечего. Вы войну лучше моего знаете. Держись бодро! Дай ему наскочить; пусть себѣ выстрѣлитъ, а подойдетъ ближе, пали ему въ рыло и на штычки, какъ водится. По мѣстамъ! Эй, вы, мелюзга, за фронтъ, не мѣшай; твоя рѣчь впереди!»

И сбылось по слову княжему. Аренфельдъ шиб-

ко набѣжалъ на Русскихъ, далъ залпъ, — не дрогнули; подошелъ такъ близко, что на усахъ у Шведовъ можно было иней видѣть; раздался львиный голосъ, грянулъ ружейный громъ; грудой легли Шведы и началась ужасная сѣча; но недолго продолжалась. Шведы были опрокинуты и сраженіе превратилось въ преслѣдованіе. На снѣжномъ полѣ легло болѣе пяти тысячъ Шведовъ, взято въ плѣнъ 534 человѣка, 20 знаменъ, 7 пушекъ, 4 гаубицы... остальные бѣглецы на далекое разстояніе покрывали окрестность. Русскіе преслѣдовали безъ-устали. Эрикъ былъ всегда впереди съ своею удалою шайкою; ему хотѣлось поймать Аренфельда. У самой Вазы онъ завидѣлъ богатый экипажъ и не сомнѣвался, что это самъ полководецъ. Усилія его увѣнчались успѣхомъ; онъ настигъ, взялъ въ плѣнъ — но не Аренфельда, а барона Кивинерба, отца Августа. Въ тѣхъ же саняхъ, къ особенной радости Эрика, отъискался и баронъ Наварбэ. Левъ, какъ называлъ Голицына Петръ Великій, и самъ былъ недалече. Онъ видѣлъ подвиги Эрика. Такъ же думалъ, что плѣнникъ его — Аренфельдъ, но, узнавъ Кивинерба, удержалъ коня.

— «Полковникъ!» сказалъ онъ: «А честное слово? Гаврилычъ, возьми и береги этихъ плѣнниковъ какъ зѣницу ока. Впередъ!»

Ваза и не думала защищатся, даже не приняла бѣглецовъ; они бросились на море. Противъ Вазы самое узкое мѣсто Ботническаго Залива. По льду остатки корпуса Аренфельда перешли въ Швецію. Финляндія покорилась русскому оружію и съ этого

дня наступила продолжительная тишина на этой землѣ, такъ что Голицынъ принужденъ былъ искать для себя подвиговъ внѣ ея предѣловъ. Съ честью участвовалъ онъ еще въ томъ же году въ знаменитомъ сраженіи у мыса Гангута, неувядаемою славою покрылъ себя въ безсмертной морской битвѣ у Гренгама, но въ Финляндіи, говорю, только восхищались его подвигами, наслаждались его мудрымъ и справедливымъ управленіемъ. Возвратимся къ нашей исторіи.

Не было уже болѣе нужды держать войска въ полномъ сборѣ. Ихъ раздѣлили на отрады и разослали по разнымъ городамъ финскаго поморья; плѣнниковъ внутрь края; только важнѣйшіе отосланы были въ Або, гдѣ находилась главная квартира князя. Наконецъ и самъ побѣдитель воротился въ столицу. Его встрѣтили граждане далече за городомъ. По обычаю, ввечеру была иллюминація и балъ. Наши баронессы не преминули явиться на балъ, потому что судьба бароновъ была имъ неизвѣстна.

— «Сегодня веселимся...» сказалъ князь: «а завтра многіе будутъ плакать. Справедливо великодушіе; справедлива и строгость. Завтра разстрѣляютъ измѣнниковъ!»

Князь уѣхалъ — и Эрикъ не могъ оставаться; онъ скрывалъ отъ Августы судьбу ея отца. Но слова князя были весьма ему понятны; онъ рѣшился и, къ изумленію всего общества, не простясь съ Августой уѣхалъ. Князь не спалъ; онъ сидѣлъ въ военномъ судѣ и рѣшалъ участь плѣн-

никовъ. Эрикъ не выдержалъ, отворилъ дверь въ залу засѣданія и бросился въ ноги князю.

— «Егоръ Ивановичъ! Что́ съ тобой?»

— «Помилуй Кивинерба.»

— «Не могу. Кто за него поручится, что онъ и въ другорядъ измѣнитъ слову.»

— «Я!»

— «Постой! Позовите измѣнника.»

Привели.

— «Гаврилычъ, скажи ему въ чемъ дѣло; если онъ выдастъ дочку за русскаго офицера, такъ я повѣрю его честному слову, а нето разстрѣляю.»

Вы угадаете отвѣтъ барона.

На другой же день князь праздновалъ свадьбу Егора Ивановича Сильвановскаго съ баронессой Августой Кивинербъ. Чтобы выручить изъ плѣна братца, и Ульрика изъявила желаніе выйти замужъ и также за русскаго офицера. Финны пили отъ сердца за эти браки, видя въ нихъ залогъ ближайшаго родства съ сосѣдями, которымъ географія и природа приказали быть братьями. Пиръ приходилъ къ концу. Князь, по обычаю, пилъ мало. Ему, да Шереметеву и на царскихъ пирушкахъ была дарована льгота отъ кубка «Большаго Орла». Но умѣренность князя не стѣсняла пирующихъ. Ужъ было заполночь, какъ вдругъ кружокъ собесѣдниковъ умножился еще однимъ гостемъ. Прискакалъ царскій денщикъ и подалъ князю письмо. Всѣ, мужчины и женщины схватили свѣчи и свѣтили князю чтобы лучше ему было читать. Пробѣжавъ письмо, князь сказалъ:

— «Тутъ и къ вамъ, товарищи, есть приписка, прислушайте, что́ пишетъ Государь-батюшка.»

Monsieur! Пріятное ваше письмо чрезъ адъютанта вашего, мы получили здѣсь и зѣло оному обрадовались, что Господь Богъ не оставляетъ милости Своей и такую викторію даровалъ намъ въ началѣ сего года. Дай Боже, чтобъ сей цвѣтъ былъ доброму миру началомъ! Присемъ поздравляемъ вашей милости повышеніемъ чина за ваше мужество и достойность! Петръ. 13 Марта 1714 года.

P. S. *Прошу мой поклонъ отдать вышнимъ и нижнимъ офицерамъ и рядовымъ и благодарить за храброе ихъ дѣло. Правда, не такъ бы хорошо было, когдабъ всѣ были; но славнѣе, что тѣхъ мною, а частію побили.*»

— «То́-то и есть!» сказалъ князь, и противъ обычая приказалъ подать вина.

— «За здравіе!..»

Гости догадались и свадебный пиръ освятился приснопамятнымъ именемъ несравненнаго Монарха.

ТРИ ОПЕРЫ.

—

I.

НОРМА.

Тому съ небольшимъ мѣсяцъ, *въ одно прекрасное утро*, какъ иногда пишутъ наши романисты, лежа въ постели читалъ я книгу доктора Сальга о заблужденіяхъ и предразсудкахъ. Не подумайте, что я читалъ книгу его по выбору или въ первый разъ —нѣтъ! причина самая простая и пустая: постель моя стояла подъ полками съ книгами; заблужденіямъ и предразсудкамъ стало тѣсно отъ просвѣщеннаго ума сосѣдей; они не выдержали преслѣдованій доктора Круга, который своимъ философскимъ лексикономъ тѣснилъ ихъ неумолимо, и соскочили съ полки прямо въ мои объятія. Заблужденія и предразсудки полагали, что поетъ, a natura, долженъ принять ихъ подъ защиту. Отъявленный врагъ всякой несправедливости въ другихъ, я не хотѣлъ, по праву хозяина, самовластно возвратить имъ права гражданства на моихъ полкахъ, и принялся снова читать ихъ, желая произнесть приговоръ съ полною, возможною справедливостью.

Читаю. Звонятъ. Докладываютъ: «Алексѣй Семенычъ пришелъ.» — Проси. — Входитъ Алексѣй

Семенычъ Кленовъ, но вы не знаете Алексѣя Семеныча и я хочу васъ съ нимъ познакомить.

Алексѣй Семенычъ Кленовъ получилъ отличное образованіе въ одномъ изъ лучшихъ учебныхъ заведеній нашихъ, хорошее имѣніе по наслѣдству и прекрасную наружность отъ природы. Роста онъ средняго; сложенъ весьма хорошо; волосы русые, глаза голубые, лице выразительное; ума глубокаго, но говорливъ, какъ женщина; всегда веселъ, но только въ бесѣдѣ, гдѣ есть третій; вдвоемъ, по крайней мѣрѣ со мною, тайная грусть осѣняетъ прекрасное лице; какое-то опасеніе, недовѣрчивость, робость замѣтны въ словахъ и физіономіи, особенно съ тѣхъ поръ, когда онъ открылъ мнѣ свою тайну. Тайна, по наружности, пустая, ничтожная, но если принять въ соображеніе всѣ обстоятельства и отношенія, съ которыми она имѣла тѣсную связь, было отъ чего грустить и безпокоиться: Алексѣй Семенычъ рѣшился *быть актеромъ* и поступить въ драматическую труппу Санктпетербургскаго Александрынскаго театра. Я не скрывалъ отъ него моихъ сомнѣній, старался представить ему самую вѣрную картину всѣхъ препятствій, неудачь, и проч. и проч., неминуемыхъ спутниковъ на тяжкомъ пути. Напрасно: Алексѣй Семенычъ былъ упрямъ, какъ актеръ уже старый, и насильно требовалъ помощи, содѣйствія, наставленій. Я спорилъ съ нимъ до тѣхъ поръ, пока не убѣдился, что все мое краснорѣчіе нуль предъ его завѣтною цѣлью; тогда уже, нечего дѣлать, я перемѣнилъ образъ разговора и предложилъ подъ-

литься съ нимъ всѣми свѣдѣніями, какія достались мнѣ отъ чтеній, опыта и размышленій. Ко взаимному удивленію, мы съ Алексѣемъ Семенычемъ въ нѣсколько бесѣдъ открыли, что начала драматическаго искуства весьма просты, а примѣненія ихъ безчисленны; что примѣненія составляютъ огромную практическую науку, которую мало изучить книжнымъ образомъ, но надобно всю перевѣрить собственнымъ опытомъ: завести домашній театръ изъ самаго ограниченнаго персонала, а главное, безъ публики, и заниматься искуствомъ точно такъ, какъ занимаются анатоміею, зоологіею, опытною химіею и т. п. Невольно, сама собой, непримѣтно образовалась у насъ своя теорія драматическаго искуства, съ раздѣленіями и подраздѣленіями, собственно нашими. Болѣе трехъ мѣсяцевъ употребили мы на разсмотрѣніе первой главы нашей методы, именно *на чтеніе*, и въ то *прекрасное утро*, когда пришелъ ко мнѣ Алексѣй Семенычъ, мы предполагали приступить ко второй главѣ, *физіономикѣ*, или какъ технически называютъ, *мимѣ*. Я собралъ по возможности всѣ матеріалы. Лессингъ, Лафатеръ, Шмитъ, Циммерманъ, Тикъ, рисунки, психологіи, Лабрюйеръ, Ѳеофрастъ — все лежало на столѣ и ожидало нашего анатомическаго прикосновенія.

— «Нечего сказать: исправенъ ты, Алексѣй Семенычъ!» сказалъ я, лѣниво поднимаясь съ постели и накидывая на себя халатъ.

— «Я всю ночь не спалъ; мнѣ мерещились всѣ эти рожи,» отвѣчалъ Алексѣй Семенычъ, указывая

на большой листъ, гдѣ въ систематическомъ порядкѣ расположены были гримасы страстей по методѣ Лафатера: «Что это вы читали?»

— «О заблужденіяхъ и предразсудкахъ доктора Сальга.»

— «Хорошо?»

— «Нѣтъ.»

— «Почему?»

— «И самъ не знаю: не нравится. Въ томъ классѣ людей, гдѣ водятся предразсудки такого рода, доктора Сальга читать не станутъ, а гдѣ книга его можетъ найти читателей, тамъ нѣтъ ужъ именно тѣхъ предразсудковъ которые онъ преслѣдуетъ. Ихъ смѣнили другіе, такъ сказать высшіе предразсудки и заблужденія; отъ нихъ также нѣтъ лекарства, пока не минуетъ вѣкъ, носившій свои заблужденія, какъ болѣзнь неизлечимую.»

— «Понимаю! Нѣмецкая философія, безусловное обожаніе Шекспира, Гете...»

— «Господи Боже мой! Мало ли ихъ! Въ какомъ множествѣ предразсудковъ и мы съ тобой учавствуемъ. Вотъ, мнѣ кажется, и еще одинъ предразсудокъ, принадлежащій времени.»

Съ этими словами я подалъ Кленову еще мокрую афишу.

— «Паста въ ролѣ Нормы!» сказалъ онъ съ какимъ-то трепетомъ. «Паста, которой удивлялись Тальма и Европа! Паста divina, Паста несравненная, и вы не вѣрите?»

— «Не вѣрю, какъ не вѣрю первостепенности талантовъ Гораса Вернета, Мейербера и многихъ,

многихъ прославленныхъ и превознесенныхъ. Оглянитесь: сколько геніевъ драматическаго искуства сошли для насъ съ тріумфальныхъ пiедесталовъ и очутились на первой ступенькѣ храма искуствъ, почти въ уровень съ своею публикою? Намъ помогла наша анатомія, взыскательная, мелочная, подробная, но виноваты, кажется не мы? Не правда ли?»

— «Но Паста?..»

— «Что я говорить прежде времени: должна быть женщина съ талантомъ: о пѣніи я и не говорю. Можетъ быть, нѣкоторая степень одушевленія, нѣсколько счастливыхъ жестовъ, умѣренность въ движеніяхъ, при необъятномъ искуствѣ пѣнія, составили ей двойную славу первой пѣвицы и первой актрисы, что могло случиться тѣмъ скорѣе, что эти два таланта соединяются весьма рѣдко и трудно. Но до вечера недалеко, а теперь займемся нашимъ дѣломъ.»

Мы передвинули зеркало между двухъ оконъ, поставили передъ нимъ столъ, и предварительно стали кривляться, испытывая, до какой степени лица наши одарены подвижностью чертъ. Мы невольно расхохотались. Но когда составили мы реестры страстей, различныхъ степеней чувства, съ подраздѣленіями по оттѣнкамъ, какіе подмѣтить можно — о, тогда мы забыли о Пастѣ, заблужденіяхъ и предразсудкахъ... Намъ открылся новый міръ; наука сама собою выростала изъ ничего, — наука великая, положительная, несомнѣнная... Мы видѣли возможность нѣкоторой классификаціи, возможность

условными знаками, нотами записывать движенія физіономіи, и оба невольно погрузились въ размышленія. Первый опомнился я, и весьма естественно: для меня драматическіе опыты были забавою; для Кленова составляли все — будущность, славу. Слѣдовало приниматься за любовныя гримасы и я сказалъ Кленову: «Ну, Алексѣй Семенычъ, теперь мое дѣло сторона; это по твоей части.»

Алексѣй Семенычъ покраснѣлъ; лице его измѣнилось; на глазахъ показались слезы. Изумленіе мое возрастало. «Что съ тобой?» спросилъ я. Онъ молчалъ. Я всталъ, набилъ трубку, закурилъ; давай разгуливать по комнатѣ и думать: какимъ образомъ быть скромнымъ и вмѣстѣ удовлетворить невольному любопытству? Кленовъ самъ меня выручилъ.

— «Вотъ видите: вы меня хотѣли отвлечь отъ завѣтной моей цѣли, а для нея, можетъ быть, навсегда я теряю блаженство счастливой любви. Вы меня сочтете безумцемъ, но я васъ познакомлю съ нею; вы увидите, поймете, и не будь этой старой Мегеры, она пошла бы со мной къ вѣнцу и оттуда прямо на подмостки Александрынскаго театра! Да! Я не шучу... ручаюсь... знаю ея сердце, любовь къ искуству. И знаете ли, отъ чего у насъ нѣтъ театра?»

— «Очень любопытенъ знать.»

— «Отъ того, что нѣтъ актеровъ. А отъ чего нѣтъ актеровъ?»

— «Отъ того, что нѣтъ театра,» перебилъ я: «нѣтъ оригинальныхъ піесъ высшаго разряда.»

— «Совсѣмъ не то, совсѣмъ не то!» въ свою

очередь перебилъ меня Алексѣй Семенычъ: «Отъ того, что предразсудки и заблужденія очарованнымъ кругомъ уединили сословіе актеровъ въ гражданскихъ классахъ.»

— «Кто тебѣ сказалъ?»

— «Я знаю, вы мнѣ подкинете тысячу противорѣчій. Вы меня сами пугали этими предразсудками, но будь что будетъ, а Ольга Андреевна увидитъ своего жениха не у алтаря, а въ театрѣ, какимъ нибудь Сыномъ любви или Влюбленнымъ Шекспиромъ.»

— «Отъ чего же сыномъ любви?»

— «Да, непремѣнно. Это ужъ привиллегированныя пьесы для всякаго дебюта. Любопытно: въ какихъ пьесахъ дебютировали начинающіе до рожденія «Сына любви и Влюбленнаго Шекспира?»

— «А знаешь ли? Мнѣ кажется, что въ этомъ выборѣ участвовалъ не одинъ случай. Положеніе начинающаго актера у насъ имѣетъ какую то аналогію съ Сыномъ любви и Влюбленнымъ Шекспиромъ. Для тебя же, кажется, обѣ прійдутся кстати. Первая потому, что ты поступишь въ сословіе, которое ты самъ считаешь какимъ-то оазисомъ обществу; вторая: влюбленный актеръ; дай Богъ въ тебѣ увидѣть когда нибудь новаго Шекспира.»

— «Нѣтъ! я не вѣрю судьбѣ моей. Съ нѣкотораго времени голова моя похожа на калейдоскопъ; ее переворачиваютъ безпрестанно невидимые духи; узоры... Охъ! не говорите, не спрашивайте...

когда наступаютъ холодныя минуты размышленія, мнѣ сдается, что вы правы, что я безумецъ... что я... И кто поручится, что у меня есть талантъ, т. е. такой талантъ, который помогъ бы мнѣ составить славу театра, сдѣлаться образцемъ, стать на ряду съ Киномъ, Тальмой, Пастой? Кто поручится?»

— «Трудъ и усердіе,» отвѣчалъ я: «а прочіе матеріалы всѣ налицо. Но Ольга Андреевна меня крѣпко смущаетъ.»

— «Не бойтесь, клянусь вамъ, не бойтесь: она перенесетъ потерю; я ее знаю; она будетъ благословлять мою рѣшимость. Вы полагаете только и великихъ людей, что въ книгахъ. Да, есть ли у васъ время? Можете ли вы пожертвовать получасомъ?»

Я одѣлся и мы отправились по ужасной Петербургской мостовой, на дрянномъ Петербургскомъ извощикѣ, на Литейную. Продолжать разговора не было возможности; стукъ и боль въ бокахъ уничтожали всякую къ тому охоту; безъ малаго въ полчаса, мы дотащились до огромнаго семнадцатиэтажнаго дома, гдѣ проживала Ольга Андреевна. Къ счастію, намъ не надобно было совершать воздушнаго путешествія; на площадкѣ лѣстницы въ бель-этажѣ Алексѣй Семенычъ позвонилъ въ колокольчикъ, и лакей, въ дезабилье, отворилъ двери. «Дома?» — Дома. — Мы вошли. Алексѣй Семенычъ представилъ меня хозяйкѣ и дочери; раскланялись, усѣлись.

— «Что, Алексѣй Семенычъ,» спросила стару-

ха, въ огромномъ чепчикѣ, держа въ рукахъ очки и перетирая ихъ платкомъ: — «будете вы сегодня у Пасты?..»

— «Непремѣнно.»

— «Ужасная дороговизна, батюшка, Алексѣй Семенычъ; въ третій не приходится, а второй дорого, право, дорого. Ужъ и во второй-то намъ съ Олинькой что-то неловко, а до третьяго я и не добреду. Помилуй Богъ, что выдумаютъ, право! Гдѣ теперь деньги? Тутъ и дѣти подросли, и все, не только театръ, стало такъ дорого, что упаси Господи! Знаете: мы хотѣли втроемъ взять ложу, да очереди не уладимъ. Паста будетъ, говорятъ, играть четыре оперы по два раза, такъ на три семьи никакъ не раздѣлишь. Бѣда такая, право! Ужъ пожалуйте, Алексѣй Семенычъ, послѣ театра заверните къ намъ; мы васъ обождемъ съ чаемъ, а вы намъ разскажете, что́ за невидаль такая.»

Разговоръ подобнаго рода продолжался около получаса. Оленька и Кленовъ все время промолчали; я едва могъ кое-гдѣ пристегнуть два, три слова, и не видя никакой возможности въ тотъ разъ ближе познакомиться съ Ольгою Андреевною, взялъ шляпу и сталъ прощаться.

— «Ну, что? какова?» спросилъ Кленовъ, когда мы сходили съ лѣстницы. Не безъ смѣха отвѣчалъ я: «Собой не дурна; но согласись: больше я уже не могъ ничего замѣтить...»

— «Постойте, погодите! Кстати, старуха просила васъ завтра обѣдать. Пожертвуйте для меня

вашими новыми правилами. Вѣдь вы обѣдали же у X., у Z.?»

— «Буду,» отвѣчалъ я. Мы разстались.

—

Представленіе Нормы кончилось. Я искалъ глазами Кленова—напрасно: его не было; на другой день, передъ обѣдомъ, я заѣхалъ за нимъ, вмѣстѣ отправиться къ Мисельскимъ; дома нѣтъ.

— «Вѣроятно, онъ ужъ на мѣстѣ,» подумалъ я. Пріѣзжаю — какъ бы не такъ: не бывалъ, ни вчера, ни сегодня!

— «Взбалмошной такой,» говорила старуха: «а мы его съ Оленькой прождали до перваго часа. Разскажите, пожалуйте, какъ вы нашли Пасту?»

Съ нѣкотораго времени я сталъ чрезвычайно скупъ на откровенность въ дѣлахъ искуства; меня измучили споры, самолюбія, пристрастія и воззрѣнія. Я собирался съ мыслями, хотѣлъ сказать что нибудь, въ чемъ ничего не заключалось бы, однимъ словомъ отдѣлаться. Вдругъ колокольчикъ, и безъ доклада вбѣжалъ Кленовъ, такой веселый — лицо у него было, такъ сказать, сіятельное.

— «Гдѣ вы пропадаете, Алексѣй Семенычъ?» спросила старуха.

— «Гдѣ?» отвѣчалъ онъ быстро, и слова полились рѣкою. Мы всѣ привстали, когда онъ вошелъ, и должны были прослушать стоя предлинную рѣчь, которую передаю моимъ читателямъ со всею точностью, ручаясь за мою память.

— «Гдѣ?» говорилъ Кленовъ. «Я видѣлъ Норму, я видѣлъ дикую женщину, Галлянку, жрицу; я видѣлъ всѣ три характера, дивно слитые, дивно раздѣленные. Видѣлъ, чувствовалъ, осязалъ то, чему удивлялся Тальма. И моя судьба велика! Я могу понимать двойственные, тройственные характеры. Наша система вѣрна. Начинайте съ человѣка; сообразите, первое, его полъ, потомъ возрастъ, наконецъ, его врожденный характеръ; тогда уже опредѣлите къ какому народу принадлежитъ этотъ человѣкъ. Но каждый народъ въ разныя эпохи не похожъ на самого себя; отъищите отличительныя черты того вѣка. Наконецъ, каждый народъ, во всякую эпоху, имѣетъ различныя сословія, а сословія свои отличительные характеры. Чудно, право, чудно! Мы прочли всѣхъ толкователей драматическаго искуства; мы изъ собственнаго безкорыстнаго размышленія извлекли истины; мы ужасались громадѣ обязанностей актера, и вдругъ этотъ ничтожный балаганъ, обсыпанный пестрою толпою любопытныхъ зрителей, превращается въ дремучую, священную дубраву поклонниковъ Ирминсула. Входитъ не актриса, нѣтъ! она не передвигаетъ ногъ по правиламъ стариннаго менуэта, не размахиваетъ руками, подобно вѣтреной мельницѣ; ничего не бывало: идетъ себѣ женщина обыкновенной походкой, безъ малѣйшаго принужденія восходитъ на священный камень, взошла, положила серпъ и—выросла... дѣйствіе начинается. Каждое движеніе обнаруживаетъ принужденіе, стараніе казаться величественною, *толпы ради*. Вы еще ничего не знаете, а уже

видите, что жрица попрала свою религію, что нѣтъ уже въ ея дѣйствіи искренности, что она притворщица по необходимости, напрягаетъ всѣ силы сохранить пиѳическую важность передъ лицемъ невѣжествующихъ идолопоклонниковъ. Наступаетъ время молитвы—этому сердцу не легко молиться, но она должна предводить хоръ молельщиковъ; здѣсь нужны кокетство, притворство, искуство, блескъ пѣнія; иначе Галлы не повѣрятъ ея искренности. Но въ тѣ мгновенія, когда толпа уже распалена молитвой, когда женщинѣ можно украсть мгновеніе для себя, голосъ падаетъ, и какъ-будто въ самой груди поетъ одно сердце, поетъ свой плачъ, свои стоны, цѣлебно ласкаетъ, лелѣетъ свои раны. Словомъ, тутъ уже что-то больше самого искуства: Это, мнѣ кажется, вдвойнѣ играть и пѣть, снаружи и внутри. Адальгиза приходитъ довѣрить тайну своей любви верховной жрицѣ. Какой холодный пріемъ! Какая опять принужденная важность! Но разсказъ вскрываетъ раны сердца Нормы: лице, одно лице отражаетъ всѣ оттѣнки сердечной бури; одно слово: o rimebranza! даетъ всему лицедѣйствію полный, ясный характеръ; воспоминанія побѣждаютъ; жрица исчезла—осталась только женщина. Но кто же счастливецъ, побѣдитель сердца Адальгизы? Maestro притащилъ его самого на сцену для терцета. Полліонъ входитъ, да, Полліонъ, тотъ самый, который оставилъ Норму, мать двухъ своихъ дѣтей... Здѣсь камень преткновенія! Какъ выразить ужасъ? Какимъ звукомъ, какимъ жестомъ? Въ такихъ неожиданныхъ случаяхъ искуство теряетъ

свои правила. Все долженъ дѣлать одинъ вкусъ, одинъ врожденный инстинктъ, и Паста почти присѣла отъ ужаса, руки поднялись, лице исковеркалось судорожно; рѣзкій крикъ излетѣлъ изъ онѣмѣлыхъ устъ и черезъ минуту на Полліона бросается, не римская матрона, не парижская дама, не ревнивица восточныхъ гаремовъ, нѣтъ! Галлянка, дикая, необузданная; руки ея похожи на когти звѣря; она волчица лѣсовъ Галліи, волчица, у которой украли дѣтей безчувственные охотники! О сценѣ предполагаемаго дѣтоубійства и говорить нечего: оно самое вздорное мѣсто во всей оперѣ и послужило только предлогомъ для превосходнаго дуэта. Но наступаетъ послѣдняя сцена: приводятъ пойманнаго Полліона.—Здѣсь всѣ чувства перемѣшались: отмстить однимъ ударомъ меча — мало: надобно насладиться мщеніемъ, и Норма удаляетъ всѣхъ; упреки, требованія, все напрасно—неблагодарный непреклоненъ. Все совершилось: ей не за чѣмъ жить на этомъ свѣтѣ; святыня, по призыву Нормы, наполняется поклонниками Ирминсула, и къ общему ужасу, она объявляетъ себя соучастницею преступленія. Но какъ объявляетъ! Покажите мнѣ, въ какомъ бы то ни было искуствѣ, одно художественное произведеніе, въ которомъ всѣ части, всѣ мѣста были бы равно совершенны. Опытный художникъ сохраняетъ лучшія, сильнѣйшія положенія для конца; начинающій обременяетъ ими начало. Финалъ Нормы можетъ быть причисленъ къ лучшимъ окончаніямъ оперъ. Съ признаніемъ Нормы совершилась пьеса и всѣ по-

ложенія приняли истинно-драматическій характеръ. Здѣсь Паста возвышается до недоступной другимъ степени высокаго, истинно-трагическаго. Она какъ будто хвастаетъ, желаетъ блеснуть своимъ великодушіемъ въ глазахъ — увы! еще любимаго измѣнника, и не видя для него спасенія, раздѣляетъ съ нимъ огненное ложе! Когда признаніе совершено, и совершено съ такою поразительною правдою, что у зрителей брызнули слезы, сердца забились, занялось дыханіе, Паста обращается къ Полліону: смѣсь нѣжныхъ упрековъ и удачной мести дышитъ въ пѣніи, осанкѣ, поступи, лицѣ, во всемъ. Qual cuor tradisii? говоритъ она, но уже сама ни о чемъ не жалѣетъ. Все совершилось; она счастлива, что уже не разлучится съ мужемъ, но каковъ же ихъ союзъ—на кострѣ, въ пламени! Смѣсь всѣхъ этихъ ощущеній, какъ море волнуется безпрестанно; страшное, адское счастіе выражается въ простомъ и глупомъ стихѣ: Crudel Romano, tu sei con me! Но какъ онъ сказанъ! Боже! какъ онъ сказанъ! Всю ночь я повторялъ это мѣсто въ памяти моей, чтобы сохранить его надолго, какъ образецъ совершенства всѣхъ частей драматическаго искуства. Любовь къ мужу излилась; на умъ приходятъ дѣти и Паста преобразилась. Судьба дѣтей испугала ее; она бросается къ отцу и моленія полились рѣкою; вслушайтесь въ слова: ихъ не поетъ Паста, но говоритъ, такъ убѣдительно, такъ трогательно, и прислушивается: смягчилось ли, забилось ли сердце отца? Вслушайтесь въ этотъ разговоръ: тутъ, кажется, будто нѣтъ словъ; одни

стоны матери, однѣ ласки и моленія, выраженныя звуками безъ рѣчей. Богъ знаетъ, что это такое! Подобной матери мнѣ не случалось видѣть. Все забыто... Дѣти... спасеніе дѣтей, усыновленіе дѣтей... ихъ будущее счастіе — вотъ предсмертныя мысли примѣрной матери; но огонь казни запылалъ, дерзкія жрицы прикоснулись къ священной повязкѣ, и гордость верховной жрицы пробудилась. Величественно снимаетъ она сама символъ чистоты и невинности; черное покрывало возвѣстило начало казни — ее влекутъ къ костру. Норма не думаетъ о себѣ; еще мѣстами, понятными даже для ребенка, молитъ отца о дѣтяхъ, и вдругъ завистливый занавѣсъ разрушаетъ очарованіе. Чудно, право чудно! До такой степени еще не доходило искуство.»

Алексѣй Семенычъ присѣлъ, и облокотивъ голову на руки, какъ будто отдыхалъ отъ сильныхъ ощущеній, пробужденныхъ въ немъ послѣднимъ представленіемъ Нормы.

— «Послушайте,» сказала старуха: «да вы такъ, Алексѣй Семенычъ, пожалуй, и съ ума сойдете!»

— «О, нѣтъ, Анна Петровна. Норма меня ободрила, вылечила отъ сомнѣній. Все лѣто на пролетъ буду я заниматься драматическимъ искуствомъ и осенью приглашу васъ и Ольгу Андреевну на мой первый дебютъ, и съ перваго дебюта я стану высоко, вы увидите! Я покажу, какъ надобно читать стихи и прозу; вы увидите, какъ я буду умѣренъ въ мѣстахъ; вы удивитесь игрѣ моей

физіономіи, но игрѣ правдивой, а не безсмысленнымъ кривляньямъ. Да, да, вы увидите, съ какою простотою, благородствомъ, тихо, безъ крика, я буду вести мою ролю. Да, вы увидите, непремѣнно увидите — я рѣшился!»

— «Ну, такъ и есть!» сказала старушка. «Я вамъ всегда говорила. Алексѣй Семенычъ, что театръ васъ къ добру не приведетъ; въ умѣ-ли вы?»

— «Какъ нельзя больше!» почти закричалъ Кленовъ: «Презирайте меня, смѣйтесь — все, что вамъ угодно! Я рѣшился.»

— «Вы не шутите?» спросила старуха, значительно подымаясь съ дивана, куда было-присѣла.

— «Шутить искуствомъ, шутить моей славой, любовью, счастіемъ, жизнію? Нѣтъ! я рѣшился.»

— «Жаль,» сказала старуха угрюмо, выходя изъ комнаты: «вы рѣшились не посѣщать моего дома.»

Оленька поблѣднѣла, но Алексѣй Семенычъ подошелъ къ ней, смѣло взялъ ее за руку и сказалъ, къ изумленію моему, весьма твердымъ, хотя и тихимъ голосомъ:

— «Я ожидалъ грозы; надобно было когда нибудь открыться, но вы не обвиняете меня — нѣтъ! вы благословляете на путь великій, на путь высокой и безкорыстной славы. Не такъ ли?»

Оленька залилась слезами и не отвѣчала ни слова. Изъ другой комнаты послышался рѣзкій и

гнѣвный голосъ Анны Петровны: «Оленька, Оленька!»

Оленька привстала и хотѣла уйти, но Кленовъ удержалъ ее за руку, и она, какъ-будто невольно, повиновалась.

— «Простите, Ольга Андреевна, простите навсегда!» сказалъ онъ, почти сквозь слезы.

— «Богъ милостивъ!» отвѣчала дѣвушка, вырвала руку и скрылась.

— «Мы отобѣдали!» подумалъ я, молча взялъ шляпу и ушелъ. Уже на улицѣ догналъ меня Кленовъ. Молча шли мы по Литейной, молча повернули на Симіоновскій мостъ, молча разошлись, каждый въ свою сторону.

—

II.

СЕМИРАМИДА.

Два послѣдующіе дня промелькнули быстро. Я былъ занятъ, а въ свободное время слушалъ толки о Пастѣ. Любопытные толки! Я никогда не стану повторять ихъ, по весьма щекотливымъ причинамъ. Наступила пятница; въ трудахъ далеко ли до обѣда? Послѣ краткаго отдыха ударило 6 часовъ; въ половинѣ 7-го, съ ужасной высоты третьяго яруса, я уже занимался разсматриваніемъ публики Большаго Театра, огромнаго собранія судей Пасты. Вижу: входитъ въ партеръ Кленовъ. Холодно отвѣчалъ онъ на привѣтствія знакомыхъ; было примѣтно, что онъ уклоняется ото всѣхъ толковъ и разговоровъ, и признаюсь, его уклончивость ла-

скала мое самолюбіе, потому что она была слѣдствіемъ моихъ совѣтовъ. Въ тотъ день шла «Семирамида;» уже началась увертюра, уже партеръ и ложи нѣсколько успокоились, хотя въ бель-этажѣ царствовала пустота, предвѣщавшая, что его посѣтители своимъ пріѣздомъ не дадутъ намъ, *горжимъ*, спокойно слушать, по крайней мѣрѣ, половину перваго акта; по счастію, къ выходу Семирамиды все успокоилось; пьеса прошла благополучно; но когда наступилъ финальный терцетъ, многіе, неизвѣстно почему стали уходить. Мы, горніе, ужасно были огорчены невниманіемъ нѣкоторыхъ слушателей къ художницѣ и къ своимъ сочленамъ: не нравится, не ходите; не понимаете музыки, тѣмъ паче не ходите, но мѣшать другимъ слушать превосходный терцетъ Россини, право — непростительное варварство и вмѣстѣ недостатокъ образованія. Конечно, у трехъ, у четырехъ могли случиться дѣла, *нетерпящія отлагательства*, но у сотни?—Мы были весьма обижены и огорчены, но Кленовъ былъ внѣ себя: это можно было примѣтить по его движеніямъ, изъявлявшимъ самое отчаянное нетерпѣніе, такъ, что я сталъ опасаться какой нибудь съ его стороны неприличной выходки, и признаюсь, въ ту минуту я позавидовалъ театральнымъ правамъ иныхъ государствъ, гдѣ повелительный голосъ публики усаживаетъ на мѣста самыхъ дерзкихъ смутителей общей тишины и вниманія. Каково же было мое удивленіе, когда самъ Кленовъ не дослушалъ всего финала, и едва только Арзасъ убилъ Семирамиду, Алексѣй Семе-

нычъ бросился вонъ изъ театра, почти опрометью, и — былъ таковъ.

Прошло нѣсколько дней. Алексѣй Семенычъ и не думалъ являться ко мнѣ для продолженія нашихъ любопытныхъ занятій; я рѣшился навѣдаться самъ, что съ нимъ случилось. Къ удовольствію моему, я узналъ отъ оберъ-камердинера Кленова, что все слава Богу, благополучно: Алексѣй Семенычъ ѣстъ и спитъ весьма исправно; каждый день выѣзжаетъ въ гости; получилъ изъ деревни деньги, расплатился съ долгами, а остальныя отнесъ въ Банкъ; словомъ, все такъ было хорошо, успокоительно, что я освободился отъ всѣхъ сомнѣній, какія невольно внушалъ мнѣ характеръ моего пріятеля. Время было обѣденное; до дома далеко; желудокъ, лучше всякихъ часовъ и лакеевъ, докладывалъ, «что кушать готово,» и я, по животному инстинкту, завернулъ въ Петербургскій трактиръ, знаменитый дороговизною и мотовствомъ. Войдя въ первую комнату, я почувствовалъ легкую дрожь, робость. Совѣсть ласково упрекала меня за то, что я нарушаю мои спасительныя правила, но видъ собесѣдниковъ въ главной залѣ изгладилъ невольное ощущеніе: ихъ было четверо и между ними Кленовъ. Одинъ изъ прочихъ былъ отъявленный дилеттантъ пѣнія, прочіе диллетанты хорошей кухни. Когда я вошелъ, дилеттантъ пѣнія разглагольствовалъ, дилеттанты кухни кушали. Кленовъ молчалъ и слушалъ противника съ язвительною улыбкой.

— «Ужъ если и на инструментѣ сфальшитъ,»

говорилъ ораторъ, съ ученымъ видомъ знатока: «такъ тамъ ухо рѣжетъ, а въ голосѣ, въ пѣніи этотъ недостатокъ невыносимъ! Интонація, главное дѣло интонація!»

— «Что мнѣ въ вашей интонаціи!» почти закричалъ Кленовъ: «Интонація вѣрная, непогрѣшительная такая же нѣмецкая утопическая выдумка, какъ и трансцендентальная философія; эта пѣвческая мечта сглаживаетъ въ голосѣ всѣ качества, уничтожаетъ всѣ оттѣнки чувства, обращаетъ его въ духовой инструментъ и — только. Мало ли мы слыхали удивительныхъ кларнетовъ и гобоевъ съ двумя только оттѣнками piano и forte, и съ придачей радикально-фальшивыхъ нотъ, когда онѣ обрываются отъ напряженія, неминуемаго въ нѣмецкомъ пѣніи. До Пасты, простите моему невѣжеству, я не слыхалъ пѣнія, не слыхалъ свободно, непринужденно ліющихся звуковъ, съ оттѣнками столь различными и столь безчисленными, какъ, можетъ быть, переливы цвѣтовъ въ перьяхъ колибри. Пѣніе Пасты есть послѣдовательная, полная школа пѣнія: простота, непринужденность, грація, сила, наконецъ смыслъ и чувство — тутъ все есть. Она играетъ звуками, какъ птица; она говоритъ ими какъ умная собесѣдница; она плачетъ, рыдаетъ, любитъ, ненавидитъ; всѣ возможныя чувства и страсти, съ безчисленными ихъ оттѣнками, все, все она выражаетъ звуками. Вамъ пропоютъ тѣ же ноты, какъ тѣ же ноты играетъ кларнетъ, но души, чувства, смысла не ищите въ этомъ кларнетномъ пѣніи. И что я го-

ворю? Ни кто не сдѣлаетъ такого триллера, никто такъ ловко не броситъ ноты и не подхватитъ разочарованной нити звуковъ, можно сказать, на воздухѣ, съ сугубой силой. Нерѣдко, слушая знаменитыхъ пѣвицъ, я удивлялся Россини: какъ можно было испещрять превосходныя мелодіи безчисленными фіоритурами, руладами простыми и сложными, синкопическими скачками формадъ и т. п.? — Паста пропѣла Семирамиду — и я понимаю, что все это нужно, необходимо, имѣетъ безчисленные оттѣнки, понятные одному композитору и огромнымъ талантамъ. Паста не прибавляетъ ничего своего, но тѣ же ноты поетъ съ такою оконченною, художническою тонкостью, которая кажется уже недостижимою. Фальшитъ! Да, она всю жизнь фальшила. Среднія ut, re и mi всегда у нея были въ такомъ же сомнительномъ состояніи, какъ и теперь, и если на нихъ основанъ рисунокъ мелодіи, никогда не обходилось и не могло обойтись безъ фальша; но если они были нотами безъ ударенія, преходящими, этотъ фальшъ не замѣтенъ. Конечно, будто я съ вами спорю — нимало: недостатокъ, и огромный, но за то ужъ недостатокъ почти единственный, за то достоинства ея пѣнія неизмѣримы. Это общая участь всего геніальнаго: по натурѣ, геній еще неполное земное совершенство; иначе прочь его съ земли; у него всегда есть недостатки и недостатки такой важности, что они сохраняютъ нѣкоторое равновѣсіе съ достоинствами, мирятъ человѣчество съ избыткомъ превосходства въ геніе. То же явленіе вы встрѣтите у всѣхъ

великихъ людей, а къ числу великихъ, безспорно, принадлежитъ Паста. Будьте безпристрастны: я именно стремлюсь къ тому, и думаю, что еслибы ученіе старалось сгладить два врожденные недостатка Пасты, фальшивую терцію и сиплость въ басовой октавѣ, тогда Паста осталась бы все-таки съ несовершенствами въ этихъ отношеніяхъ, а прочія достоинства были бы заглушены на вѣки, и Тальмѣ и всему поющему міру не у кого было бы учиться. Вамъ остается еще одинъ недостатокъ, и вы, не понимаю почему, рады имъ воспользоваться; и не вы одни, многіе пользуются этимъ недостаткомъ, но мнѣ даже совѣстно вымолвить, въ чемъ вы обвиняете Пасту! Вамъ кажется, тоже не знаю почему, что ужъ если геній, такъ не смѣй старѣться, будь вѣчно юнъ, будь безсмертенъ — и представьте, что̀ значитъ истинный геній? Ваше желаніе почти сбылось: Паста въ пѣніи нова и молода, и ужъ во всякомъ случаѣ Паста безсмертна! Ручаюсь вамъ, что ни вы, ни десятки вамъ подобныхъ...»

Я побоялся за окончаніе фразы, и схвативъ за плечо Кленова, сказалъ громко, почти съ крикомъ: «Здравствуй, Алексѣй Семеновичъ! Ты, я вижу, пустился въ музыку; этого таланта я за тобой не зналъ.»

— «Пристрастіе и невѣжество принудятъ на старости учиться по еврейски.»

— «Эхъ, батюшка, Алексѣй Семенычъ! всѣхъ не переучишь; дай каждому думать по своему и говорить что думаетъ; увидишь, всѣ станутъ умнѣе.

Скажи-ка лучше, отъ чего ты глазъ ко мнѣ не кажешь?»

— «Не успѣлъ еще записать всего; я хочу отмѣтить, даже нарисовать все, что меня поразило въ Пастѣ »

— «Прекрасныя будутъ каррикатуры!» сказалъ дилеттантъ пѣнія, оскорбленный рѣчами Кленова; прочіе дилеттанты занимались жаркимъ и запивали пріятный разговоръ шампанскимъ. Выходка пѣвца вывела изъ терпѣнія Кленова; онъ вскочилъ; салфетка свалилась подъ столъ, стулъ отшатнулся.

— «Каррикатуры?» закричалъ Кленовъ. «Да знаете ли вы, что художники до сихъ поръ ходятъ любоваться каждою позою Пасты, каждымъ поворотомъ ея головы, каждымъ движеніемъ ея мудрыхъ рукъ, учиться, какъ въ академію; находятъ въ ней полное изученіе антиковъ, находятъ новое, но всегда правдивое, вѣрное, естественное? Нѣтъ у Пасты пустаго желанія красоваться безпрерывно необыкновенными, величественными положеніями; какъ велитъ роль, какъ требуетъ натура — вотъ ея законы. Посмотрите Пасту въ Семирамидѣ, и вы поймете, что значитъ играть, что значитъ быть актеромъ. Вы знаете ли Семирамиду? Вы знаете ли, что въ этой роли нѣтъ сильныхъ мѣстъ, называемыхъ актерами мѣстами выгодными, эффектными? Равно нѣтъ ничего неожиданнаго, страшнаго по тѣмъ понятіямъ, какія должно приписывать баснословному вѣку Семирамиды, но все, что вы читали о Вавилонѣ, дивной его царицѣ, все вы найдете въ одной Пастѣ! Пѣніе ея дышитъ роскошью Востока, всѣ движенія чудно ве-

личественны, царственны; такая женщина можетъ принадлежать только ко временамъ баснословнымъ. Какое спокойствіе и плавность въ походкѣ! Приложитъ ли руку къ устамъ, видно, что думу думаетъ царица; приложитъ ли руку къ груди — женщина, но эта женщина — царица! Она умѣетъ чувствовать и скрывать свои чувства. Царица сердита и рука ея схватилась за край мантіи — и вся драпировка, говоритъ *кто* разсердился; но она царица, она не выйдетъ изъ себя; она выросла въ формахъ и нравахъ дворцевъ вавилонскихъ и какое-то идеальное достоинство во всѣхъ ея отвѣтахъ, во всѣхъ ея движеніяхъ. Въ самомъ сильномъ волненіи страсти, она не забывается, и хотя любитъ Арзаса, но когда требуетъ отъ него завѣтной бумаги, настойчивость ея спокойна, торжественна. Jo voglio, говоритъ она, и я никогда не забуду этого Jo voglio! Или сцена явленія тѣни Нина! Еслибы намъ показался какой нибудь праотецъ, мы онѣмѣли бы, или закричали, такъ, что полиція услышала бы. Но въ тѣ блаженныя времена, когда люди, по милости жрецовъ, и послѣ смерти изволили дѣлать визиты и мѣшаться въ домашнія дѣла своихъ семействъ, когда явленія тѣней были въ привычку, наводили не страхъ паническій, не ужасъ, а непріятное чувство, иногда даже досаду, гнѣвъ... и какъ это превосходно исполняетъ Паста! Она испугалась; ей очень непріятно видѣться съ господиномъ Ниномъ, и вы знаете почему очень непріятно; страхъ страхомъ, но она знаменита своимъ притворствомъ, она на глазахъ всего двора; на лицѣ написаны всѣ волненія

души, а въ движеніяхъ прежнее, принятое и съ неподражаемымъ искуствомъ выдержанное спокойствіе. Я видѣлъ Норму и Семирамиду, и не могу сказать, что видѣлъ въ обѣихъ операхъ Пасту; нѣтъ! я видѣлъ двухъ разныхъ женщинъ, ни въ чемъ одна на другую непохожихъ, ни въ чемъ, ни въ тѣлодвиженіяхъ, ни въ мимѣ, ни даже въ пѣніи. Въ Семирамидѣ все иначе спѣто. Въ Нормѣ царствовали какая-то дикость, материнское чувство, оскорбленная любовь простой женщины; въ Семирамидѣ пѣніе было нарядно, щеголевато, пышно, роскошно, спокойно, торжественно, великолѣпно. Что и говорить по пустякамъ! Мы отъ пѣнія и отъ игры Пасты отстоимъ, по крайней мѣрѣ, на два вѣка!»

Эта выходка чрезвычайно огорчила всѣхъ насъ; даже дилеттанты кухни примѣтно обидѣлись, и не желая разгорячаться послѣ обѣда, выпили по стакану холоднаго шампанскаго. Мы собирались съ мыслями, какъ отвѣчать дерзкому, но Кленовъ не дождался нашихъ рѣчей, вскочилъ, взялъ шляпу и былъ таковъ.

— Э! нѣтъ, постой, голубчикъ! Ты не уйдешь отъ меня!» сказалъ я, расплатился и бросился въ погоню.

— «Хорошенько его, хорошенько!» кричали мнѣ въ слѣдъ дилеттанты.

— «Вотъ я его!» отвѣчалъ я и догналъ обидчика уже на Невскомъ Проспектѣ.

— «Послушай, Алексѣй Семеновичъ? А что же будетъ съ Мисельскими?» спросилъ я очень тихо. Кленовъ остановился, выпучилъ глаза, какъ буд-

то не понимая моего вопроса. Я взялъ его подъ руку и мы отправились по проспекту. «Что будетъ съ Ольгой Андреевной?» повторилъ я, какъ будто нечаянно. Кленовъ видимо измѣнился въ лицѣ и отвѣчалъ довольно твердымъ голосомъ, но такъ тихо, что я принужденъ былъ вслушиваться въ его слова:

— «Такъ вы уже все знаете?» сказалъ онъ. Я покачалъ головой двусмысленно, такъ, что онъ могъ принять мое движеніе за знакъ утвержденія и отрицанія, какъ угодно.

— «Олинька больна,» продолжалъ онъ. «Медицина напрасно завела у ея постели свое обычное гнѣздо и устроила походную аптеку. Напрасно; Оленька больна любовью ко мнѣ, но горячка миновалась, излилась и спокойно пребываетъ въ моемъ карманѣ.

— «Въ твоемъ карманѣ!»

— «Да, она вся въ этомъ письмѣ. Теперь все пойдетъ на ладъ. Олинька станетъ выздоравливать, то есть, забывать меня, какъ мечту дѣтства. Я ее не забуду, нѣтъ! я ее не забуду: я не женщина; но образъ милой Ольги мнѣ будетъ помощникомъ, утѣшителемъ; и помощь и утѣшеніе скоро, скоро будутъ мнѣ необходимы. Признаюсь, представленіе Семирамиды наполнило сердце мое непріятными ощущеніями; искуство отодвинулось отъ меня на еще обширнѣйшее пространство; число требованій умножилось; это ужасное спокойствіе, величіе я могу только сознавать, чувствовать, но какъ его исполнить. Можно ли его обдумать, приготовить и влить

въ каждый мускулъ, въ каждую черту лица, наконецъ сохранить его отъ начала до конца. Но противъ этого есть еще лекарства: трудъ и размышленіе; а противъ публики, противъ нашихъ драматическихъ понятій? Могу ли я надѣяться успѣха, если во всю пьесу ни разу не взмахну рукою далѣе черты, указуемой разсудкомъ и вкусомъ, не вскрикну въ безстрастномъ разговорѣ, буду неровенъ въ неровныхъ роляхъ, буду стараться представлять въ наружныхъ движеніяхъ внутренняго человѣка, тщательно соглашу его съ поломъ, возрастомъ, врожденнымъ характеромъ, націею, историческою эпохою и т. д., и т. д.? Мнѣ кажется, я слышу не громкія рукоплесканія, а громкій свистъ, котораго, по самолюбію, не перенесу. Правило Шиллера, что дожно стараться нравиться немногимъ, нейдетъ къ драматическому искуству; тутъ, кажется, должно имѣть мѣсто правило обратное, а какимъ образомъ у насъ можно нравиться большинству? На какой степени просвѣщенія и вкуса наше большинство? Его можно заманить, задобрить художественными пожертвованіями, а чистое служеніе искуству для него останется тѣмъ же, чѣмъ были для древнихъ таинства Греческой философской религіи. Да и *немногіе*, Господь имъ отпусти грѣхи ихъ! посмотрите, что говорятъ, пишутъ, печатаютъ эти немногіе! Они толкуютъ о драматическомъ искуствѣ точно такъ же, какъ коновалы о медицинѣ, садовники о ботаникѣ, плотники объ архитектурѣ; ихъ путь — битый путь; они знаютъ сотни драматическихъ терминовъ; не изъ дѣла, а изъ не-

простительнаго хвастовства строятъ воззрѣнія и насильно подводятъ подъ нихъ бѣдныхъ актеровъ. Въ окончательные приговоры вмѣшиваются новые и подкупные судьи: пріязнь, личныя связи, расположенія, страстишки, вечера, обѣды, и великому искуству нѣтъ пути — оно остается веселымъ дѣломъ скомороха. Право, странно, и признаюсь, будущность потеряла для меня прежнюю прелесть. Вы были во многомъ правы; вы не безъ основанія удерживали меня отъ избраннаго пути. Начинаю вѣрить закулиснымъ Сциллам и Харибдамъ, но я рѣшился, и тѣмъ слаще будетъ побѣда!»

Люди съ увлеченіемъ Алексѣя Семеныча не любятъ возраженій, и я не противорѣчилъ. Мы продолжали нашу прогулку, разговаривали о совершенно постороннихъ предметахъ; мнѣ только хотѣлось выманить у Кленова письмо; оно казалось мнѣ въ высшей степени интереснымъ; въ нашъ вѣкъ встрѣтить романъ въ натурѣ, право, дѣло рѣдкое, но какимъ образомъ удовлетворить любопытству? Пока я придумывалъ къ тому средства, мимо насъ пролетѣла полуколяска, раздался крикъ: «стой,» и человѣкъ небольшаго роста выскочилъ изъ грязнаго экипажа; онъ подошелъ къ намъ съ видомъ человѣка озабоченнаго безчисленными хлопотами; онъ спѣшилъ во всемъ: въ словахъ, въ походкѣ, въ движеніяхъ. Мнѣ и прежде удавалось съ нимъ встрѣчаться въ обществахъ; онъ былъ вездѣ и во всемъ также торопливъ и поспѣшенъ.

За обѣдомъ онъ оканчивалъ прежде всѣхъ свою тарелку; первый вставалъ изъ-за стола, не садил-

ся играть въ вистъ или преферансъ, спѣшилъ, уходилъ, но куда же спѣшилъ, куда уходилъ онъ такъ поспѣшно? Къ больнымъ. У него ихъ было больше полумильона, въ городѣ, гдѣ народонаселеніе, говорятъ, еще не достигло этого числа; у него всѣ больные на краю бездны, на одрѣ смерти, но вы никогда не слыхали отъ него, какіе именно поглощены этою бездною; выздоравливало ежедневно больше тысячи — *имена*. Легковѣрные почитали его колдуномъ, магомъ, человѣкомъ *вездѣ и нигдѣ* — такъ быстры и неожиданны были его появленія и *исчезновенія*. Съ привычною поспѣшностью, почтенный магъ подбѣжалъ къ намъ. «Ну,» сказалъ онъ Кленову, не здравствуясь: «мы сегодня порѣшили: Ольга Андреевна ѣдетъ съ матушкой въ Ахенъ, и мы отправляемъ ихъ въ концѣ апрѣля, сухимъ путемъ, потому что Анна Петровна воды боится. Болѣзнь самая пустая, но безъ этого путешествія можетъ принять важный характеръ. Прощайте!»

И коляска унесла нашего мага безъ дальнѣйшихъ объясненій.

— «Я это зналъ,» сказалъ Кленовъ въ полголоса: «Она поступаетъ весьма благоразумно. Разлука лучше всѣхъ аптекъ.»

— «Но, можетъ быть, она въ самомъ дѣлѣ больна?..»

— «Нѣтъ!»

— «Да, ты основываешь свои догадки на своемъ самолюбіи, а можетъ быть болѣзнь въ самомъ дѣлѣ угрожаетъ непріятными послѣдствіями.»

— «Говорю вамъ — нѣтъ!»

— «Это еще не доказательство. У меня есть знакомый незнакомецъ, критикъ, совершенно того рода и племени, о которыхъ ты только что разсуждать изволилъ. Когда рѣшительнымъ и почти всегда вздорнымъ его приговорамъ, люди, знающіе дѣло, противопоставляютъ основательныя и несомнѣнныя доказательства, онъ начинаетъ защищаться увѣреніями въ справедливости своихъ приговоровъ, наконецъ божится. «Ей, ей, ей Богу,» говоритъ онъ, «клянусь вамъ, такъ!» А согласись, это похоже на твое «нѣтъ!»

— «Не вѣрите? Зайдемте въ кандитерскую.»

— «Съ такимъ человѣкомъ по неволѣ надобно вести трактирную жизнь,» подумалъ я. Но любопытство одолѣло, и за чашкой шоколада прочелъ я слѣдующее:

«Милостивый государь

Алексѣй Семеновичъ.»

— «Начало изъ Письмовника,» подумалъ я и продолжалъ чтеніе.

«Я была еще въ Институтѣ, еще оставалось нѣсколько мѣсяцевъ до выпуска, какъ уже заботливая maman оставила свою тихую деревню и переселилась въ Петербургъ, не для того, чтобы меня увезти въ глушь своихъ степныхъ вотчинъ, — нѣтъ она хотѣла блеснуть въ Петербургѣ своею дочерью, составить ей хорошую партію, устроить судьбу мою и воротиться къ привычнымъ своимъ занятіямъ. Mais l'homme pro-

pose, Dieu dispose. Не успѣла я выйти изъ Института, maman стала прихварывать. On m'a dit qu'une maladie très grave la tourmente depuis son arrivée à Pétersbourg, и что мы непремѣнно должны отправиться à Aix-la-Chapelle; тамъ maman непремѣнно оправится и выздоровѣетъ совершенно. Maman и слушать не хотѣла своихъ докторовъ. «Успѣю, успѣю,» говорила она, «съѣздить куда угодно, только бы мнѣ тебя пристроить, Олинька!» Я не понимала, что значило это «пристроить,» и воображала, что намѣренія и слова maman относятся къ небольшому процессу, который тогда уже оканчивался. Между тѣмъ, мы познакомились съ вами, какъ сосѣди по деревнямъ; процессъ кончился; maman не ѣхала, не обращала никакого вниманія на мои убѣжденія, и я, не видя никакой возможности заставить ее согласиться на вояжъ, рѣшилась сыграть небольшую домашнюю пьесу, въ pendant къ Мольерову malade imaginaire. Я захворала точно тою же болѣзнью, что и маменька; доктора посылаютъ меня туда же, куда посылали и maman; вы не повѣрите, какъ она теперь спѣшитъ отъѣздомъ, и около 20-го апрѣля, послѣ иллюминаціи, мы отправляемся въ Берлинъ, а оттуда, черезъ разные города, въ Aix-la-Chapelle. Не понимаю причины, почему я обо всемъ этомъ пишу къ вамъ; слухи на счетъ моей болѣзни могли быть преувеличены. Есть охотники самые обыкновенные случаи жизни приписывать своему вліянію. Право, я знаю такихъ. L'amour propre у меня самой велика; я подозрѣваю, что

она и у всѣхъ не въ меньшей степени. Впрочемъ, я вамъ объясню причину моей смѣлости: вы всегда смѣялись надъ моею искренностью, и часто говаривали, что изъ меня никогда не выйдетъ хорошей актрисы. Maman ѣдетъ въ Aix-la-Chapelle! Каково j'ait fait mon rôle? Maman идетъ; я должна кончить. Мы проведемъ два, три года за границей, но, вѣроятно, мы услышимъ о вашей славѣ отъ Русскихъ путешественниковъ, или прочитаемъ въ газетахъ и журналахъ утѣшительныя извѣстія. Отъ души желаю вамъ успѣха. Adieu!»

— «Письмо съ предосторожностями,» сказалъ я: «и не подписано! Но сомнѣнія нѣтъ: она тебя любитъ, она ожидаетъ твоего возвращенія.»

— «Не правда ли?»

— «И знаешь ли: на это письмо очень полезно сдѣлать весьма занимательный, психологическій комментарій. Позволь мнѣ удержать письмо денька на два.»

— «Съ удовольствіемъ и условіемъ...»

— «Само собою разумѣется, такія тайны не выдаются.» Мы разстались. Прошло нѣсколько дней. Кленовъ не являлся. Отъ постороннихъ узналъ я, что Мисельскіе дѣйствительно уѣхали, 21-го апрѣля, за границу. Погода дѣлалась лучше и лучше. Въ городѣ становилось грустно. И душу и глаза манили мечты о деревнѣ и неволили вырваться изъ душныхъ стѣнъ на лоно обновляющейся природы. Я не изъ тѣхъ, которые моды ради ѣдутъ на дачу, когда деревья уже теряютъ листья, сожженные полуденнымъ солнцемъ іюня, когда пыль

ходитъ по воздуху туманомъ и солнце кажется пятномъ безъ лучей. Нѣтъ! не эти дни увлекаютъ, волнуютъ, поятъ душу усладительнымъ дыханіемъ, но тѣ, когда деревья въ почкахъ, на лугахъ пробивается весенній, зеленый пушекъ, озеро встало и топитъ послѣднія льдины въ весеннихъ волнахъ, глотая тепло въ дрожащихъ, слабыхъ лучахъ майскаго солнца, и небо еще такъ непріязненно, такъ бурно: тучи гоняются одна за другою; сѣверный вѣтеръ, на послѣдяхъ, какъ-будто хочетъ сдуть веселаго противника съ небеснаго свода. Но весна — молода: въ избыткѣ силъ, шагъ за шагомъ, она преслѣдуетъ упорнаго соперника. Каждый день новые трофеи. Вчера еще на томъ кустѣ мерзли нѣжныя почки — сегодня онъ весь въ зеленыхъ, молодыхъ листьяхъ, будто нарядился на свадьбу. Посмотрите: старый вѣтеръ утомился, легъ, и тихій теплый вечеръ орошаетъ мягкою благовонною росою поля и рощи; прислушайтесь — поютъ птицы; вчера я слышалъ, какъ куковала далекая кукушка; все утро сегодня прощебетали у открытаго окна мимолетныя пташки; на глазахъ моихъ желтый лугъ одѣлся въ свою зеленую, бархатную мантію... Весна! Весна!

Solvitur acris hiems grata vice veris ac favoni! восклицаю я, вмѣстѣ съ Гораціемъ, и во истину solvitur, разрѣшается. Вотъ эти немногіе дни я люблю встрѣчать въ деревнѣ и читать Циммермана о уединеніи; книга его написана будто нарочно для первыхъ чиселъ майя; не уже ли въ этомъ году я не повторю своевременно моего отраднаго

чтенія, когда столько лѣтъ я былъ лишенъ счастія наслаждаться сельскими удовольствіями юнаго майя? Нѣтъ! И я упрямъ, какъ Кленовъ, и во чтобы то ни стало, 2-го мая переѣду въ Парголово, 3-го разставлю мои книги въ систематическомъ порядкѣ на все лѣто, 4-го, maman природа, буду въ твоихъ объятіяхъ! И 4-го мая, на отлогомъ лугу, что зеленою скатертью катится къ тихимъ волнамъ небольшаго Парголовскаго озера, я лежалъ на майскомъ солнцѣ и читалъ Циммермана. Сбылись мои завѣтныя мечты! разсуждалъ я въ скобкахъ. Городской шумъ! ты не возмутишь моего лѣниваго, но сладкаго труда! Какъ это озеро, тѣсно сжатое въ объятіяхъ лѣсистыхъ холмовъ, спокойно играетъ и плещетъ у ногъ моихъ, такъ сердце мое уединено теперь отъ всего свѣтскаго, и, подъ защитою природы, насладится покоемъ, погрузится само въ себя, перечувствуетъ, чего не давали чувствовать городскія хлопоты и нужды. Умъ раздумается на волѣ; здоровье, мой идолъ, мой страхъ, моя любовь, полною струею польется въ грудь. О, кто выразитъ блаженство покоя! Но вдругъ...

—

III.

АННА ВОЛЛЕНЪ.

По нашей деревенской дорогѣ, которую Финляндская смѣтка вымостила камнемъ, послышался стукъ экипажа. Стукъ умеръ у калитки нашей дачи. «Неужели гости?» подумалъ я. «Какой не-

счастный на два часа рѣшился убѣжать изъ великолѣпной темницы?» По совѣту Циммермана, спѣшу къ несчастному на помощь и встрѣчаю Алексѣя Семеныча — не совсѣмъ Алексѣя Семеныча, но однакожъ человѣка весьма на него похожаго. Разница была въ лицѣ: какая-то недобрая блѣдность разлита была во всѣхъ чертахъ; глаза сверкали, зубы были сжаты примѣтною досадою.

— «Что съ тобой?» спросилъ я невольно.

— «Я пріѣхалъ съ вами проститься. Состояніе моего здоровья требуетъ поспѣшнаго отъѣзда за границу.»

— «Любовь видно взяла свое!»

— «Почти...» сказалъ Кленовъ, съ горькою улыбкою.

— «Что значитъ это почти?» спросилъ я, но Кленовъ не отвѣчалъ, какъ-будто ему не хотѣлось въ чемъ-то признаваться; онъ оглядывался, хвалилъ домъ, цвѣтникъ, виды. Слѣдуя моей системѣ, я и не настаивалъ; предложилъ ему выкушать чашку чаю и отправиться гулять въ садъ. Мы пошли; разговоръ завязался и нечувствительно обратился на предстоящій отъѣздъ Кленова за границу.

— «Растолкуй же мнѣ пожалуй, Алексѣй Семеновичъ,» сказалъ я: «отъ чего ты это вдругъ занемогъ такъ опасно?»

— «Пустяки. Я совершенно здоровъ.»

— «Такъ, вѣрно, прежде чѣмъ поступить на

сцену, ты хочешь поучиться за границей?»

— «Чему и у кого?»

— «Ну, я полагаю, въ Германіи и Англіи есть хорошіе актеры.»

— «Я уже передумалъ и оставляю Россію надолго, можетъ быть... Но что отъ васъ таиться: я не хочу, я не могу быть актеромъ.»

— «Ага! Любовь побѣдила!...»

— «Нѣтъ! побѣдила Паста въ Аннѣ Болленъ. Она навела на меня тоску, уныніе, убила мое самолюбіе, привела въ отчаяніе. Я видѣлъ... Ахъ!.. что я видѣлъ! Не ходите въ эту ужасную оперу: вы потеряете всякую охоту къ театру!»

— «Это почему?»

— «Потому что вы увидите совершенство, какого и въ самыхъ затѣйливыхъ снахъ не представлялось вашему воображенію; до этого совершенства не могутъ довести никакой трудъ, никакое размышленіе. Все, что мы съ вами говорили о физіономикѣ, въ Аннѣ Болленъ доведено до такой точности и совершенства, что, повторяю, поселяетъ отчаяніе. Напрасно бороться, напрасно усиливаться; я уже не говорю о мелочахъ, не говорю объ искуствѣ, съ какимъ Паста изъ дикой Нормы, изъ царственной Семирамиды пересоздала себя въ придворную даму Англійскаго двора временъ до-Елисаветинскихъ. Во все время до рѣшительной катастрофы, до дуэли лорда Перси съ Пажемъ, въ Аннѣ Болленъ двѣ актрисы: одна придворная дама, не рожденная въ порфирѣ; другая примѣтно старается порфирой скрыть свое

происхожденіе, сыграть роль королевы. Тутъ нѣтъ непринужденности Семирамиды; напротивъ, каждый жестъ будто заученъ, повторенъ передъ зеркаломъ и сдѣланъ съ умысломъ въ присутствіи двора; смѣсь старинной любви съ предписанными приличіями мастерски обозначена въ сценѣ пріема Перси, но все это мелочи, о которыхъ говорить не слѣдуетъ. Вдругъ леди Сеймуръ, назначенная сластолюбивымъ Генрихомъ занять мѣсто Анны, приходитъ спасти королеву, убѣдить, чтобы она бѣжала, и не видя возможности уговорить непреклонную, горделивую Анну, открываетъ, что участь ея уже рѣшена, что престолъ назначенъ другой соперницѣ. Кто же эта соперница? Анна угадываетъ. Все достоинство королевы, все принятое веселье, заученная важность разсыпаются: не смерть пугаетъ ее, нѣтъ — стыдъ, униженіе уступить свое мѣсто другой, которую она называла своею подданною, которой повелѣвала съ высоты, казалось, неколебимаго и недоступнаго престола. Негодованіе, гнѣвъ, бѣшенство разрываютъ несчастную Анну. Tu, che ascolto? Tu! Mia rivale... fuggi... fuggi! Dio! Tu! Tu! Seymour, mia rivale! Ella, mia rivale, ella... Dio! Эти нѣсколько словъ можно назвать вѣнцомъ драматическаго искуства, чудомъ изображенія глубочайшихъ и самыхъ страшныхъ движеній оскорбленнаго сердца, гдѣ все такъ близко къ преувеличенію, къ смѣшному... Tu, che ascolto?»

И Алексѣй Семеновичъ сталъ въ позитуру и со всѣми жестами повторялъ всю сцену. Признаюсь,

я пожалѣлъ, что Кленовъ отрекся отъ сцены, и порадовался, что на небѣ 4-е мая, а не іюня, потому что во всемъ огромномъ саду не было видно живой души, и выходка моего театральнаго ренегата не могла обратить на себя вниманія и насмѣшекъ людей посторонних.

— «Ма, леди Сеймуръ» продолжалъ Кленовъ, «натурально давай кричать: piango e demo! perdono! бацъ на колѣни, и по законамъ театральнымъ, хочешь не хочешь, а надобно «простить» — и Анна говоритъ отворотясь, съ презрѣніемъ истинно королевскимъ, съ горечью неусладимою; съ гнѣвомъ, отъ котораго женщина не можетъ освободиться... Нѣтъ! постойте, не говоритъ ничего: бѣшенство достигло до неистовства. Въ такихъ непріятныхъ случаяхъ всѣ сословія дѣйствуютъ одинаково; оскорбленная женщина, ревнивая, униженная, она можетъ возбудить не участіе въ соперницѣ, а насмѣшку! Пожалуй, эта насмѣшка тайная, но еще болѣе горька, и Паста только о томъ и хлопочетъ, чтобы Сеймуръ ушла отъ нея; но когда видитъ, что не можетъ избавиться отъ ужаснаго присутствія, неистовству ея нѣтъ мѣры: она бросается на леди Сеймуръ; руки сдѣлали какое-то страшное, безотчетное движеніе, но Сеймуръ на колѣняхъ, соперница на колѣняхъ, покорная, униженная, въ слезахъ, можетъ быть, искреннихъ. Страшный жестъ будто сломался; Анна отворотилась и говоритъ ей горько, гнѣвно, презрительно: Sorgi!... Ахъ! это «встань» — опять новый вѣнецъ искуства! Въ этомъ sorgi каждая

буква правда неподдѣльная, страшная; однимъ словомъ, это *встань* чуть не свалило меня съ креселъ. Крикъ отчаянія вырвался изъ груди моей и въ то мгновеніе я отказался отъ сцены. Къ чему напрасно тратить дорогое время? къ чему уничтожать собою и такъ уже огромное число посредственныхъ, порядочныхъ актеровъ? что за слава дивить свой муравейникъ? Я не знаю, кого можно бы поставить возлѣ Пасты: она совершенно на другой дорогѣ, одна, единственна; всѣ идутъ по иному пути; тамъ актеры — здѣсь жрица искуства, художница; тамъ ищутъ эффектовъ — тутъ все само собой эффектъ; тамъ надобны роли блистательныя, поразительныя, выгодныя — здѣсь ничего не надобно, все равно. Во всей роли Семирамиды ни одного эффекта, ни одного выгоднаго положенія, а у Пасты эта роль вся такъ занимательна по дивной вѣрности мельчайшихъ подробностей, что, право, каждое движеніе производитъ пріятное впечатлѣніе, тихій, торжественный эффектъ. Послѣ этого вы требуете, чтобы я непремѣнно былъ актеромъ? Покорнѣйше благодарю! Можетъ быть, я могу имѣть успѣхъ въ публикѣ, но я всегда буду краснѣть самъ передъ собою. Память Пасты не дастъ мнѣ покоя — нѣтъ! лучше ничтожество, нежели неполная, или незаслуженная слава. Кончено; я избралъ себѣ другое назначеніе — хочу быть вѣчнымъ путешественникомъ, и черезъ недѣлю ѣду лечиться, или долечиваться отъ тяжкой болѣзни. Паста нанесла моему сердцу, моимъ надеждамъ

тяжелую рану — ѣду лечиться: таковъ общій предлогъ всѣхъ путешествій.»

— «Пока воротишься,» прервалъ я: «разскажи что нибудь о послѣдней сценѣ. Тутъ самое интересное мѣсто во всей оперѣ.»

— «Вотъ драматическія заблужденія и предразсудки! Неужели тамъ только интересъ, гдѣ сходятъ съ ума, видятъ сны, бродятъ лунатикомъ, рѣжутъ, и т. п.? Вотъ обыкновенные эффекты всѣхъ нашихъ пьесъ! Но, боги Олимпа...»

— «Скажи лучше: «Парнасса,» потому что мы взбираемся на знаменитый Парголовскій Парнассъ.»

— «Въ поступи,» продолжалъ Алексѣй Семенычъ: «вы уже видите, что мозгъ Анны поврежденъ, что ноги и руки ходятъ неправильно, невѣрно; лице — о, на этомъ лицѣ написано все: тутъ надобно смотрѣть въ добрый телескопъ, замѣчать каждое движеніе. Воздухъ коснулся устъ осужденной и она вздохнула. Какъ это коротко и вѣрно. Я видѣлъ, какъ театральные узники, выведенные погулять въ тюремный садъ, пьютъ воздухъ, какъ гуси воду, и думаютъ, что совершили великій подвигъ драматической правды; я видѣлъ, какъ другіе, въ томъ же положеніи, бѣгаютъ по сценѣ и разсказываютъ стихами то, чего они въ подобномъ случаѣ разсказывать не могутъ. Авторы не виноваты: живопись ихъ вѣрна, но приготовьте зрителя игрою и тогда уже скажите стихи. Есть множество положеній, которыя прежде надобно сыграть и тогда уже сказать слова,

и на оборотъ; напримѣръ, презрѣніе, гнѣвъ, признаніе, въ мимѣ всегда предшествуютъ рѣчамъ. Въ послѣдней сценѣ Анны Болленъ почти всѣ слова слѣдуютъ за мимой. Паста слышитъ плачъ — простодушное изумленіе и за нимъ вопросъ: Piangete voi? D'onde tal pianto? Аннѣ не до печали: она мечтаетъ, что наступилъ день ея свадьбы; король ее ждетъ; она спѣшитъ къ алтарю, убранному цвѣтами; пора одѣваться, но Перси не долженъ о томъ знать. Но гдѣ Перси? Онъ идетъ, онъ обвиняетъ Анну въ невѣрности, и Анна плачетъ, Анна рыдаетъ, Анна проситъ прощенія. О, радость! Перси идетъ къ ней и воспоминанія юности пробудились. Сладко, сладко Аннѣ. Но человѣкъ завидуетъ блаженству и безумнаго. Входитъ Герви, начальникъ стражи; выводятъ узниковъ. Умъ несчастной возвратился: она видитъ всѣхъ, она понимаетъ ихъ участь, прощаетъ Пажу невольное преступленіе, страдаетъ, небо милостиво и она впадаетъ въ прежнее помѣшательство; сердце ея растворилось въ молитвѣ, Анна молится; но и тутъ не даютъ ей покоя. Раздаются торжественный маршъ, пушки, колокола — всѣ знаки счастливаго окончанія новаго брака, и Анна, забывшись, поднимается и лебедемъ плыветъ въ толпѣ народной, держа за руку Генриха VIII. И все это мечты! О, во всей этой сценѣ Паста несравненна! Безуміе ея такъ полносмысленно; движенія ея такъ непогрѣшительны, а мима, игра физіономіи — это опять полная школа, книга, томы, библіотека дра-

матическаго искуства. Эта сцена послѣ свиданія съ леди Сеймуръ возбуждаетъ уже не одно удивленіе, а зависть. Все плакало въ театрѣ, хотя половина, по крайней мѣрѣ половина наслаждалась этою сценою, какъ балетной пантомимой. Съѣздите, посмотрите, и вы поймете мое отчаяніе, оправдаете мои намѣренія.»

И Алексѣй Семенычъ завѣлъ тріумфальный маршъ изъ Анны Болены, поднялъ руку и поплылъ, какъ выразился онъ, лебедемъ, въ толпѣ безчувственной публики, состоявшей изъ меня и нѣсколькихъ сотенъ еще безлистныхъ деревъ.

—

Алексѣй Семенычъ уѣхалъ. Недальше какъ вчера, приносятъ мнѣ письмо и заставляютъ платить Богъ знаетъ сколько. Пока я расплачивался и распечатывалъ письмо, невольно размышляя самъ съ собою, что ужъ если я поѣду въ чужіе краи, то, вѣрно, ни одинъ знакомый не будетъ жаловаться на мою память: всѣхъ забуду, изъ уваженія къ ихъ карманамъ: ко мнѣ ли пишутъ, или я пишу — плати въ десятеро! Пренесносная корресподенція, и безъ тайной досады не могу не вспомнить, какъ одинъ шалунъ прислалъ мнѣ изъ Парижа, подъ видомъ письма, пукъ разной макулатуры и не удостоилъ двумя словами объяснить отъ кого шутка; я видѣлъ только, что эта шутка была *на мой счетъ*. Но теперь уже разсуждать было поздно; письмо заплачено, распечатано, читаю: «Берлинъ, 3-го іюня / 22-го мая 1841. Все кончено! Вѣчный

миръ возстановленъ; мой поступокъ понравился и Аннѣ Петровнѣ и Ольгѣ Андреевнѣ. Но преступленія мои велики; назначенъ годъ для приличнаго покаянія и тщательнаго испытанія; я долженъ состоять безотлучно при особѣ Ольги Андреевны (она, по прежнему, больна недугомъ матери), провожать ихъ въ Ахенъ, «побывать въ Парижѣ,» какъ говорятъ наши солдаты, «а можетъ и ближе, аль въ Италіи, а можетъ и далѣе...» А тогда въ Саратовъ, въ глушь, въ деревню, и въ приходской церкви Анны Петровны сдѣлаться счастливѣйшимъ человѣкомъ на этомъ свѣтѣ. Согласитесь однакожъ, что моимъ счастіемъ обязанъ я несравненной Пастѣ. — Былъ я и въ здѣшнихъ театрахъ, но признаюсь, игра актеровъ, послѣ Пасты, показалась мнѣ чѣмъ-то уродливымъ, чудовищнымъ, до того, что я потерялъ всякую охоту къ театру. Не знаю, что найду въ другихъ городахъ, но о Берлинѣ газеты и журналы отзывались всегда такъ благопріятно въ драматическомъ отношеніи. — О, газеты и журналы! Жаль, что для журналистовъ не устроятъ особаго факультета, гдѣ они выдерживали бы строгій экзаменъ въ безпристрастіи, правдолюбіи, безкорыстіи, наукахъ и искуствахъ. Весь вашъ, Кленовъ.»

Я крѣпко разсердился на Кленова за послѣднюю выходку. Явственно — личность! Кромѣ Отечественныхъ Записокъ и Литературной Газеты, я участвую во всѣхъ Петербургскихъ повременныхъ изданіяхъ. «Постой же,» подумалъ я, «самого тебя, со всѣми твоими бреднями, мечтами, пред-

разсудками и заблужденіями, всего тебя, съ твоими домашними тайнами, я предамъ на жертву журналу!» Исполняю мое слово — вотъ онъ, Алексѣй Семеновичъ Кленовъ, возьмите его, сдаю вамъ обидчика съ рукъ на руки. Читайте и судите!

1841 г.

СТАРОСТА МЕЛАНЬЯ.

—

Разсказъ.

—

Въ 1839 году поздно осенью возвратился я изъ небольшаго вояжа, сдѣланнаго въ западныя наши провинціи. Во всю дорогу крѣпко грустилъ я, что не достанется мнѣ увидѣть выставку и прійдется еще три года ждать этого художественнаго праздника. Но видно выставка знала о моей печали Картины сдружились и долго, долго не могли разстаться, такъ что я, на другой же день по возвращеніи въ Петербургъ, посѣтилъ галлереи Императорской Академіи Художествъ. Не стану описывать, какое впечатлѣніе сдѣлала на меня выставка 1839 года. Это было бы и несвоевременно и неинтересно. Скажу только о картинѣ Венеціанова, потому что она послужила поводомъ къ настоящему разсказу. Долго, долго смотрѣлъ я на эту правдивую живопись. Въ лицѣ умирающей казалось я видѣлъ мою Меланью; въ другихъ лицахъ я находилъ сходство съ людьми, изъ коихъ я видѣлъ собственными глазами только одного; это Прохора, что стоитъ за кроватью. Можетъ быть онъ у Венеціанова и не Прохоръ, а Лука, но у

меня онъ былъ Прохоръ. Я преспокойно такъ называлъ его въ моемъ воображеніи, и былъ весьма благодаренъ художнику, что онъ заставилъ меня вспомнить объ этихъ почтенныхъ людяхъ. Возвратясь домой, я усѣлся за столъ и призвалъ на помощь всѣ силы моей памяти. Но, увы, многое улетѣло невозвратно, я не могъ себѣ припомнить даже названія села, гдѣ происходило дѣйствіе; а оно лежало на проселочной, неподалеку отъ большой Смоленской дороги, весьма близко отъ Москвы. Черезъ это село проходилъ путь къ одному моему доброму знакомому, къ которому я ѣздилъ изъ Москвы на долгихъ и на короткое время.

— «Эй вы добрые» крикнулъ ямщикъ, завидя церковь села, мелькавшую въ просѣкахъ рѣдкаго лѣса. «Вишь люди валятъ съ сѣнокоса; солнышко спать хочетъ, пора и вамъ и мнѣ вздремнуть; а дѣло извѣстное: конь вздремнетъ, на сто верстъ бодрости захватитъ, а вздремнетъ ямщикъ, три ноченьки со счетовъ долой. Эй вы!»

И добрые кони, какъ-будто поняли краснорѣчиваго ямщика, помчались; дорога была, извѣстно, проселочная; будто оспа какая по ней прошла; то и дѣло выбой да яма, а ужъ гдѣ ровная колея, такъ и за то спасибо; покривилась дорога, будто богатырь какой по ней проходилъ, да хмѣленъ былъ; куда пошатнется, и дорога за нимъ; то на одну, то на другую сторону косилась дорога, а какъ подъѣхали къ рѣчкѣ, косогоромъ такъ и покатились, подъ самое село, а село на горкѣ за рѣчкой.

На прекрасномъ мѣстѣ расположено было село; внизу рѣчка, съ обрывистыми крутыми берегами; по луговой сторонѣ зеленымъ бархатомъ стлалась высокая трава, кое гдѣ кучи вѣтвистыхъ деревъ уничтожали пустынный видъ нашихъ луговъ; вдали можно было явственно разсмотрѣть другое, также обширное село. Дома всѣ были весьма хорошо обстроены; на темени пригорка красовалась сельская церковь и дворъ священника. Сельская улица съ переулками тянулась около церкви длиннымъ полукругомъ. Прелесть вида умножалъ и прекрасный весенній вечеръ, какихъ я мало запомню. Вдоль по улицѣ, почти у каждыхъ воротъ, сидѣли красиво и опрятно одѣтыя молодицы и дѣвушки; мужчинъ почти не было, потому что семи или восьми дряхлыхъ стариковъ считать нечего. Ямщикъ мой, проѣхавъ пять или шесть домовъ, остановился на бревенчатой мостовой и кликнулъ: «Эй вы, красныя, а гдѣ тутъ у васъ господа останавливаются?...»

— «Гдѣ хочешь, вездѣ пріймутъ!» отвѣчала истинно красивая молодица, привставъ и скромно сложивъ на груди руки. Въ это время все общество женщинъ, сидѣвшихъ у этихъ воротъ, встало за разъ, какъ-будто по условію, и поклонилось кому-то. Я оглянулся; потому что этого поклона я никакъ не могъ принять на свой счетъ, и не ошибся: по правую сторону улицы проходила пожилая женщина, также весьма чисто и опрятно одѣтая. У всѣхъ воротъ, мимо которыхъ ни проходила, женщины и даже старики подымались съ

мѣстъ и почтительно ей кланялись; меня это крайне поразило, но на Павлушку не сдѣлало ни малѣйшаго впечатлѣнія, онъ все допытывался, гдѣ бы получше пристать.

— «Да сказано тебѣ» отвѣчала молодица: «у насъ всѣ хозяева гостю рады, а у кого изба попросторнѣе, такъ у Прохора.»

— «А гдѣ же вашъ Прохоръ?»

— «Да вонъ видишь ли, куда староста Меланья повернула, такъ за ея дворомъ, первыя ворота.»

— «Да что у васъ старостой баба, что-ли?»

— «Не замай нашу Меланью, ступай съ Богомъ, куда указано.»

Съ этимъ молодица отвернулась отъ насъ и усѣлась на прежнее мѣсто, а мы остановились у воротъ Прохора. Хозяинъ сидѣлъ у своего двора на прилавкѣ, и беззаботно глядѣлъ на двухъ красивыхъ мальчиковъ, игравшихъ на мостовой, Примѣтивъ насъ, Прохоръ всталъ, поклонился и спросилъ, что намъ угодно. Узнавъ о чемъ дѣло, Прохоръ молча отворилъ ворота, коляска въѣхала на темный крытый дворъ: а я остался на улицѣ.»

— «Ну, слава тебѣ Господи!» сказалъ Прохоръ: «вотъ и наши!»

— «Долгенько сегодня,» замѣтила Меланья, которая въ то же время вышла на улицу: «Чай докосили!»

— «Нѣтъ, Меланьюшка, знаю я вашу долину: Вѣдь она до нашего села доходитъ: Недобрый видно по ней камышки раскинулъ. Не разъ коса зазубрится.»

— «Вотъ ужъ и недобрый; наше мѣсто свято; что ему до насъ за дѣло?»

— «Вѣстимо, Меланьюшка! Про то ты лучше знаешь.«

Во время этого краткаго разговора, я съ любопытствомъ разсматривалъ собесѣдниковъ. Меланья была женщина лѣтъ сорока пяти, шести, сухощавая, рослая, но годы или другія какія житейскія невзгоды ее погнули; лице, несмотря на худобу, было выразительно и пріятно очертано. Прохору по всѣмъ признакамъ было за пятьдесятъ, но онъ сохранялъ въ лицѣ и движеніяхъ молодецкую бодрость. Лице по наружности было простовато; не было въ немъ русскаго дородства; поджарый старикъ умильно поглядывалъ на щедушную сосѣдку, а та смотрѣла въ оба на улицу; въ концѣ села показалась толпа крестьянъ съ косами; они шли съ пѣснею; но завидя Меланью, всѣ остановились и перестали пѣть.

— «Здравствуй, ненаглядная!» сказалъ косарь, повидимому старшій.

— «Спасибо за привѣтъ, добрые молодцы! Богъ помощь, а завтра поблагодаримъ Его за наше довольство и всякую милость.»

— «А завтра праздникъ, Меланьюшка?»

— «Церковный! Рождество Предтечи! будетъ служба, да молитва работѣ не помѣха.»

— «Такъ приходить въ церковь?»

— «Какъ же, родимый, до обѣдень успѣешь поработать!»

— «Такъ прощай же Меланьюшка, храни тебя Господи!»

— «И васъ также, дѣти мои; простите!»

Косари молча разбрелись по домамъ; изъ нихъ двое ушли въ домъ Меланьи, вмѣстѣ съ хозяйкой, а одинъ пошелъ къ Прохору.

— «Что сынокъ,» спросилъ Прохоръ: «много накосили?»

— «Таки довольно, родимый, да гдѣ же Авдотья? Что она дѣтей не смотритъ. Видишь, одни на улицѣ возятся.»

— «Полно, Сеня! Богъ за ними пуще нашего смотритъ, да и я присматриваю, а она у больной Аѳонасьихи; такъ Меланья наказала; очередь на нее пришла. Ужъ мнѣ и самому безъ Дуни сгрустнулось; да вотъ и гостя Богъ послалъ, а что будешь дѣлать; у Аѳонасьихи дѣтей нѣтъ; а вдовье дѣло не лучше сиротскаго, тутъ толковать нечего. Ступай-ко, Сеня, самоваръ поставь, а я ребятишекъ самъ то спать уложу.»

Семенъ повиновался безпрекословно, а старикъ сталъ внуковъ загонять на палати. Загналъ, да и меня съ ними. Я уже не могъ разстаться съ Прохоромъ; и разговоры, и чинность, и Меланья, и все приводило меня въ удивленіе; мнѣ хотѣлось узнать подробнѣе про Меланью, про самого Прохора; про бытъ крестьянъ, но какъ приступить къ этому? Прохоръ на всѣ мои вопросы отвѣчалъ коротко, и какъ то неохотно. Чье село? Государево. Сколько душъ? — Семь сотенъ съ небольшимъ. Кто священникъ?—Отецъ Иванъ. Кто управ-

ляющій? — Міръ правитъ, есть и начальство. — И вопросы мои истощались; я какъ то не смѣлъ начинать про Меланью. Наконецъ подали самоваръ. Я и спросилъ: давно ли ты, Прохоръ, чай пьешь?

— «Не пью, кормилецъ! Не наше питье, а держу про господъ; черезъ наше село немало проѣзжихъ. А пуще въ зимнее время, лучше вина, господское тѣло грѣетъ. Я на Москвѣ узналъ про чай, да и завелъ, а самъ я, батюшка, мелкой торговецъ; торговля моя на три села; на Москвѣ бываю не по разу въ годъ, такъ и этого зелья покуплю; фунтъ на годъ.»

— «Такъ ты не крестьянинъ?»

— «Былъ, батюшка, изъ Дмитровки, вонъ что съ улицы видно; да отпущенъ на волю; тутъ себѣ домишко построилъ, да и вѣкъ доживаю съ сынкомъ да съ Дуней, да съ внуками.»

— «Зачѣмъ же твой сынъ сѣно косилъ?»

— «А что ему дѣлать? Пусть сосѣдямъ помогаетъ да помнитъ, что и онъ не изъ какихъ иныхъ, а простой человѣкъ.»

— «Отъ чего же ты поселился здѣсь, а не гдѣ индѣ?»

— «Отъ чего?» Старикъ печально улыбнулся и покачалъ головою: «Молодъ ты баринъ, такъ и недиво, что про все хочешь знать.»

— «Да развѣ грѣхъ, Прохоръ?» спросилъ я желая принаровиться и къ его понятіямъ, и къ языку: «Видишь, мнѣ ваше житье бытье крѣпко по сердцу пришлось. На вашемъ селѣ видимо — божья благодать!»

— «То-то и есть!» перебилъ меня старикъ значительно и глаза его сверкнули радостно.

— «Должны же быть въ вашемъ селѣ люди...» продолжалъ я: «которые угодны Богу.»

— «То-то и есть!» перебилъ меня Прохоръ. «Право, баринъ, ты умно говоришь; то-то и есть, что въ нашемъ селѣ живетъ Меланья?»

— «Вотъ эта, что ты разговаривалъ?»

— «Она сама, батюшка! Ну, да что объ этомъ говорить. Все село знаетъ.»

— «Да я то ничего не знаю...» подумалъ я и предложилъ старику выкушать со мною чашку чаю; отнекивался Прохоръ да недолго; удалось мнѣ его и усадить, и другую чашку подставить, и разговорился старикъ. — «Видно ужъ такъ было Богу угодно.» говорилъ Прохоръ: «Чай ты, баринъ, про Бородино и про Француза слыхивалъ? Годовъ будетъ за пять до супостата, провожалъ я брата на службу царскую; а у насъ въ Дмитровкѣ церковь на ту пору погорѣла, такъ и отмолиться за брата было негдѣ. Пришли мы оба съ братомъ, да съ матерью, въ здѣшнюю церковь. Пришли мы, а въ церкви священникъ съ дьячкомъ молебенъ служитъ, а у молебна люди стоятъ, покойный Андрей, да сынъ его Василій, да дочь Меланья, да другая дочь Василиса, да еще сынъ Онисимъ, да сноха Лукерья, да деверь Луппъ, да кумъ Трифонъ, что на Москвѣ въ огородникахъ, да Савва, что по зимѣ въ Москву извозничать ѣздитъ, да еще двое трое изъ родни, теперь не припомню. Всѣ стоятъ да плачутъ, окромя Андрея старика. да Меланьи.

Андрея Крутоярова и мы всѣ знали. Заѣзжалъ старикъ въ Дмитровку иногдаъ.—Какъ посмотрѣла матушка Ирина на Андрея, да на Василья тотчасъ смѣкнула, что и у нихъ та же бѣда; постояли мы, пока Крутояровы отмолились, тамъ давай и сами молиться; Крутояровы стоятъ, не уходятъ; поглядѣли и на насъ за то, что мы на нихъ смотрѣли; какъ отошли молебны, Андрей и говоритъ Ирине: Что голубка, взяли и у тебя ясна сокола; а Ирина Андрею: Царю въ людяхъ больше нашего нужда. Нече кнькать. Пусть идетъ, пусть служитъ; съ молоду еще отецъ ему говорилъ: Лаврентій, быть тебѣ въ службѣ царской; такъ ужъ коли отецъ говорилъ, такъ дѣло извѣстное, ему было про то вѣдомо. — Слышь, Василей, сказалъ Андрей, не кручинься. Съ кавалеріей вернешься, а мы за тебя Бога молить будемъ. А когда, Власьевна, въ городъ? или оборщиковъ поджидать будешь?— Что ты это, Лукичъ, будто Лаврентій неволей въ некруты идетъ. Сами сходимъ, вотъ только поотдохнемъ маленько.— Да гдѣ же тебѣ, Власьевна, отдыхать? я твою хлѣбъ соль помню, и старика твоего, Царство ему небесное; щецъ хлѣбнемъ вмѣстѣ, да дѣтей нашихъ благословимъ, пусть идутъ, страма на насъ не положатъ, а можетъ въ одномъ полку придетъ быть, такъ и насъ чаще поминать будутъ. — Пожалуй, Лукичъ, отъ хлѣба соли не бѣгаютъ. — Пошли мы къ Андрею. Вотъ въ тотъ самый домъ, гдѣ Меланью твоя милость видѣлъ. На проводы еще гости подошли; отмолились мы у Андреевыхъ иконъ, да молод-

день добрымъ словомъ, кто копѣйкой, а кто и рублемъ, въ городъ отпустили. Воротились и мы домой въ Дмитровку съ матерью; тутъ со мной такое чудное прилучилось: пойду ли на работу, али на пашати уберусь, али въ городъ съ живностью поеду, все Меланья въ глазахъ. Что за диво, подумалъ я, да и давай молиться. Куда! Все пуще, да пуще; смѣкнулъ и я, что Меланья мнѣ больно приглянулась, сказалъ матери; родная меня благословила, да и говоритъ: Видишь, Прохоръ, немочь и старость одолѣли. Сходи-ко ты самъ къ Андрею, поклонись отъ меня, да и попроси невѣсту. Пошелъ я къ Андрею, дорогой меня будто немочь какая изломала; еле ноги донесли; а у Андрея пиръ горой. «Добро пожаловать, кричитъ старикъ, видно и вы про нашу радость провѣдали. Далъ Богъ Меланьѣ женишка, на все село молодца; сирота бездомный, да парень добрый. Прохоръ, полюби ты Онисима и Сергѣя; въ любви миръ, въ ссорѣ — тревъ!»

Не взвидѣлъ я свѣта Божьяго; будто нечистымъ зельемъ глаза засыпало! Страмъ такой; на кого ни гляжу, все сдается, что тотъ про мою причину знаетъ; и веселье чужое будто надо мной злой смѣхъ; красное слово гостя только въ жаръ меня кидаетъ; а Василиса, другая дочь Андрея, подростокъ такой, будетъ не съ большимъ пятнадцать лѣтъ, знай, мнѣ то того, то другаго подноситъ: ѣмъ, пью черезъ силу; не досидѣлъ на сговорѣ, да въ тихомолку домой, безъ шапки, баринъ, право, безъ шапки. Охъ, было худо, надо быть

лѣтъ тридцать безъ малаго прошло, да и теперь не лучше!»

Я вздрогнулъ. Какъ, подумалъ я, неужели въ этихъ людяхъ страсть любви можетъ имѣть такое байроновское развитіе; на краю могилы, онъ тяжко любитъ женщину, которую полюбилъ не онъ, а юноша, свѣжій, полный силы, способный къ нѣжнымъ ощущеніямъ только по возрасту. Неужели любовь его—привычка сердца, усвоенная его натурѣ болѣзнь. Но я насильно прервалъ мои размышленія, потому что старикъ, отдохнувъ, сталъ дальше разсказывать.

— «Видно такъ Богу угодно» продолжалъ Прохоръ: «матушка Ирина больно опечалилась, да и говоритъ: Эхъ Прохоръ, я твоему горю помогу; погоди годикъ другой, да и женись на Василисѣ. Тоска меня чуть со свѣта не извела, диво за дивомъ со мной творилось. Пойду съ косарями сѣно косить, а гляжу, у Андреева дому стою; разъ, два, а по третьему разу пошелъ я въ церковь, да батькѣ все и разсказалъ. Отецъ Иванъ похвалилъ меня за правду, да и говоритъ: чего ты кручинишься, вѣдь за тебя Меланьи и отдать нельзя; ты господскій, а она Государева крестьянка. Хоть ты и не моего прихода, да я отъ добраго совѣта не прочь: ищи себѣ невѣсты въ Дмитровкѣ. — Эхъ ты, отецъ Иванъ, подумалъ я, и безъ тебя я это знаю, да оттого не легче. Плохо приходилось мнѣ; отецъ Иванъ не помогъ, да Богъ сжалился. Матушка Ирина разрывалась, глядя на меня, про сила, молила не кручиниться, невѣстъ мнѣ раз-

ныхъ называла, грозила что не дастъ благословенія, грозила покойнымъ отцемъ; ничто не помогало. Истерзалась моя голубушка и слегла въ постельку. Меня будто что укололо; будто міромъ мнѣ укоръ сказанъ. Показалось мнѣ, будто я пьяница, лѣнтяй, отъ Бога отступился. Сталъ я горько плакать. Съ утра кладу поклоны передъ иконами, а тамъ отъ больной матери не отхожу; все охаю, да ужь не про Меланью, а про матушку Ирину: вижу у Бога на меня гнѣвъ великъ: нѣтъ матушкѣ лучше. Подъ вечеръ одного дня кончаться стала: я бухъ ей въ ноги, а душенкой моей дрянной къ Отцу небесному. Куда тутъ пересказать, что въ моей душѣ творилось; и Божію Матерь и всѣхъ святыхъ заступниковъ, кого зналъ, всѣхъ помянулъ; то была не молитва, а будто сонъ какой; вспотѣлъ, батюшка, а потъ такой холодной; еле всталъ. Гляжу; спитъ моя родная, спитъ моя ненаглядная и къ утру, только слаба стала, а немочь Господь Богъ отогналъ. И моему горю пришелъ добрый годъ; чтобы матушка Ирина не серчала, да съ сердцовъ чтобы опять въ постельку не слегла, такъ я къ Андрею ни ногой, всегда у нея на глазахъ; прошло не мало времени, глядимъ гости: и Андрей съ Василисой, и Сергѣй съ молодой женой Меланьей, и Онисимы, откуда ни возьмись, также женатый; полна изба стала гостей; матушка Ирина давай пироги печь, а у меня старую немочь будто изъ сундука вынуло: Только ужъ и я былъ не тотъ. Не балуй, говорю самъ себѣ, грѣхъ по чужой женѣ тоско-

вать; надо своей бабой завестись, да бухъ Андрею въ ноги; отдай Василису. А старикъ говоритъ: Окъ, Прохоръ, радъ бы радехонекъ, да не въ обычаѣ. Ты самъ знаешь.—Да съ тѣмъ и уѣхалъ. Уѣхалъ Андрей. Оно такъ было по зимѣ. Морозы богатырскіе. Дуетъ весело, какъ иной разъ утромъ прихватитъ. На диво зима стояла. Уѣхалъ Андрей послѣ вечерень; проводили мы его, да еще на сани смотрѣли; и сани изъ вида пропали. Матушка въ избу ушла, а я стою на морозѣ да гляжу на небо чистое, а тамъ будто праздникъ какой, будто свѣчи передъ иконами, звѣздочки горятъ святымъ пламенемъ. Задумалъ я думу, да и думаю такъ себѣ что то пустое, ни то, ни се, будто орѣхъ безъ зерна; продумалъ, да и опять глянулъ на небо; а тамъ диво небесное: звѣздище большое съ косматымъ хвостомъ, будто метлой изъ огня, небо мететъ. Тьфу ты нечистая сила! молвилъ я, отплюнулся, перекрестился, гляжу, диво ни съ мѣста, я сосѣдей кликнулъ, не мнѣ одному чудилось, всѣ видятъ, и пошли толки: кто войну, кто голодъ, а всѣ недоброе гадаютъ. Знаете вы много! подумалъ я, это про меня знаменье. То-то глупая молодость! Про весь міръ православный, про всю Русь была та звѣзда и по веснѣ вся Дмитровка въ поле не идетъ. Старики и ребятишки, молодые парни и красныя дѣвицы, всѣ на улицѣ до поздней поры стоятъ, да кто бы ни былъ проѣзжій, стой, выспрашиваютъ: далеко ли Французъ, гдѣ Государь, скоро ли въ Дмитровку будетъ, гдѣ Французу ноги подшибутъ? — «Подъ самой Москвой»

сказалъ какой-то кавалеръ. Онъ въ Москву отъ самого Царя съ письмомъ ѣхалъ. Пошелъ по всей улицѣ большой толкъ. Коли подъ Москвой, такъ путь Французу черезъ Дмитровку, потому что она на большой смоленской дорогѣ стоитъ. Тутъ другой кавалеръ проскакалъ, только отъ него и слышали: завтра Французы къ вамъ будутъ. Вотъ мы ужъ тутъ безо всякихъ толковъ за иконы, что у кого было, въ телѣги нагрузили, да къ сосѣдямъ за рѣчку, въ Государево село, перебрались. Мосты на рѣчкѣ поломали. Ждемъ день, другой, нѣтъ супостата; мы ужъ было думали, что наши его въ штыки, вряняли да искололи. На третій день по утру гулъ пошелъ такой, будто земля гдѣ то ломится; пуще да пуще, небо ясное, а громъ идетъ безъ устали. Подъ вечеръ стихло, только по смоленской дорогѣ, стоятъ зарева словно цѣлыя лѣса горятъ. Мы всѣ на улицѣ и заночевали. «Ну, пришло времячко,» говоритъ Меланья: «прости Господи, а если Москву возьмутъ?»—«Что ты дура» говоритъ Сергѣй (такой грубый!) «не говори такого; языкъ скоченѣетъ.» — «Эй возьмутъ, Сергѣй, и какъ не взять, коли добрые молодцы по избамъ сидятъ, на войну, будто на горѣлки, засматриваются; поди-ка, коли-бъ наши, да Дмитровскіе на супостата пошли; вотъ ужъ, какъ хочешь, а перышекъ бы у Француза много повыдернули. А такихъ селъ у Государя, да у господъ, мало ли? Подыми-ка всѣхъ, такъ сколько ни есть на землѣ народовъ, и Французскихъ, и Нѣмецкихъ, и Татарскихъ, всѣхъ со свѣта сгонятъ; будь я не баба, на улицѣ-бъ сложа руки не сидѣла...»

— «Я иду!» крикнулъ я. Русскому народу только добрый кличь надо; на всякую удаль самимъ Богомъ сдѣланъ. Всѣ встали, всѣ за мной; сами не знаемъ куда идти, а Меланья тоже встала, будто выросла, да и указываетъ. «Добрыя дубинки, братцы, да топоры за поясъ... Ступайте на огонь: тамъ Французы воруютъ.» Право, баринъ, смѣхъ какъ вспомнишь, а тогда было не до смѣха; все заправду творилось. Безъ начала нигдѣ порядка. Я поклонился въ ноги Меланьи, да и говорю: «Матушка Меланья, видно твоими устами Богъ говоритъ; будь же нашимъ старостой...» Видно рѣчь моя пришлась ей по сердцу, а больше, видно было такъ Богу угодно. Меланья и говоритъ: «Коли я у васъ староста, такъ слушаться, и мужской и женской народъ! Вы ступайте, на промыслъ противу супостата, а наше дѣло женское, мы въ церковь: пусть отецъ Иванъ Богу служитъ, а мы молиться станемъ. Никто въ печи не моги огня раскладывать; постъ, пока Божій гнѣвъ не минуетъ!»

— «Слушаемъ, матушка Меланья,» крикнулъ я: «слушаемъ твоего святаго слова! Богъ помощь, пойдемъ!»

Право, баринъ, у Бога въ чудесахъ нѣтъ недостачи. Пошли мы на огонь, да и наткнулись на пушки. Насъ окликнули, свои! Тутъ съ пушками былъ какой то полковникъ; видно у него была большая власть; другіе генералы и полковники всякую честь ему отдавали. Онъ и спрашиваетъ. «Куда вы, ребята?» — «Идемъ Француза бить.» — «До-

брое дѣло,» говоритъ царскій богатырь: «доброе дѣло; только васъ такъ задарма супостатъ изведетъ. Вы большой дороги не держитесь, а гдѣ темный лѣсъ или рѣчка безмостая, вонъ тамъ вашей удали пожива. А хотите, я вамъ дамъ и командира, онъ съ военнымъ дѣломъ больше вашего знакомъ.»

— «За совѣтъ спасибо» отвѣчалъ я: «а царскихъ людей для себя приберегу, у насъ есть свой староста — Меланья. На томъ и прости. Страхъ Француза хочется.»

— «Дай Богъ успѣха, добрые молодцы!»

Только мы и слышали, да въ темный лѣсъ; засѣли; сидимъ, глядимъ, то и дѣло наши проходятъ. Господи Боже мой, подумалъ я, сколько у русскаго Царя людей. Чай со всѣхъ концевъ согнали; а они проходятъ, да и ругаются; не приведи Богъ какъ осерчали; горланятъ: за чѣмъ мы съ поля сошли, коли поле наше; сломалъ супостатъ зубы объ наши пушки, что его жалѣть; надо было докалачивать, что змѣю подколодную, а мы его только порохомъ обкурили. И знаешь, баринъ, кто ни идетъ, пѣшій, конный, всѣ такой толкъ ведутъ, на книжную мудрость сумленіе взводятъ; а мы себѣ сидимъ; къ утру и обозъ царскій мимо насъ протащился, а Француза нѣтъ какъ нѣтъ. Сергѣй и давай коритъ меня: видишь, говоритъ, баба тебя опростоволосила. И безъ насъ сколько у царя людей, а отъ Француза улепетываютъ; видишь, какіе у насъ дмитровскіе богатыри; въ лѣсу до того досидимся, что медвѣдь или другой какой ни есть

звѣрь косточки наши сгложетъ.» — «Эхъ, Сергѣй, Сергѣй, гляди, чтобы за такія рѣчи Богу не поплатиться.» Только я это вымолвилъ, солдаты на коняхъ мимо насъ проскакали. Кричатъ не по человѣчьи, да и по одеждѣ Нѣмцы. Проскакали да и опять назадъ. Къ вечеру и повалила нечистая сила. Право не лгу, баринъ; всю ночь и весь другой день, все разношерстые полки шли, такъ, что Онисимъ сначала считалъ, а потомъ и счетъ потерялъ. Прошли, потомъ обозы потащились. Куда! Намъ и приступу нѣтъ; видимъ, что не подъ силу; дождались мы вечера, да въ старую долину и потянули. Сергѣй во всю дорогу трунитъ надо мной, а потомъ и надъ старостой нашимъ; пока надо мной, мнѣ и горя мало; а ужъ какъ старосту обидѣлъ, я осерчалъ и говорю: «Эй, Сергѣй, уймись, не то худо будетъ!» а онъ на драку лезетъ. Я ему говорю: «побереги себя для Француза, а я тебя пальцемъ не трону, ты Меланьинъ мужъ.» — «Такъ что жъ, что я Меланьинъ мужъ?» — «Такъ то, что мнѣ тебя бить не приходится.» — «Да что жъ тебѣ Меланья, сестра, что ли?» — «Про то я знаю,» бодрясь, сказалъ я, а у самого кошки по сердцу заходили. Прости Господи, не доброе на умъ взбрело, да гляжу: направо Дмитровка горитъ. Ахъ, баринъ, мнѣ почудилось будто я самъ загорѣлся; вырвалъ я изъ за пояса сѣкиру, да очертя голову — въ Дмитровку побѣжалъ; гляжу, а на старой долинѣ люди чернѣютъ; по шерсти узналъ супостата, вижу, что въ Государево село путь держатъ. И Дмитровка горитъ, и Ме-

ланью нехристи обидѣть могутъ, а правду тебѣ сказать, баринъ, Меланья тогда была что наливное яблочко, что на лѣтнемъ солнышкѣ подрумянилось. Я назадъ; догналъ товарищей; сказалъ про бѣду; мы скорѣе цѣликомъ къ рѣчкѣ; набѣжали Французы, да ни одинъ въ Дмитровку не воротился; чай и теперь въ землѣ ихъ невѣдомо, гдѣ лежатъ ихъ косточки, а тѣхъ косточекъ и тутъ нѣтъ; далече ихъ рѣчка унесла. Сталъ сговорчивѣе Сергѣй, какъ съ бѣдою лицемъ къ лицу повидался. Разсказали мы Меланьѣ про нашу удаль. Напугала она насъ порядкомъ. И не обрадовалась, а въ придачу давай за души супостастовъ молиться. Этакого промежъ насъ и старики не слыхивали. Стали корить Меланью. А она посмотрѣла на всѣхъ и на стариковъ, что на глупыхъ подростковъ, да и говоритъ: «Всѣ мы по христѣ братья. Война — только ссора. Кто напалъ, тотъ и попятился, а людей все-таки жаль; не гады же, а люди!» Старички прикусили язычки; а меня будто рублемъ подарила. Что ни скажетъ Меланья, такъ мнѣ весело, будто я самъ умное слово сказалъ; кто ни похвалитъ Меланью, будто меня хвалитъ. Ну, баринъ, сгорѣла и Дмитровка и тихо стало; Французъ подъ Москву пошелъ, а къ намъ въ село кумъ Трифонъ, что въ огородникахъ, изъ Москвы пришелъ да и баитъ, что князь велѣлъ Москву Французу отдать. Не успѣлъ онъ этого вымолвить, Меланья бухъ на земь, глаза закатились, всѣ ахнули, а я... Охъ, баринъ, и теперь больно, какъ вспомню. Я только

руки къ ней протянулъ, только и крикну, будто меня чѣмъ прибило: «Меланьюшка, свѣтъ ты нашъ, радость-Меланьюшка, не покидай насъ, всѣ мы безъ тебя сиротами будемъ.» Тутъ и другіе за мной пристали къ Меланьѣ, и Андрей, и матушка Ирина, и жена Онисима, и другое бабье, какое тутъ прилучилось; подняли мы ее, уложили на постельку, а Сергѣй съ перепугу, али съ доброй догадки, за отцемъ Иваномъ побѣжалъ. Все не впрокъ. Не открываетъ глазъ Меланья, да и полно. Всю ноченьку промаялись; къ утру будто пріуснула, да не ладно, сонъ не сонъ, а будто она въ огнѣ горитъ, да вздрагиваетъ; девять сутокъ, батюшка, девять сутокъ продержала ее немочь въ огнѣ; а потомъ и сонъ пропалъ, и ѣсть ничего не можетъ, ни руки не подниметъ; лежитъ, да на всѣхъ такими глазами глядитъ, что не приведи Господи. Вотъ ужъ тутъ нечего дѣлать, не стану грѣха таить, полюбилъ я Василису, не за то, что она Василиса, а за Меланью. Я не сплю, Сергѣй не спитъ, и Василиса глазка не прижмуритъ. Такъ возлѣ больной сестры и сидитъ.—За большимъ горемъ и радость большая. Слышимъ, что наши полки опять на Смоленскую дорогу потянули; что за диво? Знаемъ, слышимъ, что Французъ давно уже въ Москвѣ пробавляется; уже и осень на дворѣ; по всему царству плакать перестали, слезъ не хватило, а наши полки опять на Смоленскую! Сидимъ мы подъ вечеръ у больной Меланьи, да и думаемъ каждый про себя: «что за диво? Не умираетъ Меланья, а нѣтъ лучше.» А

она голову къ окну повернула, да и глядитъ на солнышко; правда ни словечка не обронила, да у меня сердце екнуло; у Меланьюшки на глазахъ слезинка, у меня другая, давай и я смотрѣть на солнышко и право, не повѣришь баринъ, и самъ бы я другому не повѣрилъ, а чудилось ли мнѣ или за правду, мимо меня Меланьина молитва слышимо проходила. Охъ баринъ, рай на землѣ, да и полно.»

Желалъ бы я отыскать въ свѣтѣ актера, который бы могъ сказать послѣднія слова Прохора со всею полнотою и силою чувства, съ какими ихъ произнесъ мой старикъ. Конечно и съ актеромъ случилось бы тоже, что и съ Прохоромъ. Онъ не могъ продолжать разсказа; прошло болѣе десяти минутъ, пока Прохоръ вышелъ изъ глубокой задумчивости, въ которую впалъ послѣ этой фразы.

— «Такъ что же, Прохоръ?» спросилъ я: «Наши вышли на Смоленскую дорогу; Кутузовъ ждалъ врага и готовилъ ему проводы.»

— «Проводы!» сказалъ старикъ съ усмѣшкой: «хороши проводы. Да еще и до проводовъ поплатился Французъ и людьми и казною. И къ намъ въ село зашли было за живностью, да живые не воротились; а еще у нихъ и пушка была. Да не о томъ рѣчь, а о томъ, что, послѣ той благодатной молитвы, слышимъ барабанъ бьетъ; всѣ мы на улицу; полкъ не полкъ; а людей не мало; напни; стоимъ мы съ Онисимомъ и на ратныхъ людей любуемся; а они пришли гурьбой;

старшій кличетъ старосту; вышелъ Андрей; разведя ихъ по фазерамъ; вишь тутъ Андрею кто то изъ служивыхъ въ ноги повалился. Василей! Не успѣлъ Андрей крикнуть: Василей, а уже я кричу: братъ Лаврентій! Право, на горяхъ, да радость такая, кажетъ втрое; потащили мы нашихъ служивыхъ къ Меланьѣ: та, какъ увидѣла брата, закричала, да и давай кончаться... Батюшки свѣты; ужъ мы и радости своей рады не были; вывели служивыхъ вонъ изъ избы: послали за отцемъ Иваномъ; тотъ со Святыми Дарами спѣшно пришелъ Запѣлъ дьячекъ; я у самой кроватки стою да какъ заслышалъ дьячка, такъ и одурѣлъ; только и говорю: Вотъ тебѣ разъ, пропала моя головушка. Ахъ ты, Меланьюшка, будто молитва наша до Господа не дошла? А Меланьюшкѣ будто легче стало, приподнялась на постелькѣ, диво, прежде руки поднять не могла, а теперь сама крестъ сложила, причастилась и уснула. Простояли мы надъ нею не долго; опять въ деревнѣ забарабанили. Я и покалякать съ братомъ не успѣлъ; только его и видѣлъ; мимо оконъ прошли наши солдатики, а Меланья проснулась; откуда усмѣшка взялась; Господь Богъ языкъ ей развѣшилъ, да на новое диво. «Благодарите Господа!» сказала Меланья, не то чтобъ громко, не то чтобы и тихо: «гонитъ Онъ супостата изъ Москвы бѣлокаменной; пришелъ конецъ гнѣву Божію. Молитесь!» Матушка Ирина первая на земь, да стала поклоны класть; мы за нею, а тутъ кумъ Трифонъ въ двери. «А знаете,» говоритъ: «за чѣмъ солдаты уйли? —

Попыли Француза ловить; хотѣлъ изъ Москвы убѣжать.» Съ той поры всѣ повѣрили, что на Меланьѣ Божья благодать. Самъ отецъ Иванъ пришелъ на другое утро, да и давай распрашивать: «Скажи, Меланьюшка, откуда ты объ Москвѣ вчера провѣдала; вѣдь заправду Французъ отъ насъ уходитъ.»

— «Э, не то еще будетъ...» говоритъ моя голубушка, да такая веселая, будто совсѣмъ и больна не была: «Немочь моя отъ Господа; слава Ему и честной Богородицѣ и святымъ заступникамъ; хорошо мнѣ было; я мой обѣтъ сотворила, слова не вымолвила, пока Францу́зъ въ Москвѣ былъ; правду сказать тяжело мнѣ было; я и смерть видѣла; темно душѣ становилось, да призвала я Его, и смерть отошла, и во снѣ увидѣла я, какъ Французъ изъ Москвы тронулся. Слава тебѣ, Господи! Укрѣпилъ ты меня на трудное дѣло; а теперь намъ еще много работы, вожа землю православную отъ заморскихъ гостей очистимъ. Богъ вмѣстѣ съ нами; и морозы и стужи издалеча идутъ; и на поляхъ лягутъ; и на рѣкахъ потонутъ; и въ городахъ, словно тараканы вымерзнутъ, на то воля Божія!»

И сбылось все по словамъ Меланьи. Начались проводы, какихъ земля Русская не запомнитъ; и пришли морозы и стужи; словно дрова везли, да растеряли по дорогѣ, столько мертвецовъ; слышали мы опять пушки, да ужъ не страхомъ сердце билось; пусто стало въ околицѣ. Схожу-ка я на пепелище, въ мою родимую Дмитровку; сказалъ и

пошелъ; иду; за старой долиной, есть овражекъ, черезъ овражекъ — также есть дорога; ближе, да зимой небережно поѣдешь, такъ въ снѣгу и завязнешь; ну, а для насъ Дмитровскихъ вездѣ дорога, каждый кустъ знаю на память. Пошелъ я на этотъ овражекъ; хотѣлъ по косогору обойти, да гляжу изъ сугробовъ что-то зеленое торчитъ; ящикъ не ящикъ, телѣга не телѣга, окована, словно сундукъ церковный; подошелъ я, гляжу: точно сундукъ, только на колесахъ; я кое какъ снѣгъ разгребъ; замокъ виситъ; съ пудовикъ будетъ; сталъ я подальше снѣгъ раскапывать, да чуть и самъ не провалился; вотъ я себѣ длинный шестъ вырубилъ, да и давай издали снѣгъ бороздить; что же, баринъ; мерзлыхъ людей человѣкъ шесть открылъ, да лошадь. Видишь съ дороги сбились, не могли изъ сугроба лошадь вытащить, изъ силъ выбились, примерзли, а ихъ снѣгомъ и занесло. — Пошелъ я въ Государево село, да заложилъ свою лошадку въ сани; никому про находку ни гугу; съ большимъ трудомъ ящикъ тотъ вытащилъ и съ кобылой, что издохла; людей тѣхъ на сани, а сундукъ сзади прицѣпилъ, да и пріѣхалъ въ село. Всѣ сбѣжались диво смотрѣть, хотѣли сундукъ ломать. Я говорю: Не замай! не наше! Государево; такъ какъ есть, на Москву отвезу, али въ нашъ городъ, да начальству и отдамъ; а у мерзлыхъ отберу, что мертвому не пригодно, ружье, саблю, да и хороните себѣ ихъ тѣла, а это государева добыча; такъ ли, Меланьюшка?»

— «Такъ, Прохоръ!» молвила Меланья и міръ

за нею говоритъ: такъ, Прохоръ! Нарядилъ Андрей мнѣ въ помощь Онисима и поѣхали мы съ нимъ въ уѣздъ. Пріѣхали, а тамъ никакого начальства. Горожане всѣ разбрелись отъ Француза, да еще и не вернулись: только козаки, да пушки, да полковникъ, да солдаты; Козаки насъ тотчасъ захватили, да къ тому полковнику. Онъ тогда уже не былъ полковникомъ, а генераломъ; какъ посмотрѣлъ на меня, такъ и обрадовался. «Ба!» говоритъ: «старый знакомый! Что много ли извелъ супостата?» Я ему все и разсказалъ, да и про находку прикинулъ. Ну, баринъ, стыдно разсказывать, а полковникъ, право не лгу, взялъ да и поцѣловалъ меня, а онъ тогда уже не былъ полковникъ, а генералъ; пушками правилъ. Поцѣловалъ, да и говоритъ офицерику съ усиками, такому знатному парню, что просто кровь съ молокомъ: «Ну, говоритъ, вотъ, мой другъ, мужикъ, а не корыстуется чужимъ добромъ; а знаешь ли, пріятель, что это твое добро по закону.—«Не знаю, кормилецъ!»—Такъ знай же. Не хочу и смотрѣть что тамо у тебя въ сундукѣ. Ступай съ Богомъ, а за то, да се...» пошелъ хвалить меня, да и свелъ на спасибо; да и прикинулъ: «колибъ ты былъ мой, я тебя за такое дѣло подарилъ бы волей.»

— «А чей ты?» спросилъ офицерикъ съ усиками.

Я сказалъ. «Такъ ты мой!» крикнулъ офицерикъ. «Не знаю; можетъ статься и твой; мы своего молодаго барина въ глаза не видали, слы-

хали только, что онъ въ Питерѣ своимъ доходомъ пробавляется.» «Ну, Прохоръ,» сказалъ молодой баринъ; (то онъ и былъ заправду) ну, Прохоръ, видно Богъ тебя жалуетъ.» Я вспомнилъ про Меланью и охнулъ про себя, а баринъ говоритъ: «Я твоему счастью не помѣха; дарю тебѣ волю, а отпускную изъ Питера пришлю; а чтобы ты былъ покоенъ, вотъ тебѣ моей руки письмо.» Сѣлъ онъ къ столу, написалъ, генералъ отъ себя приписалъ доброе слово. И я вернулся въ Государево село и съ волей и съ богатствомъ; въ томъ сундукѣ, какъ мы его вскрыли, золота столько, что хоть пригоршнями бери, да разбрасывай; на всю Москву хватитъ. Что съ нимъ дѣлать? Повезли мы то золото къ отцу Ивану, да въ церковь и поставили. Вернулись домой. Всѣ мнѣ въ ноги кланяются. Всѣ за меня дочерей сватаютъ. Каждый на разспросъ идетъ, что я съ такимъ богатствомъ творить буду. Не мое, говорю я, то добро Божіе. Мы люди погорѣлые. Раздѣлимся по-братски, да обстроимся. Доброму барину невзначай припасемъ; да на новую церковь въ Дмитровкѣ, да на здѣшнюю церковь, да на бѣдныхъ, а бѣднымъ пусть Меланья раздаетъ. А у меня одна просьба, Андрей! Я теперь вольный; гдѣ захочу, тамъ и усадьбу заведу. «Знаю, знаю...» молвилъ. Андрей и подвелъ ко мнѣ Василису. Что тебѣ, баринъ, дальше разсказывать. Какъ сегодня, такъ и цѣлый вѣкъ прожили, дай Богъ и умереть на томъ же; только бы не врознь съ Меланьей; изъ стариковъ только мы и остались: Меланья, да я, а молодежь нашу самъ из-

волилъ видѣть. Точно, милостивъ Богъ, и правду молвить, Меланья отъ него послана; вотъ уже тридцать годовъ безъ малаго, а чай за Меланьей ни одного грѣха и отецъ Иванъ не знаетъ. Она у насъ и казначей, и совѣтъ, и сваха, все. Безъ нея ни крестинъ, ни свадьбы. Въ городъ парень идетъ, Меланьѣ скажется, а она той власти не искала; Богъ ее нашимъ старостой поставилъ. Охъ, Меланья, Меланья, только мнѣ одному пришлось отъ тебя печаль знать и тоску нести, и не замретъ моя тоска до послѣднихъ проводовъ. И тамъ...»

Старикъ остановился и устремилъ сверкающіе слезой глаза на икону Спасителя. Долго стоялъ онъ такъ; наконецъ вздохнулъ и сказалъ тихо:

— «Нѣтъ! Тамъ мы будемъ вмѣстѣ!»

СТАРЫЙ ХЛАМЪ.

Преданіе.

—

У знаменитой англійской актрисы Кроссъ былъ вечеръ, на которомъ, за исключеніемъ двухъ, трехъ не самыхъ взрачныхъ артистокъ театра, остальную публику составляли страстные почитатели таланта и рѣдкой красоты прелестной хозяйки. Кроссъ, обыкновенно веселая, рѣзвая шалунья, въ этотъ вечеръ была примѣтно задумчива; изрѣдка краска досады бросалась въ лице и быстро смѣнялась блѣдностью. Эти перемѣны ощущеній любимицы не могли укрыться отъ внимательныхъ взоровъ почитателей-соперниковъ. Шептались; и эта таинственная бесѣда еще болѣе смущала красавицу. Ей казалось, что всѣ знаютъ про ея досаду, а между тѣмъ причины этой досады и донынѣ остались въ тайнѣ. Кроссъ видѣла необходимость затѣять общій разговоръ, собралась съ силами и спросила довольно громко:

— «А видѣли вы, господа, Макъ-Стефенса?»

— «Сумасшедшаго? Безумца? Чудака?» отозвались собесѣдники чуть не въ голосъ.

— «Былъ онъ и у меня,» продолжалъ толстый лордъ, съ краснымъ лицемъ, въ ужасномъ пари-

къ: «Былъ, былъ, голубчикъ. Я того только и боялся, чтобы онъ не потерялъ уваженія къ моему сану и не вступилъ со мной въ сраженіе. Я даже не противорѣчилъ почтенному механику. Все кивалъ головой, будто понимаю, но онъ, кажется, понялъ свое безуміе. Глаза у него вспыхнули, лице поблѣднѣло, губы задрожали; онъ свернулъ свои чертежи, страшнымъ голосомъ сказалъ: «Извините, что я васъ обезпокоилъ,»—и опрометью бросился изъ моего кабинета Я былъ очень радъ, что избавился отъ такого страшнаго гостя. А вы его, прелестная миссъ, видѣли?»

— «Да... такъ... мелькомъ... но теперь всѣ только и говорятъ, что о Макъ-Стефенсѣ и...»

Кроссъ замкнулась, но толстый лордъ подхватилъ:

— «И о московскомъ посольствѣ. Есть о чемъ говорить! Конечно, большая честь Англіи, что владыка всего европейскаго востока у насъ въ гостяхъ; но скудость производительныхъ силъ Московіи извѣстна. Я видѣлъ путешественниковъ, я читалъ письма отъ Англичанъ, которые тамъ проживаютъ.»

Гости и сама Кроссъ придвинулись къ лорду, желая поболѣе узнать о странѣ, которая, по случаю путешествія Петра по Европѣ, стала для всѣхъ занимательною.

— «Вотъ видите,» продолжалъ лордъ: «это не страна, а странная смѣсь лѣсовъ, болотъ и пустынь. Тамъ зима чуть не вѣчная; рѣки никогда не освобождаются отъ льда, и лѣтомъ по нимъ

ходятъ льдины. Городъ только одинъ, Москва, а впрочемъ, только деревни или кочевые переносные шатры!» И почтенный лордъ продолжалъ разсказывать, и чѣмъ болѣе углублялся въ Россію, тѣмъ болѣе лгалъ и оправдывалъ на дѣлѣ нашу пословицу: чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Въ жару разсказа, онъ и не замѣтилъ, что за стуломъ его помѣстился новый слушатель; по одеждѣ, его можно было бы счесть нищимъ, но физіономія, ростъ, осанка обличали человѣка гордаго и мыслящаго; глаза его сверкали болѣзненнымъ огнемъ; сжатыя губы выражали внутреннее, тайное страданіе... Не только лордъ, но ни кто не замѣтилъ его присутствія. Можетъ быть, онъ бы ушелъ, какъ пришелъ, неслышно, невидимо, но еще новый гость прервалъ повѣсть лорда. То былъ молодой человѣкъ, придворный, что замѣтно было по его одеждѣ.

— «Миссъ Кроссъ! миссъ Кроссъ!» весело кричалъ онъ: «теперь я вашъ. Гости уѣхали.»

— «Уѣхали!» вскрикнула Кроссъ съ выраженіемъ, котораго опредѣлить нельзя.

— «Уѣхали въ Оксфортъ! Дни на три отдыхъ. О! это ужасно утомительно! Покорнѣйше благодарю за честь! Что за этикетъ! Что за нравы! Въ пятомъ часу утра московскій гость ужъ на ногахъ! Пишетъ до шести часовъ. Въ шесть изволь съ нимъ отправляться на верфь или къ Дину, гдѣ онъ собственноручно работаетъ, какъ простой плотникъ. Маркизъ лордъ Камартенъ и мастеръ Динъ — для него равны, а съ нами, съ ассистен-

тами, и не разговариваетъ. А если удостоитъ вопросомъ, такъ только о театрѣ. Что сегодня на театрѣ? Кроссъ играетъ? Вотъ и все тутъ. И потомъ по музеямъ, госпиталямъ; то есть, кажется, онъ хочетъ выучить наизусть цѣлый Лондонъ со всѣми сосѣдними городами и деревушками. У живописца сидитъ такъ же долго, какъ и у механика; только и разницы, что съ механикомъ заведетъ споръ и, не согласившись, уѣдетъ.»

— «Вѣрно, онъ понимаетъ механику лучше нашихъ профессоровъ и лордовъ,» сказалъ незнакомецъ, и тѣсный кружокъ гостей разбрызнулся. «Макъ-Стефенсъ! Макъ-Стефенсъ!» шептали всѣ гости; нѣкоторые, по неопредѣленному чувству, хватали шляпы и спѣшили уѣхать.

— «Макъ-Стефенсъ!» сказала хозяйка: «Я не ожидала вашего посѣщенія.»

— «Конечно, оно не доставитъ вамъ никакихъ выгодъ!» Глаза незнакомца загорѣлись. Выраженіе лица стало страшно.

— «Стыжусь,» продолжалъ онъ голосомъ, въ которомъ было примѣтно сильное душевное волненіе: «стыжусь, что искалъ вашей протекціи. Я вѣрилъ, что красавицы должны быть благодушны; я считалъ это непремѣннымъ условіемъ прелестей природы; но и душа можетъ ржавѣть, какъ подлый металлъ; не проклинаю, не жалуюсь, но сожалѣю о васъ, миссъ Кроссъ! Отецъ мой никогда бы не повѣрилъ, что Макъ-Стефенсъ не нашелъ у его воспитанницы мѣста въ гостиной. Прощайте, сестрица, и простите за убытокъ.»

Гордо, сверкая своими страшными глазами, прошелъ Макъ-Стефенсъ по гостиной; походка его не измѣнилась и на темныхъ улицахъ; такъ шелъ онъ весьма долго, но на предмѣстьи въ Дентфортъ, передъ низенькими воротами приземистаго, полуразрушеннаго дома, голова его поникла, ноги остановились, руки повисли.

— «Умереть съ голоду!» прошепталъ онъ, горько улыбаясь: «умереть посреди многолюдной столицы, умереть втроемъ, тремя тысячью смертей— и за что? За то, что въ тайникахъ природы я открылъ ея новую силу. За то, что попечительная натура моими устами этой же столицѣ, цѣлому міру — изволитъ повѣдать одну изъ благодѣтельныхъ тайнъ своихъ. Это уже не больно, не досадно, а смѣшно. Нѣтъ, милая Бетси, нѣтъ! Я не увижу твоей смерти.»

И Макъ-Стефенсъ отправился дальше по улицѣ. Въ приземистыхъ домикахъ предмѣстія рѣдкое окно было освѣщено; въ которомъ и былъ свѣтъ, то прозрачная занавѣсъ скрывала и жильцовъ и вечернія ихъ занятія; въ одномъ только не было занавѣски. У самаго окна сидѣло двое молодыхъ людей; при свѣтѣ лампы на большомъ столѣ они разсматривали модель какой-то машины и не могли понять, какъ ею дѣйствовать.

— «Ну, эти господа неумнѣе лондонскихъ профессоровъ и лордовъ!» сказалъ Макъ-Стефенсъ; и какъ еще не было очень поздно, безъ затрудненія вошелъ въ комнату. Молодые люди не на шутку перепугались. Читатели знаютъ, почему. Макъ-

Стефенсъ подошелъ къ столу, прикоснулся къ машинѣ и она давай дѣйствовать. Молодые люди посмотрѣли другъ на друга сомнительно.

— «Иванъ Семенычъ!» сказалъ старшій по-русски: «погляди-ка на аглецкаго Нѣмца... кажись, онъ того...»

— «Я тоже думаю, Андрей Лукичъ! Тутъ что-то неладно.»

— «Спроси-ка его по ихнему.»

— «Боюсь, Андрей Лукичъ! Можетъ, онъ только нашей рѣчи добивается. Пусть онъ и человѣкъ, да все-таки у нечистаго въ послугахъ.»

— «Господа!» началъ было Макъ-Стефенсъ. Семенычъ и Лукичъ поблѣднѣли.

— «Иванъ Семенычъ! пристаетъ! Что намъ дѣлать.»

— «Перекрестимся, а тамъ воля Господня!»

Перекрестились и ободрились. Макъ-Стефенсъ глядѣлъ на нихъ въ недоумѣніи и не могъ понять, что съ ними происходитъ.

— «Господа!» опять началъ Макъ-Стефенсъ.

— «Что онъ тамъ разсказываетъ, Иванъ Семенычъ!»

— «По ученому, Андрей Лукичъ, говоритъ, дескать, что эта машина хотя и новая, и большую силу имѣетъ, да все безъ лошадей, или безъ воды не обойдешься. А онъ, дескать, знаетъ такую штуку, что ему ни вѣтра, ни воды, ни лошадей, никакихъ звѣрей не надобно.»

— «Иванъ Семенычъ! Богда ради не вѣрь! Увидишь, соблазнитъ.»

— «Слышь, слышь, Андрей Лукичъ! Не приведи Богъ.»

— «Что такое?»

— «Говоритъ, что у него паръ за сколько хочешь лошадей и пойдетъ, и подыметъ, и повезетъ. Зоветъ къ себѣ, образецъ показать хочетъ.»

— «Съ нами крестная сила!» вскрикнулъ Лукичъ и бросился бѣжать изъ дому. Примѣръ соблазнителенъ. Семенычъ побѣжалъ за Лукичемъ и прямо къ адмиралтейству въ домъ Эвелина. Но этотъ небольшой домикъ былъ пустъ. Московскіе гости уѣхали съ утра въ Оксфортъ; квартира Царя Петра охранялась денщикомъ, арапченкомъ и двумя отмѣнной величины псами лучшей англійской породы. На дворѣ уже Эвелина Лукичъ остановился и спросилъ у Семеныча:

— «А что, не гонится!»

— «Помиловалъ Богъ! Изъ когтей выскочили!»

Лай псовъ привлекъ вниманіе денщика и арапченка на новыхъ гостей. Эвелинъ, тайно наблюдавшій изъ другаго дома за порядкомъ и спокойствіемъ, прибѣжалъ туда же.

— «Кто тутъ?» кричалъ денщикъ.

— «Мы.»

— «Кто мы?»

— «Лукичъ и Семенычъ.»

— «Мало ли Лукичей да Семенычей.»

— «Да что ты насъ не узналъ, что ли?»

— «Ва! И заправду Лукичъ и Семенычъ! Что вы это ночью таскаетесь. Видно, изъ какого ка-

бачка мимоходомъ. Благо, что Государя нѣтъ, а то бы досталось.»

— «Досталось намъ и такъ! Видишь, говорятъ чертей нѣтъ, сказки; хороши сказки! сами видѣли на свои глаза, сами съ нимъ говорили; благо, что по аглецкому не разумѣю, а Семеныча наука во зло ввела; съ нечистымъ растарабарывалъ; онъ было насъ къ себѣ залучалъ; слышь, паромъ, что хочешь дѣлаетъ: и ходитъ, и ѣздитъ, и возитъ, и хотя Лондонскій городъ подыметъ. Кому же быть, какъ не черту.»

— «Али съумасшедшему.» Замѣтилъ съ важностью денщикъ: «Было чего пугаться, было чего на царскій дворъ бѣжать; ну хорошо еще, что всполошили меня да арапченка. Ну, а если бы тутъ всѣ были! Эхъ ротозѣи! а еще въ ученье васъ отдали. Скрутили бы гостя, да и полно; а можетъ и мошенникъ какой одурилъ, да теперь ваше добро и очищаетъ.»

— «Батюшки свѣты! Тамъ наши деньги, что изъ казны выданы. Упаси Господи!»

И Лукичъ и Семенычъ съ тою же поспѣшностью, съ какою прибѣжали, пустились домой. Каково же было удивленіе, когда въ той же комнатѣ, у стола, въ кожаныхъ креслахъ они нашли Макъ-Стеффенса; казалось, онъ спалъ; голова лежала на ладоняхъ, локти упирались въ столъ. Онъ не слышалъ, какъ вошли хозяева и со страхомъ остановились на порогѣ. Они не смѣли говорить; объяснились на пантомимахъ. Жестами условились они схватить непрошеннаго гостя; уже руки ихъ прика-

сались къ заплатамъ изношеннаго кафтана, какъ Макъ-Стефенсъ поднялъ голову и устремивъ глаза вверхъ, сказалъ:

— «Боже мой, Боже! И неужели страданіямъ моимъ не будетъ здѣсь конца?».

Лукичъ и Семенычъ отскочили къ порогу. Семенычъ, услышавъ восклицаніе гостя, поднялъ палецъ и скорчилъ весьма важную мину.

— «Что́ такое?» спросилъ Лукичъ.

— «Богу молится.»

— «Что́ ты это, ослышался?»

— «Мнѣ ничего не нужно,» продолжалъ Макъ-Стефенсъ: «я не ѣлъ три дня и сытъ; ни голода, ни жажды не чувствую. Но онъ... Бетси, Лилла! Боже мой, Боже!»

— «Убей меня Богъ, — молится!»

— «Знашь, Семенычъ, можетъ, онъ юродивый.»

— «Видно, что такъ.»

— «Подойдемъ!»

— «Только бережно, можетъ, то заманка. Ну...»

— «И три дня не видать жены, дочери! Любить ихъ пуще жизни! И сколько случаевъ... Вотъ и здѣсь никого нѣтъ, всѣ двери настежъ. Но Макъ-Стефенсъ прежде умретъ, чѣмъ рѣшится коснуться чужаго добра!».

Лукичъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на Семеныча, потому что тотъ выпрямился и пошелъ бодро и ровно къ гостю.

— «Макъ-Стефенсъ!» сказалъ Семенычъ, тотъ посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ: «Такъ это вы; отчего же вы не сказали, что это вы.»

— «Извините, господа, что я засидѣлся въ вашей квартирѣ. Вы убѣжали. Я побоялся, чтобы кто чужой не зашелъ сюда и рѣшился обождать васъ. Теперь прощайте!»

— «Э! какъ бы не такъ! Нѣтъ, вы отъ насъ не уйдете.»

— «Это почему?»

— «Да ужъ потому, что не уйдете. Мастеръ Динъ говорилъ про васъ Питеръ Басу, что у васъ голова съ цѣлую Англію, да жаль, прикинулъ мастеръ, что въ этой головѣ пожаръ большой, котораго не зальешь цѣлымъ моремъ.»

— «Не понимаю.»

— «И я не понимаю, да все равно, мастеръ говорилъ, а Государь слушалъ; а Государь пустыхъ рѣчей слушать не будетъ, такъ зачѣмъ же мастеръ Динъ дичь поролъ. Голова у васъ, какъ и у всякаго другаго; а пожаръ-то онъ гдѣ видѣлъ? Пусть докажетъ. Ложно не доноси. Видно, и Динъ по-аглецки морочить хочетъ. Гдѣ онъ пожаръ видѣлъ? Подай, покажи! Вишь, чудеса какія компоновать сталъ. Да, можетъ, вы не тотъ Макъ-Стефенсъ, у котораго пожаръ въ головѣ.»

— «Тотъ самый!» съ невольной улыбкой отвѣчалъ гость. «Да, почтенный товарищъ, у меня голова болитъ и горитъ; мнѣ кажется, я скоро съ ума сойду; я, признаюсь, даже этого желаю.»

— «Грѣхъ, смертельный грѣхъ! Перестаньте! Богъ васъ накажетъ. А что у васъ жена, дѣти есть, а денегъ нѣтъ, такъ ступайте къ нашему Государю въ службу.»

— «Перестаньте! перестаньте! Я не изъ тѣхъ, которые не умѣютъ переносить гнѣва матери. Не тотъ ребенокъ хорошъ, который любитъ мать за то, что она его ласкаетъ, нѣтъ; тотъ хорошъ, который любитъ не ласку матери, а ту женщину, которая родила его на свѣтъ, не разсуждая о томъ, любитъ ли она свое рожденіе или нѣтъ.»

— «Умно сказано. Вотъ это по-нашему. Вотъ насъ противу охоты послали учиться; плачемъ, а учимся, потому что такъ отцу нашему угодно. За что онъ не взлюбилъ насъ и отдалъ въ науку, не вѣдаемъ, а воля его — намъ законъ, потому что онъ отецъ, онъ за насъ и Богу и людямъ отвѣтчикъ. Такъ по рукамъ, Макъ-Стефенсъ. А мастера Дина обличу; пусть сказокъ не разсказываетъ. А жена и дѣти вѣдь не рухлядь какая, ѣсть хотятъ. Такъ знаете ли что, Макъ-Стефенсъ, пока у васъ голова-то перестанетъ болѣть, возьмите у насъ денегъ.»

— «Что такое?»

— «На обиходъ, да на аптеку денегъ у насъ возьмите!»

— «Что я нищій, что ли? Какъ ты смѣешь!»

— «Вотъ тебѣ разъ.»

— «Какъ тебѣ въ голову пришло, ребенокъ! Нѣтъ! нѣтъ! Простите, благородный юноша, я понимаю ваше великодушіе; но, извините, я не принимаю и не приму ни отъ кого милостыни.»

— «Да кто же тебѣ подачку сулитъ, этакой безтолковый, прости Господи. Возьми денегъ въ

займы; какъ будутъ, отдашь. Разве ужъ и въ займы брать стыдно?»

Макъ-Стефенсъ призадумался.

— «Полно, полно отнѣкиваться! Вотъ наша казна казенная и своя вся тутъ. Сколько тебѣ надо?»

— «Нѣтъ! нѣтъ! Дитя! я не могу отдать тебѣ я гинеи. Ну, хорошо, я возьму въ займы; деньги выйдутъ, гдѣ я возьму тогда денегъ, чтобы питать Бетси и Лиллу, и чтобы отдать тебѣ? Долгъ неуплаченный... О, нѣтъ! я умножу самъ мои несчастія! Пусть лучше умираютъ сегодня.»

— «Такъ что же ты, лѣнтяй этакой! Такъ ты работать не хочешь, а? Да потомъ на долю плачешься.»

— «Работать! Я могъ бы работать, но только для одной цѣли! Я не разъ принимался за орудіе ремесленника, дѣлалъ мельницы для кофе; но ни одной не могъ кончить; подъ рукою моею раждались частички моего огромнаго зданія; я проводилъ ночи надъ моимъ колоссальнымъ изобрѣтеніемъ; я исчертилъ цѣлую библіотеку, оставилъ службу; капитанъ Макъ-Стефенсъ открылъ осьмое чудо свѣта, а свѣтъ открылъ въ немъ только безумца. Всему пора, но Англія еще не созрѣла для такого подвига. Боже мой, Боже мой! Милліоны рукъ отняты отъ земли; фабрики—цѣлые города, хлѣбъ мы покупаемъ на вѣсъ золота — а эта сила... Ха, ха, ха! Мнѣ иногда кажется, что людское племя — слѣпорожденное. Они хотѣли бы видѣть, да безъ глазъ. Для нихъ очевидное темнѣе ночи.»

— «Капитанъ!» почтительно сказалъ Семенычъ: «Да, можетъ-быть, твое очевидное-то съ изъянцемъ.»

— «Нѣтъ, дитя мое, тутъ нѣтъ ошибки! Въ маломъ видѣ я могу показать тебѣ опытъ. Нѣтъ ли у тебя лишнихъ дровъ, а воды достанемъ; тутъ не нужно чистой воды, которую въ Англіи продаютъ какъ произведеніе рукъ человѣка. Зачерпнемъ въ каналѣ. Пойдемъ.»

— «Какъ не пойти! Я лучше возьму деньгу; она полегче дровъ, а также горитъ, когда нужно. Лукичъ, пойдемъ, дѣло непуточное.».

Лукичъ хотя не понялъ ни одного слова изъ разговора товарища съ Макъ-Стефенсомъ, но ужъ такъ привыкъ слушаться Семеныча, что ни слова не сказалъ, схватилъ палку, шляпу и поспѣшилъ за нимъ почти бѣгомъ, потому что Семенычъ былъ и постарше и подлиннѣе Лукича, а едва успѣвалъ шагать въ ровень съ капитаномъ. На самомъ концѣ предмѣстья, на темномъ дворѣ, заваленномъ строительнымъ матеріаломъ, стояла сторожка, — крохотный домикъ въ одно окно.

Не забудьте, что хотя это уже и было въ апрѣлѣ, но 1698 годъ походилъ на 1845; погода, въ особенности ночью, стояла холодная; въ сторожкѣ не было печки; занимавшееся утро позволяло видѣть, что и самыя стѣны сторожки во многихъ мѣстахъ оклеены бумагой или законопачены тряпьемъ и щепками. У самой сторожки они услышали странный разговоръ. Женскій голосъ кричалъ въ раскрытыя двери: — «Сегодня придетъ

Джемсъ, непремѣнно прійдетъ.» — «А какъ прійдетъ, такъ я его выгоню...» отвѣчалъ грубый голосъ отходившаго человѣка. «Бродяга, третью ночь пьянствуетъ. Прійдетъ!»

— «Джемсъ пришелъ!» воскликнулъ капитанъ, остановясь съ гордостью и отмахнувъ назадъ голову.

— «Пришелъ, такъ убирайся съ моего двора къ чорту! Сегодня же, слышишь? Щенокъ твой то и дѣло воетъ.»

— «Тише, хозяинъ! Джемсъ сильный песъ — и кусаетъ на-смерть.»

— «Вонъ ты, грубіянъ!»

— «Со двора твоего я уйду, а за твою грубость разсчитаюсь.»

— «Прежде разсчитайся за квартиру. Я тебѣ далъ этотъ уголъ и жалованье, чтобы ты за моимъ дворомъ смотрѣлъ, а вотъ уже третью ночь я самъ за тебя службу правлю.»

Макъ-Стефенсъ задумался.

— «Заплатимъ, хозяинъ, заплатимъ,» сказалъ Семенычъ и, взявъ за руку капитана, почти насильно повелъ къ будкѣ. «Иной чѣмъ богаче, тѣмъ скареднѣе. И, право, въ толкъ не возьму, изъ чего вы пошли къ такому человѣку въ службу.»

— «А гдѣ же служить, чтобы имѣть довольно времени для выкладокъ и работы?»

— «Учить кого-нибудь.»

— «Чему?»

— «Механикъ.»

— «Кого?»

— «Меня.»

— «Я тебя буду учить даромъ.»

— «Да что я нищій, что́ ли? Стану я даромъ учиться, когда казна на механику деньги отпускаетъ! Воръ я, что́ ли, царское воровать стану?»

— «А, это дѣло другое! Я съ васъ возьму за урокъ...»

— «Не дамъ ни больше, ни меньше, сколько на смѣтѣ стоитъ. И вотъ вамъ за десять уроковъ впередъ.»

— «Впередъ! Макъ-Стефенсъ не будетъ брать за то, чего онъ не сдѣлалъ.»

— «Ну, такъ садитесь и давайте урокъ.»

— «Здѣсь?»

— «Да здѣсь, вотъ на скамьѣ, что у сторожки. Теперь день, свѣтло, а чертежъ, какой нужно, мѣломъ начертимъ. Извольте, учитель, начинай! Я уже сижу и слушаю, и глаза свои на твой ротъ уставилъ. Ну!»

Макъ-Стефенсъ улыбнулся, дружески пожалъ Семенычу руку и сказалъ: — «Послѣ, послѣ; прежде посмотрите модель моей машины. Ее надо вынести на берегъ; здѣсь огня развести не позволятъ.»

— «Не изволь безпокоиться! Я не пойду смотрѣть твоей махины даромъ.»

— «Это почему?»

— «Это потому, что въ смѣтѣ стоитъ: на обозрѣніе интерессантныхъ вещей по двѣ гривны на день. Что я воръ, что ли? Стану казну воровать? На, бери двѣ гривны и показывай!»

Макъ-Стефенсъ отступилъ, посмотрѣлъ на Семеныча съ умиленіемъ и бросился цѣловать его.

— «Чудное дитя! Жаль, что ты не Англичанинъ!»

— «Эхъ не то, капитанъ! Жаль что ты не Русскій!»

Оба уже были порядочно разстроганы. Лукичъ счелъ обязанностью также растрогаться, хотя и не зналъ поводовъ. Въ это самое время, дверь будки тихо отворилась, оттуда выглянула смерть. Да, за живое существо нельзя было принять Бетси, жены капитана. Всѣ ужасы совершенной нищеты, какъ-будто на полотнѣ, были уписаны на лицѣ ея безошибочной кистью. Лукичъ зажмурился, Семенычъ потупилъ глаза, Макъ-Стефенсъ упалъ на колѣни и, воздѣвъ руки и глаза къ небу, закричалъ во все горло: — «Онѣ еще живы! Господи, благодарю Тебя!»

Бетси, замѣтя чужихъ, захлопнула двери, но Макъ-Стефенсъ снова отворилъ ихъ и въ тѣсную будку вошелъ съ тріумфомъ. Свиданіе его съ семействомъ было коротко. Онъ вышелъ оттуда съ лицемъ веселымъ, беззаботнымъ и вынесъ модель машины.

— «Послушайте, капитанъ!» сказалъ Семенычъ, сомнительно поглядывая на машину: «Эта штука еще не уйдетъ; а вѣдь мы, по милости твоей, сегодня всю ночь провозились, издрогли, ѣсть до смерти хочется. Вонъ тутъ, за этимъ дровянымъ дворомъ переулокъ идетъ къ каналу, а тамъ въ угловомъ домѣ харчевня есть, такъ пойдемъ всѣ туда, обогрѣемся, перекусимъ; тамъ за мѣдную

деньгу намъ и махину истопятъ; тамъ ты мнѣ и урокъ отколешь.»

— «Понимаю!» сказалъ Макъ-Стефенсъ, признательно пожавъ Семенычу руку: «Бетси, бери Лиллу и пойдемъ.»

Въ нѣсколько минутъ все семейство собралось въ путь. По совѣту Семеныча, мужской полъ забралъ всѣ пожитки капитана, даже недодѣланныя мельницы, и всѣ отправились въ сосѣднюю таверну. Было еще слишкомъ рано; въ таверне не ожидали такъ рано гостей; обогрѣлись кто голландскимъ джиномъ, а кто добрымъ портеромъ, пока вода закипѣла. Заварили и похлебку для бѣдной Лиллы. Ей было лѣтъ семь, не больше; куколка, не ребенокъ, хотя нищета и на ней оттиснула свою ужасную печать.

Семенычъ на бабскій полъ не обращалъ никакого вниманія; ими занимался Лукичъ, ломая языкъ и перемѣшивая англійскія слова съ отечественною рѣчью. Семенычъ смотрѣлъ на махину, которую подтопилъ Макъ-Стефенсъ. Принесли и похлебку; машина покойно стояла, колеса не двигались, вода въ котликѣ нагрѣвалась.

— «Пока мы успѣемъ закусить,» сказалъ капитанъ, и всѣ усѣлись къ столу; не успѣли они окончить трапезы, какъ вдругъ Семенычъ вскочилъ. Ужасъ и удивленіе сіяли на его лицѣ. Никто не прикасался къ машинѣ, а всѣ колеса двигались, хлопали; придѣланные къ боку машины цѣпы молотили заблаговременно подложенную подъ нихъ солому.

— «Караулъ!» наконецъ закричалъ Семенычъ: «къ Государю! къ Государю!»

Никто не успѣлъ удержать его, онъ бѣжалъ уже по улицѣ и кричалъ: караулъ! Чудо-юдо! караулъ! Вся улица наполнилась народомъ, со всѣхъ сторонъ раздавался крикъ.. «Ловите, ловите!» Напрасно. Семенычъ уже добѣжалъ до извѣстнаго вамъ дома Эволина и у самыхъ воротъ встрѣтился съ Государемъ.

—

II.

Въ небольшой комнатѣ, бѣдно убранной, но свѣтлой и опрятной, примѣтенъ былъ безпорядокъ, какой обыкновенно случается при новосельи. Вертелъ стоялъ на столѣ, гдѣ расположены были инструменты Макъ-Стефенса и модели; банка съ царской водкой между кухонной посудой. Въ комнатѣ находились Макъ-Стефенсъ съ женою и дочерью и Семенычъ; всѣ они стояли нельзя сказать почтительно, а благоговѣйно, обратясь къ главной двери, еще раскрытой, за которою слышенъ былъ разговоръ и шаги отходившихъ гостей. Все затихло, но знакомцы наши все еще стояли въ томъ же положеніи. Первый опомнился Семенычъ.

— «Ну, капитанъ, вотъ же я тебѣ говорилъ, что не нашимъ умамъ чета. У него разумъ-богатырь.»

— «Геній!» воскликнулъ Макъ-Стефенсъ, исполненный благоговѣйнаго ужаса предъ величіемъ ума: «Взглядъ его, какъ тайная сила, разливающая мол-

ню, проникаетъ съ неимовѣрною быстротою въ самую глубину предмета. Правъ чудный посѣтитель! Моя машина въ большомъ размѣрѣ не можетъ дѣйствовать успѣшно, если я не придумаю какъ уничтожить двѣ эти ошибки.»

— «То то капитанъ! а? что? видишь? Наша взяла! Мы-то въ механикѣ кое-что смыкаемъ! Ай люли! Съ наскоку, съ налету, будто орелъ съ поднебесья! Вотъ тутъ не такъ, здѣсь промахъ, а дѣло хитрое, обѣщаетъ пользу всѣмъ и каждому. Трудись, Макъ-Стефенсъ! Для труда нуженъ покой; будь покоенъ, Макъ-Стефенсъ! Для покоя нужно денегъ, вотъ тебѣ и деньги, Макъ-Стефенсъ! Я не люблю сорить деньгами; кто не бережетъ копѣйки, самъ не стоитъ рубля; но тутъ деньги отданы въ ростъ; я же ихъ тебѣ не дарю, а плачу тебѣ за первую машину, которая удастся; а потомъ дѣлай ихъ для меня сколько хочешь, всѣ возьму. А? что?.. Вотъ тебѣ и Англія! Вотъ тебѣ и Русь православная! За дѣло, Макъ-Стефенсъ! Будущность въ нашихъ рукахъ. И мнѣ ласковое слово! И мнѣ воля, отдайся въ работу, какую хочешь!»

Семенычъ, говоря все это съ особенною скоростью повернулся на одной ногѣ, и, послѣ пируэта, продолжалъ:

— «Ты сковалъ мою глупую волю, ты расковалъ разумную. Учиться хочу, учиться, работать, чтобы тебѣ, моему солнцу, принести сторицею плодъ теплыхъ лучей твоихъ. Учиться, и учиться у Макъ Стефенса и помогать его великому дѣлу!

— «О, дитя мое! будь мнѣ сыномъ, ты молодъ.

Какую лучшую благодарность могу принести Великому; твой умъ свѣтелъ, сердце чистое, жажда науки огромная; я изъ тебя сдѣлаю знаменитаго механика и онъ мнѣ скажетъ слово признательное. Я поквитаюсь и съ тобой! Безъ тебя высокому гостю не удалось бы видѣть модели и чертежей! Наши не допустили бы до этого свиданія, и Макъ-Стефенсъ сталъ бы дѣлать мельницы, чтобъ измолоть свои идеи и умереть въ сумасшедшемъ домѣ. А теперь? Конечно, я не совсѣмъ покоенъ. Трудъ сына принадлежитъ отечеству, но оно же отказалось, оно отвергло мой трудъ... Res nullius cedit primo occupanti, говорятъ адвокаты. Мысль моя—теперь ничья. Ее купилъ купецъ достойный! За работу!»

— «За работу!» вскрикнулъ Семенычъ и оба машинально усѣлись за столъ; Семенычъ схватилъ кофейную мельницу, а Макъ-Стефенсъ вертѣлъ. Можетъ быть, къ жару, и не замѣтили бы своей ошибки, если бы Бетси не расхохоталась.

— «Это ужъ моя мешалка!» сказала она со смѣхомъ, отнимая у восторженныхъ своихъ хозяйственныя орудія.

— «Не смѣйся, Бетси! Счастливцамъ позволительно подурачиться.»

— «О милый другъ! Дай только Богъ почаще такія мгновенія и да вознаградитъ небо ихъ высокаго виновника.»

— «Ура!» закричалъ Семенычъ: «да прославитъ весь свѣтъ имя Великаго!»

— «Желаніе твое сбудется,» сказалъ Макъ-Сте-

фенсъ задумчиво: «Можетъ быть, въ первый и послѣдній разъ въ жизни я пожалѣлъ, что я не Русскій. Но... перестанемъ говорить, станемъ дѣйствовать. Прежде всего надо изолировать недостатки моей машины и разобрать каждый особо. Опыты поведутъ насъ къ открытіямъ новымъ, и мы уладимъ дѣло, какъ нельзя лучше.»

Такъ, да не такъ. Недостатокъ первый былъ устраненъ весьма скоро. Но московское посольство уже уѣхало. Механики узнали о томъ, когда отъ русскаго посла получили присылку. То была немалая сумма на матеріалы, жалованье Семенычу и нѣсколько лишнихъ червонцевъ на непредвидимые расходы. Другой недостатокъ не покорялся всѣмъ соображеніямъ Макъ-Стефенса и Семеныча. Опыты истощили всѣ деньги, отпущенныя на машину. Макъ-Стефенсъ и не замѣчалъ того, потому-что Иванъ Семенычъ Путочкинъ, дворянинъ, имѣлъ и своего дохода малую толику и получалъ хорошее, по тогдашнему, содержаніе отъ казны. Мы уже знакомы съ нимъ нѣсколько; остается присовокупить къ тому, что Путочкинъ былъ старшій сынъ одного изъ придворныхъ слугъ при Коломенскомъ дворцѣ. Умный отецъ его, желая ли понравиться юному Царю, или по убѣжденію, по первому указу просилъ включить Ваню въ число заморскихъ посланцевъ, когда ему было едва шестьнадцать лѣтъ съ хвостикомъ. Напитанный патріотическими чувствами еще въ Коломенскомъ, Иванъ учился съ усердіемъ, хотя отъ товарищей и заразился мыслію, что учиться посылаютъ въ наказаніе толь-

ко. Въ Голландіи онъ пробылъ годъ, въ Англіи два, а на двадцатомъ году понялъ важность и величіе науки и сталъ ученикомъ Макъ-Стефенса. Въ напрасныхъ усиліяхъ исправить указанный Высокимъ гостемъ недостатокъ въ механизмѣ — прошли три года. Каждый вечеръ Макъ-Стефенсъ предавался тайной грусти, ночью придумывалъ разные способы; утромъ онъ былъ веселъ, сообщалъ свои догадки Ивану и оба отправлялись заказывать механикамъ что нужно, разумѣется, по частямъ. Пока механики работали, Макъ-Стефенсъ и Семенычъ, были совершенно покойны, упивались надеждами и занимались ученіемъ. Послѣ урока, Макъ-Стефенсъ проводилъ время съ семействомъ или посѣщалъ музеи, ученыхъ, гульбища и даже театръ. Семенычъ весьма аккуратно велъ переписку съ Москвою. Путочкинъ старикъ радовался успѣхамъ сына; копилъ, сколько могъ, денегъ и снабжалъ юношу такимъ содержаніемъ, какого тогда, можетъ быть, и нѣкоторые резиденты наши не имѣли. Но этого содержанія едва-едва доставало на расходы Семеныча. И неудивительно. Въ первый годъ своей жизни вмѣстѣ съ капитаномъ, онъ въ свободное время шалилъ съ Лиллой, любовался ея рѣзвостью, безъ опаса цѣловалъ хорошенькую куколку, но... теперь не смѣлъ близко и подходить къ ней; тоже неудивительно. Лиллѣ стало тринадцать лѣтъ сполна, пошелъ четырнадцатый, и на этомъ четырнадцатомъ разыгралась дѣвичья весна всею прелестью. Семенычъ не забывалъ, правда, механики, но часто на вопросы учителя отвѣчалъ такъ

глупо, что тотъ сталъ опасаться за ученика и его любознательность. Желая доставить ему развлеченіе, незамѣтно способствовалъ разгару страсти, которая въ два года совершенно измѣнила Путочкина. Онъ похудѣлъ, пожелтѣлъ, сталъ невзраченъ, а между тѣмъ, съ своей стороны, только о томъ и хлопоталъ, чтобы доставить Лиллѣ каждый день новое удовольствіе.

Были они однажды въ театрѣ; шестнадцатилѣтняя Лилла обращала на себя вниманіе почти всего Лондона; Макъ-Стефенсъ безумный, сумасшедшій нашелъ покровителей могучихъ и богатыхъ; Лилла толпу жениховъ. Макъ-Стефенсъ завелъ собственную мастерскую, гдѣ работались мелкія механическія вещицы, но эти вещицы продавались такъ быстро, съ такимъ успѣхомъ, что въ эти ужасные для Семеныча года, помощь его для семейства Стефенса сдѣлалась совершенно излишнею. Не должно забыть, что письма его были такъ дѣйствительны, что капитанъ получилъ на машину свою еще вспомоществованіе. Все это для полноты считаю необходимымъ. Разъ были они въ театрѣ; на возвратномъ пути, когда подъ-ручки велъ онъ жену и дочь своего учителя, толпа жениховъ окружала и Бетси и Лиллу. Тѣсно было въ груди его; сердце щемила невыносимая тоска; съ ревнивой завистью поглядывалъ онъ на одного денди, который дерзко шелъ почти плечо съ плечомъ съ Лиллой, и — о ужасъ! она что-то шепнула ему, но такъ тихо, такъ скоро, что онъ едва-едва могъ разслушать одно слово — и это слово было: за-

тра. Пришли домой. Макъ-Стефенсъ поблагодарилъ Семеныча и сказалъ: — «А я не даромъ просидѣлъ дома: Въ мастерской работали машинку для герцога ***; мальчикъ во время работы отошелъ, а чтобы дѣло не останавливалось, поставилъ за себя палку. Представъ, мое дитя! Палка работала за мальчика съ полнымъ успѣхомъ, а мы пять лѣтъ искали способа — и не находили. Вотъ что значитъ случай; онъ умнѣе всѣхъ механиковъ. Завтра я примѣню этотъ случай къ нашей машинѣ, и тогда, дитя мое...»

Макъ-Стефенсъ съ изумленіемъ остановился и не могъ кончить. Слезы въ три ручья полились у Семеныча! Онъ зарыдалъ. Капитанъ схватилъ его въ свои объятія и прижимая горящую голову къ груди своей, безпрестанно спрашивалъ: что съ тобой? что съ тобой? Но Семенычъ не могъ отвѣчать; слезы лились; силы его слабѣли; Макъ-Стефенсъ съ трудомъ, и то съ помощію дамскаго пола, проводилъ Путочкина въ его комнату; страдалецъ упалъ на постелю, одною рукою схватилъ себя за грудь, другою за голову; дикій вопль оглушилъ всѣхъ и привелъ въ невольный ужасъ.

— «Оставьте насъ однихъ...» сказалъ Макъ-Стефенсъ. Женщины удалились: «Что съ тобой?» продолжалъ капитанъ тихо: «У тебя есть тайна?»

— «Была!»

— «А теперь?»

— «Умерла! Я лягу надъ нею, какъ могильный камень. Мнѣ душно, капитанъ! Недугъ мой си-

ленъ, можетъ быть, послѣдній. Но вы много думаете о вашихъ машинахъ капитанъ, а...»

— «Кончи, я слушаю.»

Семенычъ молчалъ.

— «О машинѣ московской, можетъ быть, я не думаю? А? Нѣтъ, мой другъ, ты свидѣтель моей заботливости. Если завтра мой опытъ удастся, я принимаюсь за большую модель, которую можно будетъ употреблять для поднятія воды, напр. на верхнія жилья домовъ, для фонтановъ и такъ далѣе. Съ этой модели я сдѣлаю большую машину фабричную для Петербурга, которую ты отвезешь, поставишь и пустишь въ ходъ. Тайна моя не можетъ быть довѣрена никому другому. Я увѣренъ, что я справлюсь въ шесть мѣсяцевъ съ моделью, въ годъ съ машиной. Тоска твоя по отчизнѣ, на которую ты теперь такъ часто жалуешься...»

Вздохъ съ тяжкимъ стономъ прервалъ рѣчь Макъ-Стефенса.

— «Скажи, откройся мнѣ!.. «опять началъ капитанъ. Больной собралъ всѣ свои силы, приподнялся и, закрывъ глаза, сказалъ жалобно:

— «Помните ли, капитанъ, то время, когда вы въ первый разъ... нѣтъ, не могу!»

Силы оставили Семеныча; онъ упалъ навзничь, закрывъ глаза руками. Рыданія, хотя и не музыкальныя пѣсни сердца, но нѣсколько успокоили Макъ-Стефенса. — Пусть выплачется, думалъ онъ, тогда, можетъ быть, легче выскажетъ тайну. Ожиданія не обманули, Семенычъ и выплакался и успокоился. Убѣжденія подѣйствовали. Примѣтно

было, что Семенычъ рѣшился сказать всё. Макъ-Стефенсъ развѣсилъ уши.

— «Я не Англичанинъ!» сказалъ Семенычъ прерывающимся голосомъ и опять слёзы и опять рыданія.

— «Кажется, быть Русскимъ теперь не стыдно. Европа съ уваженіемъ взираетъ на мудраго Царя и на достоинство его сподвижниковъ.»

— «Не то, капитанъ; даже если бы и можно было переходить изъ націи въ націю, и тогда бы я остался Русскимъ... не то... капитанъ, а то, о чемъ я не могу сказать слова.»

— «Понимаю, понимаю!» вскричалъ капитанъ, вскочивъ съ своего мѣста: «Нѣтъ правила безъ исключенія! Дитя мое, для меня ты Англичанинъ, ты мой благодѣтель! Такъ это твоя тоска по отчизнѣ? Такъ ты полюбилъ такъ сильно мою Лиллу и побоялся сказать мнѣ, потому что я когда-то сказалъ, что не выдамъ дочери за иностранца? Ты для насъ чужой, что ли! Вставай, будь здоровъ и приступимъ къ дѣлу; надѣюсь, Лилла любитъ тебя не менѣе моего.»

— «Нѣтъ! капитанъ, она меня нелюбитъ.»

— «Ну, этому я невѣрю — и ты скоро получишь доказательство въ справедливости моихъ словъ.»

— «Капитанъ, капитанъ!» кричалъ больной, но Макъ-Стефенсъ былъ уже въ своемъ кабинетѣ, куда приказалъ позвать Лиллу.

— «Ну дитя мое! тебѣ уже семнадцатый годъ; я старъ; пора тебя пристроить! Нашему другу

(такъ называли Семеныча всѣ домашніе) также исполнилось двадцать пять лѣтъ; пора и ему вкусить счастіе семейной жизни. Ну, дитя мое, какъ ты объ этомъ думаешь?»

— «Я?»

— «Да, ты!»

— «Да развѣ я могу объ этомъ думать?»

— «Конечно, по настоящему, это дѣло родителей, но я хотѣлъ бы въ такомъ важномъ случаѣ не оставить безъ спроса и твоего сердца. Будь, Лилла, откровенна со мною. За «да» — я тебя поцѣлую, за «нѣтъ» — сердиться не буду.»

— «Не будете?»

Капитанъ нахмурился.

— «Конечно, сердца недолжно неволить; но если оно дѣлаетъ глупости, можно остановить, поправить, вывести изъ заблужденія. Нашъ другъ молодъ, хорошъ собой...»

Лилла вздрогнула. Макъ-Стефенсъ продолжалъ:

— «Съ достаткомъ, уменъ, образованъ, любимъ своими и Англичанами; пойдетъ далеко. Мы не должны забыть и того, что безъ него, можетъ быть, мы всѣ трое погибли бы голодною смертію. Долгъ признательности...»

— «О я готова быть жертвою благодарности...»

— «Согласится ли онъ принять такую жертву? Нѣтъ, Лилла, ты мнѣ скажи на-прямки: можешь ли ты любить его, или нѣтъ?»

— «Батюшка!»

— «Не мучь меня, скажи! Жизнь его въ опас-

ности; надо принимать скорыя и рѣшительныя средства.»

— «Батюшка, чтобы спасти жизнь его, скажите, что я его люблю.»

— «Вотъ такъ, Лилла! Мнѣ нравится твой умъ! Ты умѣла очень искусно отвѣчать на мой щекотливый вопросъ! Браво! Я иду, и скажу ему, что ты согласна отдать ему сердце и руку.»

— «Ахъ батюшка! Не то, не то! Кчему такая поспѣшность. Вы только скажите ему, что я его люблю; это будетъ для него лекарствомъ. А когда выздоровѣетъ, я постараюсь...»

— «Замолчи, несчастная! Лгать! Ты не моя дочь! Но, великій Боже, откуда эта коварная мысль, кто повредилъ твою душу, Лилла? Я долженъ ее исправить. Ступай, Лилла, къ матери и передай ей нашъ разговоръ. Но помни, что я не забылъ ни одного твоего слова. Мнѣ некогда; я долженъ заняться нашимъ несчастнымъ другомъ. Ступай!»

Лилла ушла, а Макъ-Степенсъ продолжалъ съ горькой улыбкой:

— «Ни въ одной чертѣ не замѣтилъ ни раскаянія, ни состраданія! Лилла, Лилла, кто погубилъ тебя?»

Это послѣднее замѣчаніе услышалъ Онисимъ, старый слуга и дядька Путочкина. Мы не знакомили съ нимъ нашихъ читателей, полагая, что каждое лице должно являться на своемъ мѣстѣ, не забѣгая преждевременно на дорогу, по которой прежде идутъ другіе. Онисимъ почесался и сказалъ:

— «Охъ, мастеръ! Кто испортилъ? Театры, да театральни разныя! Барышня съ барыней, почитай, цѣлое утро въ городѣ, а вечеръ въ театрѣ, такъ гдѣ имъ доброму учиться. Да Богъ съ ними! Мнѣ-то до нихъ что; а вотъ барину моему плохо. Ступай, мастеръ! Поставь какую ни есть машину, да выдерни изъ него недугъ. Такую дичь несетъ, что не приведи Господи.»

Макъ-Стефенсъ отправился къ больному, а Онисимъ къ женщинамъ.

— «Послушайте бѣлыя барыни,» сказалъ онъ почесываясь: «вѣдь если, оборони Богъ, съ барономъ какая смерть прилучится, или что ни есть и того хуже, такъ я вѣдь васъ выдамъ, убей Богъ, выдамъ.»

Обѣ поблѣднѣли.

— «Вѣдь я теперь только смекнулъ, что баринъ въ барышню втюрился. Замѣть я это прежде, не молчалъ бы, убей Богъ, не молчалъ: такъ если будетъ бѣда, не пеняйте!»

Хотя все это и плохо было переведено на странный англійскій языкъ, до того, что нѣкоторыя слова остались русскими, но бѣлыя барыни поняли, перешепнулись и Лилла, къ удивленію отца, явилась въ комнатѣ Семеныча. Послѣдній былъ въ сильной горячкѣ, онъ бредилъ Лиллой; та плакала и успокоивала больнаго; тотъ метался, но и въ горячкѣ одинъ видъ Лиллы успокоивалъ несчастнаго. Бетси также поспѣшила на помощь. Макъ-Стефенсъ по временамъ вздыхалъ и поглядывалъ то на жену, то на дочь, то на Онисима, кото-

рый, сложа руки, молча глядѣлъ на сцену и коварно улыбался. Горячка продолжалась девять дней; девять дней всѣ лица нашей драмы были неразлучны; на десятый больной опомнился, не вѣрилъ своему счастію; внимательность Лиллы лечила его быстро. Онисимъ, то и дѣло, хвалилъ барышню. Вотъ больной уже и на ногахъ; Макъ-Стефенсъ увѣрился въ своей догадкѣ на опытѣ и модель была уже заказана; но это его заставляло безпрестанно уходить изъ дома. Семенычъ каждый день собирался принести трогательное признаніе въ трогательной любви, но то и дѣло откладывалъ. Онисимъ также собирался что-то открыть, но, боясь огорчить больнаго, также откладывалъ. Вдругъ...

—

III.

Вы ожидаете какой-нибудь нечаянности, а случай такой простой, дѣло такое обыкновенное; сколько такихъ драмъ разыгрывается ежедневно на свѣтскомъ театрѣ; и ни кто не удивляется. Въ чемъ же заключалась эта нечаянность?

По-утру рано Макъ-Стефенсъ съ Семенычемъ были заняты складкой огромной машины, изобрѣтенной почти за семьдесятъ лѣтъ да Уатта. Можетъ быть, точно такую, даже эту самую видѣлъ ученый Савари; можетъ быть, она была перенята Нюкоменомъ и приспособлена къ горному дѣлу; мы положительнаго ничего не знаемъ, а извѣстно намъ только, что Макъ-Стефенсъ съ Семенычемъ

все утро возились въ мастерской; кромѣ ихъ, тамъ не было никого; ни одного работника туда не пускали; двери были заперты, а, для большей предосторожности, Онисимъ стоялъ на стражѣ. Части были соразмѣрены съ надлежащею точностью. Правда, механизмъ былъ весьма сложенъ, но такъ хорошо обдуманъ, что складка шла безъ особеннаго затрудненія, и съ небольшимъ въ часъ все было кончено. Съ трепетомъ смотрѣли оба на таинственный скелетъ, который только ожидалъ воли творца своего, чтобы придти въ дѣйствіе. Макъ-Стеффенсъ налилъ воду; Семенычъ затопилъ желѣзную печку; съ стѣсненнымъ сердцемъ глядѣли оба на множество деревянныхъ и чугунныхъ колесъ, на шестерни и рычаги. Вотъ весь этотъ организмъ задрожалъ; колеса двинулись, шестерни застучали. Съ крикомъ: Побѣда, побѣда! Механики бросились другъ другу въ объятія.

— «Цѣль моей жизни достигнута!» сказалъ Макъ-Стеффенсъ: «Не только эта машина, но все изобрѣтеніе принадлежитъ великому твоему Государю. Оно останется тайною его, твоего и моего семейства, до тѣхъ поръ, пока Государь не разрѣшитъ меня дѣлать такія же машины для Англіи. Теперь надо позвать жену и дочь: пусть посмотрятъ, полюбуются; тогда чудо мое въ ящики, на корабль и въ Россію!»

Семенычъ примѣтно опечалился. Капитанъ замѣтилъ и сказалъ:

— «Не грусти! Женщина не должна имѣть отечества! Отчизна мужа принимаетъ дочерью его

жену. Ступай, позови сюда Бетси и Лиллу! Сегодня я долженъ все кончить.»

Семенычъ медлилъ.

— «Ну, ступай же, не упрямься!»

Семенычъ вышелъ. Напрасно обошелъ онъ всѣ комнаты, звалъ Бетси и Лиллу; никто и не откликнулся. Онъ съ грустію возвратился въ мастерскую.

— «Ихъ нѣтъ...» сказалъ онъ, отирая холодный потъ.

— «Гдѣ же онѣ?» спросилъ удивленный Макъ-Стефенсъ.

— «Не знаю.»

— «А я такъ знаю,» сказалъ изъ-за дверей Онисимъ: «у старой театралки. Перестали было совсѣмъ туда ѣздить, такъ баричъ какой-то сталъ ихъ навѣщать здѣсь, и, видно, добился-таки, что опять завелись утренники.»

— «Что онъ говоритъ?» спросилъ Макъ-Стефенсъ, кусая губы.

— «Не знаю,» рыдая, отвѣчалъ Семенычъ и закрылъ лице руками.

Макъ-Стефенсъ исчезъ. Какъ будто Онисимъ назвалъ актрису; какъ будто капитанъ зналъ, что отвѣтная Кроссъ виновница его домашней смуты. Не ошибся Макъ-Стефенсъ и бросился въ красивый домъ устарѣвшей Сильфиды. Лакей актрисы стоялъ на крыльцѣ и разговаривалъ съ жокеемъ, который лѣниво качался въ великолѣпномъ кабріолетѣ. Увидавъ капитана, хотѣлъ было загородить ему дорогу, но мгновенно слетѣлъ съ крыльца въ

грязь отъ богатырскаго удара. Онъ засталъ жену съ актрисой; въ столовой остатки великолѣпнаго завтрака были на столѣ. Увидавъ капитана, обѣ вскрикнули и онѣмѣли отъ страшнаго взгляда Макъ-Стефенса. Погрозивъ имъ гигантскимъ кулакомъ, Макъ Стефенсъ, не останавливаясь, пошелъ дальше, отворилъ дверь въ красивый будуаръ, полутемный, устланный коврами, обставленный мягкими, низкими диванами. Окно въ этомъ будуарѣ было въ глубинѣ чрезмѣрно толстой стѣны, такъ что это отверзтіе составляло само собою родъ комнаты, безъ дверей; на диванѣ сидѣла Лилла, возлѣ нарядный денди. Лилла смѣялась; Денди, держа ее за руку и осыпая поцѣлуями, молилъ, просилъ. Лилла кокетничала. Макъ-Стефенсъ остолбенѣлъ и по неволѣ сталъ лазутчикомъ. Молодые люди такъ были заняты рѣшительнымъ разговоромъ, что не замѣтили, не могли замѣтить страшнаго гостя.»

— «Нѣтъ, Вальтеръ, нѣтъ, ты требуешь невозможнаго!»

— «Ты, Лилла, ты! Пока живъ мой отецъ, я не смѣю и думать о разводѣ съ моею женою. Не одно проклятіе угрожаетъ намъ, но всѣ ужасы бѣдности. Онъ не лордъ, не владѣлецъ помѣстій; завтра же онъ подаритъ всю мою фортуну оскорбленной женѣ сына, а меня пуститъ по-міру. Ты меня не любишь, Лилла! Ты не вѣришь, что сегодня умретъ мой отецъ и...»

— «Люблю, вѣрю, но до тѣхъ поръ любовницей твоей не буду.»

— «Лилла, ты доводишь меня до отчаянія; страсть

моя переходитъ всѣ предѣлы. Лилла! Я теряю разсудокъ.»

И съ этими словами онъ хотѣлъ обнять Лиллу, но Макъ-Стефенсъ такъ сильно ударилъ его кулакомъ въ голову, что онъ покатился къ ногамъ испуганной Лиллы. Она не успѣла вскрикнуть, опомниться, какъ Стефенсъ вытащилъ ее изъ ниши, подхватилъ на руки и понесъ черезъ столовую.

— «Куда?» закричала Кросъ: «Я не пущу! Куда ты несешь ее?»

— «Въ Темзу!» отвѣчалъ Макъ-Стефенсъ въ бѣшенствѣ.

Бетси и Кроссъ бросились къ ногамъ его; но онъ оттолкнулъ миссъ Кроссъ ногою, свободною рукою схватилъ жену и потащилъ за собою. На лѣстницѣ онъ нѣсколько опомнился; поставивъ на ноги обѣихъ, онъ взялъ ихъ за руки и повелъ домой, какъ будто возвращался съ прогулки. Во всю дорогу онъ невымолвилъ слова, но, возвратясь домой, заперся съ ними въ спальнѣ и сказалъ съ наружнымъ спокойствіемъ.

— «Бетси, съ тобой я расчитаюсь! А ты, негодная дочь, ты должна искупить твой гнусный поступокъ: ты должна сегодня же выйти за-мужъ за моего друга и завтра же уѣхать. Не отвѣчай! Я не спрашиваю твоего согласія. Я требую безмолвнаго и безропотнаго повиновенія; иначе, пусть судитъ Богъ, я тебя брошу въ Темзу. Ты знаешь меня: не нужно клятвы; ты повѣришь мнѣ и на слово. Если онъ когда нибудь узнаетъ отъ тебя о твоей преступной связи съ этимъ мерзавцемъ, если

услышишь его имя, то знай, что мое проклятіе тебя постигло, хотя бы я былъ уже на томъ свѣтѣ. Ты должна выйти замужъ сегодня, уѣхать завтра; я повторяю тебѣ все это еще разъ, чтобы ты не подумала, что я шучу или пугаю. Бетси уѣдетъ съ тобою. Мнѣ не нужна такая жена. Не хочу, чтобы судъ видѣлъ мой стыдъ, мое безчестіе.»

— «Судъ?» невольно вскрикнула Бетси.

— «Да, судъ, по твоей милости. Васъ онъ накажетъ, меня оправдаетъ.»

— «За что, какой судъ?.. блѣднѣя произнесла Бетси.

— «Да, судъ; потому что этотъ мерзавецъ уже не встанетъ. Я ручаюсь и отвѣчаю. Но времени осталось не много... Собирайтесь въ дорогу!»

Желѣзная воля Макъ-Стефенса была очень хорошо извѣстна и женѣ и дочери. Онѣ не плакали, не противорѣчили; волнуемыя тайнымъ страхомъ, онѣ какъ-то невольно повиновались и даже спѣшили сборами. Къ удивленію капитана, ученикъ вовсе не обрадовался своему счастію; онъ замѣчалъ, что случилось что-то необыкновенное, но боялся разспрашивать. Подозрѣнія его еще болѣе усилились, когда онъ замѣтилъ, какъ спѣшилъ капитанъ укладкой машины, брачнымъ условіемъ, наймомъ корабля; какъ онъ обрадовался, когда нашелъ шкипера, который отправлялся въ Петербургъ и брался перевезти и грузъ и пасажировъ. Утромъ, на палубѣ корабля уже, Макъ-Стефенсъ, прощаясь, сказалъ:

— «Ну, милый сынъ, я довѣрилъ тебѣ мое семейство и лучшій плодъ моей жизни. Рисунокъ и объясненіе всей машины въ первомъ ящикѣ, что подъ литерою А. Впрочемъ, я надѣюсь, что законы меня отпустятъ черезъ годъ и я пріѣду къ вамъ въ Петербургъ.»

— «Законы.»

— «Да мой другъ! У меня есть тяжба. Я охотно уѣхалъ бы съ вами, но тогда скажутъ, что я бѣжалъ отъ лица судей. Будь покоенъ: я правъ. Но не старайся узнавать о моей тяжбѣ; ее никто, даже и онѣ незнаютъ. Вѣтеръ! Съ Богомъ! До свиданія!»

Всѣ плакали. Даже Макъ-Стефенсъ прослезился, но онъ побѣдилъ свою чувствительность и отправился на берегъ. Вѣтеръ дѣйствительно поднялъ паруса купеческаго судна, и Семенычъ съ женою, тещею, Описимомъ и машиной отправился въ Петербургъ.

—

IV.

Время не было благопріятное для плаванья. Двѣ бури наши путники выдержали благополучно, но третія разбила судно о скалы Швеціи. Семенычъ заботился только о машинѣ; подоспѣвшіе съ берега на помощь, поселяне спасли весь грузъ и весь экипажъ. Но какъ продолжать путь, какъ жить въ нужомъ краѣ безъ денегъ и безъ языка. Лучше всѣхъ съ приморскими Шведами объяснялся Описимъ. Его они какъ-то понимали. Онъ имъ

показывалъ на ящики съ машиной, на лобъ; и эти ящики съ особенною осторожностью были перевезены въ ближайшій городъ, и представлены вмѣстѣ съ пассажирами коменданту крѣпостцы. Комендантъ не зналъ по-англійски, и во всемъ городѣ не отыскали никого, кто бы могъ служить толмачемъ въ этомъ случаѣ.

— «Надо позвать плѣнныхъ Русскихъ: изъ нихъ иные смѣкаютъ по-англійски.» Такъ рѣшилъ комендантъ и не ошибся. Привели одного оборваннаго, исхудавшаго плѣнника. Онисимъ взглянулъ на него и плюнулъ.

— «Что за грѣза? Да вѣдь не будь онъ такой худой да оборванный, точь-въ-точь Андрей Лукичъ!

— «Иванъ Семенычъ! Ты ли это?» и Лукичъ бросился въ объятія Семеныча.

— «Русскіе!» закричалъ комендантъ и солдаты окружили всѣхъ пассажировъ.

— «Лукичъ! ты погубилъ насъ!» сказалъ печально Семенычъ.

— «Богъ милостивъ! Война, говорятъ, скоро кончится. Теперь съ нами лучше обращаются, а прежде не приведи Господи, что они съ нами дѣлали. Теперь — мы и живемъ-то не на привязи. Увидишь, домъ отведутъ особый, караулъ приставятъ, только изъ крѣпости не выпустятъ.»

Скоро Лукичъ узналъ, что Русскихъ тутъ только двое, что́ и передалъ коменданту. Тотъ перепугался; въ тотъ же день отправилъ весь экипажъ въ Стокгольмъ, а Русскихъ съ машиной удержалъ

въ крѣпостцѣ. Для Семеныча, правда, отвели домъ особый, и помѣстили тамъ его съ семействомъ и съ машиной. Лукичъ увѣрилъ коменданта, что ящики эти принадлежатъ царю, что они съ книгами; и такъ-какъ миръ скоро станетъ, то лучше ихъ и не трогать. Коменданту понравилась мысль Лукича, и жена Семеныча. Въ первый день никто этого не могъ замѣтить. Въ этотъ, первый день, Лилла была весьма ласкова съ нареченнымъ мужемъ. Ввечеру, когда Семенычъ сталъ съ нею прощаться, Лилла спросила съ изумленіемъ:

— «Куда же ты?»

— «Прощай, Лилла! ты мнѣ жена *по алеуцкому* закону, но не по нашему. Терпѣніе! Миръ станетъ скоро и насъ обвѣнчаютъ въ русской церкви: тогда только, душа моя, мы будемъ мужъ и жена!»

Бѣдный Семенычъ! Эти слова погубили тебя. Не прошло и недѣли, онъ сидѣлъ въ глубокой темницѣ, а жена его была комендантшей, управляла крѣпостцей и городомъ. Лукичъ, какъ излишній свидѣтель распорядительности коменданта и какъ развлеченіе для узника, посаженъ къ ту же темницу. Онисима забыли, да онъ и не старался напоминать про себя.

Долго шли переговоры о вѣчномъ мирѣ. Наконецъ трактатъ состоялся; надо было освободить плѣнныхъ; и комендантъ позвалъ Онисима вмѣстѣ съ другими.

— «Ну, теперь мы друзья! Всѣхъ насъ осво-

бождаетъ Швеція и беретъ на себя отослать въ отечество.»

Можно себѣ представить восторгъ Русскихъ. Одинъ только Онисимъ не радовался, потому-что между земляками не видѣлъ своего барина. Русскіе ушли. Онисимъ остался.

— «Господинъ комендантъ!» сказалъ онъ сухо: «а гдѣ же Иванъ Семенычъ?»

— «Умеръ,» также сухо отвѣчалъ комендантъ.

— «Уморили, г. комендантъ! Да что же я-то скажу батюшкѣ Ивана Семеныча?»

— «Скажи, что хочешь!»

— «Хорошо. Я скажу, что г. комендантъ пожелалъ жены барина, да и уморилъ голодомъ Ивана Семеныча. Вотъ что я скажу.»

Комендантъ задумался и значительно сталъ посматривать на Онисима. Тотъ, посѣдѣвшій старикъ, не думалъ о своей безопасности и продолжалъ:

— «А гдѣ царскіе ящики?»

— «Эту дрянь осмотрѣли и опять заколотили. Ящики ты можешь взять съ собою.»

— «Да, а что я ихъ на спинѣ, что ли, понесу. Не мое добро, царское! Могли бы, кажется, кораблишку какую подъ нихъ поставить!»

— «Хорошо, я напишу объ этомъ куда слѣдуетъ, а ты можешь ѣхать вмѣстѣ съ другими.»

— «Нѣтъ, г. комендантъ, шалишь! За барина ты съ Богомъ расчитаешься, а отъ царскихъ ящиковъ, пока живъ, не отойду. Добро, воля теперь моя.»

— «Ну такъ оставайся!»

— «Это я и безъ вашей милости знаю; а вы извольте писать, куда слѣдуетъ, что тутъ-де Онисимъ съ царской машиной корабля ожидаетъ.»

— «Хорошо, хорошо!»

— «Оно у васъ все хорошо, да не ладно. Баринъ мой не кошка. Гдѣ онъ лежитъ у васъ? Зачѣмъ ему съ шведскими покойниками якшаться. Дайте мнѣ его, какъ слѣдъ, особнякомъ похоронить.»

— «Хорошо, хорошо!»

И комендантъ приказалъ указать могилу Семеныча. Онисимъ нашелъ его въ простомъ гробѣ; онъ не успѣлъ истлѣть; можно было узнать, что Семенычъ — точно Семенычъ. Онисимъ отыскалъ на берегу моря красивую отвѣсную скалу; не безъ труда высѣкъ барину могилу; обдѣлалъ на скалу ступеньки и ходилъ туда съ молитвой каждое воскресеніе; остальное время проводилъ безотлучно при машинѣ. Казалось, комендантъ совершенно забылъ про Онисима и ящики. Комендантша разрослась богатѣйшей барыней; у нея было уже четверо дѣтей и столько же друзей между офицерами гарнизона. По случаю, или по осторожности, она никогда не встрѣчалась съ Онисимомъ. Да и какъ ей встрѣтиться? Когда онъ ходилъ на могилу Семеныча, она блистала красотой въ крѣпостной киркѣ, а въ другое время онъ сидѣлъ у царскихъ ящиковъ и шилъ сапоги, чѣмъ и питался. Однажды, въ эту приморскую крѣпостцу, съ дурною гаванью, укрываясь отъ сильной морской погоды, зашла военная русская шкуна.

Это взволновало всѣхъ жителей, потому-что и купеческія суда сюда не заходили. Только случай могъ загнать сюда корабль военный. Отъ тѣхъ, которыхъ обувалъ Онисимъ, узналъ онъ о прибытіи шкуны, тотчасъ отправился къ капитану, объявилъ о ящикахъ царскихъ, о себѣ, о баринѣ; до лицъ капитану не было никакого дѣла, но ящики были перенесены на шкуну; Онисиму приказано сѣсть туда же и онъ пошелъ исполнить послѣдній долгъ — поклониться могилѣ Семеныча. Издалече увидѣлъ онъ странное зрѣлище. На темени его скалы шла веселая пирушка; офицеры угощали комендантшу, которая съ матерью и дѣтьми пріѣхала съ этой отвѣсной скалы поглядѣться въ бездну, полюбоваться видомъ красивой шкуны. Старикъ ожилъ, завидѣвъ чужихъ на дорогой скалѣ; быстро взошелъ по ступенямъ собственной работы и какъ привидѣніе остановился посреди пирующихъ. Всѣ смутились; Лилла отскочила на самый край скалы.

— «И послѣ смерти не даетъ покоя!» сказалъ старикъ страшнымъ голосомъ: «Марко Степанычъ! (такъ переводилъ Онисимъ: Макъ-Стефенсъ) Марко Степанычъ! А гдѣ же твое проклятіе?»

— «Проклятіе...» успѣла вскрикнуть Лилла и оступилась. Бетси замѣтила опасность, бросилась къ Лиллѣ, схватила ее за платье и преступная дочь увлекла преступную мать въ бездну морскую. Офицеры бросились внизъ; со шкуны отправили матросовъ, но море не отдало своихъ жертвъ. Во время общей суматохи, одинъ только Онисимъ

стоялъ покойно на скалѣ; попутный вѣтеръ заигралъ его длинными желтыми волосами; со шкуны въ рупоръ позвали Онисима; онъ упалъ на могилу, поцѣловалъ и перекрестилъ землю, и веселый, какъ-будто въ жизни съ нимъ никогда ничего грустнаго не случилось, сѣлъ въ родную лодку. Шкуна раскинула крылья и ушла, когда весь городъ съ комендантомъ своимъ ожидали: не отдастъ ли море Лиллы и Бетси?

—

V.

Больно удивился Онисимъ, когда легкая шкуна неслась по широкой Невѣ мимо отлогихъ береговъ, усѣянныхъ легкими мазанками; кое-гдѣ возвышались красивыя зданія. За адмиральтейскою крѣпостію, противу Морской Академіи, гдѣ теперь часть Зимняго дворца, вмѣщающая половину Государя-Наслѣдника, шкуна бросила якорь.

— «Ну, Онисимъ,» сказалъ старикъ громко: «Держи ухо востро. Теперь тебѣ придется говорить не съ Маркомъ Степанычемъ, а съ Государемъ Императоромъ, про котораго славой свѣтъ полонъ. Ну-ка, ну-ка! Какъ ты подойдешь, что ты скажешь. Лиха бѣда начало, а тамъ Онисимъ за словомъ въ карманъ не полѣзетъ. Гмъ! «Онисимъ откашлялся:» Ваше государское величество! «Ну, тутъ ужъ и пойдетъ рацѣя про Марка Степаныча, про Ивана Семеныча, про Людмилу Марковну! Пойдетъ! Вѣдь я же и съ добрымъ подарочкомъ. Ну, что вы тамъ копаетесь, подавайте лодку!»

Съѣхали на берегъ. Петербургъ будто вымеръ. Кое-гдѣ ходили прикащные; но за то невидно было нигдѣ ни одного порядочнаго экипажа. Онисимъ въ Англіи много слыхалъ про Питеръ и отъ пріѣзжихъ и отъ своего барина, который ему читалъ письма, и потому не удивительно, что Петербургъ онъ счелъ за предмѣстіе, хотя и находился въ лучшей части города: направо возвышалась адмиралтейская крѣпость, налѣво адмиральскій домъ, передъ носомъ Морская Академія, бывшій домъ Кикина.

— «А далеко ли до дворца Государя Петра Алексѣевича?»

— «А на что тебѣ?» спросилъ матросъ.

— «Есть, братъ, дѣльце. Государь меня знаетъ. Въ аглецкомъ царствѣ видались. Давненько, правда, да у него вострая память.»

— «Да ты, любезный, нездоровъ что ли, или прикидываешься?»

— «Какъ нездоровъ, отчего нездоровъ?»

— «Да ты развѣ могъ видѣть Государя за моремъ, когда онъ, кромѣ Питера и Москвы, нигдѣ не бывалъ.»

Онисимъ расхохотался.

— «Ну, шутникъ ты, право, нечего сказать. Чай, съ-тѣхъ-поръ, какъ Государь изъ аглецкаго царства уѣхалъ, облетѣлъ онъ орломъ всѣ земли, что стоятъ подъ солнцемъ.»

— «Да про кого ты говоришь?»

— «Про Государя Петра Алексѣевича.»

— «Да про котораго? Про покойнаго, что ли?»

Онисимъ остолбенѣлъ. Матросъ продолжалъ:

— «Гдѣ ты былъ, когда не знаешь, что не только батюшка Государь Петръ Великій, да и матушка Государыня Екатерина Алексѣевна, по волѣ Божіей, преставились.»

Онисимъ упалъ на колѣни и, воздѣя руки къ небу, возопилъ громогласно:

— «Господи! Такъ солнце наше закатилось! Не увижу его на землѣ; сподобитъ ли Господь тамъ взглянуть на отца Великаго?»

Онисимъ зарыдалъ. Эта сцена привлекла на площадку разнаго рода зрителей... между ними былъ и придворный лакей, Розоновъ. Сѣдина и чувства Онисима тронули Розонова; онъ подошелъ къ старику и спросилъ:

— «А что, ты больше любилъ отца вашего?»

— «Любилъ! Земля и море любили его, а теперь, кому я отдамъ мои ящики?»

— «Какіе ящики?»

— «Э! Въ тѣхъ ящикахъ диво сидитъ. Никому не отдамъ, кромѣ Государя.»

— «Государь въ Москвѣ.»

— «Вотъ тебѣ разъ! А что же будетъ съ ящиками?»

— «А вотъ что: пойдемъ со мною къ интенданту; теперь туда водою разный скарбъ отправляютъ; попроси, и тебя съ ящиками туда же отправятъ.»

— «Веди къ интенданту.»

— «Что тебѣ надо?» спросилъ интендантъ.

Онисимъ объяснилъ.

— «Ну,» сказалъ интендантъ: «видно, что ни

есть курьезное. Надо въ Сенатъ представить, а теперь и Сенатъ въ Москвѣ. Нечего дѣлать, изволь съ нашими ѣхать.»

Долго плылъ Онисимъ до Москвы, однако же доплылъ. Отправился во дворецъ и объявилъ, что онъ пріѣхалъ изъ Англіи съ диковиной, которую хочетъ отдать въ руки Государю.

— «Государь на охотѣ. Да тебя, старикъ, къ нему и не допустятъ...» сказалъ лакей.

— «А кому какое дѣло?»

— «А поди спроси.»

— «Стану я много толковать! Нѣтъ Государя, такъ Сенатъ есть.»

— «Какой Сенатъ! Теперь Верховный Тайный Совѣтъ дѣлами заправляетъ. Каждое утро въ Грановитой собираются; чай, еще не разошлись.»

— «Спасибо. Ихъ-то мнѣ и нужно.»

Онисимъ зналъ Москву и безошибочно подошелъ къ палатѣ; но тамъ двое часовыхъ, — и представленій Онисима не слушали. Онъ опечалился и рѣшился ждать, пока выходить станутъ; сѣлъ на лѣстницѣ и глядѣлъ себѣ на соборы. Вдругъ видитъ — приказный идетъ, подъ мышкою бумаги несетъ, а мундиръ на немъ богатый.

— «Батюшка!» сказалъ Онисимъ: «Ужъ не въ Тайный ли?»

— «Въ Тайный.»

— «Доложи, пожалуй, что я изъ Англіи посолъ, царское дѣло за собою имѣю и никому, кромѣ ихъ, немогу сказать.»

Приказный поглядѣлъ на него и пошелъ дальше.

То былъ секретарь Совѣта, и, ради смѣха, доложилъ о старикѣ. Ради смѣха, приказали позвать его. Онисимъ вошелъ, перекрестился, поклонился и сказалъ:

— «Доношу вашимъ милостямъ, что, будетъ лѣтъ тридцать тому назадъ, Государь въ Аглецкомъ царствѣ былъ и Нѣмцу Марку Степанычу, купно съ бариномъ моимъ, Иваномъ Семенычемъ Путочкинымъ, машину самосильную заказалъ, которую мы и сдѣлали; и машина такая, что никакихъ лошадей или другой какой скотины не любитъ, а сама на колесахъ всякую тяжесть подымаетъ и какія хочешь штуки показываетъ. Баринъ мой ту машину и дочку у Марка Степаныча взялъ, и мы, благословясь, домой поѣхали, да бурей насъ въ шведской полонъ бросило.»

— «Да тдѣ же твоя машина?» сказалъ съ нетерпѣніемъ какой-то сановникъ, въ огромномъ парикѣ. Онисимъ струсилъ.

— «На Стругѣ, батюшка енералъ, на Стругѣ, въ ящикахъ.»

— «Ну, хорошо. Теперь не до машинъ И такъ у насъ довольно тутъ разной машинеріи. Савельичъ! Принять отъ старика ящики, поставить въ удобную кладовую, впредь до усмотрѣнія; а ты, старикъ, подай обо всемъ меморію. Да про случай, поставить къ кладовой часоваго. Ну, съ Богомъ, старикъ! Послѣ, послѣ, послѣ!»

Тотъ же секретарь отправился съ Онисимомъ на Стругъ, осмотрѣлъ ящики, послалъ за поли-

цей, приказалъ поставить въ пустой сарай за Москвой-рѣкой, приложилъ печать, поставилъ часоваго и воротился во дворецъ, сказавъ Онисиму на прощаньи: «Подай про себя меморію въ субботу.»

— «Меморію?» спросилъ удивленный старикъ. «Какую меморію? Про себя? Да кому до меня какое дѣло! У меня царскіе ящики отобрали — и концы въ воду. Э, нѣтъ! Постой, погоди! Я найду дорогу къ самому Государю. Старикъ панъ Путочкинъ тоже дворскій человѣкъ; чай, теперь тоже генералъ; постой, погоди! И Онисимъ отправился на Покровку, гдѣ жилъ Путочкинъ, отецъ Ивана Семеныча. Но тамъ стоялъ совершенно новый домъ; тамъ жилъ другой хозяинъ. О Путочкинѣ память сохранилась только въ церкви: престарѣлый священникъ зналъ и помнилъ Путочкина, принялъ Онисима, выслушалъ, пожалѣлъ о Иванѣ Семенычѣ, сжалился надъ Онисимомъ и, впредь до усмотрѣнія, далъ ему у себя временный пріютъ. Онисимъ, безъ ящиковъ, не зналъ, что дѣлать; скука одолѣвала; раза два ходилъ онъ за Москвурѣку, глядѣлъ на огромную печать, на рослаго часоваго и возвращался. Отъ скуки и старости, Онисимъ сталъ западать, и разъ, за всенощной, на клиросѣ, почувствовалъ такую сильную тяжесть, не могъ устоять, прислонился къ стѣнкѣ — и заснулъ на-вѣки.

—

VI.

— Часовой подилъ мимо сарая и смотрѣлъ на

Кремль, да ничего не видалъ; только гулъ колоколовъ, да народное движеніе возвѣщали ему, что началась коронація Императрицы Анны Іоанновны.

— Часовой ходилъ и однимъ ухомъ слышалъ, какъ прохожіе хвалили Государыню Елисавету Петровну.

— Часовой подбѣжалъ къ дверямъ сарая и вытянулся въ струнку, чтобы отдать честь Императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ, когда она, въ торжественномъ экипажѣ, въ сопровожденіи двора и гвардіи, ѣхала въ Донской монастырь.

— «Кто идетъ?—Свои!—Это ты, бойкій? Куда такъ поздно?— На поминаніе. Говорятъ, Государь Павелъ Петровичъ въ Москву прибыть соизволилъ. — Жаль, что я на часахъ, пошелъ бы съ тобой. — А что въ этомъ сараѣ?— Старый Хламъ.

— «Слава тебѣ Господи! Смѣна идетъ. Ноги отстоялъ.» Часовой смѣнился и дорогой шепотомъ спросилъ: «А что, пріѣхалъ? — Пріѣхалъ; народъ ликуетъ отъ радости. Ангелъ, не человѣкъ. Говорятъ, завтра Государь Александръ Павловичъ въ соборъ пойдетъ; жаль, что не удастся посмотрѣть: — А что? Да мнѣ завтра очередь на часы идти къ Старому Хламу; видишь, войскъ въ Москвѣ мало, а постовъ теперь стало много.»

Солдатъ говорилъ правду. И главнокомандующій это замѣтилъ и приказалъ подать себѣ роспись всѣхъ постовъ, куда ставятся часовые. Читая роспись, онъ невольно остановился надъ словами: *У Стараго Хлама* — 1.

— «Какой это хламъ?»

Никто не могъ объяснить этого главноко-

мандующему. Необходимость уменьшить число часовыхъ на старыхъ постахъ заставила главнокомандующаго немедленно поѣхать къ Старому Хламу; но увидавъ сенатскую огромную печать, онъ нерѣшился снять часоваго. Послѣ коронаціи уже наведены безполезныя справки; ничего не нашли, и главнокомандующій рѣшился раскрыть эту тайну. Сняли печать, нашли изгнившіе куски дерева, перержавѣвшія желѣзныя колеса, поршни и шестерни. Уцѣлѣлъ только кусокъ пергамента, который покойно висѣлъ на огромномъ рычагѣ. Не безъ труда, и то не вполнѣ, разобрали, что Старый Хламъ есть паровая машина, сдѣланная въ Англіи по заказу Петра Царя Московскаго 177....» Послѣдняго числа разобрать нельзя было.

Старый Хламъ, — а вся Европа гремѣла славою Уатта; вся Англія оглашалась стукомъ паровыхъ машинъ на безчисленныхъ фабрикахъ; Фультонъ на Сенѣ дѣлалъ опыты пароходовъ; но Наполеонъ и вся Франція не вѣрила Фультону; въ Англіи, близъ Лидса, подъ величайшей тайной, строили паровозъ и желѣзную дорогу, въ видѣ игрушки. Давно ли это, а ужъ сколько пароходовъ и паровозовъ обратились въ старый хламъ? Даже самимъ парамъ, какъ двигательной силѣ, угрожаетъ преждевременная старость.

ШАХЪ И МАТЪ.

Историческая повѣсть.

XIV СТОЛѢТІЯ.

—

I.

— «Не вѣрь дружбѣ!» писали и говорили мудрецы: «она корыстная лесть, омутъ заманчивый, сладкій ядъ,» и много, много сравненій лилось изъ медовыхъ устъ нравоучителей. «Нѣтъ страсти краше любви, нѣтъ добродѣтели выше дружбы...» думали, говорили и писали другіе мудрецы, противники первыхъ. Такъ на свѣтѣ все! Къ простому случаю нравоучитель приложитъ свое общее толкованіе и съ важнымъ видомъ утверждаетъ: это истина!

Какая тутъ истина?

У Сида Гренадскаго, Абу Абдалы Юсуфа II, былъ другъ Ахметъ Бенъ Амиръ Зелимъ, король или Сидъ Феца. Не простой другъ, — африканскій заморскій! Не видались друзья между собою отъ рожденья; да зачѣмъ было и видѣться? Оттого не могла бы умножиться мѣра ихъ дружбы; если бы они жили еще одинъ отъ другаго дальше, то и тогда бы ни уменьшилась, ни увеличилась ихъ дружба. Юсуфъ

въ грамматахъ къ своему титулу прибавлялъ: «и другъ Зелима» а Зелимъ, посылая дары въ Мекку и Медину, наставлялъ пословъ передъ гробомъ пророка именовать его «другомъ Юсуфа.» Въ залахъ Альгамры не одна надпись была въ честь Зелима; изъ похвальныхъ стиховъ африканскому другу, въ опочивальнѣ Сида, было сдѣлано нѣсколько карнизовъ; на однѣхъ воротахъ, на самомъ фронтонѣ, Сидъ приказалъ первую полосу посвятить Аллаху, вторую предкамъ, третію другу. У Зелима на клинкѣ сабли было выдѣлано золотомъ и финифтью имя Юсуфа. Не слыхали, не только въ четырехъ королевствахъ Андалузіи, да и на Востокѣ, о такой дружбѣ!.. Привезли въ Фецъ послѣдніе подарки Юсуфа; въ бочкахъ изъ дуба, что́ и донынѣ растетъ въ Римскомъ лѣсу на лѣвомъ берегу Хенила, скованное серебряными обручами, бродило вино изъ гроздій Малаги и Пахарета; въ вазѣ изъ гренадской яшмы покоились, плотно обвитые шелкомъ, водяныя дыни и другіе дорогіе плоды съ долинъ Гвадальквивира; ткани тонкія и разукрашенныя, какъ крылья мотыльковъ, ткани изъ сребра и злата, картины изъ разноцвѣтныхъ камышковъ, книги, писанныя такими яркими красками, что глазамъ больно; но самымъ драгоцѣннымъ подаркомъ было благовонное масло въ чудномъ сосудѣ; напрасно визири и шеики разсматривали сосудъ: никто немогъ догадаться, изъ чего онъ сдѣланъ. Зелимъ поставилъ сосудъ тотъ въ своей опочивальнѣ; снялъ крышку, и повелѣлъ не курить тамъ дорогими

благовонными веществами, пока не выдохнется ароматъ дружескаго масла. Но послы спѣшили въ Гренаду; Юсуфъ велѣлъ имъ воротиться какъ можно скорѣй и принести вѣсть о здоровьи Зелима. Приготовили отвѣтные дары; между ними была одежда; изъ какой она сдѣлана ткани, объ этомъ не зналъ и самъ Зелимъ. Послы застали Юсуфа въ Хенералифе, на дачѣ, въ виду Гренады и Альпухарскихъ горъ. Сидъ Юсуфъ собирался на прогулку; хотѣлъ испытать новаго скакуна, жеребца Гвадара, которому въ тотъ день на молодыя копыта въ первый разъ наложили серебряныя подковы. Оба сына Юсуфъ и Могамедъ, весь дворъ, визири, алканды и шеики окружали короля гренадскаго. Не возможно описать радости, съ какою отъ пословъ своихъ онъ принялъ вѣсть о благомъ состояніи здравія друга Зелима, съ какимъ удовольствіемъ разсматривалъ дорогіе подарки! Ахнулъ сидъ Юсуфъ, увидавъ одежду, и тутъ же при всѣхъ бросилъ свой кафтанъ, изъ золотой ткани, надѣлъ даръ Зелима и полетѣлъ на Гвадаръ по широкой долинѣ, разостланной у ногъ Гренады. Чуденъ былъ Гвадаръ подъ такимъ сѣдокомъ! Старшій сынъ, Юсуфъ, почти не отставалъ отъ отца; придворные и не старались опереживать двухъ сидовъ, но за то Сидъ Могамедъ не хотѣлъ раздѣлять этой чести съ отцемъ и братомъ; онъ поотсталъ съ дюжиною добрыхъ друзей (видно, дружба тогда была въ модѣ) и на легкихъ рысяхъ тихо съ ними бесѣдовалъ.

— «Не удалось!» сказалъ онъ съ досадой.

«Этотъ посолъ изъ Феца, что неотъѣздно живетъ въ Гренадѣ, вышелъ къ народу и сказалъ имъ, будто старшій имамъ Пророка съ мединскаго минарета: «Хотите ли возобновить ужасы междуусобной войны, врагамъ вашимъ проложить пути къ новымъ побѣдамъ? Вы забыли, что ваши внутренніе раздоры всегда были пагубны; что эти смятенія ниспровергли престолъ и благородныя поколѣнія Омейевъ, Альморавидовъ, Альмогадовъ и потомковъ великаго Абенъ Гуда? Почему не обратите вы оружія противу Кастильцевъ? У нихъ теперь смуты и раздоры, — воспользуйтесь случаемъ! Кастильцы, — вотъ единственные враги ваши; просите короля, пусть ведетъ васъ на христіанъ; и когда вы увидите Юсуфа на челѣ своемъ, вы тогда только уразумѣете, какого Аллахъ ниспослалъ вамъ государя!» Такъ говорилъ этотъ африканскій звѣрь. Глупая чернь отступила отъ Хенералифе и каялась три дни. Не удались наши замыслы, но благо утонули въ общей бурѣ и встанутъ со дна только при попутномъ вѣтрѣ...»

— «Сидъ!» сказалъ Ахмедъ Бенъ Харакъ, начальникъ стражи Сидъ-Могамеда: «грустно подумать, что отецъ твой проживетъ еще многіе годы. Увидишь, мы еще будемъ платить дань псамъ кастильскимъ: такъ всегда бывало у насъ на старости сидовъ. Дряхлость всего боится. А еще грустнѣе, что на послѣднемъ приступѣ въ Ортехикарѣ полонилъ твой братъ Юсуфъ, помнишь, ту славную Эстреллу, которую мы видѣли съ тобой

въ Севильѣ, когда покойный сидъ донъ Энрике давалъ богатый пиръ посламъ гренадскимъ!

— «Донна Эстрелла, дочь донъ Фернанда Ализора! Полно, Харакъ! Это ты видѣлъ во снѣ! И если-бъ я зналъ, что она въ какомъ нибудь плохомъ городкѣ, какъ Ортехикаръ, то я второй разъ возсталъ бы противъ отца моего, и, черезъ мѣсяцъ, донна Эстрелла сидѣла бы въ моемъ гаремѣ...»

— «Вѣрю. Но повѣрь и мнѣ, сидъ, Эстрелла уже третій мѣсяцъ въ гаремѣ твоего брата. Я знаю это лучше тебя. Ты не былъ тогда въ Гренадѣ. Рано утромъ по всѣмъ улицамъ стали бить тревогу; муэцыны кричали съ башенъ; мы съ братомъ твоимъ не спали, и то по случаю: Бенъ Гаметъ изъ Сидоніи читалъ намъ свою повѣсть! Ахъ, какіе стихи! Медъ, пѣніе Гурій, сѣверный вѣтеръ, такъ и дышетъ сладостью прохлады! Слушали мы, слушали; всѣмъ намъ казалось, что Бенъ Гаметъ накинулъ на насъ шатеръ изъ золотой паутины, чтобы легче было вѣтру проходить по истомленнымъ членамъ нашимъ. Нѣжились мы стихами сидонійскими до алаго утра; тревога разрушила наше очарованіе. Какъ добрые рыцари, мы бросились на коней, и вмѣстѣ съ другими прискакали въ Альгамру, гдѣ уже въ прохладной галлереѣ сидѣлъ отецъ твой и держалъ совѣтъ съ визирями, алкайдами и шейками.

— «Забавная шутка дошла до ушей нашихъ,» сказалъ онъ съ улыбкой: «Великому магистру алкантарскому сказалъ сумасшедшій дервишъ, что

если онъ ударитъ съ орденомъ своимъ на Гренаду, на заръ, именно сегодня, то столица вашего королевства перейдетъ въ число орденскихъ городовъ. Не удивляюсь безумію дервиша, но смѣюсь надъ легкомысліемъ магистра. Ступайте, дѣти мои; докажите, что безумцамъ вѣрить опасно...»

Понеслись мы изъ Альгамры прямо въ долину; въ роскошной ея зелени плылъ желѣзный островъ, надъ нимъ развѣвался орелъ ордена, знамя. Мы разсыпались во всѣ стороны; а рыцари ехали по Севильской дорогѣ на рысяхъ, ни тихо, ни скоро. Слетѣлись мы на нихъ и спереди и сзади и съ боковъ: такъ псы у мериносовъ останавливаютъ на бѣгу хищнаго звѣря, когда онъ крадется къ спящему стаду. Встало солнце, посмотрѣло; насъ уже не было въ долинѣ; тамъ только встрѣтило оно рабовъ нашихъ; они убирали трупы рыцарей, а мы гнались за двумя послѣдними. Рыцари уходили. Кони у нихъ, — подарокъ отца твоего, — были быстрѣе нашихъ. Рыцари спрятались въ Ортехикаръ; а ты знаешь, сидъ, мавританскому витязю не подкидывай подъ ноги геройскаго подвига: истопчетъ; и не успѣли заперетъ воротъ въ Ортехикарѣ, — мы добыли бѣглецовъ нашихъ, добыли крѣпость, алкайда и гостей его; между гостьми была донна Эстрелла съ матерью. Мягкосердечный Юсуфъ увидѣлъ свою добычу и сталъ на себя не похожъ. Какой благородный Маавръ, особенно въ наше время, не поклонился бы красотѣ, не умѣлъ бы ее изумить, очаровать великодушіемъ? Какъ бы не такъ! На третью уже ночь

и самъ проскакалъ до перваго христіанскаго города алгвинцъ Ортехиара; но, увы, между ними не было Эстреллы...»

На лицѣ Могамеда блеснула улыбка, такая улыбка, что если бы она приснилась кому ночью, тотъ вѣрно бы перепугался. Онъ сталъ усиливать бѣгъ коня своего; зеленая чалма его безпрестанно кивала, будто говорила: «Постой, постой!» Злоба брата, не то, что злоба друга, какъ злоба друга, не то что злоба пріятеля, знакомаго, постороннаго; тутъ найдешь лѣстницу злобы, а сидѣ Магомедъ былъ на ея вершинѣ. Гвадаръ возвращался, побѣжденный могучимъ сѣдокомъ своимъ; возлѣ ѣхалъ Юсуфъ, потомъ придворные. Повернули въ Альгамру; и всѣ стали омывать руки и ноги на мраморномъ дворѣ у знаменитаго фонтана львовъ. Юсуфу стало жарко, потомъ дурно, все тѣло заныло; понесли Юсуфа въ ванну; раздѣли; неизвѣстная краснота покрывала грудь и спину; не успѣли приготовить благовонной ванны, призвать врачей — тѣло Юсуфа во многихъ мѣстахъ посинѣло, въ другихъ покрылось мелкими язвинами. Страданія его были ужасны, но непродолжительны; онъ не спускалъ мутныхъ очей съ драгоцѣннаго дара друга Зелима. — «Да,» сказалъ онъ: «это былъ истинно смертельный поединокъ! Не знаю только, кто надетъ первый!» Глаза и солнце жизни Юсуфа закатились. Всѣ были поражены неожиданною и странною смертью примѣрнаго своего сида, образца добродѣтелей. Только Могамедъ и вѣрный другъ его Ахмедъ Бегъ

Харакъ не могли скрыть своей радости. Не успѣли визиря, алканды и шейки придти въ себя, какъ уже стража сидъ Магомеда овладѣла всѣми выходами Альгамры. Сидъ Юсуфъ, старшій братъ, отведенъ былъ въ темницу; нѣсколько вѣрныхъ слугъ покойнаго отправились, по его слѣдамъ, въ рай Могамета — а въ земномъ раю всего мусульманскаго міра, въ благословенной любимицѣ роскошной природы и художествъ, въ красныхъ башняхъ Альгамры, на престолѣ Абенъ Гуда, возсѣлъ Сидъ Абенъ Юсуфъ Могамедъ, второй сынъ Абу Абдалы Юсуфа.

—

II.

Слухи — муравьи; проползутъ въ такія скважины, куда и солнечныя лучи не пролезутъ. Взволновалась Гренада; она любила Юсуфа отца и Юсуфа сына. И послѣдній, по справедливости, могъ считаться блистательною надеждой Гренады. Краше не было юноши во всѣхъ четырехъ королевствахъ Андалузіи; такого стройнаго стана невидали и въ рощѣ сребролиственныхъ тополей, растущей надъ берегомъ Хенила, по Севильской дорогѣ; такого умильно выразительнаго лица не встрѣчали даже между портретами сидовъ всѣхъ четырехъ династій. Кротость Юсуфа называли небомъ Гренады, тихій нравъ — сномъ блаженства будущихъ его подданныхъ; храбрость Юсуфа была извѣстна даже въ далекой Наваррѣ, а многіе утверждали, что не разъ объ ней бесѣдовалъ самъ Папа съ Римскимъ Императоромъ. Стихи его не уступали

въ сладости стихамъ пѣвца Медины Сидоніи, а въ свѣжести, яркости, разнообразіи картинъ и сравненій равнялись они образцамъ далекаго Востока. Но стихи и музыка были только мгновенною забавой для Юсуфа; только любимицу сердца, тайную гурію своего гарема онъ утѣшалъ мягкими звуками своихъ струнныхъ инструментовъ. Многіе часы онъ посвящалъ бесѣдѣ съ мудрецами, толкователями Корана, звѣздъ, чиселъ, пространства и жизни. Въ тайную святыню любознанія онъ допускалъ даже зодчихъ, копателей каналовъ, и другихъ художниковъ и замѣчательнѣйшихъ ремесленниковъ, и Гренада ожидала въ немъ увидѣть втораго Гарунъ-Аль-Рашида. Взволновалась Гренада и толпы народа закипѣли и волнами покатились къ краснымъ башнямъ. Окруженный визирями, алкаидами и шейками, Сидъ Могамедъ вошелъ въ залу Суда. Избранные отъ народа были допущены къ рукѣ его и получили позволеніе говорить. Много титуловъ разсыпали передъ нимъ велерѣчивые витіи; когда разсѣялся туманъ величавыхъ именъ и сравненій, Гренадцы просили свободы своему любимцу.

— «Дѣти мои!» сказалъ онъ сурово: «Умру, но исполню свято завѣтъ великаго отца моего. Онъ погибъ отъ многоцѣннаго дара, лучшаго изъ друзей своихъ, Ахметъ Бенъ Амиръ Зелима, и потому, назначивъ меня своимъ преемникомъ, въ присутствіи почтенныхъ слугъ моихъ, повелѣлъ не вѣрить никому, даже брату. «Не отнимай,» сказалъ онъ умирая: «не отнимай у него жизни и

всѣхъ ея удовольствій; но запри подъ семью замками его свободу. Два льва не уживутся на волѣ, но если одинъ въ клѣткѣ, тогда другой никогда неизмѣнитъ благороднымъ наклонностямъ своей породы. Родственныя междоусобія разрушили безмѣрное царство предковъ нашихъ и сдѣлали насъ для христіанъ мишенью. Раздвинуть предѣлы царства можетъ только одинъ, потому что у него въ виду только врагъ, а врагу самый страшный союзникъ — твой соперникъ.» Такъ говорилъ мудрый нашъ родитель, когда уже ангелъ смерти принималъ его душу. Клянусь вамъ строго сохранить завѣтъ родителя. Только свободы лишился Юсуфъ, но всѣ удовольствія жизни я пошлю ему во слѣдъ въ тотъ замокъ, который будетъ ему назначенъ совѣтомъ нашимъ для пребыванія. Это долгъ сына и брата! Не ваше дѣло заботиться о моихъ обязанностяхъ; помните свои! Псы севильскіе открыли уже охоту отъ Хаена! Готовьтесь къ походу! Я заставлю ихъ сидѣть смирно въ своей псарнѣ и не выходить даже для забавы изъ воротъ Севильи! Да сохранитъ васъ аллахъ для подвиговъ чести и славы! Ступайте!»

Величественный видъ Сидъ Могамеда, спокойствіе, твердость, увѣренность въ себѣ, ненависть къ общимъ врагамъ, поразили гражданъ. Благоговѣйный ихъ ужасъ сообщился всей Гренадѣ; крики войны, похвалы Могамеду, раздавались по всѣмъ улицамъ; а Могамедъ сталъ снаряжать пословъ въ Фецъ и велѣлъ имъ просить Зелима, чтобы онъ не лѣзъ къ нему въ такую тѣсную

дружбу, а жилъ бы съ нимъ по-пріятельски, какъ добрый сосѣдъ, почему и посылаетъ подарки обыкновенные, приличные. Послы застали Зелима на одрѣ смерти; сосудъ съ многоцѣннымъ масломъ въ кускахъ лежалъ на мраморномъ полу; желтоватымъ пятномъ лоснились признаки изсохшаго масла; во всѣхъ углахъ дымились курильницы съ цѣлебными травами, врачи поили Сидъ Зелима разнымъ зѣльемъ; жены, окруживъ желтое пятно и куски сосуда, проклинали дружескій даръ Юсуфа. Страданія Зелима были и ужасны и продолжительны... «Пріѣхали послы отъ Сидъ Могамеда, короля Гренады,» сказалъ кто-то. Страданія Зелима исчезли, мутные глаза просвѣтлѣли; уста вытянулись и прошептали: «Зовите, зовите!» Послы вошли и ужаснулись. «Не пугайтесь!» сказалъ Зелимъ: «Запахъ масла вашего отравилъ меня; много дней умиралъ я, но не могъ. Я ждалъ моего друга. Онъ умеръ?» — «Умеръ!» сказали послы, и Зелимъ закрылъ глаза навѣки. Друзья неразлучные спѣшили соединиться въ раю Могамета. Преемникъ Зелима не принялъ даровъ Магомеда! «Будемъ лучше врагами,» сказалъ онъ: «Купцы уже донесли мнѣ о подвигахъ Сидъ Могамеда. Отцы наши разсчитались, а между дѣтьми пусть будетъ залогомъ войны — Сидъ Юсуфъ. Если и онъ умретъ такъ неожиданно, какъ отецъ его, — я пойду откуда вѣтеръ; и этотъ вѣтеръ подыметъ вѣтрила моего флота; и Гренада увидитъ меня на своихъ мѣстахъ!» Такъ говорилъ молодой Король Феца.

—

III.

Сидъ Могамедъ понялъ слова друга, и въ ту же ночь Сидъ Юсуфъ былъ отправленъ въ Салобрену, вмѣстѣ съ женами, немногими малолѣтними дѣтьми, учеными, художниками, поэтами, съ книгами, драгоцѣнными рѣдкостями, съ богатѣйшимъ запасомъ тканей, игрушекъ, всевозможныхъ предметовъ мавританской роскоши. Къ особѣ Сидъ Юсуфа приставлены были почти всѣ тѣ же придворные чины, какіе были въ Альгамрѣ. Три дни совершался выѣздъ Юсуфа въ Салобрену. Окончивъ благодарственныя молитвы въ крѣпостной мечети, Сидъ Юсуфъ пошелъ осматривать съ алкаидомъ Салобрены новое свое царство. Сады и фонтаны были прекрасны; дворецъ блисталъ роскошью и вкусомъ; онъ нашелъ въ немъ общество лучшихъ своихъ друзей; надежда счастливой жизни разливалась по свѣтлому лицу его. Вошелъ онъ въ гаремъ; устройствомъ и удобствами гаремъ этотъ не уступалъ гаремамъ Альгамры и Хенералифе. Жены бросались съ восторгомъ къ Юсуфу и цѣловали его руку, но онъ какъ будто былъ недоволенъ ихъ ласками; искалъ чего-то; вырывался изъ объятій женъ, дорогихъ его сердцу; не шелъ, бѣжалъ изъ комнаты въ комнату. Чело его туманилось. Въ послѣднемъ покоѣ онъ не могъ уже скрыть своихъ опасеній. «Гдѣ Эстрелла?» спросилъ онъ почти съ плачемъ. Никто не отвѣчалъ. И Юсуфъ, заливаясь слезами, упалъ на коверъ. Напрасно жены, нѣжною заботливостью старались унять потокъ слезъ, заглушить воспоминанія. На-

прасно. Юсуфъ любилъ Эстреллу и надежды на счастіе, какъ испуганные духи, разлетѣлись въ разныя стороны, и далече еще мелькали исчезающими радужными крылышками. Но гдѣ же была тогда Эстрелла?.. Въ уединенномъ покоѣ лежала Эстрелла на пышномъ одрѣ; великій даръ готовилась она принести своему дорогому Юсуфу: можетъ быть наслѣдника его добродѣтелей, или точный образъ красоты своей въ нѣжной дочери... Она не чувствовала своихъ страданій; прислужницы, сидя около столовъ, шили крохотныя рубашки, шелковыя и золотыя ткани были разбросаны по столу; на всякой случай приготовили и маленькія зеленыя чалмы, и испещренныя золотыми мушками покрывала, прозрачныя какъ воздухъ; и сапожки, и кривоносые башмаки, и пояса для дѣтской сабли, и пояса для дѣвичьей таліи. Съ улыбкою смотрѣла Эстрелла на работу своихъ прислужницъ, но часто задумывалась, какъ будто сердце угадывало какую-то далекую бѣду. А бѣда уже сбылась; такъ часто солнце еще горитъ высоко, да то не солнце: оно уже спитъ глубоко на днѣ морскомъ; давно уже ночь, а обманутые глаза вѣрятъ, что еще день.

— «Не слыхали-ль вы, мои дорогія подруги,» спросила Эстрелла: «въ какой походъ пошелъ Сидъ Юсуфъ?» — «Богъ знаетъ,» отвѣчала рабыня: «можетъ-быть гдѣ нибудь наткнется на донъ Энрике; отплатитъ онъ Юсуфу за отца и дѣда.

— «Перестань, дерзкая!» сказала Эстрелла печально.

— «Плѣнницѣ только и воли остается, что можно громко плакать! Да что, мы еще люди простые, а ужъ тебѣ, донна Эстрелла, я немогу и надивиться.»

— «Я и сама немогу себѣ надивиться!» отвѣчала Эстрелла, опустивъ глаза на богатые ковры, лежавшіе цвѣтникомъ вокругъ пышной кровати: «Я не могла и слушать безъ ужаса о Маврахъ; когда случалось въ Севильѣ быть въ одной комнатѣ съ гренадскими послами, я вся дрожала, какъ листъ; не смѣла глазъ на нихъ поднять; когда мнѣ говорили, что Мавры глядятъ на меня, я уходила въ другую комнату и плакала со злости. Если во снѣ привидится Мавръ, я просыпалась, и часто отбѣгала на нѣсколько шаговъ отъ моей постели. Правда, у меня отецъ и мать были всегда такіе угрюмые, запирали меня въ уединенную комнату, не пускали даже въ церковь. Мнѣ показали какого-то рыцаря и сказали сухо: «Эстрелла, привыкни къ нему! Онъ будетъ твоимъ мужемъ...» Умеръ отецъ мой не своею смертью; его закололи на поединкѣ; имѣнія и помѣстья взяли въ казну; женихъ мой не являлся, а жить было не чѣмъ; мы и уѣхали въ Ортехикаръ, къ дядѣ... Трехъ дней не прошло,—набѣжали Мавры; мы попались въ плѣнъ и, — я увидѣла Юсуфа. О, какъ больно было мнѣ слышать изъ устъ его роковое слово: «Благородныя дамы, украшеніе Севильи и всего женскаго міра, вы свободны: моя стража проводитъ васъ въ ближайшій городъ!»

Мы всѣ были собраны въ большой комнатѣ.

Юсуфъ вернулся, но уже не побѣдителемъ, а гостемъ; рѣчи его не были похожи на эти арабскія сказки, какими говорятъ даже наши рыцари; слова его были просты, текли изъ устъ безъ принужденія, какъ умный напѣвъ, исполненный искусною гитарой... Самъ онъ показался мнѣ переодѣтымъ, безплотнымъ, чистымъ геніемъ; въ глазахъ его сіяло что-то неземное... До вечера онъ забавлялъ насъ умною, пріятною бесѣдой: ушелъ, и мы всѣ долго, долго молчали; въ комнатѣ стало пусто; въ сердцѣ пусто... Первыя стали говорить старушки, но и этотъ разговоръ былъ похвальнымъ словомъ Юсуфу; сравнивали его съ рыцарями нашихъ сказокъ, съ Сидомъ Родеригомъ... Мнѣ сдѣлалось еще хуже; я плакала, смѣялась; и плачъ и смѣхъ, все это было такъ тяжело, такъ больно; глаза покраснѣли, уста запеклись... Я захворала, но никому не могла сказать слова. Напротивъ старалась скрыть недугъ; боялась, чтобы старушки не догадались... Ночью жаръ усилился, я стала бредить: имя Юсуфа, темные намеки сорвались съ языка моего; стража и старушки все подслушали. Къ утру мнѣ стало легче; я начала одѣваться... Старушки окружили меня и требовали объясненія; я не знала куда дѣваться; бѣгала изъ угла въ уголъ; закрывала лице руками; мучилась, умирала.... Вошелъ Юсуфъ. Невольное чувство увлекло меня къ нему; казалось мнѣ, что самъ Богъ посылаетъ мнѣ въ его лицѣ защиту отъ нестерпимой пытки. Я бросилась къ нему безъ словъ, но онъ какъ будто понялъ меня, преклонилъ ко-

лѣно и сказалъ дрожащимъ голосомъ: «Дѣва, я люблю тебя!» Безъ чувства я упала въ его объятія; проснулась... проснулась для земнаго блаженства. Онъ не отдалъ своей жены гордой донна Маріи, моей матери! Міръ новой радости... Все, все въ одномъ Юсуфѣ...»

— «Страшный грѣхъ!..» сказала плѣнница.

— «Не говори мнѣ о грѣхѣ, несчастная! Душа моя сочеталась съ душею Юсуфа; жизнь его, свобода, счастье, словомъ, все, что составляетъ достояніе каждаго, для меня дороже, нежели собственныя. Юсуфъ, Юсуфъ! Какъ онъ добръ, снисходителенъ, внимателенъ къ бѣдной супругѣ... Вѣра отцевъ моихъ при мнѣ, онъ обѣщалъ даже, если дочь...»

Эстрелла замолчала и погрузилась въ пріятныя думы. Видно было по лицу, что она любуется своимъ счастьемъ. Но плѣнница снова разрушила очаровательный сонъ Эстреллы...

— «Обѣщалъ! Чего не обѣщаетъ нечистый Мавръ, пока ты молода; пожелтѣетъ первый листокъ твоей юности, тебя отнесутъ въ старый садъ, гдѣ живутъ отцвѣтшія растенія, а на твое мѣсто посадятъ какую нибудь водяную лилію, если не достанутъ лучшаго цвѣтка. Такъ у нихъ, у этихъ грѣшныхъ многоженцевъ. Могутъ ли они питать рыцарскія чувства!!.»

— «Перестань, ворона!» сказала Эстрелла съ гордостью.

— «Ужъ точно ворона!» прибавила Займа, прислужница изъ Мавританокъ: «Видно, ты просидѣла

всю жизнь въ какомъ нибудь монастырѣ, на короткой привязи, все думала о погибели Мавровъ. Да у кого учились ваши варвары обходительности, вѣжливости, уваженію къ женщинамъ? Ужъ не у Франковъ ли, вашихъ лукавыхъ сосѣдей? Ужъ не у этихъ ли рыцарей, которые поклялись не знать во всю жизнь женщины? До сихъ поръ: что́ у васъ женщина? Рабыня. По звонку раба, она выходитъ изъ комнаты, принимаетъ пищу, ложится спать, гуляетъ и рядится! Вотъ ты скажешь: сказка, а если бы ты умѣла читать, я показала бы тебѣ книгу, гдѣ разсказано много примѣровъ варварства Кастильцевъ и высокой доблести Мавровъ. Она называется: «Зеркало истиннаго рыцарства.» Это сборникъ правдивыхъ подвиговъ нашихъ сидовъ, валидовъ, визирей, алкаидовъ и безмѣстныхъ рыцарей. Да вотъ, что случилось, хотя бы и съ Беренгерой, императрицей...

—

IV.

«Тогда еще ваши разбои такъ далеко не заходили; вы насъ больше боялись, нежели грома небеснаго. Еще Хаенъ, Севилья, Кордова, Валенсія не были осквернены вашими знаменами. Императоръ Альфонсъ, такъ называетъ его моя книга, собралъ всѣхъ своихъ витязей и пошелъ на Мавровъ, у которыхъ въ то время не было добраго предводителя. Алкаиды городовъ дѣйствовали сами по себѣ. Добрые Мавры, они безъ призыва соединялись втроемъ, вчетверомъ и бросались на встрѣ-

чу христіанамъ, куда только поспѣвать удавалось. Такъ повелители, или, какъ тогда называли, *Вали*, изъ Севильи, Кордовы и Валенсіи соединили свои войска и пошли искать Альфонса. Искали императора, нашли императрицу. Беренгера ѣхала въ обозѣ и, соскучивъ трудами войны, завернула отдохнуть въ крѣпость Азеку. Тамъ она расточала наши богатства, заграбленныя варварами, на пиры, возбуждая робкихъ своихъ соотечественниковъ противу насъ. Дворъ ея былъ многочисленный... Всѣхъ рыцарей своего мужа она раздѣлила между дамъ своихъ; руки многихъ прелестныхъ дѣвъ назначила она наградой за тотъ или другой подвигъ; къ такимъ прибѣгала она средствамъ, чтобы возбудить храбрость, жажду славы въ христіанскомъ воинствѣ. Сидѣла она въ Азекѣ, на возвышенномъ мѣстѣ, по обѣ стороны помѣстились ея дамы; противу нихъ пировали гости, новонабранные витязи, многіе еще безъ мечей рыцарскихъ, безъ щитовъ, украшенныхъ, по нашему образцу, эмблемой и мудрымъ изрѣченіемъ; безъ перевязей, приличныхъ только рыцарскому сану.... Одинъ взоръ Беренгеры наполнялъ души юношей пылающею страстью; но эти взоры ходили, какъ блуждающія звѣзды; ни что въ мірѣ, ни блескъ, ни красота ихъ не останавливало; они гуляли только въ своемъ небѣ, въ толпѣ звѣздъ красавицъ двора императрицы; остановить одинъ такой взоръ на себѣ, добыть его въ награду за подвигъ геройскій, вотъ какія мысли зароняла Беренгера... Щеки юношей рдѣли страстнымъ румянцемъ; уста ви-

шневныя пылали зноемъ, пламенемъ; глаза обливались мутною влагой нѣги и упоенія... А между тѣмъ изъ глубокихъ чаръ лилось дорогое вино, изъ медовыхъ устъ пѣвцевъ страстныя романцы. Вдругъ въ дверяхъ столпились гонцы изъ разныхъ городовъ. Говорятъ Беренгеръ: «Царица! Мавры со всѣхъ сторонъ окружаютъ Азеку; передъ вечеромъ начнется приступъ; бѣжать нельзя; всѣ дороги отрѣзаны. Надо готовиться къ битвѣ.» Неопытные юноши поднялись съ шумомъ; дождемъ брызнули клятвы умереть за Беренгеру «Да что мнѣ пользы въ вашей смерти?» сказала она сухо: «Главныя силы Мавровъ могутъ поспорить и съ воинствомъ моего мужа. Стѣны Азеки ненадежны. Альфонсъ теперь въ Орегѣ, добытой мужествомъ и твердостью нашего рыцарства... Что тутъ дѣлать?»

— «Сражаться,» закричали юноши.

— «Я васъ слишкомъ люблю, дѣти мои, и не пожертвую такъ легко лучшими надеждами христіанства для невѣрнаго успѣха. Конечно, я не сомнѣваюсь въ вашей готовности... Но силы наши слишкомъ неравны... Еще рано. Продолжайте пиръ, а мы подумаемъ.»

Беренгера ушла съ тремя или четырьмя приближенными дамами; воспаленныя очи юношей долго еще смотрѣли въ тѣ двери, куда скрылась Беренгера. Ночь застала ихъ еще за пиромъ, а приступъ еще не начинался. Отъ чего же это наши не начали приступа, спросите вы? Вотъ то-то и есть! Посмотрѣла бы я, какъ бы поступили варвары на

мѣстѣ нашихъ героевъ. Они сидѣли въ главномъ шатрѣ, раскинутомъ передъ самымъ балкономъ Беренгеры. Главныхъ начальниковъ было трое; меньшихъ вождей болѣе двѣнадцати; всѣ они также, помолясь Аллаху и совершивъ омовенія, сѣли за пиръ. По старшинству, Измаилъ, Вали Кордовы былъ первый. «Дѣло къ ночи,» сказалъ Измаилъ съ улыбкой: «Въ Азекѣ Беренгера и много благородныхъ дамъ. Стыдно ихъ безпокоить такою позднею порою.» Всѣ одобрили совѣтъ Измаила. Самый младшій прибавилъ только три слова: «Тѣмъ болѣе, что Альфонсъ взялъ Орегу ночью. Мы не станемъ подражать ему...» Еще не кончился пиръ, говорятъ: гонецъ отъ Беренгеры. Позвали гонца; то былъ сѣдой старикъ, пѣвецъ императрицы. Измаилъ сказалъ ему ласково: «Лѣта твои, старецъ, даютъ тебѣ мѣсто во дворцахъ и палаткахъ нашихъ; садись!..» Гонецъ чинился. «Или ты сядь или мы встанемъ,» сказалъ Измаилъ. Старецъ усѣлся. «Что повелитъ намъ властительница сердецъ христіанскихъ?» такъ началъ Измаилъ. Старецъ, склонясь, почтительно отвѣчалъ: «Императрица Беренгера приказала спросить у васъ, вождей Магометова войска, считаете ли вы подвигомъ, достойнымъ вашей славы — взятіе слабой крѣпости, гдѣ только однѣ женщины со своими пажами? Не лучше ли итти вамъ подъ Орегу и разсчитаться съ Альфонсомъ?» — «Очень хитро!» отвѣчалъ Измаилъ: «Хитрость оружіе женщины. Ступай, старецъ, скажи Беренгерѣ, лунѣ своей, которой отъ колыбели ты напѣваешь сладкія пѣсни, что мы не виноваты

въ ея беспокойствѣ. Ночь насъ застигла у воротъ Азеки. Мы шлемъ ей благословенія и привѣтствія. Пусть сны ея берегутъ всѣ добрые духи, которымъ въ эту ночь случиться низойти на землю въ окрестностяхъ Азеки... Мы идемъ на Орегу: это путь нашъ. Ты знаешь, надо прежде отплатить врагу за его хищность въ собственномъ домѣ, а тогда уже отнять украденное. Но, старецъ, и мы имѣемъ просьбу къ Гуріи, царицѣ вашего рая. Мы такъ много объ ней наслышались. Не позволитъ ли она предстать намъ завтра предъ ея свѣтлыя очи и поклониться красотѣ и мудрости, прославленнымъ въ пѣсняхъ и сердцахъ рыцарскихъ?»

Старикъ подозрѣвалъ въ этомъ хитрость. Измаилъ разсердился и сказалъ: «Лукавый рабъ! я могъ бы еще сегодня увидѣться съ императрицей; но я не воръ и противу женщины никогда необнажалъ меча моего. Ступай, я лучше тебя знаю великодушіе Беренгеры — и завтра мы будемъ лично просить о вожделѣнной чести...» Императрица, весь дворъ, юноши, воины, вся Азека не могла заснуть во всю ночь, тогда какъ глубокій сонъ и мертвая тишина обливали станъ вождей нашихъ... Настало утро. Гонцы летали изъ стана въ крѣпость и изъ крѣпости въ станъ. Вся Азека была на стѣнахъ и любовалась стройнымъ видомъ нашего стана. На чудныхъ коняхъ, безъ стражи и оружія, показались вожди наши. Громкіе крики и рукоплесканія встрѣтили ихъ на мосту и въ крѣпости. На походномъ престолѣ, окруженная множествомъ женщинъ и пажей, приняла императрица — Измаила съ товарищами.

Толмачи переводили ей нарядныя рѣчи вождей нашихъ и она столько же дивилась уму, благородству, изяществу и вѣжливости истинно рыцарскихъ словъ Измаила и другихъ Мавровъ, сколько они — красотѣ хозяйки и ея очаровательныхъ дамъ. Вожди наши оставили ей на память каждый по дорогому подарку и, поклонясь, уѣхали. Все войско тронулось въ походъ; каждый вождь велъ отрядъ свой мимо балкона Беренгеры; знамена и мечи каждаго отряда преклонялись; пѣвцы воспѣвали красоту и мудрость Беренгеры; долго, долго изумленная императрица глядѣла во слѣдъ Маврамъ; и если бы они шли не противу мужа, такъ говоритъ моя книга, то вѣрно бы она пожелала имъ успѣха. Но приличіе того не позволило и Беренгера осмѣлилась только сказать: «Дай Богъ прочнаго мира.» Вотъ то-то! Говорить-то вы любите, да мало читаете.»

—

V.

Займа не успѣла окончить нравственнаго приложенія къ своему разсказу, какъ вошелъ Сидъ Могамедъ съ неразлучнымъ своимъ другомъ Бенъ-Харакъ-Ахметомъ. Не смотря на близость счастливѣйшаго и ужаснѣйшаго мгновенія каждой матери, донна Эстрелла цвѣла полною красотою; теперь въ роскошномъ положеніи, она казалась во сто кратъ милѣе, очаровательнѣе... У Магомеда глаза помутились; у Ахмета поникли долу; онъ и дыханіе свое куда-то спряталъ; сталъ зеленъ: у иныхъ этотъ цвѣтъ замѣняетъ краску. Не долго

продолжалась безмолвная сцена. Донна Эстрелла изумленная, испуганная неожиданнымъ посѣщеніемъ любезнѣйшаго братца, привстала и спросила съ гордостью: «Это что значитъ? Какъ ты зашелъ въ чужой гаремъ?»

— «Ты ошибаешься, Эстрелла! Я у себя дома, въ моемъ гаремѣ.»

По мановенію Могомеда, прислужницы разбѣжались. Эстрелла поблѣднѣла, глядѣла на всѣхъ странными глазами, какъ будто спрашивала: что это все значитъ, а Могамедъ любовался ея замѣшательствомъ.

— «Что, Эстрелла, тебѣ не нравится эта перемѣна? Да что дѣлать, я не обращаю вниманія на прихоти моихъ наложницъ!»

— «Наложницъ!» замирающимъ голосомъ спросила Эстрелла.

— «Ты убьешь ее!» сказалъ тихо Ахметъ.

— «Выдержитъ и не то еще!» отвѣчалъ Магомедъ, сверкая глазами: «А я, признаюсь, нахожу въ этомъ безсильномъ бѣшенствѣ женщины большое удовольствіе; оно возвышаетъ восторги, придаетъ остроту побѣдѣ... Видишь, я купилъ тебя у Юсуфа!»

— «Онъ продалъ свою Эстреллу!» закричала несчастная пронзительнымъ голосомъ, и упала безъ чувствъ на подушки...

— «Ты далеко зашелъ,» сказалъ Ахметъ: «можешь потерять ее навсегда. Все хорошо въ свое время!»

Могамедъ самъ перепугался и, схвативъ своего

друга за шею, сказалъ съ бѣшенствомъ: «Спаси ее, спаси! Городъ или твоя голова!» И одинъ пошелъ въ другіе покои. Долго прислушивался Ахметъ, куда направитъ путь свой дорогой его другъ. По всеобщему движенію, какое замѣтилъ въ гаремѣ, Ахметъ догадался, что Могамеда уже тамъ не было; нѣсколько женскихъ головокъ заглянули въ комнату Эстреллы и, примѣтивъ Ахмета, спрятались. Между тѣмъ Эстрелла пришла въ себя; возлѣ нея на самомъ ложѣ сидѣлъ Ахметъ, мрачный и угрюмый; онъ не утѣшалъ несчастной; онъ даже не глядѣлъ на нее; душа его ковала страшные замыслы. Чудовища проходили мимо очей его; ядовитыя слезы злобы и ревности просасывались изъ узкихъ глазъ его... Эстрелла схватила его за руку; онъ вздрогнулъ, но не смѣлъ взглянуть ей въ глаза.

— «Кто ты?» спросила она: «Зачѣмъ ты здѣсь?.. Что повелѣлъ тебѣ этотъ звѣрь?»

— «Эстрелла!» сказалъ Ахметъ угрюмо: «я другъ твоего мужа Юсуфа и слуга Сида гренадскаго Могамеда.»

— «Сида гренадскаго? Но развѣ нашъ добрый старикъ?»

Ахметъ не далъ кончить. Онъ разсказалъ ей всю правду, но такъ искусно приготовлялъ ее къ каждому событію, что у Эстреллы, не смотря на всю слабость и опасность положенія, достало и силъ и благоразумія выслушать Ахмета и не умереть.

— «Но утѣшься, Эстрелла!» такъ заключилъ Ахметъ: «Добродѣтели твоего супруга оставили на

сердцѣ моемъ печать глубокою. Я спасу тебя. Я исполню его волю... Теперь у насъ въ Альгамрѣ большая суматоха, никто не знаетъ своей должности; въ гаремѣ нѣтъ еще начальника; я назначу моего раба: онъ тебя уведетъ въ безопасное убѣжище... Оттуда мы какъ нибудь проведемъ тебя и въ Салобрену... Но можешь ли ты?»

— «На край свѣта!» сказала Эстрелла, почти вскочила съ постели и какъ будто спрашивала: куда же идти?..

— «Сохрани свои силы для вечера!» сказалъ Ахметъ и ушелъ, опустивъ голову и руки; какъ будто онъ шелъ на казнь; какъ будто мысль его была тяжелѣ головы.

— «Могамедъ!» сказалъ Ахметъ своему другу: «Она жива, она спасена, но еще одна неосторожность и ты навѣки потеряешь ее!

— «Но скоро ли минетъ это ужасное время?»

— «Охъ, Могамедъ, я боюсь за тебя и за Эстреллу. Много недѣль надо ждать; пока она въ Альгамрѣ, ты не будешь покоенъ; страсть измучитъ тебя; неосторожность убьетъ Эстреллу. Мой совѣтъ отправить ее въ Салобрену.»

— «Безумецъ!»

— «Прежде выслушай, а тогда уже порицай меня. Въ Салобрену! Именно въ Салобрену! Вся Гренада знаетъ уже о томъ, что ты удержалъ Эстреллу. Ты не исполнилъ торжественнаго обѣта. И Гренада волнуется, а мы еще не успѣли укрѣпиться ни на престолѣ, ни въ областяхъ нашихъ. Какое блистательное впечатлѣніе на всѣ умы! Мо-

гамедъ пожертвовалъ страстію, и какою страстію! для того только, чтобы исполнить обѣтъ. Понимаешь ли?

— «Но Эстрелла въ объятіяхъ Юсуфа!»

— «Такъ что жъ! Время ея не за-горами; послѣ родовъ она, по кастильскому обычаю, пролежитъ въ постелѣ шесть недѣль; въ первый день седьмой – она будетъ опять у тебя. Какой ударъ твоему брату! Какое наслажденіе въ такой разсчитанной мести!.. Одно ожиданіе такого подвига будетъ питать сердца наши высокою радостью. Не правда ли?

— «О, мудрый изъ мудрѣйшихъ; еще до ночи Эстрелла должна быть въ Салобренѣ!»

—

VI.

Качаясь въ легкихъ, воздушныхъ носилкахъ, Эстрелла глядѣла на роскошные сады, окружающіе Гренаду. Шесть всадниковъ провожали ее; путники миновали послѣднее предмѣстье и тихо ѣхали долиной. Эстрелла смотрѣла все вдаль, да вдаль; искала глазами веселыхъ башенъ Салобрены; она вѣрила, не извѣстно почему, что онѣ красивѣе красныхъ башенъ Альказабы и воздушныхъ сводовъ Альгамры; что тамъ воздухъ пріятнѣе, нежели въ садахъ Хенералифе; что вѣчное веселіе, даже свобода, обитаетъ въ этой темницѣ Юсуфа; спутники Эстреллы были гренадскіе рыцари не изъ простой стражи, а изъ благороднѣйшихъ фамилій; ихъ назначили для того, чтобы Гренада знала и

вѣдала о великодушномъ подвигѣ Могамеда. Оставалось пройти лѣсокъ, рѣчку, небольшую долину, еще лѣсокъ и — въ Салобренѣ! Но путники не успѣли подъѣхать къ первому лѣсу, какъ изъ высокой травы, покрывавшей опушку этой рощи, поднялась какая-то женщина. Рыцари невольно удержали коней своихъ. Женщина подавала имъ знаки молчанія и осторожности, и тихо передвигала ноги, какъ будто опасалась разбудить кого-то, и безпрестанно озиралась на лѣсъ... «Что бы это могло значить?» спросили путники другъ у друга. Женщина подошла, приподняла покрывало, приложивъ палецъ къ губамъ, и рыцари почтительно преклонились.

— «Куда вы?» спросила незнакомка.

— «Въ Салобрену; веземъ Сидъ Юсуфову супругу, донну Эстреллу...

— «Такъ и есть! Но вы туда не пріѣдете. И въ этомъ и въ томъ лѣсу васъ ожидаетъ туча волковъ альпухарскихъ. Ихъ нанялъ какой-то богатый вельможа и они уже болѣе трехъ часовъ стерегутъ свою добычу. Изгнанница, я не смѣю входить въ стѣны Альгамры, въ сады Гренады и Хенералифе; но воспоминанія меня увлекаютъ и я часто покидаю мое уединеніе, иду на прогулку и со слезами гляжу на великолѣпныя зданія, памятники прошедшаго счастія. И сегодня, на закатѣ солнца, я пошла любоваться, домомъ отца моего и чертогами моего блаженства; но эти люди удивили меня... «Могамедъ! Они стерегутъ еще одну жертву твоей злобы,» подумала я: «но силы мои

еще не истощились; я спасу несчастную жертву; нѣтъ сомнѣнія, что они ждутъ донны Эстреллы. Благородныя дѣти мои, не позвольте злодѣю утешиться тайнымъ подвигомъ своего коварства; окрестность мнѣ вполнѣ знакома; отвезите донну Эстреллу ко мнѣ; а разбойники пускай прождутъ до смерти; я знаю, что жизнь Могамеда не прочна; сохраните вашему законному Сиду Юсуфу жену и дитя! Будьте рыцарями!

— «Но,» сказалъ одинъ изъ рыцарей: «въ такомъ случаѣ мы должны сами бѣжать въ Африку. Насъ всѣхъ ожидаетъ смерть; наши жены, наши дѣти заплатятъ за наше великодушіе.»

— «А ужъ для спасенія любимѣйшей супруги Сида Юсуфа, вы не можете отложить въ сторону ваши рыцарскія правила и—употребить хитрость!»

— «Хитрость?»

— «И самую простую. Воротитесь! Скажите, какъ разбойники альпухарскіе отбили драгоцѣнныя носилки и съ носильщиками, сдѣлайте себѣ легкія раны, и пусть ищутъ донны Эстреллы по всему хребту горъ нашихъ, на снѣгахъ Сіерры Невады: люди страстные всему повѣрятъ.»

— «Быть по твоему!» сказали рыцари. «Веди насъ по твоей дорогѣ! Что будетъ, то будетъ. Такъ видно угодно Аллаху; такъ написано въ его книгахъ!»

—

VII.

Ахметъ-Бенъ-Харакъ сидѣлъ мрачный и печальный на богатомъ, одинокомъ ложѣ своемъ... Чер-

ные замыслы бродили, будто рай мухъ ядовитыхъ... Вся комната казалась наполняется удушливымъ дымомъ злобы, ревности и мести... Онъ прислушивался: не отпираютъ ли воротъ Эльвиры?... Но все было тихо въ Альгамрѣ; онъ смотрѣлъ, не горятъ ли условленные огни въ горахъ,—все было темно и покойно; терпѣніе его истощалось. Передъ самымъ утромъ въ открытое окно послышался стукъ копытъ; рыцари возвращались; всѣхъ ихъ позвали къ Ахмету...

— «Ну, что, благополучно ли?» спросилъ онъ, задыхаясь.

— «Очень благополучно!» отвѣчалъ одинъ изъ рыцарей съ оцарапаннымъ лицемъ. «Мы наткнулись на три стаи волковъ альпухарскихъ! Пока мы защищали донну Эстреллу, воры убили носильщиковъ, схватили носилки и убѣжали въ горы. Мы не могли ихъ преслѣдовать... Болѣе двухъ часовъ мы сражались съ разбойниками. Видно, имъ нужна была только донна Эстрелла, а насъ они и убить не хотѣли. Когда носилки исчезли изъ вида, разбойники разбѣжались. Намъ оставалось съ печалью и съ пустыми руками возвратиться въ Гренаду...»

Ахметъ-Бенъ-Харакъ противу ожиданія сталъ веселъ.

— «Друзья и товарищи! Не разглашайте объ этомъ событіи между народомъ. Объ немъ долженъ знать только Могамедъ, да я. За ваше молчаніе я васъ сдѣлаю алкаидами и визирями... Согласны?»

— «Ахметъ-Бенъ-Харакъ!» отвѣчалъ тотъ же рыцарь: «Ты великъ; могущество твое безмѣрно. Будь нашимъ покровителемъ и защитникомъ!...»

— «Но вы устали, друзья и товарищи Теперь не сонъ, а добрый пиръ кстати. И утро уже скоро вылезетъ изъ далекаго моря. Садитесь!..»

На другой день всѣ наши рыцари получили важныя придворныя мѣста въ Альгамрѣ... Король и Ахметъ ласкали ихъ, дарили, но никогда не спрашивали о донна Эстреллѣ. Прошло пять недѣль, исходила уже и шестая. Ахметъ приготовилъ богатый пиръ въ уединенной бесѣдѣ; гостей было не много,—самъ Могамедъ, да шесть нашихъ рыцарей... Могамедъ первый напомнилъ Ахмету о приближеніи срока; Ахметъ улыбнулся и сказалъ:

— «Взять изъ Салобрены жену у Юсуфа, значило бы взволновать Гренаду, но если бы онъ умеръ, тогда по закону всѣ его жены твои. Не правда ли?...»

— «Но обѣты мои?..»

— «Ты веди Гренаду на войну съ христіанами, а Юсуфъ захвораетъ и отправится въ рай Могамеда, когда ты будешь еще въ походѣ. Мы казнимъ за смерть его алкаида и народъ будетъ очень доволенъ... И мало этого, кто знаетъ судьбы войны? Всѣ мы смертны. Перстъ ангела смерти можетъ коснуться и тебя. Тогда дѣтей твоихъ изобьетъ Юсуфъ и возсядетъ на престолѣ Абенъ Гуда...»

Эта мысль глубоко уязвила сердце Могамеда. Вино еще болѣе убѣждало его въ истинѣ словъ Ахмета. Рыцари не соглашались съ мнѣніемъ Бенъ-

Харака, потому что никакія насмѣшки и наставленія не могли ихъ принудить, не только пить, но даже и отвѣдать вина. Могамедъ разгорячался. Страсть его къ Эстреллѣ росла...»

— «Не хочу похода!» кричалъ онъ: «Это только пустая отсрочка. Не хочу похода, хочу смерти брата: Къ чему эти медленныя отравы: не все ли одно — сегодня или завтра? Умеръ ли отъ болѣзни или отъ ножа? Вздоръ! Стѣны Салобрены выдадутъ тайну, когда мнѣ угодно, а Юсуфъ умретъ сегодня!»

Напрасно рыцари пали къ ногамъ Могамеда.

— «Берегите ваши головы,» отвѣчалъ онъ, протянувъ кубокъ къ Ахмету... «Но кто исполнитъ этотъ трудный подвигъ?

— «Самъ алкаидъ Салобрены; ты только подпиши вотъ это повелѣніе!» Ахмедъ подалъ бумагу; теплый зеленый воскъ полился струей на приговоръ смерти; перстень Магомеда впился въ воскъ и снова кубокъ потребовалъ вина...

— «Я возьму всю нашу дружину,» сказалъ Ахметъ: «и пойду будто на христіанъ; возьму съ собою и сыновей твоихъ; пусть говорятъ въ Гренадѣ, что ты пріучаешь ихъ къ битвамъ... Самъ буду свидѣтелемъ исполненія твоей воли; алкаидъ не посмѣетъ ослушаться, когда увидитъ передъ крѣпостью наше войско; а когда руки его обагрятся въ крови Юсуфа, тогда по неволѣ и самъ сохранитъ тайну и заставитъ молчать своихъ прислужниковъ...»

— «Мудрѣйшій изъ мудрыхъ!» сказалъ Мога-

медъ: «Не откладывай! Не правда ли, къ ночи я увижу ее?.. Ты пришлешь ее тайно въ Хенералифе. Вмѣстѣ съ тобою и съ дѣтьми я выйду изъ Гренады, будто въ походъ! Ты пойдешь на Салобрену, а я вотъ съ ними черезъ оливковую рощу поѣду въ Хенералифе; скажу, что мнѣ что-то не здоровится, что я только отдохну въ прохладѣ чуднаго зáмка и на другой день догоню тебя. Не правда ли?...»

Могамедъ смѣялся; просилъ вина, но Ахметъ не далъ и сказалъ:

— «Самъ Аллахъ внушаетъ тебѣ такія мысли, но если уже намъ ѣхать всѣмъ, такъ не пей; этотъ кувшинъ можно распить и съ нею. Испанки пьютъ вино; а если окончишь теперь, то не усидишь на конѣ. Лошадь чуетъ пьянаго.»

— «Мудрѣйшій изъ мудрыхъ! На коней!»

Видно, у Ахмета все было давно готово. Изумленная Гренада напутствовала Сида и рыцарей своихъ благословеніями. Толпы народа провожали ихъ до предмѣстій и долго смотрѣли на широкую долину, по которой рысью неслась рать гренадская.

—

VIII.

Задолго передъ тѣмъ, будетъ такъ на третій день послѣ возвращенія рыцарей, провожавшихъ Эстреллу, около Салобрены стали ѣздить сильные разъѣзды неизвѣстныхъ витязей. Безъименные щиты, простое вооруженіе, все это наводила на мудраго алкаида Зираха подозрѣнія и досаду... «Ну,

ужъ не я буду,» сказалъ Зирахъ спальнику Юсуфа, Закиру: «если я не переловлю этихъ веселыхъ рыбокъ, что́ ныряютъ въ морѣ нашей зелени; вчера, было, и палатку поставили противъ моего носа; я сталъ собираться изъ крѣпости, такъ тайно, что, казалось, и лѣвая рука моя не вѣдала, что за рукоять кинжала схватилась правая; отпираю заднюю калитку — ни витязей, ни палатки. Кто могъ подать имъ знакъ изъ крѣпости?..»

— «Сами догадались, Зирахъ, сами догадались. Знаешь, что я думаю?..»

— «Любопытно, Закиръ, что ты объ этомъ думаешь?»

— «Это — охотники, звѣрей ловятъ; около Салобрены всякіе есть!»

— «Вотъ я глупый старикъ! Мнѣ и не въ догадку. Такъ зачѣмъ же мнѣ за ними и гоняться?»

— «И конечно! Лучше позволь и намъ, твоимъ рабамъ, поохотиться. Право скучно...»

— «Почему же и нѣтъ! Только возьми же и моего старшаго сына. Пріучи его къ охотѣ. Сдѣлай милость наставь его всякой хитрости; молодой мальчикъ. Какой изъ него будетъ рыцарь, если всю жизнь просидитъ въ крѣпости? На охотѣ развернется!»

Поѣхалъ спальникъ Закиръ съ сыномъ Зираха. Только передъ отъѣздомъ Зирахъ далъ сыну тайное наставленіе... Закиръ съ товарищемъ исчезли изъ вида, а съ противной стороны опять безъименные гости. Зирахъ тотчасъ собралъ дружину; вышелъ въ тайную калитку; притаился за бой-

ницей; выждалъ удобное время и захватилъ двухъ гостей...»

— «Если Закиръ узнаетъ,» сказалъ алкаидъ своимъ воинамъ: «что мы дѣлали вылазку... Бѣда! Я отрѣжу языкъ виновному.»

Плѣнникамъ завязали глаза, повели къ допросу. При видѣ допросчиковъ, плѣнники повинились и безъ всякаго понужденія сказали всю правду. Стерегутъ они по всей долинѣ слѣдъ донны Эстреллы, потому что имъ не удалось захватить ее въ проѣздъ жены Юсуфа съ рыцарями, а Бенъ-Харакъ не вѣритъ, думаетъ, что они для себя ее спрятали, не платитъ денегъ, да еще грозитъ на нихъ походомъ.

— «Такъ гдѣ же донна Эстрелла?» спросилъ алкаидъ.

— «Ну ужъ этого ничѣмъ отъ насъ не выпытаешь. Если бы мы знали ея убѣжище, такъ не ѣздили бы подъ стѣнами Салобрены.»

— «Да зачѣмъ же вы тутъ ѣздили?»

— «Затѣмъ, что донна Эстрелла, вѣрно, захочетъ повидаться съ мужемъ.»

— «А я на что?»

— «Да ты вѣдь съ Ахметомъ не въ ладахъ; ты не любишь и Могамеда...»

— «Вотъ что! Значитъ, отъ меня хотятъ избавиться! Да будетъ воля Аллаха! — Если такъ, то лучше уже служить одному Юсуфу,» подумалъ Зирахъ: «Но скажите, друзья мои, какъ вы узнавали, когда мы собирались ловить васъ?»

— «Въ замкѣ твоемъ есть окно; оно всегда

заперто ставней, потому что противу него есть другое окно; если отопрешь ставню, свѣтъ сквозитъ черезъ всю башню и днемъ и ночью.»

— «А кто же отпиралъ и запиралъ ставню?»

— «Этого мы не знаемъ; о томъ вѣдаетъ одинъ Ахметъ Бенъ-Харакъ.»

— «Закиръ возвращается!» сказалъ кто-то въ другой комнатѣ. Плѣнники были отведены въ темницу; Зирахъ вышелъ на мощеный дворъ замка и встрѣтилъ сына и спальника съ веселой улыбкой...

— «Что, охотники?» спросилъ онъ: «Ни одного звѣря!»

— «Ни одного! Охотники всѣхъ распугали,» отвѣчалъ спальникъ: «А что Юсуфъ?...»

— «Споритъ съ Бенъ-Гаметомъ о томъ, какой стихъ приличенъ для надписи на гробницу лазутчика?»

— «Ну, я думаю, для того коранъ не годится.»

— «Конечно! Надо изъ свѣтскихъ писателей. Я помню одинъ стихъ весьма кстати къ этому случаю.»

— «Какой?»

— «Геенна уже въ клѣткѣ. Не укуситъ. Она вскрошитъ свои зубы на желѣзныхъ прутьяхъ тѣсной своей обители!»

Мудрый алкаидъ велъ вдругъ два разговора: одинъ съ Закиромъ — громкій, другой съ сыномъ — тайный, какъ-то на пальцахъ. Оба, казалось, имѣли связь между собою, потому что алкаидъ такъ сказалъ спальнику:

— «Хочу я повѣрить этотъ стихъ на опытѣ и

запереть тебя, Закиръ, въ клѣтку. Если ты умрешь въ ней, то ужъ надъ гробницею твоею я непремѣнно вырѣжу эту надпись мѣдными буквами. Возьмите, обыщите Закира!»

Рабы схватили раба; обыскали и нашли ядъ.

— «Кому назначенъ былъ этотъ подарокъ?» спросилъ Зирахъ.

— «Тебѣ, твоимъ дѣтямъ и еще двумъ друзьямъ Юсуфа!»

— «Такъ скушай его самъ, скушай! Не зачѣмъ было ѣздить на охоту, поставить моего сына на стражѣ звѣря въ темномъ лѣсу, а самому навѣщать Альгамру! Видно, прискучилось жить. Я не стану тебя удерживать на этомъ свѣтѣ. Скушай, скушай подарокъ Ахмета, а мы тебѣ дадимъ умереть покойно и похоронимъ весело...»

Несчастный Закиръ палъ въ ноги Зираху.

— «Хочешь жить? пожалуй, но на одномъ условіи. Скажи, гдѣ Эстрелла?..»

— «Мудрый Зирахъ! Она должна быть у вдовы покойнаго Сида, въ Лохѣ. Такъ полагаетъ Ахмедъ. И завтра отправитъ въ Лоху вѣрныхъ людей...»

— «Послушай, Закиръ! Извѣстія твои мнѣ пріятны; но не забудь, что этотъ ядъ назначенъ для тебя, и если ты меня обманываешь...»

— «Клянусь!»

— «Вотъ ужъ клятвы у тебя вовсе не просятъ! Оставь при себѣ только страхъ! Пусть онъ замѣнитъ тебѣ все то, что у тебя отнялъ твой коварный повелитель. Ведите его въ темницу!»

— «Сынъ мой!» сказалъ алкаидъ: «возьми сорокъ всадниковъ, поѣзжай въ Лоху и привези къ намъ мать и жену Сида; ступай!»

Али-Бенъ-Зирахъ уѣхалъ.

— «А ты, вторая радость моя, Альгамаръ, спѣши къ друзьямъ нашимъ въ Гренаду; проси ихъ, пусть, подъ видомъ похода, уйдутъ изъ столицы и сядутъ съ нами въ Салобренѣ. Жизнь Юсуфа въ опасности.»

Альгамаръ-Бенъ-Зирахъ уѣхалъ.

Алкаидъ пошелъ во дворецъ и распростерся на коврѣ передъ софою, на которой въ глубокой печали лежалъ Юсуфъ.

— «Что́ тебѣ надо?» какъ-будто черезъ сонъ спросилъ Юсуфъ.

— «Ничего. Ясное солнце мое, разгони тучи скорби и освѣти радостью дворецъ твой...»

— «Добрый старецъ! Дорого ты заплатишь за привязанность твою къ обреченному на смерть Юсуфу!»

— «Славная смерть краше мавзолея! Но кто разгадаетъ судьбу, властительницу міра? Нѣтъ, Сидъ Юсуфъ, и въ темницѣ ты не похожъ на жертву. Тайный голосъ зоветъ тебя на престолъ Абенъ-Гуда. Я слышу этотъ голосъ...»

Юсуфъ привсталъ.

— «Ахъ, добрый старецъ,» сказалъ онъ: «право, я никогда не желалъ престола; я молился только о долголѣтіи отца моего; клянусь, я ни раза не подумалъ о его смерти; о своей я размышлялъ не рѣдко и печалился только потому, что зналъ,

какъ она опечалитъ моего родителя. Признаюсь, я былъ радъ моей темницѣ, особенно когда увидѣлъ, что все и всѣ, любимые люди и предметы, шли раздѣлять со мной заключеніе. Мечтамъ моимъ представилось полное блаженство. Я хотѣлъ даже написать брату грамату, отказаться отъ всѣхъ правъ и за себя и за дѣтей, и жить въ Салобренѣ, какъ въ земномъ раю... Но... я не нашелъ моей Эстреллы...»

— «Одно могу тебѣ сказать, Сидъ Юсуфъ, въ утѣшеніе. Эстреллы нѣтъ и во всѣхъ трехъ замкахъ Гренады; она ушла; ее ищутъ по всему королевству; я послалъ моего сына также искать Эстреллу... Станемъ гадать, Сидъ Юсуфъ: кто ее прежде отыщетъ!..»

— «Такъ она свободна, Зирахъ? Эстрелла свободна?»

— «Я сказалъ тебѣ все, что знаю. Станемъ гадать! Шахматы не разъ мнѣ говорили правду.»

— «Да какъ же это гадать на шахматахъ?»

— «А вотъ какъ, Сидъ Юсуфъ! Бѣлые и красные шахматы... Пусть кто-нибудь третій задумаетъ бѣлый или красный цвѣтъ, и запишетъ. Потомъ мы и станемъ играть каждый за себя. Какой цвѣтъ выиграетъ? Задуманный — Эстрелла наша, другой цвѣтъ — Эстрелла въ рукахъ твоего брата; розыгрышъ — она на свободѣ.»

— «А кто же будетъ посредникомъ?»

— «Кто-нибудь. Да вотъ Бенъ Гаметъ!»

Бенъ Гаметъ загадалъ, записалъ и сѣлъ возлѣ Юсуфа. Долго шла партія. Зирахъ получилъ въ

игрѣ важный перевѣсъ. Бенъ Гаметъ сталъ вздыхать. Юсуфъ растерялся. Зирахъ смѣшалъ шахматы.

— «Такъ нельзя!» сказалъ алкаидъ: «такъ и ребенокъ догадается, какой цвѣтъ... Записывай снова и молчи, Бенъ Гаметъ! Можешь на досугѣ стихи складывать; да вотъ тебѣ и задача: наша игра!..»

Снова начали. Игра не длилась, а тянулась какъ рѣка; конца не было. Бенъ Гаметъ сложилъ шесть превосходныхъ стихотвореній на одну и ту же задачу. Заслушался Юсуфъ и хотѣлъ неправильно подвинуть пѣшку; но Гаметъ схватилъ его за руку и закричалъ: «Не такъ, не такъ!» Зирахъ опять смѣшалъ шахматы, позвалъ раба, велѣлъ ему на удачу записать одинъ цвѣтъ, спряталъ, не посмотрѣвъ, бумажку за поясъ, выгналъ раба и началъ игру снова. Нѣсколько разъ вставали игроки отъ этой партіи; обѣдали, ужинали, ложились спать, вставали, обѣдали, ужинали, еще разъ легли, но имъ что-то не спалось, тѣмъ болѣе, что съ Альгамаромъ пріѣхали гости изъ Гренады, тайные гости. Ихъ было не много — девять или десять человѣкъ, но всѣ были знаменитые рыцари, ужасъ Кастильцевъ. Веселіе непримѣтно водворилось въ небольшомъ дворцѣ Салобрены. Алкаидъ душевно восхищался выдумкой; не смотря на всю бдительность Юсуфа, посмотрѣлъ, что написано на бумажкѣ, сдѣлалъ ложный ходъ, бился объ закладъ съ гостьми, что еще выиграетъ. Длилъ игру сколько могъ. Но уже слишкомъ было поздно; онъ

боялся за здоровье Юсуфа. Игра пошла живѣе. «Шахъ и матъ!» сказалъ Юсуфъ съ трепетомъ. «Посмотри, Зирахъ, посмотри...» Но нечего было смотрѣть. Отпирали уже ворота. Гаданье въ этотъ разъ не обмануло. Мать и жена упали въ объятія Юсуфа, а Зирахъ не сводилъ глазъ съ вѣщей бумажки и казался изумленнымъ удивительными послѣдствіями гаданія.

—

IX.

— «Кого привезли въ Солобрену?» спрашивали мелкіе слуги. «Новыхъ узниковъ изъ Гренады!» и дѣло съ концемъ. Въ Лохѣ спрашивали: «Куда уѣхала вдова Сида?» — «Въ Севилью, къ христіанамъ, спаслась мать Сида отъ преслѣдованій Могамеда,» и дѣло съ концемъ. Объ Эстреллѣ и рѣчи не было. Могамедъ ничего не зналъ, но все зналъ пронырливый Ахметъ; можетъ-быть, и не зналъ, а догадывался. Много было и посланцевъ отъ Могамеда въ Салобрену; но хитрый алкаидъ умѣлъ такъ искусно скрывать Эстреллу, что и въ умъ никому не приходило, что она въ Салобренѣ, да еще и не одна, а съ матерью Юсуфа и Могамеда, да еще съ груднымъ младенцемъ, Ель Галакомъ. Счастіе Юсуфа описать невозможно; онъ безпрестанно исчезалъ въ тайные покои; цѣловалъ ребенка, обливалъ благородными слезами ноги донны Эстреллы и руки матери.

Было уже поздно. Эстрелла уже выходила въ другіе покои дворца Салобрены; опять расцвѣла

прежнею красотою; гости гренадскіе не уѣзжали. Алкаидъ, несмотря на всѣ увѣренія дружбы и довѣренности Могамеда и къ нему и къ Юсуфу, не вѣрилъ испытанному злодѣю, и неотпускалъ рыцарей. Сидѣли они всѣ въ этотъ вечеръ въ главной залѣ дворца. Юсуфъ игралъ въ шахматы съ алкаидомъ; гости занимались тѣмъ же между собою; донна Эстрелла и мать Сида попеременно старались усыпить неугомоннаго Галака. Ребенокъ плакалъ безъ причины, неутомимо.

— «Что́ съ нимъ сдѣлалось сегодня?» спросилъ Зирахъ.

— «Видно, онъ предчувствуетъ бѣду,» сказалъ Юсуфъ: «Счастіе не можетъ быть такъ постоянно. Я и самъ незнаю, почему безпрестанно поглядываю на дорогу въ Гренаду. Чего-то жду оттуда...»

— «И, конечно, недобраго!» замѣтилъ Зирахъ съ улыбкой: «Я никогда не хвастаю; но, Юсуфъ, согласись, мы съ тобою люди добрые, если не добродѣтельные. Я философъ и невѣрю нашему предназначенію. Знаю, увѣренъ, что мы заслуживаемъ судьбу нашу не у властей земныхъ, а у неба. Меня никто не переувѣритъ, что ты не будешь властителемъ, а я алкаидомъ Гренады, первымъ твоимъ визиремъ, первымъ твоимъ сановникомъ. Смѣйся, Сидъ Юсуфъ, смѣйся, а я вчера гадалъ объ этомъ съ сыномъ моимъ. Али́ еще очень плохъ въ эту игру, а побѣдилъ меня, потому что долженъ былъ побѣдить цвѣтъ красный.»

— «Забавное доказательство!»

— «Погадаемъ, Юсуфъ, вѣдь попутить можно!»

— «Отъ чего же не попутить? Погадаемъ, а цвѣтъ побѣды пусть запишетъ Эстрелла...»

— «Пусть выберетъ Галакъ...» сказала Эстрелла, схватила въ горсть шахматы и подала ихъ еще ничего непонимающему ребенку. Галакъ схватился за бѣлаго короля. Эстрелла вырвала у дитяти игрушку, чтобы не видали игроки; отдала имъ шахматы, и шепнула что-то матери. Игра началась. Опытный алкаидъ искусно напалъ на своего противника.

— «Какое тутъ предназначеніе!» сказала Эстрелла тихо матери: «Искуство алкаида всегда побѣдитъ!»

Мать вздохнула. Алкаидъ, получивъ въ игрѣ рѣшительный перевѣсъ, сталъ подтрунивать надъ противникомъ и, видя, что Сидъ Юсуфъ думаетъ, обратился къ гостямъ своимъ:

— «Сколько недѣль прошло, а добрые наши рыцари, Сафиръ-Абу-Абдала, Исмаилъ-Абу-Гегіягъ, и другіе, не посѣтили Салобрены.»

— «Съ-тѣхъ-поръ, какъ они провожали донну Эстреллу, мы уже непользовались ихъ пріятною бесѣдою. Ихъ заперли въ Альгамрѣ; дали имъ почетныя мѣста, обременили трудомъ и заботами...»

— «Не понятенъ для меня этотъ Ахметъ,» сказалъ Зирахъ: «Они спасли донну Эстреллу, а Бенъ Харакъ вознесъ и возвеличилъ враговъ своихъ!

— «Такъ всегда поступалъ Ахметъ-Бенъ-Харакъ,» скалъ Ахметъ, входя въ комнату. Невѣдомый ужасъ оковалъ глаза и руки игроковъ.

Женщины не успѣли спрятаться. Нѣсколько мгновеній продолжалась безмолвная картина. Ахметъ пожиралъ глазами собесѣдниковъ. Но взоры его вспыхнули пламенемъ, когда онъ увидѣлъ донну Эстреллу. Радость его была безмѣрна! Онъ дрожалъ, зеленѣлъ, слезы лились изъ узкихъ глазъ. Все существо его выражало какую-то торжественность. Какъ побѣдитель, онъ медленно подошелъ къ Зираху и подалъ роковую бумагу. Алкаидъ поцѣловалъ печать, приложилъ ее къ челу, прочелъ, затрясся, и почти упалъ на малиновыя подушки, шитыя золотомъ.

— «Что тамъ такое?» спросилъ Сидъ Юсуфъ: «Видно, ожиданія мои и крикъ Галана меня не обманули.» Изъ дрожащихъ рукъ Зираха онъ взялъ бумагу и прочелъ слѣдующее: «Алкаидъ Салобрены, рабъ мой! Какъ только начальникъ стражи моей Ахметъ-Бенъ-Харакъ передастъ тебѣ это письмо, ты лишишь жизни Сидъ Юсуфа, моего брата, и вмѣстѣ съ Ахметомъ пришлешь его голову. Полагаюсь на твое усердіе!» Общій крикъ раздался въ залѣ. Но Юсуфъ, нимало не измѣнясь въ лицѣ, отдалъ алкаиду письмо и сказалъ твердымъ голосомъ: «Зирахъ, исполни волю Магомеда!» Вся бодрость духа алкаида воскресла. «Я? кричалъ онъ: «я долженъ исполнить волю злодѣя, похитителя твоего престола? Нѣтъ, этого не будетъ!»

— «Не будетъ!» закричали гости.

— «Не будетъ!» повторили женщины.

— «Сопротивленіе—напрасно!» сказалъ Ахметъ,

указывая въ окно. «На той долинѣ всѣ силы Гренады! Если я невозвращусь къ войску, Салобрена будетъ разрушена.»

— «Разрушайте себѣ Салобрену, но недѣлайте изъ меня преступника!» сказалъ Зирахъ.

— «Полно, алкаидъ!» перебилъ Юсуфъ: «Что такое наша жизнь? Игра въ шахматы. Раньше или позже, а все доиграешься до мата. Я готовъ умереть.»

— «И я!» закричала Эстрелла.

— «И я!» повторила мать.

— «Согласенъ,» сказалъ Юсуфъ: «безъ шутокъ согласенъ. Я сначала убью васъ, а потомъ протяну свою голову; но Ахметъ-Бенъ-Харакъ, позволь проститься съ женами и дѣтьми. Безчестно уйти съ этого свѣта, знать, что уходишь, и не оставить имъ даже благословенія.»

— «Нельзя!» отвѣчалъ Ахметъ.

— «Я предвидѣлъ твой отказъ. Я убѣжденъ, что если бы я попросилъ окончить мою игру, ты и въ этомъ бы отказалъ мнѣ.»

— «О, нѣтъ! Что̀ мнѣ незапрещено, то и я тебѣ могу позволить. Оканчивай! Я полюбуюсь вашимъ искуствомъ.»

— «Кажется, мнѣ ходить?» спросилъ Юсуфъ покойно.

— «Тебѣ! тебѣ!» отвѣчалъ обрадованный алкаидъ. Ему казалось, что въ шахматахъ заключено все доброе, всѣ пути къ спасенію; но не смотря на это мгновенное утѣшеніе, онъ уже не могъ хорошо соображать своихъ ходовъ; какъ ни

медлилъ, а все ошибался. Юсуфъ къ общему изумленію спѣшилъ пользоваться его ошибками; и, къ особенному удовольствію Ахмета, закричалъ торжественно: «Шахъ и матъ!» Не успѣлъ Ахметъ встать отъ стола и отодвинуть табурета, какъ въ раскрытыя окна дворца, будто въ отвѣтъ на роковое слово, вѣтеръ принесъ громкіе крики всего гренадскаго войска; не трудно было разобрать, что кричатъ: «да здравствуетъ, Сидъ Юсуфъ, Абу Юсуфъ, повелитель Гренады!!»

— «Измѣна!» закричалъ Ахметъ и кинжалъ блеснулъ въ его рукахъ, но гости и алкаидъ обезоружили Ахмета. Въ то же мгновеніе вошелъ въ комнату Сафиръ Абду-Абдала одинъ изъ проводниковъ донны Эстреллы, бросился передъ Юсуфомъ на колѣни и поцѣловалъ его руку. Никто не могъ опомниться отъ такого неожиданнаго переворота. Хотя пріятному всѣ вѣрятъ, но въ этомъ случаѣ и вѣры не хватало. Крики между тѣмъ возрастали около Салобрены. Еще пріѣхали гости изъ Гренады, то были Исмаилъ-Абу-Гегіагъ, остальные проводники донны Эстреллы и толпы народа съ факелами и благословеніями. Алкаидъ велѣлъ растворить всѣ ворота Салобрены; замокъ не могъ вмѣстить и десятой доли посѣтителей, всѣ толпились поклониться новому властителю. Всѣ радовались, поздравляли другъ друга. Только одинъ Юсуфъ былъ печаленъ. «Какъ умеръ несчастный братъ мой?» спросилъ онъ съ грустію.

— «Мы знали,» отвѣчалъ Измаилъ: «объ ужасномъ замыслѣ Ахмета, но не могли и подозрѣ-

вать въ немъ такой обширности. Онъ опоилъ брата твоего крѣпкою отравой; на пути уже въ Хенералифе, Могамедъ сталъ жаловаться; но, по условію, мы не должны были вѣрить его недугу. Къ ужасу нашему въ Хенералифе страданія его возрасли; смерть выглянула изъ очей его; мы поспѣшили послать къ тебѣ Сафира; но отрава была слишкомъ быстра. Могамедъ не сказалъ и десяти несвязныхъ словъ, и въ рукахъ нашихъ остался черный трупъ твоего брата. Не за одного тебя боялись мы. Обоихъ сыновей Сидъ Могамеда — Ахметъ взялъ съ собою.»

— «Гдѣ дѣти брата моего?» закричалъ Сидъ Юсуфъ грозно, въ самое то время, когда гренадскіе рыцари вносили на щитахъ двухъ прелестныхъ мальчиковъ и кричали: «Дорогу, дорогу Сидамъ сиротамъ!!»

— «Я имъ буду отцемъ!» сказалъ Юсуфъ со слезами: «а тебѣ, Ахметъ, строгимъ судьею. Кто подвинулъ тебя на такое множество преступленій?»

— «Донна Эстрелла!» глухо простоналъ Ахметъ и упалъ на землю. Странныя корчи и судороги стали ломать преступника, — видъ, недостойный очей добраго Юсуфа. Ахмета унесли въ темницу. Аллахъ не дозволилъ людямъ казнить этого злодѣя. Небесная кара низошла на него. Шесть недѣль, денно и ночно, мучился Ахметъ невиданнымъ недугомъ, и въ первый день седьмой испустилъ духъ на рукахъ вѣрнаго раба своего, Закира.

Какъ только унесли Ахмета изъ залы, алкандъ велѣлъ выгрузить всѣ погреба свои и амбары; въ одну ночь истощены были всѣ запасы Салобрены. Сталъ пиръ, если не на весь міръ, то ужъ по крайней мѣрѣ на всю Гренаду. Между хлопотъ хозяйскихъ, алкандъ не забылъ подбѣжать къ Эстреллѣ и спросить: «А какой былъ задуманный цвѣтъ шахматъ?» — «Бѣлый,» отвѣчала Эстрелла, и добрый Зирахъ бѣгалъ по всему замку и разсказывалъ всѣмъ и каждому, что бѣлый цвѣтъ есть символъ чистоты; что предназначенія на этомъ свѣтѣ нѣтъ, а есть правосудіе небесное; что добродѣтель всегда награждена, а порокъ наказанъ, и я для сей подлинной, исторической повѣсти моей, почерпнутой изъ вѣрныхъ источниковъ, право, не могу прибрать лучшаго конца и нравоученія. Спасибо Зираху, что онъ въ самомъ затруднительномъ мѣстѣ выручилъ неопытное перо своего историка.

ЗАКЛАДЪ.

—

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

«Я здѣсь. Я на мѣстѣ. Поль разбираетъ вещи, укладываетъ ихъ на стульяхъ моего нумера, въ которомъ все въ отличномъ порядкѣ. Во-первыхъ столъ, на которомъ перочиннымъ ножикомъ вырѣзано нѣсколько именъ: Иванъ Ивановичъ Колечковскій, А. Д. С.; тутъ же: «о Измѣнщица,» и тому подобное, и того хуже; *во-вторыхъ:* постель, недоконченное произведеніе столярнаго художника; должность двухъ ножекъ исправляетъ скамѣйка, на которой покоится ящикъ кровати; а самая постель покрыта ситцевымъ одѣяломъ пьюсоваго цвѣта. Что подъ нимъ скрывается, не вѣдаю; надъ постелью висятъ занавѣски дымнаго существа и цвѣта... Есть и софа, или такъ называемый голландскій диванъ, безъ пружинъ, нѣчто въ родѣ одра добровольныхъ тружениковъ. — Стулья всѣ или безъ ногъ, или безъ переплета въ сидѣньи... Словомъ квартира богатая; бумага у меня была съ собой, но за чернильницей и перомъ бѣгали, кажется, въ почтовую контору; чернильница съ нарочитымъ *ущербомъ*, а перья квачи, хоть колеса мазать; но я далъ слово писать; плачу и пишу.»

«Что-то Богъ дастъ? А закладъ, братъ, выиграю. Завтра же разряжусь въ пухъ и отправлюсь къ губернатору, предводителю и т. д. Приготовляй денежки и шампанское. До свиданія!

Твой Евгеній.»

II.

«Губернаторъ принялъ меня очень милостиво; обласкалъ и просилъ обѣдать. Предводитель тоже, т. е. обласкалъ и просилъ обѣдать. Помѣщикъ Иколочкинъ, здѣшняя знаменитость и знатность — тоже, т. е. обласкалъ и просилъ обѣдать. Что за хлѣбосольная сторонка, что за гостепріимная провинція! Жаль, что отпускъ на 28 дней, а то бы я тутъ прообѣдалъ круглый годъ. Но не въ томъ сила, а закладецъ, любезный, идетъ на ладъ; за обѣдомъ у губернатора я завелъ искусно рѣчь о женихахъ и невѣстахъ; нашлись добрые люди, всѣхъ пересчитали; при этомъ были и фельетонныя статейки; о красотѣ, приданомъ и прочее. Отличныя надежды, но во всякомъ случаѣ готовь денежки и шампанское. Всего-то три недѣли съ небольшимъ срока. Прощай пока, ѣду на вечеръ къ Иколочкину.

Твой Евгеній.»

III.

«Еще рано. Я сильно взволнованъ. Жалѣю, что такъ неосторожно пошутилъ и готовъ бы отказаться отъ заклада. Вечеръ былъ на славу: все губернское общество было въ сборѣ. Предводительша предводила дамами. Что за женщина! Роскошь и очарованіе! Красота странно дѣйствуетъ

на человѣка: это магнитная сила, но въ грубомъ и колоссальномъ видѣ; увидать пышную красавицу для меня все равно, что ступить на магнитную скалу. Но когда эта красавица при томъ еще обладаетъ талантами, блестящимъ умомъ, красной рѣчью, когда умѣетъ все это освѣтить улыбкой истати, отуманить умѣстною задумчивостію,—тогда вліяніе женщины подобно—я ужъ не знаю чему? хребту магнитныхъ горъ... Чудо, не предводительша! Ростомъ съ тебя, талія стройная, бѣлизны необычайной, но не блѣдная красавица нашихъ мѣстъ, гдѣ танцы до утра выбьютъ изъ дѣвушки и замужней всякую жизнь и потянутъ желтизной миловидное личико. Нѣтъ,—предводительша полный, но нѣжный цвѣтокъ. Глазки, губки, или лучше сказать глаза, губы — какъ у Семирамиды, потому что Семирамида, по всѣмъ вѣроятіямъ, была цѣлой головой выше всѣхъ женщинъ и двумя вершками пространнѣе въ объемѣ. Это истина историческая. Объ этомъ спорить нечего. И представь, ко всему этому, она еще и называется: Клеопатра Кириловна. Вотъ Кириловна-то не совсѣмъ хорошо, но при Клеопатрѣ этотъ ничтожный недостатокъ совершенно исчезаетъ... Я былъ столько счастливъ, что Клеопатра обратила на меня тотчасъ свое вниманіе.

— «Давно ли вы изъ Питера?» спросила она голосомъ, подобнымъ сочетанію тысячи сладкогласныхъ арфъ, потому что у нея густой контральтъ.

— «Забылъ...» отвѣчалъ я, пожирая предводи-

тельну взорами. И представъ себѣ остроуміе этой женщины. Она тотчасъ смѣкнула, на что я намѣкаю. Она опустила глаза и сказала...

— «Такъ постарайтесь вспомнить!»

Тутъ и пошелъ разговоръ. Музыканты проиграли начало контрданса, но никто не смѣлъ начинать, потому что предводительша разговаривала со мною, а я.. О, да это, просто, чудо, не женщина! Какой умъ, какое воспитаніе, сколько знаній: и о музыкѣ, и о театрѣ, и о картинахъ... Колдовство, колдовство! Натурально, я танцовалъ только съ ней; въ мазуркѣ мы до того заговаривались, что пропускали очередь; за ужиномъ я служилъ Клеопатрѣ... Словомъ — я влюбленъ по уши. Жоржъ! Сжалься надъ моимъ положеніемъ! Разойдемся!

Твой Евгеній.»

IV.

«Я былъ у нея съ визитомъ. Она меня приняла въ утреннемъ костюмѣ, который до того возвышалъ красоту ея, что, право, ей Богу, это египетская Клеопатра. Зачѣмъ я Евгеній, а не Антоній! И что же въ этомъ во всемъ толку! Она замужняя женщина, она принадлежитъ другому, богачу, который сидитъ дома съ своей подагрой и раскладываетъ гранъ-пасьянсъ, съ утра до вечера, въ своемъ кабинетѣ, куда допускается только одинъ секретарь. Само собою разумѣется, что секретарь и жена утверждаютъ будто Илья Ильичъ по уши въ дѣлахъ, а онъ мнетъ старыя карты. Несчастная! И она осуждена скучать иногда по

недѣлямъ, въ особенности, когда дурная погода. Она мнѣ жаловалась на скуку и, кажется, намѣкала, чтобы я постарался разогнать эту скуку. Но, знаешь, такъ, издали, чуть-чуть, едва было можно догадаться. Надо имѣть мою смѣтку, чтобы понять такую тонкую женщину... Напримѣръ, она посидѣла со мной съ четверть часа, поговорила, полюбезничала и встала. Умно! Ужасно умно! Я могъ засидѣться въ первый визитъ, а это было бы и неблаговидно и неразсчетливо. Я откланялся и ушелъ. Жоржъ! Что же ты не пишешь? Согласенъ ты бросить нашъ закладъ, или нѣтъ? Ожидаю скораго и рѣшительнаго отвѣта...

Твой Евгеній.»

—

«P. S. У меня есть соперникъ! Я открылъ его сегодня! Ревность! О я теперь понимаю и эту адскую страсть, которая прежде казалась мнѣ вымысломъ поэтовъ... Написавъ письмо къ тебѣ, я пошелъ прогуляться по городу вмѣстѣ съ моей Клеопатрой (въ умѣ). Забрелъ я очень далеко, попалъ въ какой-то садъ; наткнулся на оранжерею, и представь, Жоржъ, я нашелъ тамъ человѣка среднихъ лѣтъ, довольно пріятной наружности, порядочно одѣтаго; онъ кричалъ на садовника во все горло: «Проворнѣе, проворнѣе поворачивайся! Клеопатра Кириловна только и ждетъ букета! Карета давно у крыльца... Я обѣщалъ доставить въ три мига. Ну, спасибо! За мной! Послѣ расплачусь...» И бѣгомъ, злодѣй, бросился изъ сада; я

за нимъ — не куда! Онъ бежалъ, какъ гончая; на поворотѣ въ одну изъ улицъ я встрѣтилъ карету; тамъ сидѣла Клеопатра, въ рукахъ — букетъ! О я узналъ букетъ, узнаю и соперника. Возвращаюсь въ оранжерею, ищу садовника. Послушай, говорю ему, хочешь денегъ? — Онъ глупо посмотрѣлъ на меня. Хочешь денегъ? Но ты долженъ сказать, кто былъ сейчасъ здѣсь, кто купилъ у тебя букетъ?..

— «Мало ли кто сегодня покупалъ букеты! Сегодня на хуторѣ у Ермолаевскихъ бенкетъ...»

— «Кто послѣдній?»

— «Послѣдній Ордыночкинъ былъ, тоже съ хутора, только съ другаго. Онъ часто закупаетъ; видно — волочится за барышней какой...»

— «За барышней!» проворчалъ я сквозь зубы, сунулъ садовнику полтинникъ и представь мою дерзость! Я досталъ извощика и ѣду на хуторъ, на бенкетъ. Вотъ только не хочу пропустить почты... Запечатаю письмо и ѣду...»

V.

«Милостивая государыня

Наталья Клементьевна!

«Токмо нынче по благополучномъ нашемъ прибытіи въ этотъ городъ, могу я изъявленіемъ моего почитанія и душевной преданности къ Вамъ и всѣмъ вашимъ принести нѣкоторое поздравленіе, здравія желаніе, а также на враговъ поспѣшенія, почитая за пріятный долгъ увѣдомленіемъ о себѣ не оставлять васъ безъ моего почтеннаго вниманія, въ глубочайшемъ ожиданіи осмѣливаю себя

ласкать тѣмъ, чтобы надѣяться, что и вы пришлете ко мнѣ отъ васъ корреспонденцію въ деликатныхъ комплементахъ, какъ всегда изволите на кухнѣ, или въ дѣвичьей, какъ прилучится, сопровождать мое присутствіе. Баринъ мой Его Высокоблагородіе Евгеній Сергѣичъ воспламенѣлъ такимъ сильнымъ сердечнымъ чувствованіемъ и такою уморительною любовью, что я чувствую себя въ большой опасности, чтобы головѣ и душѣ ущербъ не приключился, до того что и на счетъ свой не совсѣмъ покойно разсуждаю, для того, что въ азартѣ бросаетъ около меня руками, не употребляя разбирательства, что невзначай и по физгономіи задѣть можно. Сегодня нанялъ онъ парныя дрожки на хуторъ, гдѣ вѣроятельно будетъ театръ представляться, потому что баринъ, Его Высокоблагородіе Евгеній Сергѣичъ, все толковалъ промежъ себя о букетѣ. Видно, какая актерка его за живое уцѣпилась, чего съ большимъ недоумѣніемъ боюсь, потому что и въ суммахъ нашего содержанія произойдетъ большой непорядокъ, а я буду по части бѣганья и хожденія, обремененъ лишними занятіями. О знакомствахъ моихъ считаю себя въ крайней обязанности почтить васъ нижайшимъ увѣдомленіемъ, что женскихъ дамъ никакихъ не вижу, и не встрѣчаю, и если изъ нумера которая имѣетъ по коридору ходъ, я сейчасъ укрываюсь за двери, или ухожу въ буфетъ, куда дамамъ нѣтъ никаного позволеннаго хода. По части же мужскаго пола, я имѣлъ честь заключить знакомство съ Ермолаемъ Никитичемъ, кармендинеромъ его

благородія Льва Кирилыча Полковавчикова, который тутъ по части службы лошадей добропорядочныхъ большими деньгами покупаетъ и къ томужъ у здѣшнихъ дамъ служебныхъ и отставныхъ въ большомъ высокопочитаніи, и говорятъ на счетъ такъ сказать любви, имѣетъ съ ними аккуратныя дѣла и весьма фамильарное поведеніе. Ермолай Никитичъ отъ того не безъ доходнаго положенія и, по дружеской комнѣ любви, — вчера сказывалъ, что Льва Кириловича сама предводительша больно жалуетъ и что его благородіе съ позволенія сказать, оплошалъ, потому что имѣя такой случай и репутацію, за Авдотьей Семеновной пристрастное хожденіе имѣетъ, больше потому, что Авдотья Семеновна, вдовствующая помѣщица, имѣетъ большіе движимые и недвижимые капиталы и другія суммы, и къ томужъ съ большою красотою и приданымъ... Ермолай Никитичъ стоитъ за предводительшу, и барину своему объ ней всякія пріятныя вѣсти рапортуетъ, но послѣ неблагороднаго съ нимъ обхожденія съ рукоприкладствомъ, похвалы свои передаетъ мнѣ, для того, какъ говоритъ, что не любитъ брать денегъ даромъ. Находясь въ опасной мысли, чтобы его высокоблагородіе не вернулся и станетъ браниться, зачѣмъ я его бумагу беру и его перомъ пишу, потому что онъ изо всякой дряни и себя и меня огорчаетъ, я долженъ окончаніе написать и поручить себя истинному моему почтенію и самой отличной преданности, съ чѣмъ вѣчнымъ вашимъ протекторомъ и обожателемъ и слугой пребуду, до скончатья вѣка и живота моего, попробъ моей

жизни, до самой могилы; чего и вамъ желаю милостивая государыня, покорнѣйшій вашъ слуга, Павелъ.»

VI.

«Леночка! Что ты это право такая неаккуратная! Вотъ уже больше недѣли, какъ я отослала подводы, и наказала, чтобы привезли сюда весь мой гардеробъ, а вы, я не знаю, что тамъ всѣ дѣлаете. Кажется, васъ тамъ довольно. Мавруша, что за тобой ходитъ, Кулина, Палашка, Домна, Фринка, мало ли васъ тамъ? Вѣдь я съ собой только трехъ дѣвокъ взяла, а время лѣтнее, мало имъ тутъ мытья, шитья? Такъ, пожалуйста, мой другъ Леночка, соберись-ка попроворнѣе и, если хочешь, сама пріѣзжай. Чудо не ярмарка. Офицерства пропасть, а одинъ чуть-чуть не гвардеецъ; штатскихъ также довольно; изъ Петербурга есть одинъ, хорошенькій; въ чинѣ; да предводительша мнѣ мститъ за Левушку и петербургскаго за уши держитъ; а ужъ Левушка какой несносный; выдумалъ, что я непремѣнно должна любить.

— «А зачѣмъ? позвольте васъ спросить.»

— «Да какъ же можно, того, не любить. Такъ ужъ человѣкъ сдѣланъ. Плетью обуха не перешибешь. Каждому такъ на роду написано.»

— «Ну, видно, какъ писали, такъ про меня позабыли.»

— «Нѣтъ, ужъ этого никакъ не можетъ быть; и я ужъ если куплю лихую лошадь, такъ будь ихъ тамъ пятьсотъ, про нее не забуду.»

— «Самъ ты лошадь,» подумала я и отошла.

«Леночка, не забудь въ нижнемъ ящикѣ моей туалетки, есть аршинъ сто валансіенскихъ кружевъ, что мнѣ тетушка за настоящія украдкой привезла. Захвати съ собою, душа моя! Тутъ никто не догадается. Ахнутъ, какъ я покажусь въ кружевной мантильѣ. Для лѣтняго времени и легко и нарядно.»

«А онъ не отсталъ таки, все за мной да за мной.

— «Что вы меня сегодня преслѣдуете?» говорю я ему.

— «Вы магнитъ...»

— «А вы желѣзо.»

— «Истинно такъ, Авдотья Семеновна. Настоящій магнитъ, и тянете и отталкиваете.»

— «Да жаль, что силы мало.»

— «Нѣтъ-съ, ужасная сила! Право, Авдотья Семеновна, не будьте жестоки! Что вамъ за охота притворяться!»

— «Левъ Кирилычъ, не будьте жестоки! Отстаньте отъ меня! Развѣ вы не видите, что другіе по васъ вздыхаютъ?»

— «Пусть страдаютъ...»

— «Это ужъ старо, Левъ Кирилычъ; вы бы выдумали что нибудь поновѣе.»

— «Извольте, только дайте подумать...»

— «Такъ думайте же, а пока я васъ оставлю, чтобы вамъ покойнѣе было думать...»

«Вотъ, другъ мой, Леночка! Что я съ этимъ злодѣемъ стану дѣлать? Я навѣрно знаю, что онъ совсѣмъ собрался на мнѣ жениться; даже не секретничаетъ. Клеопатра Кириловна плачетъ, злится.

Другія на меня дуются, а я вотъ сейчасъ бы его подарила и въ придачу лучшаго коня съ моей конюшни. Что онъ за мужъ? Какой у него чинъ? Гдѣ я съ нимъ покажусь въ Петербургѣ? Превосходительства мнѣ не нужно пока; превосходительство старостью пахнетъ; но ужъ и не оберъ-же-офицершей мнѣ быть. За что я себя изъ полковницъ разжалую? Да и у самого-то, чтобъ было имѣньице, или капиталецъ, не то на мои деньги будетъ себѣ дуть въ картишки; по міру пуститъ; а не дашь денегъ, подыметъ шумъ.

«Леночка! Параша вотъ сейчасъ мнѣ доложила, что я вчера на хуторѣ зонтикъ сломала. Пришли мнѣ малиновый съ костяной ручкой. Не носить же мнѣ здѣшняго...

«Пока онъ думалъ, я подошла къ Клеопатрѣ Кириловнѣ и говорю:

— «Здравствуйте Клеопатра Кириловна! я у васъ была...»

— «Извините, Авдотья Семеновна! Мнѣ не сказывали...»

— «Я и билетъ оставила...»

— «Не показывали...»

«Вретъ, подумала я, это ты все за Девушку дуешься. — Какъ я это думаю и гляжу въ окошко, Клеопатра Кириловна какъ вскрикнетъ: «Ахъ, Боже мой! это онъ!»

— «Кто онъ?» подхватила хозяйка.

— «Петербургскій, что я вамъ разсказывала. Какъ онъ бѣдненькій попалъ сюда?»

— «Видно проѣздомъ, ваше превосходительство!» подхватилъ хозяинъ.

— «Какъ жаль!..»

— «Прикажете, я прикажу его позвать...»

— «Fi donc! Какъ можно! Черезъ лакея нельзя звать...»

— «Я самъ побѣгу...»

«И точно; сбѣгалъ, привелъ гостя. Хорошенькій, и въ чинѣ; скоро, говорятъ, до бригадирства доберется... Вошелъ, раскланялся, подошелъ къ хозяйкѣ; та, ты знаешь, дура набитая, только присѣдаетъ, а онъ такъ и сыплетъ ей слова; самъ раскраснѣлся; отъ хозяйки круто повернулъ, да къ Клеопатрѣ Кириловнѣ. Та вспыхнула, а онъ посмотрѣлъ ей на руки и поблѣднѣлъ. Вотъ не привяжется же ко мнѣ такой простинькой; вотъ мужъ; охъ, какъ бы я славно управлялась. Мужчины, правда, всегда въ нашихъ рукахъ; только не надо ихъ любить; а полюби, такъ и роли перемѣнятся; тогда изъ желѣзныхъ лапъ не высвободишься. Разъ въ жизни я была на краю бездны. Помнишь этого литератора Синцева. Да, слава Богу, журналы выручили. Я какъ прочитала, какъ отдѣлали его романчикъ, такъ будто рукой сняло. А то ужъ было и портретъ его достала; за то потомъ такъ славно и романъ и портретъ въ печку полетѣли. Я себя ужасно люблю за этотъ подвигъ. Постой же, Леночка, слушай! Умора, право...»

— «Какъ вы очутились тутъ?» спрашиваетъ Клеопатра Кириловна, а глазки такъ и закатываются.

— «Судьба! Счастливый случай... а можетъ быть и несчастный.»

— «Это почему? Вы такъ молоды, вамъ вездѣ еще цвѣтетъ счастіе...»

— «Какъ эти цвѣты, что въ рукѣ вашей... они цвѣтутъ, да жизнь ихъ подрѣзана...»

«Слышь! Слышь, Леночка! Вотъ былъ бы мужъ! Клеопатра Кириловна... Куда ей! Она сама пошла бы въ плѣнъ къ этому новичку, если бы нерасторопно не увѣрила себя, что любитъ Левушку.

— «А не правда ли, чудесные цвѣты?»

— «Отвратительные...»

— «А я ихъ ужасно люблю.»

— «А я ихъ ненавижу.»

— «За что?»

— «За то, что не я...» Новичекъ заикнулся. Есть этакіе несчастные, что влюбятся по уши, сто разъ въ день начинаютъ объясненіе и заикнутся всегда на такомъ мѣстѣ, что совсѣмъ нѣтъ смысла. И если женщина не имѣетъ желанія услышать, что онъ ее любитъ, несчастный никогда не выскажется. Знаешь, Леночка, мнѣ онъ сталъ смѣшонъ и жалокъ. Я отошла. На счастіе ко мнѣ присталъ хозяинъ; ты его знаешь, стараго волокиту? Онъ и за тобой ухаживалъ. Впрочемъ, онъ болтаетъ забавно, а Левушка, не знаю почему, не любитъ съ нимъ сходиться. Видно онъ хотѣлъ мнѣ сдѣлать на зло и присталъ къ Клеопатрѣ Кириловнѣ. Вотъ еслибъ ты видѣла нашу паву. Какъ она гордо выступала! Какъ любезничала и старалась между обожателями зажечь ревность. За обѣдомъ смѣтли-

вый хозяинъ такъ искусно размѣстилъ гостей, что Клеопатра Кириловна сидѣла между Левушкой и гостемъ; я возлѣ гостя; я объ этомъ просила, потому, чтобы наблюдать, злить и смѣяться. И право, я и на театрахъ не видала такой комедіи. Но въ этомъ смѣшномъ водевилѣ были и трогательныя мѣста. Право, бѣдный гость мнѣ жалокъ! Можно ли влюбиться до такой степени? Онъ не видѣлъ ни кого не слышалъ ничего, не ѣлъ, не пилъ, ревность поглощала все... Бѣдный! Торжество Клеопатра Кириловна послѣ обѣда кончилось и началось мое мученіе. Левушка опять присталъ, и такъ надоѣлъ, что я взяла и уѣхала. Прощай, Леночка! Пріѣзжай сама, а нельзя такъ присылай все поскорѣе, потому, что у насъ тутъ затѣваютъ спектакли, маскерады и т. д. Цѣлую тебя! Кланяйся всѣмъ моимъ людямъ...

Твоя Дуня.»

VIII.

«Я былъ на этомъ ужасномъ хуторѣ, Жоржъ! И проклинаю эту глупую мысль, потому, что мои догадки разбѣжались въ разныя стороны; недоумѣніе, какъ море въ волнахъ... И зачѣмъ это несчастное сердце, этотъ скудельный сосудъ можетъ носить такъ много и такихъ ужасныхъ чувствъ! Любить, пылать ревностью, сомнѣваться, надѣяться... и все это вдругъ, въ одно мгновеніе? Сколько же душъ у человѣка, когда все онъ можетъ чувствовать въ одно время. Да, я пріѣхалъ, меня увидѣли, за мной выслали хозяина, я сказалъ,

что еду обозрѣть фабрику, но лошади моего извощика пристали; за цѣлковый онѣ измучились совершенно; меня просятъ, я иду, по дорогѣ узнаю, кто виновница моего приглашенія... Встрѣчаемся, та же холодная ласка, тѣ же заманчивые намѣки... Но не мнѣ одному... Тутъ есть третій... Но не тотъ, что купилъ букетъ; нѣтъ, безбородый юноша, пустословъ... Она не можетъ любить его, не можетъ! Я ручаюсь, я слишкомъ хорошо знаю сердце и умъ этой женщины, непостижимой, очаровательной, страшной!... Охъ! Жоржъ! Не смѣйся, когда я плачу! Не обижай меня разсужденіями и совѣтами!... Нѣтъ! Я не могу писать! Голова горитъ, голова болитъ! Весь вечеръ я провелъ съ нею, весь вечеръ говорилъ о любви и не сказалъ ни слова о моей любви; рѣчь загоралась въ устахъ моихъ, я задыхался... Развѣ я не встрѣчалъ на вѣку моемъ красавицъ? Развѣ я не влюблялся по уши? Дитя! Я думалъ, что я любилъ, когда такъ тихо, такъ сладостно мечталъ о бѣлокурой нѣмочкѣ, которая на дачѣ обыкновенно стояла у калитки на мостикѣ; вѣтеръ игралъ ея локонами; она красовалась стройностью стана, она улыбалась, глядя на меня, когда я проходилъ по другой сторонѣ улицы и любовался на красивую куколку, и я думалъ, что я влюбленъ... Мнѣ было тепло, весело, легко... Теперь я въ знойной, душной темницѣ; кругомъ огонь палящій, но желѣзныя рѣшетки не даютъ выскочить. Какъ будто водопадъ, мечетъ по душѣ моей грусть бездонная, безбрежная; хочу вздохнуть, пора на груди... Спасите!...

Нѣтъ, я не могу писать, какъ хочешь не могу. Прости!

IX.

КЪ ЧИТАТЕЛЮ.

Нельзя насильно заставить Евгенія писать письма. Онъ сдержалъ слово; не писалъ больше писемъ; по крайней мѣрѣ я не отыскалъ ихъ; но какъ драма эта разыгралась почти на глазахъ моихъ, хотя и давно, имѣла начало и конецъ, то я рѣшился въ подробномъ отчетѣ изложить продолженіе этого романа. — Пусть эти письма составятъ первую главу. Приступимъ ко второй.

ГЛАВА II.

Первую вы уже прочитали. Она въ немногихъ письмахъ. И весь романъ въ немногихъ письмахъ. Какъ, почему? Все это вы узнаете, если удостоите разсказъ мой вашимъ лестнымъ вниманіемъ. Изъ писемъ вы, вѣроятно, догадались, что нѣкто Евгеній пріѣхалъ въ губернскій городъ, влюбился въ Клеопатру Кириловну, которая влюблена въ офицера Левушку, а сей влюбленъ въ Авдотью Семеновну, а оная Авдотья Семеновна — молодая, богатая вдова, и не любитъ никого. Кто же этотъ никто? Можетъ-ли это быть, чтобы у молодой вдовушки любимцемъ сердца былъ *никто?* Рѣшительная ложь; пойдемте, подсмотримъ, подслушаемъ, авось этотъ никто признается, какъ его зовутъ. Пойдемте, пойдемте!

Есть удивительныя улицы на свѣтѣ. О нихъ столичные жители не могутъ имѣть никакого понятія. У этихъ улицъ нѣтъ ни начала, ни конца, выбѣжитъ откуда-то изъ подъ будки; раздастся широко, широко; по серединѣ ни съ того, ни съ сего, будто гуси на озерѣ, торчатъ два, три сѣрые дома, и опять улица, но будто землетрясеніемъ изогнуло и перегнуло ее въ нѣсколько погибелей; то въ одинъ бокъ ударится, то въ другой опрокинется, и пропадетъ середь города такъ, что и не догадаешься куда она дѣвалась. На такой улицѣ вы встрѣтите пару овраговъ, пару мостовъ, нѣсколько косогоровъ, иногда только одну линію домовъ; нужно, найдете и прудъ, и колодези съ живописными глаголями, и лавочки, и что угодно. Придумывайте, что хотите;—на моей улицѣ все есть. Называлась она Косатка, а отъ чего, этого никто не зналъ. Косатка себѣ, да и полно. На Косаткѣ жили бѣдные чиновники губернскіе, купцы и мѣщане, но изъ важнѣйшей губернской публики тутъ рѣшительно никто не жилъ, и не бывалъ до послѣдней ярмарки. Столоначальникъ казенной палаты задумалъ построить домъ на Косаткѣ на большую ногу, изъ укрухъ жалованья и подаянія благодарныхъ просителей. Дѣло шло медленно, но тише ѣдешь, дальше будешь. Правда, отставили его отъ должности и никуда принимать не приказали, домъ у него былъ совершенно конченъ и отдѣланъ такъ, какъ отдѣлывались дома, и то немногіе, на Большой улицѣ. Передъ самой ярмаркой, хозяинъ достроилъ заборъ вокругъ об-

пирнаго сада, примыкавшаго къ оранжереямъ Иколочкина. — Стали на ярмарку съѣжаться; стали новый домъ нанимать, но куда! нѣтъ приступа! Триста рублей на двѣ недѣли. Много рыдвановъ печально отчалило отъ красивыхъ воротъ; ярмарка уже разыгралась, хозяинъ сталъ призадумываться, вдругъ пришелъ какой-то холопъ; осмотрѣлъ домъ, спросилъ про цѣну, вынулъ деньги, заплатилъ и сказавъ: «за нами» ушелъ, откуда пришелъ. Но въ тотъ же вечеръ явилась огромная дорожная карета въ шесть заводскихъ лошадей, въ сопровожденіи городской кареты, коляски, колясочки, щегольскихъ дрожекъ и трехъ подводъ съ сундуками. Тотъ же холопъ распоряжался выгрузкой пассажировъ и вещей. Изъ кареты вышелъ молодой человѣкъ пріятной наружности; за нимъ молодая женщина, потомъ вышла няня съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ и мальчикъ лѣтъ десяти или двѣнадцати. Примѣтно было, что гости всю дорогу спали. Хотя и не совсѣмъ ловко, но мы должны сказать, что всѣ зѣвали, въ особенности молодой человѣкъ. Хозяинъ не сводилъ глазъ съ пріѣзжихъ и не могъ скрыть удивленія. Онъ кажется зналъ на перечетъ всю губернію, но такого барина не видывалъ. Онъ пересталъ удивляться и мысленно сказалъ: видно не здѣшніе! И съ этимъ словомъ или съ этой мыслію вступилъ въ обычное отправленіе своихъ обязанностей; сталъ служить, отворялъ передъ гостьми двери, докладывалъ назначеніе каждой комнаты, суетился, хлопоталъ.

— «Это, вотъ изволите видѣть, диванная!» сказалъ онъ, отворяя двери въ комнату, убранную только обоями и диванами.

— «Гм! сказалъ тихо молодой человѣкъ: «Маша! я здѣсь повѣшу твой портретъ...»—сказалъ и зѣвнулъ...»

— «Очень хорошо!» — сказала и зѣвнула барыня.»

— «Портретъ?.. т. е. картину?..» спросилъ съ неудовольствіемъ хозяинъ.

— «Да!»

— «Но для этого требуется гвоздь... а вбивать гвозди въ новые обои, это раззореніе. Я не могу согласиться. Обои выписные. Въ цѣломъ городѣ такіе есть только у Ильи Ильича, и то по моей милости. Просимъ извиненія, а ужъ гвоздей вколачивать не извольте.»

— «Такъ что же ты хочешь за то, чтобы гвоздь вбить?»

— «Обоевъ цѣлый кусокъ испортишь на починку; кусокъ стоитъ пять цѣлковыхъ; да работа, да все, нѣтъ, одинъ гвоздь на двадцать пять рублей убытку сдѣлаетъ...»

— «Кириллo! Дай ему двадцать пять рублей и вбей вотъ сюда гвоздь...»

— «Вбить гвоздь! Нѣтъ ужъ извините! Ужъ этого я не попущу! Ужъ я дѣлаю жертву, извольте, для васъ только; для другаго, убейте меня, ни для кого на свѣтѣ; извольте, я беру двадцать пять рублей, свои деньги только, но ужъ гвоздя вбивать Кириллъ не позволю...»

— «Такъ какъ же?..»

— «Позвольте, позвольте, я самъ вобью гвоздь, вотъ сей часъ, сію минуту.»

Хозяинъ отправился за лѣстницей, дѣти ушли въ другія комнаты, Кирилло также. Молодой человѣкъ съ молодой женщиной, машинально усѣлись на одномъ диванѣ и нѣсколько разъ зѣвнули.

— «Ну, Marie, вотъ мы и пріѣхали!»

— «Да, пріѣхали!»

Молчаніе.

— «Кирилло! Трубку! Ты устала, Marie?»

— «Устала!»

— «Я то-же усталъ. Дорога пресквѣрная!»

— «Пресквѣрная дорога!»

Въ одну дверь Кирилло входилъ съ трубкой, въ другую хозяинъ съ лѣстницей...

— «Какъ!» закричалъ онъ: «Табакъ въ моемъ домѣ! Обои, занавѣски! Помилуйте, да это раззореніе! Вы погубить меня хотите! На что это похоже? Это хуже моли; насквозь стѣны пропахнутъ, ничѣмъ не выкуришь, и все закоптится. Умилосердитесь!»

— «Что его слушать!» сказалъ Кирилло грубо: «Этакъ онъ не дастъ на кухнѣ и кушанья готовить! Извольте закуривать...»

— «Караулъ, разбой!»

— «Да чего же ты хочешь?..»

— «Да одного уксусу пойдетъ на сто рублей, чтобы этотъ духъ выжить; да занавѣски мыть, да обои хлѣбомъ вытирать...»

— «Кирилло, дай ему двадцать пять рублей на чистку, и пускай молчитъ. А не то ни гроша не дамъ, и завтра скажу губернатору; такъ онъ его уйметъ...»

— «Помилуйте! Да вѣдь каждый въ домѣ своемъ хозяинъ! Ужъ я только для васъ двадцать пять рублей беру; знаю, что буду въ убыткахъ, да что дѣлать! И то правда! Нельзя жильца не уважить...»

И хозяинъ приставилъ къ стѣнѣ лѣстницу; примѣрилъ крюкъ, ударилъ, и оглянулся. Молодой человѣкъ курилъ, молодая женщина сидѣла чинно и безмолвно...

— «Marie, тебѣ не скучно?»

— «Нѣтъ! А тебѣ Этьэнъ?»

— «Нѣтъ, мнѣ весело...» Этьэнъ поставилъ трубку и облокотился на руку; Marie задумчиво опустила головку.

— «Ты спишь, Marie?»

— «Нѣтъ, а ты Этьэнъ?...»

Этьэнъ уже спалъ; Марія закрыла глаза; хозяинъ стукнулъ разъ и оглянулся; два, опять оглянулся и удивляясь, какъ они могутъ спать подъ стукъ его молота, потерялъ размѣръ, и какъ хлопнетъ себя по рукѣ, какъ вскрикнетъ, — молодая чета вскочила; Кирилло вбѣжалъ въ комнату...

— «Что такое?» спросилъ Этьэнъ.

— «Вотъ вамъ и гвозди! Зналъ бы, ста рублей не взялъ! Кости переломалъ! Теперь втрое выйдетъ на доктора и аптеку. О проклятая услужли-

вость! Вотъ тебѣ, Сидоръ Никитичъ! Вотъ тебѣ за твое добродушіе...»

— «Уйдемъ, Marie! Онъ отъ насъ не отвяжется!

Молодая чета перешла въ другую комнату, гдѣ уже мамка ожидала барыню.

— «Марья Осиповна! Пожалуйте къ Николинькѣ! Проснулся...»

— «Ступай, ступай, Marie! Кирилло, подай халатъ! Нѣтъ-ли чего почитать? Тамъ въ каретѣ былъ журналецъ.»

Кирилло подалъ и халатъ и журналище. Этьэнъ присѣлъ на кушетку, потребовалъ подушку, развернулъ журналецъ и заснулъ сномъ сладкимъ...

— «Опять спитъ!» сказала Мари, взойдя въ комнату: «Когда онъ выспится! Кирилло, когда баринъ проснется, доложи мнѣ.»

Тихо выпорхнула Марья Осиповна на красивый балконъ, легко сбѣжала въ садъ и что она думала, и что она говорила, угадать трудно, но по жестамъ можно было подумать, что она повторяетъ монологъ изъ Маріи Стюартъ, Шиллера, когда несчастную королеву выпустили подышать чистымъ воздухомъ. Странно оглядывалась она на всѣ стороны, простирала руки къ легкимъ облакамъ, быстро пробѣгавшимъ по синему небу; какъ ребенокъ бросалась во всѣ стороны, и, сама того не замѣчая, очутилась у досчатой ограды, отдѣлявшей этотъ садъ отъ сада Иколочкина. Рѣзкій, женскій смѣхъ за оградой заставилъ опомниться Марью Осиповну. Она остановилась какъ вкопаная и слушала съ такимъ же напряженіемъ,

какъ и хозяинъ, который за кустомъ занимался тѣмъ же.

— «Что дальше?» продолжалъ голосъ женщины, примѣтно подавлявшей смѣхъ...

— «Такъ видите, все это случилось въ слѣдствіе *заклада*. Онъ и не знаетъ, что Жоржъ мнѣ племянникъ и желаетъ ему добра. Конечно, не случись этой встрѣчи, могло бы кончиться не добромъ. Жоржъ пишетъ, что онъ все это предвидѣлъ. Вздоръ! Какъ можно предугадать дурачества юноши. Другой мой племянникъ, Степанъ Лукичь, тоже сдѣлалъ дурачество, котораго я ему не прощу никогда. Я прочилъ его вамъ въ мужья.»

— «Мнѣ?»

— «Да вамъ! Вы женщина умная; понимаете, что любить можно только въ дѣтствѣ; а въ нѣкоторыхъ лѣтахъ...»

— «Покорно васъ благодарю!»

— «Полно шутить! Вы очень хорошо знаете, что вы и молоды, и хороши собой, но что вы уже не ребенокъ. Вѣдь вотъ что досадно. Пишу къ нему: Степка, не женись, жениться успѣешь, прежде пріѣзжай сюда!—Такъ нѣтъ, хлопъ, женился, даже не увѣдомилъ на комъ; мнѣ у чужихъ стыдно было и распрашивать; два года прошло, ни слова; только черезъ Егора я уже узналъ, что жена ему родила сына и опостыла, надоѣла, такъ что онъ самъ не знаетъ, что дѣлать отъ скуки, а ужъ съ вами бы не соскучился Степка! Ну, да пусть на себя и пеняетъ...»

Марья Осиповна блѣднѣе полотна стояла, ни

жива, ни мертва, прислонясь къ дереву. Сходство событій, тѣже имена, не оставляли сомнѣнія, что гости за оградой разговаривали объ ея мужѣ... Для нея этотъ разговоръ былъ слишкомъ интересенъ. Бѣдная собрала всѣ силы и вслушивалась въ ужасныя рѣчи, которыя становились для нея недовольно внятными...

— «Поймите мужчинъ!» сказалъ женскій голосъ: «Въ два года! И стоятъ ли они послѣ этого одного ласковаго взгляда...»

— «Нѣтъ ничего удивительнаго! Онъ человѣкъ хорошо воспитанный; она, какъ пишетъ Егоръ, женщина простая; страстно любитъ деревню; не обладаетъ никакимъ талантомъ; не умѣетъ говорить даже съ порядочными людьми...»

Эти слова, что называется, доканали Марью Осиповну; какъ срубленное дерево повалилась она въ кустъ, подъ которымъ сидѣлъ хозяинъ. Въ испугѣ онъ отскочилъ на нѣсколько шаговъ, но, узнавъ кто упалъ такъ нескромно и нарушилъ наслажденіе его наблюдательности, хозяинъ въ три прыжка очутился на балконѣ, и во все горло кричалъ: Кирилло!

— «Тише, ты, баринъ спитъ!»

— «Барыня въ обморокъ упала! Лежитъ тамъ у забора; я изъ окна видѣлъ...»

Поднялась въ домѣ суматоха; принесли больную безъ чувствъ, уложили въ постель; хлопотали, шумѣли; одинъ только Кирилло стоялъ надъ бариномъ, протянувъ руку, но будить не рѣшался.

— «Была не была!» наконецъ сказалъ онъ: «Степанъ Лукичъ!»

— «Гмъ.»

— «Степанъ Лукичъ!»

— «Что тамъ?»

— «Барыня нездорова!»

— «Пошлите за докторомъ!»

— «Эй, кликните Сеньку, пускай бѣжитъ за докторомъ. Баринъ приказалъ! Проворнѣе!»

Послали за докторомъ. Женщины въ трепетномъ ожиданіи окружили Марью Осиповну, Кирилло стоялъ у изголовья кушетки, на которой лежалъ Степанъ Лукичъ. Баринъ спалъ, барыня не просыпалась.

—

XI.

КУДИМЪ — МОГИЛЬЩИКЪ.

Далеко ушла Россія въ короткое время. То, что вы встрѣчали за тридцать лѣтъ предъ симъ, что встрѣтите въ этомъ романѣ, того навѣрно не увидите въ настоящее время, развѣ въ какомъ либо заглохшемъ, забытомъ уголкѣ. Возьмемъ, напримѣръ, разбойниковъ. Прежде они, какъ лягушки, водились въ разныхъ мѣстахъ; теперь и для романа, чтобы писать съ натуры, ни за какія деньги ихъ не найдете. И другіе типы вывелись или выводятся совершенно. Но многіе ли знакомы съ нашимъ провинціальнымъ бытомъ? Оттого происходитъ за-частую, что столичный сатирикъ мѣтитъ въ современниковъ, а попадаетъ

въ предковъ; описываетъ добродѣтели предковъ, которые еще будутъ похожи на нашихъ потомковъ. Богъ имъ судья, этимъ поэтамъ! Провинція великодушно имъ прощаетъ, но свѣтуетъ на столичныхъ читателей, которые вѣрятъ ихъ поэмамъ. Обстоятельства заставили меня объѣхать почти всѣ углы Россіи, Не встрѣчалъ я этихъ пресловутыхъ типовъ, которыми обилуютъ наши сатирическія соленья. Негодная приправа, только соль даромъ пропала. Не для того пишу, чтобы возвысить мое сказаніе, а такъ, съ тоски грусти. Я не сочиняю, а описываю недавнюю старину, которой, бо́льшею частію, былъ очнымъ свидѣтелемъ. Если гдѣ и прибавлю отъ себя, такъ ужъ вѣрно въ пейзажѣ, а отнюдь не въ драмѣ. Мой разсказъ—не сатира, не поэма, а какъ я назвалъ его выше: простое сказаніе, безо всякихъ притязаній на авторство и славу. Гдѣ мнѣ думать о такихъ важныхъ предметахъ? Не только не желаю извѣстности, но только изъ того и бьюсь, чтобы сосѣди не догадались. Сейчасъ скажутъ: «Э! да это онъ на насъ пишетъ.» Скажи я: что у насъ въ городѣ мостовая дурная, сейчасъ закричатъ: «это на насъ, на насъ!» Скажи: что дамы рядиться любятъ, глазки строить... «На насъ, на насъ!» А вотъ не вѣрите, побожусь, что тотъ городъ, что́ описываю, совсѣмъ не тотъ, въ которомъ началась моя исторія. Вотъ вамъ первое доказательство: у насъ кладбище въ самомъ городѣ, а въ томъ оно было далече за городомъ, верстахъ въ двухъ. Не было на немъ красивыхъ памятниковъ

какъ у насъ; дворянъ хоронили въ деревняхъ или на ближайшихъ погостахъ; а на кладбищѣ торчали кресты съ навѣсами, съ вызженными надписями, отъ чего буквы походили на іероглифы, такъ что ихъ читать было трудно. Даромъ что лѣто, а ночь была холодная; могильщикъ Кудимъ копалъ яму и холода не чувствовалъ; онъ только заступу своему подъохивалъ, да покашливалъ. Сосѣдство покойниковъ его не безпокоило. Кудимъ былъ философъ. Чего бояться? Не встанутъ Ни вѣтеръ, ни кошка, ни другой гость изъ лѣса не обманывалъ Кудима; онъ зналъ видъ, голосъ, и походку каждаго. Потому-то онъ вдругъ и остановился и оглянулся съ недовѣрчивостію. Снялъ шапку, перекрестился и сказалъ въ раздумьѣ: «Не приведи Господи! Случалось, нечего грѣха таить, случалось. Ни чей грѣхъ! Пусть на себя пеняетъ, за чѣмъ покойникомъ прикинулся! Да и какъ его узнаешь, въ которой могилѣ. Нѣтъ! Видно ему круто приходится! Пойти, поближе прислушаться.

Кудимъ не далеко прошелъ. Онъ въ двухъ шагахъ услышалъ стоны сквозь сонъ; у большаго креста подъ широкимъ навѣсомъ, скорчась, спала тяжкимъ сномъ дѣвушка. Показалась она Кудиму ребенкомъ; поглядѣлъ, посмотрѣлъ, да и давай будить. Съ крикомъ вскочила она съ своего мѣста, хотѣла бѣжать, но Кудимъ плотно держалъ ее за полу грубой душегрѣи. Тутъ только по росту замѣтилъ онъ, что дѣвушкѣ было добрыхъ шестнадцать лѣтъ.

— «Что ты тутъ, матушка, дѣлаешь?»

— «Спаси и помилуй!» закричала она, вырываясь.

— «Да куда ты?»

— «Убей меня, только не веди къ моему злодѣю!»

— «Ты въ мой огородъ зашла. Я здѣсь хозяинъ.»

Дѣвушка оглянулась и вздрогнула.

— «Откуда ты?»

— «Издалече, дѣдушка! Пробѣжала я много, много верстовъ. Столбамъ и счетъ потеряла. Пятую ночь — провела на кладбищѣ; всего два раза во весь путь по куску хлѣба съѣла.»

— «Да куда же ты?»

— «Куда глаза глядятъ! Возьми хоть ты меня въ работницы, только злодѣю моему не выдай! Онъ хотѣлъ меня выдать за кучера и принудилъ меня подписать какую-то бумагу. Пошла я, пріодѣлась, вотъ въ эту душегрѣю, да платокъ на голову; въ окно, да огородомъ, на большую дорогу, а тамъ въ лѣсъ, а тамъ и поминай какъ звали.»

— «Молодецъ дѣвка! Спасибо! Ну, такъ пойдемъ же въ городъ. Тутъ тебѣ не укрыться ни отъ злодѣя, ни отъ погоды. А тамъ, посмотримъ, да поищемъ. Распросимъ у того, кто больше нашего знаетъ.»

— «А если...»

— «Не бойся, городъ не деревня?»

Хотя старикъ, опираясь на дубинку, и шелъ весьма тихо, но дѣвушка такъ была истомлена, что едва могла переступать по дорогѣ; тѣмъ бо-

лее, что она была босая, и ноги разъязвлены далекимъ путешествіемъ. Кое-какъ дотащились они до города. Были тогда уже тамъ и часовые и гауптвахта на заставѣ. Но внутренняя стража знала Кудима и не обратила вниманія на спутницу. Въ городѣ путь сталъ еще труднѣе, потому что мостовая, хотя и дурная, все таки мостовая. У нѣкоторыхъ домовъ были сдѣланы, какъ тогда говорили, панели, т. е. тротуары, но только у нѣкоторыхъ. А бо́льшею частію по всей большой улицѣ, около заборовъ, росла трава, лежали кучи кирпича и битаго стекла, почему по мостовой идти было и легче и безопаснѣе. Не доходя до губернаторскаго дома, Кудимъ пріободрился и сказалъ: «Ну, вотъ и наши! Тереха, вставай!» и легонько толкнулъ лежавшаго посереди улицы мужика. У новой панели лежало еще двое товарищей Терехи. Чуденъ народъ нашъ! На твердыхъ и не ровно уложенныхъ камняхъ, по которымъ и въ сапогахъ идти больно, — мужички покойно отдыхали послѣ трудной ночной работы. Кудиму не надо было повторять: вставай Тереха! Заслыша чужой голосъ, всѣ трое вскочили. Тереха схватился за заступъ; товарищи за толчею.

— «Что вы это, ребята? Это я, Кудимъ!»

— «Ты, Кудимъ! Такъ давайте братцы спать. А я было подумалъ, что надзирателя ночью подняло. А ты чего тутъ по ночи таскаешься?»

— «Причина, Тереха, большая причина.» И Кудимъ, по своему, разсказалъ про странную встрѣчу.

— «Ну, такъ чтожъ, поймалъ бѣглянку, такъ и веди въ полицію.»

— «Эхъ ты, Тереха! Видишь какой вздоръ со сна мелешь! Надо ее успокоить; пусть поотдохнетъ, добраго ей защитника надо пріискать; у кого изъ васъ ключъ отъ артели?»

— «Ужъ не въ артель ее, что ли, вести хочешь? Эхъ Кудимъ! Изъ ума выжилъ! Узнаетъ про то Поликарпъ Ивановичъ, такъ, будто по мостовой, по нашимъ спинамъ прогуляется! Видишь, чужаго держать!»

— «Чужаго! А Савилъ-то не чужой? Да и кто еще Савилъ? Вѣдь не я буду, нечисто что-то.»

— «Да то мужской полъ; между работниками замѣшается, и не видно; а дѣвка, что огонь; засвѣтитъ. Ты ее лучше веди въ харчевню. Скажешь: подорожняя какая; никто не спроситъ.»

— «Уменъ Тереха! Спи съ Богомъ! Пойдемъ дитятко! И въ харчевню-то поближе.»

Подошли они къ огромному постоялому двору. По серединѣ, окнами на улицу, стоялъ барскій домъ въ два этажа, деревянный; хотя окна во многихъ мѣстахъ были заклеены бумагой, хотя все зданіе стояло нѣсколько наклонившись, но все таки видно было, что не сегодня, такъ вчера, тутъ господа жили; къ этому дому по обѣимъ сторонамъ были приклѣены два большіе флигеля, самой сельской архитектуры. Въ одномъ была большая изба, для черныхъ гостей; въ другомъ съ крыльцомъ на улицу, харчевня или также изба столовая, съ тою разницей, что она раздѣлялась

огромнымъ прилавкомъ, за которымъ на полкахъ стояло множество бутылокъ и штофовъ, тарелокъ, чашекъ и всякой посуды; были тутъ и хрустальные, и зеленые стаканы; были тутъ и серебряныя и оловянныя ложки; всѣ висѣли подъ ранжиръ, ручками внизъ. На прилавкѣ уставлены были пироги, ветчина, коржи, хлѣбъ кругами въ пирамиду; боченокъ съ солеными рыжиками, въ которыхъ, будто корабль въ архипелагѣ, плавала деревянная ложка. Стѣны были облѣплены суздальскими гравюрами, вплоть отъ скамѣекъ до потолка; на одной изъ нихъ висѣли часы; но не только на циферблатѣ, но даже на маятникѣ спали мухи и покойно качались вмѣстѣ съ временемъ. Когда часы начинали шипѣть, мухи подымались съ ночлега и съ шумомъ разлетались по темно-освѣщенной залѣ, но выскочила кукушка, пробили часы, будто въ разбитую тарелку, и ученыя мухи возвращались на свои постели. Подобно маятнику, за прилавкомъ бѣгалъ половой, и подавалъ гостямъ разныя прелести, по желанію; но какъ только требованія затихали, — половой, такъ сказать, ложился на прилавокъ, утиралъ руками свою короткую бороду и шопотомъ заводилъ бесѣду съ рыжимъ мужикомъ, который на колодѣ сидѣлъ у самаго прилавка въ шапкѣ и курилъ изъ коротенькой трубки удушливый табакъ, отъ котораго въ залѣ было еще темнѣе. Кромѣ этого мужика вдоль стѣны на скамьяхъ сидѣло не мало гостей, да и не могло быть иначе; время торговое; ярмарка развернулась; иные дремали, положивъ

руки и голову на столъ, другіе шумно, третіе тихо бесѣдовали; но въ красномъ углу, гдѣ между прочимъ стояла свѣчка, полуштофъ и двѣ оловянныя чарки, тамъ видны были почетные гости; одинъ брящалъ на балалайкѣ, другой въ ахалукѣ, съ трубкой въ рукахъ, то припляшетъ въ присядку, то прикурнетъ изъ черешневаго чубука, то прихлѣбнетъ изъ оловянной чарки.

— «Ермолай Никитичъ!» обыкновенно говорилъ онъ, прикладываясь къ чаркѣ: «Дружище! Извольте прихлѣбнуть! Важная модера! Знаете ли, что и въ Питерѣ не во всякомъ погребкѣ такой отпустятъ! Право, отвѣдайте!»

— «За нами дѣло не станетъ, Павелъ Кузьмичъ! Стукнемся, другъ! Вотъ такъ! Гитара-то скверная, а то бы я вамъ заигралъ кузнечика...»

— «Кузнечика?»

— «Это пляска такая барская! У насъ въ полку барышни пляшутъ...»

— «Да развѣ у васъ въ полку и барышни служатъ?...»

— «Нѣтъ, Павелъ Кузьмичъ, ужъ это дѣло извѣстное, гдѣ полкъ, тамъ и барышень много; со всего околодка къ тѣмъ помѣщикамъ съѣдутся, которые поближе, знаете будто гостить...»

— «То-то, я думаю, вамъ, Ермолай Никитичъ, доходно. Вашъ баринъ чай въ полку первая штука.»

— «Таки не послѣдняя... Одна барышня, до того втюрилась въ насъ, что гитару намъ подарила. Я отъ скуки такъ навострился: то и дѣло дрынь, дрынь, дрынь, по всѣмъ струнамъ, такъ

ужъ гулъ такой пойдетъ, что будто въ трубѣ сажа горитъ... Ну, да каковъ ни есть штрументъ, извольте веселиться...»

И Павелъ Кузьмичъ въ ахалукѣ давай приплясывать. Въ это самое время Кудимъ съ дѣвушкой вошелъ въ харчевню; перекрестился на образа, съ трудомъ отыскалъ мѣсто и посадилъ спутницу возлѣ человѣка, довольно стараго, въ военномъ сюртукѣ; тотъ не обращалъ никакого вниманія; прислонясь къ растворенному окну, курилъ себѣ коротенькую трубочку и прихлебывалъ пиво.

Половой не могъ замѣтить прихода новыхъ гостей, потому что онъ въ самое это время съ надлежащей аттенціей подавалъ что-то одному купцу, который, глядя на красный уголъ, разгорался молодецкой удалью, и то и дѣло приказывалъ подавать себѣ то то, то другое. За то собесѣдникъ половаго тотчасъ замѣтилъ появленіе Кудима, тотчасъ сорвалъ съ себя шапку и бросилъ подъ ноги и сказалъ тихо, такъ какъ будто не хотѣлъ, что бы его заслышали: здравствуй, кумъ! Кудимъ кивнулъ головой, безъ отвѣта. Какъ только половой вернулся на мѣсто и улегся на прилавокъ, рыжій шепотомъ спросилъ:

— «Кого это привелъ Кудимъ?»

— «Не вижу... Кажись, женщину! Что за диковина! Дѣло къ утру; о такой порѣ женщины къ намъ не ходятъ... Знашь, Савилъ, я тебѣ вотъ дамъ свѣчку. Куда не шло. Поставь имъ передъ носомъ на столъ. Тогда мы разглядимъ. Ужъ если изъ нашего города, такъ сейчасъ узнаемъ...»

— «Нѣтъ, Ноготокъ, ужъ ты самъ лучше поставь. Тебѣ сподручнѣе; ты вѣдь тутъ хозяинъ... Да и знаешь что? Выживи ты Кудима отселѣ!»

— «А что?»

— «Да такъ; не люблю я его дурацкой рожи. Такимъ святошей глядитъ, а долженъ быть самый такой...»

У половаго все шло какъ по нотамъ; ловко разбѣжался онъ съ подносомъ, подскочилъ къ офицеру, заглянулъ въ стаканъ, убралъ тарелки, вытеръ полотенцомъ скамейку...—«Экая темь тутъ...» сказалъ, будто про себя, и свѣчка уже стояла передъ дѣвушкой. Тутъ онъ будто нечаянно замѣтилъ Кудима.

— «А! И ты тутъ! Знать съ богатымъ покойникомъ снюхался.»

— «И я тутъ, и ты будешь тамъ, откуда я пришелъ. Ноготка придется мнѣ ноготкомъ къ матьземлѣ придавить.»

— «Вашей братьи душа не жалуетъ,» сказалъ нѣсколько смущенный половой, и воротился на свое мѣсто.

— «Намъ души-то твоей и не надобно; копи деньгу, чтобы на похороны больше осталось. А ужъ я труда не пожалѣю; на лишнюю сажень тебя опущу...»

— «Экой языкъ! Провались онъ, окаянный! Пусть себѣ сидитъ... Ну, такъ вотъ видишь, Савилъ, хорошо-то оно половымъ быть, ужъ это правда, что все въ городѣ вѣдаю и знаю; сколько ни есть нижняго жилья въ городѣ, подваловъ, конюшень,

кухонь, все ужъ разокъ въ день у меня перебываетъ, повыпьетъ, проболтается; да вотъ что дурно, то и дѣло частный заходитъ: съ хозяина подарочекъ, а съ половаго справку: былъ де тутъ такой?... Не могимъ знать! — Врешь, да въ ухо! А сказать опять нельзя; потянутъ на очную ставку; не разъ выдавалъ я чужое дѣло, а потомъ и каялся. Только слушай, Савилъ, ужъ я не знаю, откуда онъ такую красотку взялъ... Вотъ, гляди, теперь она рыльце повернула...»

Савилъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ и поспѣшно отвернулся. Отъ половаго не скрылось это движеніе.

— «Что ты это, Савилъ? Видно, зазнобушка, али на нее походитъ?»

— «Смахиваетъ!...» отвѣчалъ Савилъ, стараясь осклабить рыжій ликъ свой.

— «То-то и есть!»

— «Выживи ихъ отсюда, Ноготокъ; не то поссоримся...»

— «Дай, попытаюсь...» И Ноготокъ схватилъ подносъ, и бросился въ красный уголъ: «Что, господа, модеры-то не прикажете ли?»

— «Подавай!»

— «Али можетъ Донскаго? Вотъ бы вамъ, такимъ бравымъ кавалерамъ, красотку поподчивать...»

— «Гдѣ она, давай ее сюда!...»

Половой исчезъ, а Павлуха въ разгулѣ бросился прямо къ дѣвушкѣ, схватилъ ее за руку; та вскрикнула; но въ то же время Кудимъ закричалъ: «Не замай!» и оттолкнулъ Павлуху...

— «Ай да Кудимъ!» заревѣлъ Савилъ своимъ страшнымъ голосомъ: «Не посмотрѣлъ, что кавалеръ! Даромъ, что могильщикъ, а у него держи ухо востро.» — Это было сказано почти въ дверяхъ; съ этими словами Савилъ пропалъ, но слова не пропали. Павлуха взбѣсился. Другъ его обидѣлся и выступилъ на поле битвы; гости, видя грозу, схватились за шапки и разбѣжались; одинъ только старичекъ, въ военномъ сюртукѣ, продолжалъ курить табакъ и прихлебывать пиво; онъ, попрежнему, не обращалъ никакого вниманія на окружающихъ. Павлуха напалъ первый, но Кудимъ ловко выхватилъ черешневый чубукъ, разломалъ о колѣно и бросилъ на полъ.

— «Разбойникъ! Какъ ты смѣлъ изломать барскій чубукъ?»

— «Вотъ только сунься, я тебя самого изломаю.»

— «Ахъ ты, червь кладбищенскій! Ты смѣешь этакъ съ нашимъ братомъ тягаться?..»

Бренная лира Ермолая Никитича также разлетѣлась въ дребезги.

Безоружные отступили.

— «Павелъ Кузмичъ! Такъ ты этакъ..?»

— «Ермолай Никитичъ! Вѣдь ты военный, ты ступай впередъ!»

— «Кудимъ!» закричалъ половой, вбѣгая: «Что ты тутъ драку затѣваешь? Ступай себѣ съ Богомъ!»

— «Вонъ! вонъ!»

И всѣ трое, схвативъ Кудима, стали выталкивать его изъ харчевни.

— «Не трогать!» громовымъ голосомъ сказалъ старикъ въ сюртукѣ.

— «Не твое дѣло!..» кричалъ половой: «Пусть шума не заводитъ...»

— «Прочь, мерзавцы!» — И половой отлетѣлъ далече, но другіе два продолжали свое дѣло; тузили и толкали бѣднаго Кудима.»

— «Поль!...»

— «Ермолай!» раздалось въ противуположныхъ дверяхъ.»

— «Чего изволите?» закричали оба въ одинъ голосъ, отскочивъ отъ Кудима.

— «Поль! ты тутъ что дѣлаешь?»

— «Ермолка! Ты, разбойникъ, за чѣмъ здѣсь?»

Лакеи или камердинеры стояли, вытянувшись въ струнку. Половой выглядывалъ, едва видимый, изъ за прилавка; только Кудимъ и старикъ въ офицерскомъ сюртукѣ не испугались грозныхъ гостей.

— «Что дѣлали, за чѣмъ здѣсь!» сказалъ Кудимъ, оправляясь: «Извѣстное дѣло, зачѣмъ? Видишь, показался имъ лакомый кусочекъ; какъ волки голодные, бросились на сироту безродную.

— «Сироту! О, да это интересно! Ахъ, посмотрите, Евгеній Сергѣичъ, какая милашка; въ самой порѣ. Не пугайся, миленькая!..» — и Левушка протянулъ руку, чтобы взять ее за подбородокъ, по обычному приступу старшихъ къ младшимъ, но Кудимъ остановилъ дерзкую руку.

— «Не балуй, баринъ! Не хорошее дѣло дѣвушкамъ бороды гладить...»

— «Ты тутъ чего мѣшаешься?»

— «Это мой найденышъ; Богъ ее мнѣ на руки послалъ, такъ ужъ прежде живую въ могилу зарою, а ужъ на срамъ какой не выдамъ. Кто ее знаетъ! Не простаго она уѣзда; тайное дѣло за нею прячется.»

Левушка отступилъ, но подошелъ другой, Евгеній; онъ все время разсматривалъ весьма пристально дѣвушку и чувство состраданія возбудили слова Кудима.

— «Какое дѣло?» спросилъ онъ съ участіемъ.

— «Не наше съ тобой! Вотъ надо мнѣ барыню хорошую сыскать, чтобы на руки взяла; а тогда уже и дѣло размотается.»

— «Мы ее возьмемъ подъ наше покровительство...» сказалъ Левушка.

— «Полно вздоръ молоть, баринъ! Ты и за собой то не угляднишь; за дѣвочкой надо женской глазокъ, который за своими дѣтьми уже привыкъ смотрѣть...»

— «Чего лучше! Авдотья Семеновна ее возьметъ...» закричалъ Левушка.

— «Авдотья Семеновна! Этотъ холодный камень, эта хохотунья, эта болтушка... Не такого чувства требуетъ несчастіе. Вотъ Клеопатра Кириловна...»

— «Клеопатра Кириловна! Эта отъявленная кокетка, отъ которой я не могу отвязаться...»

— «Тише, молодой человѣкъ! Вы забываете, гдѣ вы, кого поносите, на кого клевещете...»

— «Ужъ не вы ли собираетесь учить меня? Смотрите, чтобы васъ не проучили...»

— «Уже не у васъ же я стану брать уроки, а клеветнику всегда ротъ зажму.»

— «Я надѣюсь, что вы, какъ благородный человѣкъ...»

— «Прибью палкой мальчишку, который смѣетъ поносить доброе имя извѣстной женщины...»

— «О! да это уже слишкомъ! Мы съ вами раздѣлаемся! Ермолай, ступай за мной! Постой, постой, разобью я эту чернильницу въ дребезги...»

— «О! это уже черезъ чуръ! Поль, гдѣ мой чубукъ...»

— «Чубукъ?..»

— «Ну, да, чубукъ!»

— «Чубукъ? Право не знаю, былъ на верху... Да зачѣмъ вамъ чубукъ? Они уже изволили уйти. И вамъ пора...»

Но Евгеній не слушалъ Павлушки, который старался поскорѣе увести барина съ поля сраженія, чтобы онъ не успѣлъ замѣтить, гдѣ чубукъ, и что это оружіе уже служить не можетъ. Евгеній стоялъ въ глубокой задумчивости; месть за Клеопатру кипѣла бурно въ его сердцѣ; месть занимала его умъ; онъ забылъ, гдѣ находится; прочіе, какъ будто уважали его думы... Но Кудимъ ихъ разогналъ.

— «Экой пѣтухъ! Расходился, а самъ ушелъ...» сказалъ онъ.

— «Не уйдетъ!»

— «Чай за нимъ, добрый баринъ, въ догонку пойдешь? Не стоитъ гнаться; убѣжитъ и самъ. Видна птица по полету...»

— «Твоя правда. Твой найденышъ гораздо важнѣе; имъ надо заняться.»

— «Не изволь трудиться. Мы и сами обмыслимъ. У меня есть на примѣтѣ барыня важная; у Сидора Никитича Путочкина стоятъ. Опомнясь, какъ пріѣхали, Богъ на нихъ бѣду наслалъ; Машка ко мнѣ забѣгала; видно, про меня отъ сосѣдей заслышала; говоритъ: помоги, Кудимушка, барыня моя дурнымъ сномъ заснула. Будто кто ее мѣшкомъ изъ-за печки пришибъ; по саду гуляла, да разомъ и повалилась. Помоги Кудимушка!» — Наша артель близко; я было и пошелъ съ дуру, да до меня барыня встала, такая веселая, допустила и меня къ лицу своему свѣтлому. «Спасибо, Кудимушка, извини, что обезпокоили; вотъ тебѣ за труды.» — Ну, самъ знать изволишь, не за что брать, такъ я и не взялъ, а она баитъ: «Ну, старикъ, коли что нужно будетъ, приходи...» А лице-то какое доброе! Ни дать, ни взять, взглядомъ, что рублемъ даритъ. Слава тебѣ, Господи, что вспомнилъ. Просидимъ тутъ до утра, а утромъ будетъ у тебя, мое дитятко, и мать и покровъ... Ухъ!..»

Кудимъ какъ будто самъ обрадовался своей мысли. Распоясался; положилъ шапку, кушакъ и охабень на скамью, и подошелъ къ прилавку.

— «Вотъ тебѣ гривна, Косой! Дай моей дѣвкѣ перекусить чего нибудь.»

— «Винь ты, за гривну нынче харчи сталъ покупать...»

— «Подай все, него ни спроситъ Кудимъ, на

мой счетъ!» сказалъ Евгеній и пошелъ во свояси; Поль бережно подобралъ остатки черешневаго чубука, погрозилъ ими молча Кудиму и пошелъ за бариномъ... Старикъ въ сюртукѣ, прислонясь къ стѣнкѣ, сталъ дремать, а Кудимъ съ дѣвушкой давай на покоѣ ужинать. Половой усердно прислуживалъ; подавалъ, чего и не требовали, и старался прислушаться къ разговору. Изрѣдка только онъ посматривалъ на окно и почесывалъ правый високъ. Отужинали.

— «Ну, теперь убирайтесь съ Богомъ!» сказалъ половой: «Пора и нашему брату заснуть.»

— «Спи себѣ съ Богомъ; и мы вздремнемъ на скамьяхъ.»

— «Нѣтъ, у насъ этакого заведенья не бываетъ. Не приказано. Изволь убираться!»

— «Да я у тебя и за деньги бы не остался. Наше мѣсто свято, а у тебя, кромѣ того, что соблазнъ, да еще и волки заглядываютъ.»

— «Что ты, дядя Кудимъ! Какіе волки?..»

— «Много ли у тебя дядей-то, Косой? Ты гляди, сбоку-то еще и бѣды не увидишь; смотри, чтобы и другой глазъ не покривился. Мы вѣдь не изъ отрубей какихъ набиты; а тоже смѣтка есть; смѣкаемъ.»

— «Да что ты это, дядя Кудимъ, право, будто тайность какую говоришь.»

— «Да ужъ, племянничекъ, безъ тайности съ Савиломъ никто не якшается...»

— «Да что мнѣ твой Савилъ?»

— «Тоже дядя, да пуще роднаго отца. Ужъ

мнѣ для Савила на честномъ кладбищѣ ямы копать не придется. Врагъ да оврагъ его возьмутъ...»

Половой, какъ-будто убирая посуду, хотѣлъ выйти въ двери, да Кудимъ ему замѣтилъ:

— «Не въ тѣ, Косой! Тамъ улица, посудины негдѣ ставить, а Савилъ до утра обождетъ... Видишь, рыжая борода по ночи свѣтится.»

Половой началъ теретъ затылокъ, Кудимъ продолжалъ:

— «И это знаемъ, Косой! Вотъ, видишь, безъ толку только перепугалъ дядю; чай теперь Савилъ будто отъ погони бѣжитъ. Эхъ, Косой, и мы люди бывалые... Спи, дитятко, а мы съ Косымъ потолкуемъ.»

Половой былъ совершенно смущенъ. Ему было ужасно досадно, что въ торопяхъ онъ подалъ Савилу не тотъ знакъ. Присутствіе сильнаго союзника теперь бы ему куда какъ пригодилось; Кудимъ наслаждался замѣшательствомъ половаго не долго:

— «Слушай, Косой! У тебя есть въ запасѣ и подушка и тюфякъ. Подай ихъ моей бѣднягѣ. Ну, люблю послушныхъ. Теперь вотъ что, мнѣ надо идти яму копать; завтра будутъ хоронить бѣдную нашу Лукерью Ивановну.»

Старикъ въ сюртукѣ вскочилъ и, протирая глаза, спросилъ:

— «Во снѣ иль на яву?.. Быть не можетъ! Ты сказалъ, будутъ хоронить Лукерью Ивановну?»

— «Да! А что́?»

— «А какъ ее зовутъ?»

— «Лукерьей Ивановной.»

— «А еще какъ?»

— «Больше никакъ не зовутъ. Нѣтъ, вру. Иной разъ говорятъ Лукерья Ивановна, что́ на овражкѣ, потому, что не одна же Лукерья Ивановна въ городѣ; да и городъ-то великъ...»

— «Твоя правда! Зачѣмъ ей быть здѣсь! Впрочемъ, столько лѣтъ!»

— «А много ли?»

— «Пятнадцать.»

— «Давненько!»

— «Вѣчность!..»

— «А гдѣ же изволилъ пробавляться? .»

— «Далече.»

— «Въ какомъ городѣ?»

— «Въ такомъ, о которомъ ты никогда не слышалъ.»

— «А что́ же тамъ дѣлалъ?..»

— «То, чего не дай Богъ ни тебѣ, ни дѣтямъ твоимъ, и никому на свѣтѣ! Ну, да вотъ Богъ милостивъ. Авось, всѣхъ увижу... Ужъ и не такъ далеко; было дальше... Да что я разболтался... Говорите потише! Мнѣ много силъ надо. Дайте поотдохнуть!»

Старикъ повернулся, подложилъ руку подъ голову и заснулъ богатырскимъ сномъ.

— «Ну, выдался денекъ!» сказалъ внепотомъ Кудимъ: «Диво за дивомъ! Ну, да ужъ никто, какъ Онъ; лучше нашего знаетъ, что́ и на что́ творится; такъ слушай же, Косой! Я пойду, а ты присмотри за моимъ найденышемъ. За-

прись на оба замка. Пока не вернусь, никого не впускай!»

— «Дядя Кудимъ! Теперь ярмонка! Если пріѣзжіе окна выломаютъ, на то гостинница, постоялый дворъ, трактиръ и харчевня. Хозяинъ убьетъ, а добрый гость прибьетъ. Видишь ты, какіе тутъ козыри водятся. Я ужъ для тебя, дядя Кудимъ, все, что хочешь сдѣлаю. Знаешь ли что, дядя Кудимъ? Есть у меня запасная горенка за коровникомъ. Тамъ я самъ сплю, когда досугъ. Спрячемъ туда находку... Тогда приходи, когда хочешь; никто ее не увидитъ.»

— «Спасибо, Косой!»

Сказано, сдѣлано. Кудимъ одѣлся, взялъ свою дубину и пошелъ въ путь для Лукерьи Ивановны стлать постель послѣднюю. Косой не могъ уснуть. То и дѣло ему казалось, будто гости подходятъ; и не ошибся Косой. Въ окнѣ показалась рыжая борода и два блестящіе глаза. Трижды легонько кто-то стукнулъ въ окончину; Косой не подалъ знака, но самъ тихо выползъ на улицу.

—

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

СНЫ.

— «Ушелъ Кудимъ?»

— «Ушелъ.»

— «Видѣлъ, братъ, видѣлъ. Да онъ-то меня не подмѣтилъ. А дѣвку-то куда онъ дѣвалъ?»

— «Спряталъ, дядя Савилъ, спряталъ подъ замокъ.»

— «А ключъ-то у кого?..»

— «У Кудима.»

— «Гм! Плохо приходится... Знашъ ли, дружище, что если эта дѣвчонка останется въ вашемъ городѣ, такъ тебѣ раззореніе большое будетъ...»

— «Что́ ты, что́ ты, Савилъ!»

— «Да ужъ такъ! Никто изъ нашихъ не будетъ ходить къ тебѣ съ гостинцами. Пропадетъ твой торгъ.»

— «Да отчего же, Савилъ?»

— «А ужъ я знаю отъ чего. Такъ прощай покуда, я затѣмъ и пришелъ. Прощай! Ты знаешь Ѳоньку косолапаго, что при артели нашей?»

— «Знаю.»

— «Такъ если дойдетъ до тебя, только не обмолвись, что дѣвушку изъ города спровадили, такъ скажи Ѳонькѣ: — Косолапый, поклонись Савилу. А пока она въ городѣ — ты никого изъ нашихъ не увидишь.»

— «Что́ за диковина?..»

— «Ну, прощай...»

— «Постой, дядя! Знаешь что́. Вѣдь и Кудимъ про тебя вѣрно что ни есть знаетъ...»

— «Кудимъ? Да что́ онъ колдунъ, что́ ли?»

— «Да какъ же ему и не быть-то колдуномъ. Живетъ на кладбищѣ, то и дѣло съ мертвецами. Тутъ онъ послѣ тебя такого наговорилъ, что у меня, чай, сѣдина со страху завелась.»

— «Что́ же онъ говорилъ?»

— «Э! Кабы-то я колдовской языкъ разумѣлъ.

Да не въ томъ сила. А вотъ что́. Вѣдь дядя Кудимъ теперь на кладбищѣ...»

— «На кладбищѣ!..»

— «Одинъ одинехонекъ...»

— «Ну!»

— «Такъ неужто и ты одинъ?»

— «Такъ что́?»

— «Тьфу ты, какой непонятливый!.. А потомъ бы я тебѣ и дѣвчонку-то на руки отдалъ... Кромѣ меня, да Кудима, никто не знаетъ, гдѣ она...»

— «Вотъ что! Ну, братъ, такъ подавай ее сюда!»

— «Не могу! Кудимъ не велѣлъ. Прежде Кудима...»

— «Не могу! Кудимъ не одинъ! Самъ ты говоришь, что онъ съ мертвецами живетъ.»

— «Что́ я ему скажу, какъ придетъ?..»

— «Да что скажешь? Скинь на постояльцевъ! Скажи: они, видно, уворовали...»

— «Бога ты не боишься, Савилъ? Да вѣдь слѣдствіе пойдетъ! Не тебя, меня станутъ допрашивать...»

— «Ну, а ты не сказывай!»

— «Гм, да Ефимъ Трофимычъ не свой братъ, у него всегда такіе вопросы, что отвѣтъ самъ по себѣ изо рту выскочитъ... Батюшка, Савилъ Петровичъ, помилосердуй, не могу!..»

— «Ну, такъ прощай! Просимъ не прогнѣваться!»

— «Савилъ Петровичъ, да можетъ быть ты ее убьешь!»

— «Зачѣмъ мнѣ ее бить? Отнесу на оврагъ, а потомъ съ добрымъ молодцомъ отошлю въ станъ; будетъ себѣ жить, да поживать; подростетъ, Кирюшку на ней женю... Ну, что же отдаешь?...»

— «Савилъ Петровичъ! Пожалѣй моей спины!»

— «Ну, изъ-за этакой дряни, а еще торгуется! А наши не бось придутъ, такъ за парчу мѣдняки сулишь. Прощай!»

— «Такъ и быть! Больнымъ прикинусь, бѣленькую ужъ ты заплатишь гдѣ слѣдуетъ...»

— «Вотъ тебѣ бѣленькая! Пойдемъ!»

— «Ну, пропала моя головушка! Была не была!»

— «Ну, что же ты?»

— «Иду, иду, Савилъ Петровичъ! Пойдемъ кругомъ, Савилъ Петровичъ! Тутъ черезъ харчевню нельзя. Старикъ тотъ спитъ. Заслышитъ... а мы тамъ пройдемъ черезъ лазейку. Господи, что то завтра со мною будетъ?...»

—

Сонъ! Кто разгадаетъ, что такое сонъ? Въ природѣ много загадокъ, но сила и сонъ, едва ли не двѣ важнѣйшія. Безсловесный ребенокъ, онъ спитъ такимъ сномъ, въ которомъ нѣтъ сновъ; за то заботливая мать на яву — видитъ грезы, и наклонясь надъ спящимъ дитятей, въ мечтахъ создаетъ его будущность. И мать и ребенокъ блаженны. Когда разумъ начинаетъ дѣйствовать, невинная душа уже во снѣ утѣшается свѣтлыми видѣніями, созерцаетъ игры ангеловъ, которые охраняютъ его дѣтскіе годы; на краю бездны, надъ проваломъ, надъ ди-

ко-ревущимъ водопадомъ, свѣсившись надъ сокрушительнымъ потокомъ, спитъ себѣ чистый отрокъ; опасность далече. Сны безконечны въ своемъ разнообразіи: сонъ лѣниваго ученика, сонъ отъ недуга, сонъ со скуки, сонъ полумертвый отъ крѣпкихъ напитковъ... счета нѣтъ всѣмъ снамъ... Но самый страшный — сонъ со страха.

Конечно, Левъ Кирилычъ, по званію своему, былъ герой, но по натурѣ былъ не самаго храбраго десятка. Чуть вошелъ въ свой нумеръ, повелительно воскликнулъ:

— «Ермолка! Дверь на замокъ! Къ дверямъ приставь комодъ! Вотъ я его отдѣлаю! Самъ ложись тутъ, а не то опять тебя дрянной лакеишка въ харчевню сманитъ! Какъ ты это смѣлъ отлучаться! Вотъ я тебя! Олухъ этакой, снимай сапоги, да поставь поближе. Не равно... И шлафрокъ тоже поближе! Раздѣлаюсь я съ нимъ по-свойски! Ну! Спать! Утро вечера мудренѣе! Слышь, ходитъ; толчется по своей конюшнѣ, лошадь этакая! Заперъ? Ну, такъ спи, да безъ моего спроса никого не пускай!..»

Прилегъ Левушка, давай спать, да не тутъ-то было; нумеръ Евгенія прямо надъ головой; шаги его раздавались какъ будто удары въ бочку; чуть задремлетъ Левушка, вздрогнетъ и проснется.

— «Экъ ему не спится! Предводительша какъ его растревожила! Постой же, завтра въ походъ, забираю предводительшу въ полонъ, а ты грибъ съѣшь! Ну, заснемъ...»

Какъ-бы не такъ! Извините, Левъ Кирилычъ!

Нѣкій мудрецъ сказалъ, что храбрость есть трусость... Не спится, а на яву всякая чертовщина грезится... Подъ бокомъ будто море, такъ страхъ и подмываетъ. Въ головѣ—пляска вѣдьмъ; сердце будто у сокола въ когтяхъ. А Ермолка злодѣй какъ захрапитъ басомъ — кажется въ лѣсу звѣри рыкаютъ; какъ бы то ни было, молодость и страхъ одолѣли, заснулъ Левъ Кирилычъ, а тутъ черти на него гурьбой такъ и пустились, и въ очкахъ и во фракахъ, точь въ точь Евгеній; и съ бакенбардами такими, какъ у предводителя, и просто въ натурѣ, то есть въ однѣхъ костяхъ со всѣми адскими принадлежностями. Какъ заревутъ, какъ зашумятъ, Левъ Кирилычъ какъ вскочитъ. И мигнуть не успѣлъ, какъ ужъ надѣлъ сапоги и пилафрокъ; на дворѣ крикъ, стукъ... Левъ Кирилычъ и самъ не зналъ, какъ это случилось, а выпрыгнулъ въ окошко, хотѣлъ бѣжать, какъ вдругъ навстрѣчу ему дѣвушка; день уже занимался, онъ могъ различить ея черты и узналъ красавицу, за которую на него такъ ужасно разсердился Евгеній.

— «Спаси, укрой меня!» кричала она во все горло: «Тутъ разбойники!»

— «О я спасу тебя, укрою, ступай за мной! Не бойся!» и Левушка потащилъ ее въ темный переходъ, къ своему нумеру, постучался въ свои двери...

— «Съ Богомъ!» послышался голосъ сонного Ермолая: — «Кто тамъ?»

— «Отвори!»

— «Какъ бы не такъ! Не приказано!»

— «Отвори, говорятъ тебѣ!..»

— «А тебѣ говорятъ убирайся по добру по здорову, а не то баринъ проснется...»

— «Да это я, болванъ, я самъ...»

— «Знаю что ты, да не велѣно...»

— «Что ты пьянъ, Ермолка, что ли? Меня не узнаешь?»

— «Батюшки свѣты! Видишь притча какая! Голосъ точь въ точь, какъ у барина! Да извини, мы не таковскіе; васъ не проведешь...»

Ермолай кричалъ во все горло, чтобы баринъ проснулся, но не слыша ни гугу съ той стороны, гдѣ спалъ баринъ, струсилъ въ свою очередь, и тогда только ободрился, когда, осмотрѣвъ и ощупавъ кровать, убѣдился, что Льва Кириловича тамъ нѣтъ. Нѣсколько рѣчей изъ-за дверей, самыхъ убѣдительныхъ, совершенно его успокоили; онъ отперъ двери, получилъ пощечину и поклонился...

Дикій вопль огласилъ дворъ, куда сбѣгались люди со всѣхъ угловъ этой гостинницы.

— «Что тамъ такое?» спросилъ Левушка:—«Погляди Ермолка! Да принеси свѣчку...»

— «И такъ видно уже, ваше благородіе! А что тамъ такое? Право не знаю...»

Въ это же время Поль и посторонніе несли Евгенія въ тотъ же темный переходъ. Въ числѣ услужливыхъ былъ и Ноготокъ или Косой.

— «Экая притча!» кричалъ онъ во все горло:— «Ну ужъ времячко! Середь города разбойники ходятъ! Видишь, какъ онъ его ножемъ хватилъ; чай прокололъ...»

— «Нѣтъ!» отвѣчалъ Евгеній, слабѣющимъ голосомъ: — «Нѣтъ, ничего! Пошлите за докторомъ...»

— «А! попался, забіяка!» проворчалъ Левушка: — «Туда тебѣ и дорога! Набѣжалъ разбойникъ на разбойника... Только тутъ опасно оставаться. Знаешь, милаша, я отвезу тебя къ моимъ добрымъ знакомымъ на хуторъ. Тамъ тебя никто не увидитъ. Ермолка, закладывать лошадей!..»

— «Да вонъ и нашъ кучеръ Трофимъ на дворѣ стоитъ. Эй, Трофимъ! Закладывай лошадей!»

— «А ты, Ермолка, укладывайся!»

— «Какъ, ваше благородіе, совсѣмъ!»

— «Совсѣмъ! Что тутъ дѣлать! Вездѣ разбой! Проворнѣе! Ну, милаша, ты надѣнь мой халатъ и шинель; возьми вотъ эту военную шапку! Ай да юнкеръ! Любо дорого смотрѣть! Не могу на тебя смотрѣть безъ того, какъ оно, то есть, я тебѣ скажу, удружилъ разбойникъ... Ну, поворачивайся Ермолка, а не то я развернусь...»

— «Не извольте безпокоиться ваше благородіе...» Мы люди бывалые! Смѣкаемъ? Лишь бы Трофимъ...»

— «У Трофима — готово.»

— «И у меня тоже...»

Косой хлопоталъ около раненаго, вмѣстѣ съ жильцами сосѣднихъ нумеровъ; на дворѣ — служители разсуждали о страшномъ событіи. Больше всего ихъ удивляло, куда дѣвался странный гость; черезъ харчевню онъ не проходилъ; ворота были заперты, а онъ пропалъ, будто сквозь землю провалился. Никто не обращалъ вниманія на Трофима; всѣ его знали; и слышали приказаніе его барина.

Также спокойно смотрѣли они и на Ермолая, когда тотъ укладывалъ вещи въ рессорную бричку; съ такимъ же равнодушіемъ видѣли, какъ туда усѣлись господа и уѣхали со двора, не сказавъ никому ни слова. Бричка прокатилась по мостовой только возлѣ трактира, потомъ съѣхала на мягкое мѣсто, потому что улицы въ этомъ городѣ мостились pagina fracta; правая сторона — мостовая, лѣвая — грязь; по грязи бричка понеслась шибче и шибче; Левушка, оберегая свою находку, обнялъ ее и прижалъ къ себѣ покрѣпче. Дѣвушка дрожала, но боялась пикнуть, воображая, что разбойникъ приходилъ за нею и не понимая движеній Левушки, пуще и пуще къ нему прижималась. За городомъ, едва миновали заставу, Кудимъ узналъ свою находку; застучъ сверкнулъ въ воздухѣ; Кудимъ уже висѣлъ на желѣзной ножкѣ... Та выпрыгнула изъ брички, перебѣжала черезъ мостикъ и также спряталась за липу. Узнавъ противника, Левушка ободрился.

— «Ахъ ты дрянь этакая! Такъ ты тутъ разбойничаешь? Видишь, какой! Трофимъ, Ермолай, ловите бѣглянку, а я со старикомъ справлюсь!»

— «Господи! Защити насъ!» сказалъ Кудимъ и сталъ на мосту въ позицію Горація Коклеса. Послышался колокольчикъ, показался тяжелый экипажъ. Дюжій шестерикъ рысцей тащилъ дорожную карету, которая тогда была великою рѣдкостью... На козлахъ сидѣлъ съ кучеромъ лакей, сзади другой слуга дремалъ на чемоданѣ. Левушка и люди его были въ нерѣшимости, что имъ дѣ-

лать. Карета подъѣхала. Дѣвушка бросилась къ экипажу и закричала изо всей силы: «Помогите, помогите!» Кучеръ удержалъ лошадей; люди соскочили на дорогу; въ каретѣ опустилось окно и показалось сухое, желтое лице пожилаго мужчины.

— «Ба! такъ вотъ гдѣ Татьяна Осиповна пробавляться изволите? Подайте ее сюда!»

Не успѣлъ онъ выговорить приказанія, одинъ лакей отворилъ двери, другой подхватилъ Татьяну, почти вбросилъ въ карету, дверцы захлопнулись, слуги вскочили на свои мѣста, кучеръ тронулъ возжами и карета поѣхала себѣ въ городъ. Всѣ зрители, кромѣ Кудима, были въ недоумѣніи. Онъ одинъ догадался въ чьи лапы попалась его дорогая находка, и не теряя ни мгновенія, поспѣшилъ на выручку; со слезами на глазахъ глядѣлъ онъ, какъ карета постепенно уходила изъ вида; наконецъ исчезла. Кудимъ не терялъ ни бодрости, ни надежды. Шелъ шибко, и уже при самомъ поворотѣ на Косатку встрѣтилъ погребальное шествіе, или какъ назвать, право не знаю. На простой телегѣ везли простой гробъ; извощикъ сидѣлъ на телѣгѣ; за гробомъ трое нищенокъ, и вотъ всѣ провожатые Лукерьи Ивановны... Кудимъ остановился.

— «Вотъ тебѣ и притча! А могила-то почитай не начата,» сказалъ онъ: — «ну, да я только бѣду мою передамъ доброй барынѣ; ужъ и недалече; а тамъ махну, что силы хватитъ; пока отпоютъ, могила готова будетъ. Не глубокая, да на бѣдность станетъ...»

Повернувъ на Косатку, не успѣлъ Кудимъ пройти и двадцати шаговъ, какъ повстрѣчалъ вчерашняго старика въ военномъ сюртукѣ. «Куда, батюшка?» спросилъ онъ, кланяясь офицеру.

— «Да на Овражекъ. То и дѣло всю ночь твоя Лукерья Ивановна снилась.»

— «Сны, батюшка, и туда и сюда толковать можно.»

— «Знаю, что и мои не вѣщіе; иду такъ, изъ любопытства, посмотрѣть на покойницу.»

— «Да не далече ли для вашей милости будетъ?»

— «А что?»

— «Понесли Лукерью Ивановну на кладбище. Такъ изъ одного-то любопытства, чтобы ноги не заболѣли.»

— «А что имъ дѣлать; пусть ходятъ; маршъ!»

И старикъ пошелъ. Кудимъ призадумался.

— «Что за диво, только мнѣ кажется будто я этого старика гдѣ-то видалъ и голосъ его слышалъ! Неужто и мой сонъ что нибудь да значитъ? Полно, Кудимъ! Гляди, не опоздай! Солнце поднялось. Проворнѣе! Вотъ тебѣ разъ; все заперто; всѣ спятъ; постучаться, что ли?»

Кудимъ постучался въ калитку; никто не отзывался; Кудимъ еще разъ; ни отклика; за третьимъ разомъ — послышались легкіе шаги; калитку отворила — сама добрая барыня, Марья Осиповна; она была въ утреннемъ платьѣ; блѣдна, глаза красны, ночной чепчикъ придавалъ ей видъ еще болѣе печальный.

— «Господи, Боже мой!» воскликнулъ Кудимъ, отступивъ въ невольномъ изумленіи и, указывая на уходившаго офицера, спросилъ: — «Простите, матушка, боярыня, не осерчайте за спросъ.»

— «Что такое!»

— «Что ты, матушка, знаешь этого старинушку.»

— «Нѣтъ, Кудимушка!»

— «Дивно, право, дивно.»

— «А что?»

— «Нѣтъ, ничего, такъ, бѣда у меня большая. Коли можешь, помоги!»

— «Пожалуй сюда, Кудимушка; тутъ на улицѣ неловко; а чтобы никого небудить, пойдемъ въ садъ!»

—

ГЛАВА ПЯТАЯ.

ЧУДАКИ.

— «Ну, Кудимушка! Что тамъ у тебя, разсказывай!»

— «Грѣхъ, бѣлая барыня, большой грѣхъ. Унесли у меня Таню...»

— «Что ты говоришь, Кудимушка! Дочку?..»

— «Все одно, что дочку. Богъ мнѣ ее подарилъ; люди отняли.»

И Кудимъ разсказалъ, что зналъ. Разсказъ увлекъ Марью Осиповну; нѣсколько разъ спрашивала она, какъ зовутъ несчастную? Имя Татьяны, казалось, напоминало ей что-то. Она призадумывалась и снова разспрашивала о томъ, что уже

нѣсколько разъ слушала. Наконецъ, съ чувствомъ, съ увлеченіемъ, Марья Осиповна топнула ногой и сказала рѣшительно:

— «Я спасу ее, я выручу.. во что бы то ни стало. Я сама испытала уничиженіе бѣдности... О, много, много испытала я! Но никогда не знавала счастія.»

— «Ты — матушка?»

— «Я, добрый старикъ! Я! — Странно, глядя на тебя, мнѣ все сдается, что ты тотъ благодѣтельный пустынникъ, о которомъ я читала въ одной книгѣ... Мнѣ кажется, что ты принесъ мнѣ счастіе, что твое появленіе раскрываетъ для меня другую будущность. Научи, наставь, я все сдѣлаю, чтобы вырвать твою Таню изъ рукъ коршуна...»

— «Матушка — голубушка! И ты безсчастная! Не бывать тому; это Божіе испытаніе; это дождь небесный; взбрызнетъ, взмочитъ и пойдутъ райскіе дни.»

— «Кирилло! Прикажи закладывать лошадей!» закричала Марья Осиповна, выбѣгая на дворъ, гдѣ люди уже суетились, приступая къ ежедневнымъ своимъ занятіямъ.

— «Куда такъ рано?» спросилъ Кирилло, привыкшій командовать въ домѣ.

— «Не твое дѣло! Сказано, такъ слушаться, а не умничать!.»

Кирилло и люди оцѣпенѣли. Никогда еще отъ Марьи Осиповны не слыхали подобныхъ словъ; никогда не подозрѣвали, что она имѣла свою волю, и вдругъ... Сомнительно смотрѣли они на Кудима и

приписывали энергію барыни его чарамъ. Кудимъ стоялъ, сложа руки, и съ умиленіемъ глядѣлъ на Марью Осиповну. Душа его радовалась, сердце билось; въ придачу, что-то неизвѣстное, странное шевелилось въ груди его; онъ то и дѣло думалъ, то про Таню, то про офицера, то про покойницу Лукерью. Между тѣмъ люди, опомнясь, повиновались. Самъ Кирилло, схвативъ метелку, которою собирался чистить барское платье, побѣжалъ къ каретѣ и обметалъ пыль съ сидѣнья.

— «Но, Кудимушка, ты долженъ ѣхать со мной; мы должны разузнать, разспросить въ гостиницѣ...»

— «А покойница Лукерья будетъ дожидаться, что-ли? Ей и такъ уже надоѣло на этомъ свѣтѣ. И батюшка разсердится...»

— «Такъ я сама все сдѣлаю. Заходи, какъ управишься, а мнѣ же такъ не ѣхать: надо надѣть шляпку, шаль... Ну, прощай, и будь спокоенъ!..»

Мгновенно одѣлась Марья Осиповна; нѣсколько времени дожидалась кареты; наконецъ запрягли, подъѣхали.

— «Кирилло, поѣзжай со мной!..»

— «А если баринъ проснется?»

— «Перевернется на другой бокъ и заснетъ крѣпче прежняго. Ѣдемъ!..»

Кирилло былъ совершенно смущенъ. Самъ не зная, какъ схватилъ шапку, усадилъ барыню, сталъ на запятки. Карета выѣхала на улицу, и остановилась.

— «Куда ѣхать?»

— «Въ гостинницу!» раздалось изъ кареты.

Кучеръ туда зналъ дорогу очень хорошо; пріѣхали; навстрѣчу выскочилъ косой Ноготокъ; гостья перепугала его и своимъ появленіемъ и вопросами.

— «Сегодня у васъ тутъ украли молодую дѣвушку...»

— «Нѣтъ, матушка-боярыня, не украли. Были воры, правда, да господинъ, что въ пятомъ нумерѣ, выручилъ. Правда, воры ему руку повредили, да ничего; былъ уже лекарь, перевязалъ руку, ни почемъ; бравой такой; ходитъ...»

— «Да гдѣ же дѣвушка?»

— «Не могимъ знать! Говорятъ кучера, будто съ офицеромъ тотъ господинъ ее отправилъ...»

— «Что за чепуха!» подумала Марья Осиповна.

Все это было такъ не сходно съ разсказомъ Кудима. Желая открыть скорѣе истину, Марья Осиповна сказала:

— «Веди меня къ этому господину; отъ тебя толку не добьешься.»

Косой повиновался. Безъ всякихъ предосторожностей вошла гостья въ пятый нумеръ. Евгеній сидѣлъ съ перевязанною грудью и съ подвязанною рукою на диванѣ, въ халатѣ; увидавъ гостью, онъ позабылъ про свое дезабилье, вскочилъ и спросилъ торопливо:

— «Вы за ней? Не правда ли? О, если бы я зналъ, что мои раны такъ ничтожны, никогда бы этотъ негодяй не увезъ бы этой несчастной! Я

уже послалъ за здѣшними властями; можетъ быть, они успѣютъ спасти ее...»

— «Она уже здѣсь; но едва ли въ лучшихъ рукахъ!»

— «Что вы говорите!»

— «Я только хотѣла узнать подробности ея похищенія, чтобы дѣйствовать рѣшительнѣе... Но, простите моей нескромности, скажите, отчего вы узнали, что я именно пришла за ней?»

— «Теперь я самъ объ этомъ думаю и удивляюсь моему вопросу. Странно! Не понимаю, отчего я угадалъ, что она должна быть ваша родственница...»

— «Родственница! Вы ошибаетесь! Нѣтъ, нѣтъ, вы правы; она несчастна, и потому мнѣ съ родни... Но перестанемъ объ этомъ! Теперь надо не болтать, а дѣйствовать. Она здѣсь! Ее перехватилъ на дорогѣ злодѣй, отъ котораго она бѣжала. Надо открыть этого злодѣя: гдѣ онъ остановился? кто онъ? надо предупредить его; иначе онъ можетъ уѣхать, скрыться, и всѣ наши усилія окажутся напрасными.»

— «Но вы знаете его?»

— «Нѣтъ.»

— «Знаете ее?»

— «Нѣтъ! Какое намъ до нихъ дѣло! Несчастная, вотъ и все тутъ. Къ тому же, въ этомъ несчастіи кроется страшная тайна. Ваши раны говорятъ въ вашу пользу. Помогите мнѣ!..»

— «Всѣми силами, всѣми средствами!»

— «Такъ ищите его, ее; а я поѣду къ губернатору!»

— «Вы?»

— «Что же тутъ удивительнаго?»

— «Пропасть! Я пораженъ вашимъ великодушіемъ! Я не вѣрю, что я не сплю! Позвольте коснуться руки вашей...»

— «Извольте!»

— «Господи! Я радъ вѣрить, я готовъ думать... Но ваша одежда, экипажъ... Право...»

— «Да перестаньте дурачиться!.. Хотите быть моимъ союзникомъ, такъ одѣвайтесь...»

— «Простите... Извините... Мой костюмъ... Такая внезапность... Такое счастіе...»

— «Ну, такъ прощайте!»

Марья Осиповна ушла; но Евгеній, кутаясь въ халатъ, кричалъ ей вслѣдъ:

— «Клянусь вамъ честію! Я отыщу, я исполню вашу волю...»

Она не слушала его; она уже катила къ губернатору; хотя было очень рано, но у губернатора были уже должностные гости. Онъ былъ одѣтъ какъ слѣдуетъ; принималъ какъ слѣдуетъ.

— «Какая-то дама хочетъ васъ видѣть,» возгласилъ лакей.

— «Кто?»

Лакей повторилъ.

— «Пусти въ кабинетъ! Ну, братъ, а ты прощай до обѣда...»

Губернаторъ ушелъ въ кабинетъ; Тарсовъ вытянулся и черезъ мгновеніе опять сложился въ почтительную фигуру. Въ самыхъ дверяхъ съ нимъ столкнулась, чуть его не опрокинула, и пропорхнула въ

кабинетъ Марья Осиповна; Тарсовъ остолбенѣлъ; лице ему показалось знакомымъ; онъ уже рѣшился было остаться, подслушать разговоръ, но Гримасниковъ изъ прихожей подавалъ ему такіе знаки, противу которыхъ онъ устоять не могъ. Въ прихожей никого не было, кромѣ Кириллы, да и тотъ такъ ловко усѣлся въ углу, за плащами, что его совсѣмъ не было видно.

Гримасниковъ хотѣлъ было откланяться, но сильный знакомый звонъ колокольчика его остановилъ. Не ошибся секретарь: его позвали къ губернатору.

Марья Осиповна вышла. Въ прихожей ударилась въ слезы, и, обратясь къ Кириллѣ, сказала съ чувствомъ:

— «Другъ мой, Кирилло, что́ намъ дѣлать? Я ничего не узнала!»

— «Матушка Марья Осиповна! Поѣзжайте къ Иколочкину.»

— «Вези меня куда знаешь, лишь бы спасти несчастную, лишь бы поставить на своемъ!»

У самаго крыльца Иколочкина карета остановилась; кто-то гнался за нею.

— «Узналъ, открылъ!» кричалъ Евгеній.

Марья Осиповна выскочила изъ кареты.

— «Узнали? открыли? Не мучьте! Говорите!»

— «Никаноръ Ивановичъ Тарсовъ; онъ только одинъ и пріѣхалъ сего́дня въ городъ; онъ точно захватилъ дѣвушку противу кладбища... Тутъ есть тайна!»

— «Мы раскроемъ ее! Дома господинъ Иколоч-

кинъ?» спросила Марья Осиповна у лакея, который на стукъ кареты выбѣжалъ на крыльце.

— «Дома!»

— «Вставши?»

— «Давно.»

— «Веди меня къ нему!»

— «Надо доложить.»

— «Не нужно. Время не терпитъ.»

И Марья Осиповна вошла въ кабинетъ Иколочкина вмѣстѣ съ слугою. Иколочкину было лѣтъ за пятьдесятъ, но лицемъ онъ былъ свѣжъ, румянъ. Бархатный домашній сюртукъ и золотая шапочка составляли утренній его костюмъ. Увидавъ незнакомую даму, онъ привсталъ съ мѣста, посмотрѣлъ значительно на слугу, указалъ на кресла, самъ сѣлъ и спросилъ:

— «Что́ вамъ угодно?..»

— «Вашей протекціи...»

— «Но по какому поводу?»

— «По самому странному, необыкновенному. Вотъ въ чемъ дѣло.»

И Марья Осиповна разсказала всю исторію такъ обстоятельно, такъ краснорѣчиво, такъ увлекательно, что Иколочкинъ вытаращилъ на нее глаза и слушалъ съ жадностію и удивленіемъ. Кончила Мери и задумалась. Старикъ протеръ глаза, снялъ шапочку и, собравшись съ мыслями, сказалъ:

— «Странная исторія! Странная и заступница! Знаете ли, душа моя, что я не люблю женщинъ...»

— «За что́?»

— «Спросите у нихъ!»

— «Но что же онѣ вамъ сдѣлали худаго?»

— «Много!»

Старикъ потеръ лобъ и, опустивъ глаза, продолжалъ:

— «Много! Во первыхъ, я остался холостякомъ, по ихъ милости. Во вторыхъ, онѣ осаждали, и до сихъ поръ осаждаютъ женитьбой не меня, но мое богатство; мучатъ, терзаютъ меня... Все это можно бы имъ простить... но у меня два племянника, Егоръ и Степанъ. Степанъ женился безъ моей воли, Богъ знаетъ на комъ. Егоръ увѣряетъ меня, что не послѣдуетъ примѣру брата; но я уже никому не вѣрю...»

Можно себѣ представить весь ужасъ положенія Марьи Осиповны. Она съ глазу на глазъ съ злѣйшимъ своимъ врагомъ, съ дядей милліонеромъ, который отрекся отъ племянника изъ-за нея... Это онъ произнесъ страшный приговоръ, который чуть было не убилъ ее въ саду...

Марья Осиповна поблѣднѣла; но мысль о спасеніи Тани спасла и ее. Она поняла необходимость притвориться, лгать, перемѣнить фамилію и неколебалась ни мгновенія. Старикъ задумался и далъ ей время совершенно оправиться и обдумать свое положеніе.

— «Много, много!» повторилъ онъ, качая головой: «Но, душа моя,» прибавилъ онъ съ улыбкой: «ты не должна этого пугаться! Ты не женщина, —ты не похожа на женщину. Я твой адвокатъ!»

— «Неужели?»

— «Меня называютъ чудакомъ... Но такого

чудака, какъ ты, душа моя, я не встрѣчалъ въ моей жизни. Твой подвигъ — пища для клеветы и предметъ, достойный удивленія. Впрочемъ, ты совершила свой подвигъ; остальное я беру на себя.»

— «Дядюшка!»

— «О, какъ бы я желалъ, чтобы это была правда... Но я точно чудакъ. Я обращаюсь съ вами такъ фамиліярно, не имѣя чести знать...»

— «Пустяки, пустяки! Что за счеты! Для диковинки останемся такъ, знакомыми незнакомцами. И я услышала вашу фамилію въ первый разъ, и прямо къ вамъ... Послушайте, конечно, это вамъ непонравится, это будетъ уже своенравіе... но...»

— «О, душа моя, говорите прямо! Я вамъ впередъ все обѣщаю...»

— «Дайте мнѣ слово, что вы никогда не будете стараться узнать: кто я? Неспросите у другихъ, если меня увидите ..»

— «Странно! Но извольте! Однакожъ мы заболтались, а бѣдная Таня... Я сей часъ ѣду къ моему благопріятелю. Какъ же и когда мы увидимся?»

— «Когда назначите, я пріѣду къ вамъ...».

— «А если будутъ чужіе?..»

— «Все равно. Меня здѣсь никто не знаетъ.»

— «А губернаторъ?»

— «Я и ему не сказала моей фамиліи.»

— «Странно, странно! Но это мнѣ нравится. Все это непохоже на обыкновенную женщину... И такъ, душа моя, пріѣзжай сего дня. Я соберу къ

себѣ на вечеръ всѣхъ здѣшнихъ дамъ. Пусть посмотрятъ на мой идеалъ женщины! И такъ, до свиданья!»

— «Не забудьте моей Тани!..»

— «Память о васъ и о ней напомнитъ! Странная женщина!»

—

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

СВИДАНІЕ.

Все нами описанное въ предшествовавшей главѣ сбылось въ нѣсколько часовъ; но пока Марья Осиповна такъ странно познакомилась съ Евгеніемъ, губернаторомъ и чудакомъ дядюшкой, и хлопотала по городу, — за городомъ повѣсть наша также быстро подвигалась къ развязкѣ. Военный сюртукъ не послушался Кудима и пошелъ на кладбище, куда, какъ вамъ извѣстно, ломовой повезъ Лукерью Ивановну на послѣднее жилище. Пройдя заставу, военный сюртукъ впалъ въ глубокую задумчивость. Время было жаркое; потъ катился съ него градомъ; онъ снялъ фуражку, разстегнулся и шелъ себѣ, куда глаза глядятъ, опираясь на толстую дубину. Сѣдые волосы его были тщательно приглажены; сзади косичка обличала воина старыхъ временъ: вотъ, видите, какъ это было давно; едва ли кто изъ васъ, благосклонные читатели, запомнитъ то время, когда родился нашъ военный сюртукъ. Старичекъ былъ сухъ, костлявъ, обтянутъ кожей, будто обоями, такъ плотно; но въ поступи, въ осанкѣ, въ лицѣ, въ глазахъ было что-то

воинственное, что придавало ему и важность и пріятный видъ. Какъ ни привыкъ онъ къ пѣшеходству, но зной и воспоминанія утомили его; онъ почувствовалъ усталость и сѣлъ на большомъ камнѣ близь дороги, подъ сѣнью одинокаго дуба. Воспоминанія увлекли его; просидѣлъ бы онъ тутъ долго, если бы Кудимъ, исполнивъ наказъ своего сердца, не возвращался тѣмъ же путемъ на кладбище.

— «Что, баринъ!» сказалъ онъ, равняясь съ придорожнымъ камнемъ: «На мое вышло! Усадьба Кудимова не близко!»

Старикъ бодро всталъ, оправился и, не отвѣчая на рѣчь Кудима, пошелъ съ нимъ рядомъ.

— «Эвона!» сказалъ Кудимъ: «Чай мы опоздали. Батюшка у насъ такой исправный; покойника не задержитъ. Ну, да какъ узнаетъ, съ Кудима не взыщетъ. Онъ же меня творить добро учитъ.»

Старикъ все молчалъ и шелъ дальше.

— «Такъ и есть!» опять сказалъ Кудимъ, почесываясь: «Вонъ уже и гробъ поставили у могилы, а яма еще не готова.»

И точно. Съ дороги очень легко можно было видѣть, что на кладбищѣ, на небольшомъ пригоркѣ стоялъ деревянный неокрашенный гробъ, возлѣ священникъ съ дьячками и тремя или четырьмя нищими. Священникъ встрѣтилъ Кудима кроткимъ упрекомъ:

— «Что ты это, Кудимъ! За тобою этого не водилось.»

— «Не пеняй, батюшка, послѣ все разскажу, а яма у меня сама выкопается.»

И въ то же мгновеніе Кудимъ распоясался, снялъ кафтанъ, взялъ у нищаго изъ рукъ заступъ и принялся за свое дѣло. Не успѣлъ онъ отбросить двухъ или трехъ комовъ земли, какъ вдругъ гробъ, стоявшій на косогорѣ, зашатался. Все предстоящіе, безъ исключенія, вздрогнули; нищіе хотѣли посмотрѣть, что объ этомъ думаетъ священникъ; но его уже не было. Во ожиданіи, пока Кудимъ выкопаетъ могилу, онъ ушелъ съ дьячками въ церковь... Страхъ ихъ возросъ, когда изъ гроба послышался глухой стонъ; вслѣдъ-затѣмъ раздался слабый стукъ въ крышку, и нищіе ударились бѣжать; Кудимъ оцѣпенѣлъ; одинъ только старикъ сохранилъ присутствіе духа, бросился къ гробу, не безъ усилія оторвалъ плохо приколоченную крышку, и отступилъ въ ужасѣ... Блѣдно-желтое, изсохшее лице лежало на грубой подушкѣ и глядѣло прямо на него неподвижными, впалыми глазами... Старикъ, уронивъ крышку, схватился обѣими руками за голову.

— «Господи Боже мой!» закричалъ онъ неистово: «Это ты! Моя Лукерья!..»

— «Что вы это хотѣли сдѣлать со мной?» спросила она слабымъ голосомъ: «Похоронить живую?.. Зачѣмъ опоздали?!» — И слезы полились изъ тусклыхъ очей.»

— «Благодари Бога, Лукерья! Это Его святая воля. Вотъ орудіе Его промысла! Вотъ твой спаситель невольный!—Кудимъ, ты спасъ мою жену!»

Заступъ вывалился изъ рукъ Кудима; женщина выскочила изъ гроба и, схвативъ старика за го-

лову обѣими руками, впилась въ него глазами, которые стали страшны; губы ея дрожали, какъ будто силясь сказать что-то. Наконецъ, разными голосами, въ которыхъ раздавался то пискъ, то хрипѣніе, произнесла старуха: «Осипъ? Ты ли!..»

— «Я, мать моя, красавица горемычная!» — Старикъ зарыдалъ, старуха завопила; въ этомъ воплѣ были буквы, но эти буквы не составляли слова; съ страшнымъ своимъ воплемъ она упала безъ чувствъ на земь и по косогору скатилась въ яму къ Кудиму...»

Нищіе уже дали знать въ церковь о странномъ событіи; священникъ поспѣшилъ на мѣсто дѣйствія, удивился не мало, но не оставилъ несчастныхъ безъ помощи. По его совѣту, Лукерью подняли, стали приводить въ чувство, что шло весьма медленно. На кладбищѣ, кромѣ Кудимоваго шатра и сторожекъ, никакого жилья не было.

— «Снесемъ Лукерью Ивановну ко мнѣ въ сторожку,» сказалъ Кудимъ: «а я сбѣгаю на овражекъ, что за мостомъ у лѣса; тамъ пустой домъ торчитъ, вымерочная усадьба; вотъ уже больше года нѣтъ хозяина. До города далече, а тутъ пока оправится; и отъ жара и отъ сырости все-таки есть защита... Ну, до свиданія!»

Пока приводили въ чувство Лукерью Ивановну, Кудимъ сбѣгалъ и возгласилъ съ торжествомъ:

— «Наша взяла! И кровать есть, и не одна, и кружка съ квасомъ стоитъ, будто сегодня поставлена... Несите, несите за мною!»

Отъ кладбища до выморочной усадьбы было съ полверсты. Своротивъ съ большой дороги и миновавъ лѣсокъ, который закрывалъ усадьбу со всѣхъ сторонъ, шествіе очутилось на небольшой площадкѣ, густо заросшей травой; дворъ и домъ въ два жилья, къ общему удивленію, были въ порядкѣ, какъ будто тутъ и теперь живутъ люди. Но Кудимъ былъ правъ; въ домѣ не нашли живой души. Лукерью уложили на опрятную койку, возлѣ которой рядышкомъ стояло еще нѣсколько самодѣльныхъ коекъ, покрытыхъ соломой и цыновками. На столѣ, точно, стояла огромная кружка съ свѣжимъ квасомъ. Нищіе ушли; остались только Осипъ, Лукерья и Кудимъ. Ей было уже полегче; она порывалась говорить, но Кудимъ, по званію сельскаго медика, запрещалъ ей держать слово.

— «Отдохни маленько! Выпей кваску! Посвѣжѣешь! Видишь, вѣдь оно и съ болѣзни встанешь, такъ всяческая хилость въ костяхъ, а ужъ со смерти встать, тутъ слабота еще пуще... А вы, батюшка Осипъ, отчества не вѣдаю, ты вотъ насупротивъ койки присядь, да и разсказывай быль, али сказку, только знаешь, позабористѣе, чтобы Лукерью Ивановну распотѣшить... смѣхъ тотъ же лекарь... Ну-ка, сказывай, не кобенься; а не то, я отхватаю про чернаго богатыря, что жилъ-былъ три сотни лѣтъ съ медвѣжьими лапами, которыя ему за разбой и всякое воровство честный пустыльникъ приставилъ... Али другую! Ты только заказывай!.. Лишь бы ма-

тушку Лукерью Ивановну мнѣ отстоять отъ недуга.»

— «Добрый Кудимъ!»

— «Сказано, не болтать! Слово скажешь, уйду и не вернусь.»

— «Нѣтъ, добрый Кудимъ, не уходи! Конечно, мы пятнадцать лѣтъ не видѣлись, такъ есть о чемъ поразсказать другъ дружкѣ; я оставилъ при матери двоихъ дѣтей; такъ есть о чемъ порасспросить.»

Лукерья закрыла глаза рукою. Осипъ поблѣднѣлъ и продолжалъ дрожащимъ голосомъ:

— «Другъ мой, я не спрашиваю о нихъ! Да будетъ Его святая воля! Я нашелъ тебя, и гдѣ, и какъ... Могу ли не благодарить Господа за такія милости... Конечно... отцевскому сердцу простительно.»

— «Да ты, батюшка,» перебилъ Кудимъ: «прежде мужъ, а потомъ уже отецъ. Такъ начинай съ себя! Гдѣ ты пропадалъ цѣлый вѣкъ?»

— «Ахъ, Кудимъ дорогой, не зналъ ты насъ въ счастливые годы! Теперь мнѣ еще не сполна пятьдесятъ, а тогда было тридцать съ хвостикомъ.»

Кудимъ всталъ. Осипъ, не замѣчая его почтительнаго движенія, продолжалъ.

— «Своего родоваго имѣнія за сто душъ. Воротилося я изъ Туреччины въ Москву съ Георгіемъ на груди; объѣхалъ родню и знакомыхъ; увидалъ Лукерью Ивановну — отъ Турка ушелъ, а къ ней попалъ въ полонъ.»

Осипъ отеръ слезу и продолжалъ.

— «И теперь старинной тряхнула досадная шутка; а бывало, и въ горѣ, и въ радости — шутка у меня, что добрый денщикъ служила! Помнишь, Лукерья!»

Лукерья улыбнулась и протянула мужу руку. Онъ схватилъ ее съ чувствомъ, поцѣловалъ, прижалъ къ сердцу, просіялъ внутреннею радостью, помолодѣлъ и какъ будто десятокъ лѣтъ съ плечъ долой; всталъ Осипъ, пріосанился, подбоченился и сказалъ весело:

— «Эхъ, Лукерья! Не воротить стараго, за то будущее наше! Слаще медъ послѣ перцу! А ужъ задали мнѣ перцу окаянные! Не истомлю я тебя, Лукошка ты моя, старой бѣдой; разскажу будто реляцію... Такъ видишь, Кудимъ...»

— «Вижу, ваше благородіе!»

— «Что ты это, Кудимъ! Что за счеты! Полно, садись, да слушай! Нѣтъ, братъ, извини! Ужъ хотя я и по его милости съ проклятыми клопами жилъ, а все-таки Гудовичъ мнѣ зла не желалъ! Женился я. Прошолъ годокъ, Богъ семьей ущедрилъ; другой годъ другое дитя! Ну, думаю себѣ, этакъ пожалуй, и до смерти въ поручикахъ засидишься. Слышу, моего генерала на Кавказъ послали. Я говорю женѣ: Ну, пора мнѣ за саблю приниматься. Побью кавказскіе народы, ворочусь къ тебѣ капитаномъ. Ступай съ Богомъ, говоритъ жена. Твоя правда... Я поцѣловалъ жену, дѣтей, на телѣгу, покатилъ на Кавказъ; прямо къ Ивану Васильичу, а тотъ меня прямо въ дѣло.

Давай мы съ нимъ брать горскую крѣпость Анапу. Ухъ, жарко, какъ вспомню. Турокъ, Татаръ, Черкесовъ, — маку не надо — что песокъ морской, Смѣются, окаянные, нашей силѣ не вѣрятъ; мы ихъ въ лапы; послали имъ самыхъ крупныхъ орѣховъ; по небу, будто змѣи съ погремушками, залетали; на ночь мы себѣ и состряпали иллюминацію: загорѣлась Анапа... Иванъ Васильичъ и послалъ меня, да еще съ другимъ, сказать пашѣ, что намъ его и турецкаго войска не надо; пусть только городъ отдастъ. Паша замоталъ головой; мы плюнули и воротились, а онъ въ насъ изъ пушекъ такъ и жаритъ. Э, коли такъ, говорю я товарищамъ, пусть извинитъ, возьмемъ Анапу! — Возьмемъ, Осипъ Семенычъ! Что за невидаль такая, Анапа! Возьмемъ! — Сказали мы Ивану Васильичу, что паша безтолковъ и надо взять Анапу руками. — Я тоже думаю, отвѣчалъ Гудовичъ, и завтра благословясь, возьмемъ крѣпостушку. — Хороша крѣпостушка! Рвы камнемъ выложены; гарнизона, почитай, больше чѣмъ арміи, а съ боковъ, будто мухи, черкесскія пули жужжатъ. Знай отмахивайся. Ну, да слово сказано, дѣло сдѣлано. Пошли! Пушки маршъ заиграли, да такой громкій, что не ноги по землѣ, а земля подъ ногами заходила. Намъ до нихъ что за дѣло! У насъ своя музыка; мы подъ нее пошли; сбили Турокъ, спустились въ ровъ, приставили лѣстницы, полезли; Турки на дыбы. Врешь — не устоишь! Осипъ Семеновъ сынъ Койнеевъ первый шагнулъ въ Анапу; тутъ ужъ пошла потѣха. Пушками въ са-

мый носъ не выстрѣлишь. Пушка изблизи, что Ѳедора; — велика, да дура. Тутъ ужъ лобъ на лобъ, рука на руку; тутъ ужъ не пустая похлебка, а жирная каша пошла. Сначала Турки храбрились, да гдѣ имъ противу нашего глаза устоять? Мигнешь, гаркнешь, — супостатъ такъ и валится. Спѣшили; аккорду просить; поздно. Кто въ полонъ отдавался, кто въ морѣ утонулъ — Анапа наша! Мортиръ, пушекъ, знаменъ, бунчуковъ, хоть граблями загребай! Гляжу, Мустафа Паша, Баталъ Паша и Шихъ Мануръ на веревочкѣ сидятъ. Много легло и нашихъ, да ужъ такого дѣла не сваришь безъ потери. Пошли награды; и меня не забыли: капитаномъ сдѣлали и къ Шамхалу Тарковскому послали. Въ огнѣ отъ меня и смерть и бѣда уходили, а тутъ злодѣй, изувѣръ этакой, посланника въ полонъ захватилъ. Что на мнѣ было, все обобрали; связали какъ курицу и, чертъ ихъ вѣдаетъ, куда отослали. Охъ, Лукерья! Неприведи Богъ, что я въ этомъ плѣну вытерпѣлъ. Добро бы у меня былъ одинъ хозяинъ; а то, сегодня одинъ, завтра другой; у этого барановъ пасти, у того шелкъ мотай, а у третьяго дворъ мети! Сталъ я ихъ языкъ разбирать, и свѣдалъ, что я въ Хивѣ, у самаго хищнаго народа. Тяжела была работа; видишь, посѣдѣлъ я по первому году моей бѣды. Случись такъ, что купеческій караванъ пришелъ: тамъ и наши были; я съ ними, да ба; поймали да, — страхъ разсказывать, — нагишемъ въ яму посадили, а въ той ямѣ земляные клопы чуть живаго не съѣли... Выручилъ меня одинъ изъ ста-

рыхъ моихъ хозяевъ, выкупилъ изъ ямы, да не къ добру: на цѣпь посадилъ у своего сарая вмѣсто собаки. Боже всемогущій! Четырнадцать слишкомъ лѣтъ такого позора душу изъѣли... Но я не унывалъ. Молился Богу не за себя—я желалъ смерти: я молилъ Бога за тебя и дѣтей нашихъ... Ну, чтобы не мучить тебя, скажу вамъ, что хозяинъ мой, хотя и былъ звѣрь, да купецъ; и онъ ходилъ съ караванами своими далече. Пошли мы съ нимъ въ Дербентъ; шли долго и безпокойно; пришли; на мое счастье, ханъ хотѣлъ видѣть наши товары... съ товарами привели и меня. Ханъ узналъ, кто я, выкупилъ съ большою радостью, наградилъ казной, далъ лошадей и проводниковъ, и я, самъ не понимая, что со мною дѣлается, очутился въ Кизлярѣ. Тутъ только я узналъ, что ханъ нашей помощи противу сосѣдей ищетъ. Но я уже не вернулся въ армію. Я продалъ всѣхъ своихъ лошадей, оставилъ только одну; добылъ себѣ этотъ сюртукъ, казну уложилъ въ кожаный мѣшокъ и подъ рубашкой имъ опоясался... станетъ на новоселье! Выздоравливай, жена! Для васъ я сберегъ деньги... Я думалъ найдти тебя и дѣтей въ Москвѣ... Тебя нашелъ на полу-пути... Но гдѣ же дѣти?»

Послѣднія слова Койневъ произнесъ не безъ трепета. Больная слушала внимательно разсказъ мужа; но при послѣднемъ вопросѣ вздрогнула и закрыла рукою глаза...

— «Не мучь, жена! Прошедшаго не воротишь? Что жъ, умерли?»

— «Нѣтъ!.. Пропали безъ вѣсти...»

— «Какъ пропали!»

— «Моя очередь теперь разсказывать... Но я не въ силахъ... Осипъ, Осипъ... И на меня пришелъ черный годъ. Ты уѣхалъ!.. Я перебралась съ дѣтьми въ деревню; деревня сгорѣла; мужики разбрелись... я пошла по міру... съ дѣтьми... На ярмаркѣ, въ небольшомъ городишкѣ, я нашла добрыхъ людей... Одинъ взялъ къ себѣ одну дочь на воспитаніе, другой—другую: я кругомъ осиротѣла, но благословляла Божій промыслъ! Дѣти были такъ малы, что могли забыть насъ и наше несчастіе..и Одна я могла кое-какъ прокормиться работой, — кормилась, Осипъ, горькимъ хлѣбомъ...

— «Но кому же ты отдала дѣтей?»

— «Нищая, я не смѣла спрашивать, какъ зовутъ моихъ благодѣтелей! Только отъ людей я узнала, что тотъ, который взялъ старшую дочь, былъ Кивоткинъ... Пять лѣтъ прошло, я собрала силы и деньги на дальній путь... Но на половинѣ дороги въ И. не хватило ни силъ, ни денегъ. Уложили меня въ богадѣльню. Собралась я письмо написать; отвѣта не получила. Потомъ и много писемъ переслала и ни на одно не получила отвѣта... Года два тому назадъ, съ помощію добрыхъ людей перебралась я въ здѣшнюю провинцію, нашла помѣстье Кивоткина... да въ помѣстьи не нашла никого... перемерли... Я распросила людей... сказали, что дочь наша жива, да послѣ смерти Кивоткина, съ наслѣдниками уѣхала въ Москву. Стала я сбираться въ Москву, да, вотъ, болѣзнь придержала.»

Лукерья Ивановна примѣтно ослабѣла, Осипъ и

Кудимъ бросились къ койкѣ, но Койнева уже лишилась чувствъ и была совершенно какъ мертвая...

— «Ну, ужъ во второй разъ не обманешь!» сказалъ Кудимъ покойно: «Знаемъ, матушка, Лукерья Ивановна, что ты не умерла, а такъ, отъ бѣды, одурѣла. Такъ теперь, батюшка Осипъ Семеновичъ, я схожу по своему дѣлу, а послѣ вечерень опять зайду. Не нужно ли чего изъ города? Я съ собой захвачу...

— «Мнѣ нужно дѣтей, Кудимъ! Дѣтей! Можетъ быть, они на краю гибели! Можетъ быть...

— «Ничего не можетъ быть безъ воли Божіей! И дѣти найдутся, и Господь Богъ пошлетъ вамъ счастливую старость... Ну, прости, пока...»

И Кудимъ пошелъ въ городъ. Ѳонька Косолапый, о которомъ упоминалъ Савиллъ въ тайномъ разговорѣ съ Ноготкомъ, сидѣлъ въ артели у окна и смотрѣлъ прилежно на улицу. Когда вошелъ Кудимъ, онъ такъ былъ занятъ своимъ дѣломъ, что не замѣтилъ прихода могильщика. Кудимъ, въ свою очередь, осмотрѣвъ палату, не обратилъ вниманія на Ѳоньку, прошелъ на кухню, покушалъ въ одиночку, испилъ воды, вернулся въ палату, легъ на свою койку, укрылся съ головою, чтобы вздремнуть; да не тутъ то было. Косолапый сидѣлъ почти что у Кудимовой койки и безпрестанно дѣлалъ движенія, которыя обнаруживали сильное нетерпѣніе. Кудимъ приподнялъ кафтанъ, которымъ укрылся, и сталъ смотрѣть однимъ глазомъ въ эту щелку на неспокойнаго Ѳоньку. Прошло нѣсколько минутъ,

на лицѣ Ѳони блеснуло выраженіе удовольствія, и вслѣдъ затѣмъ въ палату вошелъ Ноготокъ. Перекрестился на образа, тщательно осмотрѣлъ палату и тихо подошелъ къ Косолапому...

— «Здорово ли живешь?»

— «А не то, что живешь здорово?. »

— «Нѣтъ, не то...»

— «Такъ что же тамъ? Разсказывай проворнѣе..»

— Э! Нѣтъ, Ѳоня, отойдемъ къ другому окну.»

— «Отойдемъ.»

И Ноготокъ что-то съ жаромъ сталъ разсказывать. Ѳонька покачалъ головою, выползъ изъ палаты, скоро опять возвратился; вслѣдъ за нимъ одинъ, за другимъ, стали приходить разные мужики, которыхъ Кудимъ зналъ за добрыхъ и честныхъ работниковъ: тотъ былъ плотникъ, другой печникъ и каменьщикъ, третій мостовую мостилъ, и всѣ, къ удивленію Кудима, окружили Ноготка и распрашивали тихо. Наконецъ, какъ будто условясь, всѣ схватились за плохія дыравыя шляпы и ушли. Ноготокъ съ Ѳонькой убрались послѣдніе.

— «Тутъ что-то не ладно!» сказалъ Кудимъ подымаясь: «Погоди, Ноготокъ, отъ меня ты не утаишь тайности.»

Кудимъ одѣлся и опять отправился въ путь прямо къ гостинницѣ, куда Ноготокъ поспѣшно шелъ съ Ѳоней. Въ харчевнѣ Кудимъ нашелъ обычное собраніе. Не доставало только Ермолая Никитича съ балалайкой. За то Поль, или Павлуха, или Павелъ Кузьмичъ, камердинеръ Евгенія, влады-

чествовалъ полновластно надъ всею компаніей и приказывалъ себя подчивать въ очередь каждому гостю. Ноготокъ былъ уже за прилавкомъ, Ѳонька, съ совершеннымъ безстрастіемъ и молча, помогалъ ему. Когда вошелъ Кудимъ, Косой смутился и уронилъ съ подноса рюмку. Ѳонька нагнулся помочь ему и, услышалъ шепотомъ произнесенныя слова: «Берегись! Врагъ пришелъ.» Кудимъ подошелъ къ прилавку, взялъ деревянный табуретъ и усѣлся на мѣстѣ Савилла. Ноготокъ долго не могъ рѣшиться подойдти къ нему; наконецъ, уступая законамъ приличія, съ робостію подошелъ къ своему мѣсту.

— «Ну, Косой! А гдѣ Таня?...»

— «Какая Таня?...»

— «Э, да ты еще и чванишься! Погоди, братъ, съ нами такъ дешево не раздѣлаешься. Ты выдалъ, плутъ, Таню? Постой же, я съ тобой раздѣлаюсь!»

— «Не боимся мы такихъ сычей, какъ ты!» съ гордостью сказалъ Ноготокъ, замѣчая, что Кудимъ не знаетъ всей исторіи: «Намъ, простымъ людямъ, не приходится спорить.»

— «Правда твоя, Косой, да не приходится же намъ, простымъ людямъ, по честнымъ артелямъ заводить воровскія тайности. Вотъ, постой, прижмутъ тебя, да Косолапаго, такъ все разскажете... Куда ты? Неизволь отходить отъ меня ни на шагъ, а не то, закричу: воры! Добрые люди помогутъ, скрутятъ и тебя и Косолапку, и отведутъ въ полицію. Я, братъ, не спалъ; все слышалъ въ артели ..»

— «Кудимъ! Что ты, что ты?...»

— «Колдунъ! Я сплю, а у меня уши по артели ходятъ; все слышалъ, пришелъ снять съ тебя повѣрку...»

— «Кудимъ, батюшка, всю правду скажу, только не выдай!..»

— «Ну, такъ сказывай; а я посмотрю, какова твоя правда. Ну, выгружайся!»

— «Да знаешь, Кудимъ, если Ѳоня подмѣтитъ...»

— «Отошли Ѳоню, али какъ самъ знаешь, только отъ меня не отходи, не то закричу ..»

— «Эй ты, малый!» закричалъ половой на Ѳоньку: «Ступай-ко нацѣди свѣжаго квасу... На, ключи..»

— «Ну...»

— «Да зачѣмъ же тебѣ знать, коли ты слышалъ?»

— «Э, кобениться, — такъ не пеняй!»

— «Все скажу, Кудимушка, только не выдавай... Знаешь выморочную усадьбу?..»

Кудимъ кивнулъ головой.

— «На той усадьбѣ Савиловъ притонъ.»

— «Все это я знаю,» сказалъ Кудимъ съ притворнымъ спокойствіемъ: «да я оттуда Савила выживу; я себѣ завелъ колдунью; надо ей жилье по сосѣдству; такъ пусть себѣ Савилъ другаго притона ищетъ...»

— «Да вотъ въ чемъ бѣда, я ужъ въ толкъ не возьму. Видишь, тамъ съ Павлухой двое лакеевъ бражничаютъ...»

— «Вижу.»

— «Пришли, Кудимушка, сюда, да про Савила

спрашиваютъ. Не бывалъ ли тутъ? Не знаемъ, кто они, отъ кого подосланы; платье лакейское, а на видъ те... Смѣкаешь? Такъ я, кому надо, по артели объявилъ, а на сторожку Ѳовю сюда выманилъ... Онъ къ нимъ въ дружбу вотрется. Пусть разгуляются.»

— «Ну, а палатные-те куда пошли?»

— «Палатные? На притонъ, Савила искать; завѣтное слово ему понесли; онъ смѣкнетъ...»

— «А какое завѣтное слово...»

— «Вѣчный долгъ...»

— «Гм! Тутъ, Ноготокъ, есть тайность! Ты, Косой, подавай, что ни прикажу; заплачу, ты знаешь, а не то, другіе за меня заплатятъ. Колдуну деньгу не трудно промыслить. А если ты Косолапкъ про меня слово пикнешь, вотъ, не я буду, если я на тебя немочи не наведу. Ну, смотри же, держи ухо востро!...»

И съ этими словами Кудимъ всталъ и пошелъ прямо къ красному углу, гдѣ сидѣли два таинственные лакея и Павлуха.

— «Мѣсто старику!» сказалъ Кудимъ, и лакеи потѣснились...

— «Э, ты опять здѣсь, старый хрычъ!» — сказалъ Павлуха: «Теперь у меня команда получше; мы тебя, чуму этакую, дубьемъ проведемъ...»

— «Тише! Гляди, чтобы другой барскій чубукъ, что въ твоихъ рукахъ, я о твою спину не обломалъ. У меня за тобой — *вѣчный домъ.*»

Таинственные лакеи вздрогнули и посмотрѣли почтительно на старика, который по ихъ ногамъ

пробирался въ самый уголъ, и повторялъ: «Да, *вѣчный долгъ, вѣчный долгъ!*»

— «Вѣчный долгъ!» повторили оба лакея недовѣрчиво. Но Кудимъ, обратясь къ нимъ, сказалъ: «Вы угадали, ребята! Я съ платой за него! Чего хотите? Настойки, али мадеры...»

— «Настойки!» сказалъ съ жаромъ Павлуха: «Дешевле, да забористее.»

— «А ты чего? Пошелъ домой, не твое дѣло.»

— «Ахъ, ты харя этакая...»

— «Что же это, ребята? Такъ вы за посла не вступитесь?»

— «Убирайся, Павелъ Кузмичъ!.. Этого старика не гнѣви... больно будетъ,» сказалъ одинъ лакей съ нѣжностью...

— «Да вы то что?..» началъ, было Павлуха.

— «Да убирайся же къ нечистому!» сказалъ другой, толкнувъ Павлуху: «Не хотимъ твоего компанства — вотъ и все тутъ...»

— «Провалитесь же вы сквозь землю! Стану я съ такой дрянью водиться. Чучелы этакія! Мы и сами себя поподчивать съумѣемъ. Эй! Подай столъ и настойки! Поглядимъ, у кого карманы безъ дырокъ!... Свѣчку! Мы себѣ трубку закуримъ! Табачокъ въ бархатномъ кисетѣ не переводится...»

Павлуха продолжалъ важничать, а лакей, который, по видимому, былъ главный посолъ неизвѣстнаго человѣка, взявъ въ руки стаканчикъ съ настойкой и кивая Кудиму, сказалъ тихо: «А гдѣ же хозяинъ?»

— «Гдѣ ему быть слѣдуетъ. А развѣ что нужно?»

— «О томъ и рѣчь: гдѣ онъ сидитъ, въ острогѣ, или на волѣ?»

— «На волѣ...»

— «Близко...»

— «Возлѣ города...»

— «Только того и нужно. Пусть будетъ остороженъ. Слѣдъ нашли.»

— «Затремъ...»

— «Ну, такъ выпьемъ, Семенъ, да и пойдемъ.»

— «Эхъ вы безтолковые! Ну, добро, слухъ и слѣдъ нашли; а если хозяинъ понадобится, гдѣ станете искать? Опять по харчевнямъ...»

— «Правда твоя...»

— «То-то и есть. На меня старика, никто ничего худаго не подумаетъ, а на другихъ уже косо посматриваютъ... Коли что нужно будетъ, такъ кликните Кудима, а Кудимъ всегда въ артели безотлучно...»

— «Ну, спасибо, старикъ! Баринъ тебя наградитъ. Заходи въ сумерки. Знаешь куда?...»

— «А куда?»

— «На Косатку, въ Тарасовскія хоромы...»

— «Знаю, знаю...»

Кудимъ, не расплатясь, вышелъ вмѣстѣ съ таинственными лакеями, проводилъ ихъ до дому и, вспомнивъ объ опасности, какая угрожала новымъ его знакомцамъ, бросился со всѣхъ ногъ на выморочную усадьбу...

Было еще рано; Койневы сидѣли у окошка и

тихо бесѣдовали. Кудимъ прибѣжалъ во-время и кратчайшимъ путемъ; но едва успѣлъ увѣдомить объ угрожавшей опасности, какъ на площадкѣ послышались грубые голоса; Кудимъ зналъ всѣ закоулки ветхаго дома, гораздо лучше нежели шайка Савила, которая, по всѣмъ признакамъ, поселилась тутъ недавно. Не безъ труда перенесъ онъ Лукерью въ темную комнату, которая, вѣроятно, служила кладовою старымъ жильцамъ. Убѣжище было очень опасно, но Кудимъ зналъ превосходно географію и статистику этого дома, въ потьмахъ отыскалъ полку, снялъ и подперъ двери такъ плотно, что, въ случаѣ нападенія, могъ держаться въ укрѣпленіяхъ довольно долго; остальное Богъ подастъ — думалъ онъ. Всѣ трое умостились на полу и притаили дыханіе.

— «Нѣтъ Савила,» сказалъ кто-то въ сосѣдней комнатѣ...

— «А, видно, былъ недавно. Койки помяты, квасъ допитъ...»

— «Какъ себѣ хочетъ Савилъ, а эта усадьба на диво хороша; съ дороги не видать, а отсюда слышно — ѣдетъ ли барскій поѣздъ или тащится мужицкая телѣга: Золото, не притонъ! Ну, что теперь станемъ дѣлать?»

— «Пойдемъ искать Савила!»

— «Гдѣ его найдешь днемъ! Вѣдь онъ ночная птица. Подождемъ, пока смеркнется... А теперь въ картишки, али въ орлянку!»

— «Давай!»

И засусленныя карты захлопали; зажужжали пя-

таки; смѣхъ, гамъ, дикое веселье. Двери, то и дѣло, хлопали; одни уходили, другіе приходили и, видно, приносили съ собою разное питейное снадобье, потому что звенѣло стекло, разбойники похваливали напитки... Прошло не мало времени... Стемнѣло... Явился Савилъ... шумъ затихъ; стало смирно, какъ въ классѣ, когда придетъ учитель...

— «Ну, бравые ребята! Говорилъ я вамъ! Приходится откочевать!»

— «Какъ такъ!»

— «Это уже не ваше дѣло. Даю вамъ срока три дня! Разсчитывайтесь съ наемщиками. Кто хочетъ, оставайся на работѣ, только оповѣсти, а мы лѣсами пойдемъ въ дальній походъ. Въ эту провинцію ѣдетъ сыщикъ, идетъ большая команда. Когда ловцевъ переманимъ въ иное мѣсто, воротимся сюда, — вотъ и все тутъ...»

— «Да знаешь ли, Савилъ, что тебя ищетъ тутъ старый знакомецъ... Ноготокъ въ артель проходилъ, говорилъ, спрашиваютъ: вѣчный долгъ..»

— «Олухъ!»

— «А что такое?»

— «Ни мнѣ, ни ему нельзя жить въ этомъ городѣ... Дѣвчонка насъ продастъ; она все слышала!...»

— «Что такое?»

— «Да ужъ это не ваше дѣло! А хотѣлось бы мнѣ съ нимъ повидаться... Гдѣ Косолапый?»

— «Не приходилъ! Его утащилъ Ноготокъ...»

— «Ну, такъ дѣло на порядкѣ! Ступайте всѣ

въ артель, а ко мнѣ примлите Ѳоньку... Помните, ребята, три дня срока!»

Въ комнатѣ стало тихо, но затворники долго не рѣшались выйти. Наконецъ выпустили Кудима; онъ осмотрѣлъ непріятеля. Можно бы уйти совершенно безопасно, но Лукерья была такъ слаба, что о походѣ и думать было невозможно. Хоромы были въ два жилья. На верхній этажъ шла лѣстница со двора, на нижній вело крыльце съ большой площадки; все, что можно было сдѣлать, это переѣхать наверхъ, укрѣпиться, вооружиться и запастись провіантомъ. Такъ и сдѣлали. Перенесли наверхъ Лукерью, уложили на соломѣ; остатки разбойничьяго пира составили хорошій запасъ; забытый топоръ и ножъ Кудима образовали арсеналъ Осипа Семеновича. Двери подперли въ плотную и отправили Кудима въ городъ къ доброй боярынѣ съ просьбою прислать экипажъ за больною и съ порученіемъ нанять порядочную квартиру. Но, увы, Кудимъ пришелъ поздно. Добрая барыня уѣхала на вечеръ, куда и мы попросимъ нашихъ читателей.

—

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Какъ ни былъ богатъ Иколочкинъ, какъ ни желалъ блеснуть своимъ вкусомъ, великолѣпіемъ и угощеніемъ; но тогда еще и въ столицахъ не было многихъ предметовъ современной намъ роскоши, а въ провинціи гдѣ ихъ найти? Да и вечеръ Иколочкина былъ импровизированъ, сшитъ на живую нит-

ку. Въ комнатахъ горѣли восковыя свѣчи, но за то музыка доморощенная, состоявшая изъ четырехъ скрипокъ, двухъ альтовъ, одного контрабаса, нѣкоторыхъ духовыхъ инструментовъ, была вымыта, причесана, одѣта въ ливрейное платье, и при всемъ томъ играла польской: «Александръ, Елисавета, восхищаете вы насъ» не совсѣмъ складно. Иколочкинъ не былъ любителемъ музыки и держалъ капельмейстера изъ отставныхъ солдатъ; такъ что тутъ удивительнаго, если оркестръ шелъ плохо. Притомъ же гости, которые уже съѣхались въ немаломъ числѣ, подъ этотъ польской не танцовали, а ходили попарно, по три и т. д. по залѣ и любезничали. Лакеи усердно разносили: дамамъ шоколадъ,— таковъ былъ обычай,— мужчинамъ вино съ сладкимъ пирогомъ, — таково было заведеніе. Въ комнатахъ Иколочкина были многія дѣйствующія лица нашей повѣсти: Авдотья Семеновна, Клеопатра Кириловна, Евгеній; губернаторъ съ женою пріѣхалъ, раскланялся и отвелъ хозяина въ сторонку.

— «Ну, батюшка,» сказалъ онъ: «я исполнилъ твое желаніе. Да мнѣ что-то неловко. Вѣдь онъ пойдетъ жаловаться.»

— «Чувствительно благодарю. А про него не безпокойтесь! Я, такъ боюсь, чтобы онъ не ушелъ отъ жалобы. Слѣдуетъ запретить ему выѣздъ до раскрытія истины. Пусть объявитъ: кто она и какіе у него поводы къ такому съ нею поведенію? Я сообщилъ мои мысли Гримасникову и увѣренъ, что онъ не дастъ промаха.»

— «Гримасниковъ человѣкъ благонадежный! Ну, а гдѣ же ваша питомица?...»

Разговоръ былъ прерванъ появленіемъ Марьи Осиповны.

Она вошла тихо, безъ шума, но не смотря на то, всѣ обратили на нее вниманіе, потому что Иколочкинъ съ примѣтною радостію поспѣшилъ ей навстрѣчу...

— «Ну,. душа моя! Насилу-то дождались! И танцевъ безъ васъ начинать не хотѣли...»

— «Напрасно. Я до пляски небольшая охотница. Дядюшка, что же Таня?»

— «Гмъ!» съ улыбкой проворчалъ старикъ — «Богъ милостивъ! Некому мнѣ васъ на руки сдать, а самому-то надо отлучиться по хозяйству...»

— «А! Вотъ у меня есть и знакомый... Я вамъ мѣшать не хочу. Ступайте съ Богомъ, только не сидите долго...»

И Марья Осиповна прямо, непринужденно подошла къ Евгенію, который стоялъ у окна одинъ и съ грустію смотрѣлъ на разношерстное общество.

Есть люди, которые вездѣ поспѣваютъ. Таковъ былъ Гримасниковъ. Богатѣть успѣвалъ, у прекраснаго пола успѣвалъ и на вечерахъ былъ душею общества. Мужчины составили два отдѣльные круга: центромъ одного была Авдотья Семеновна, центромъ другаго предводительша. Неутралитетъ сохранялъ Гримасниковъ и находился отъ обоихъ круговъ въ такомъ разстояніи, что могъ принимать участіе въ разговорахъ и того и другаго...

— «Наконецъ!» сказала Авдотья Семеновна на-

смѣшливо: «Почтенный хозяинъ сдался! Долго защищался, да нашла коса на камень. Должна быть штука! Кто она?»

— «Я въ первый разъ вижу.»

— «И я...»

— «Спросите у Гримасникова...»

— «Погодите, онъ что-то разсказываетъ предводительшѣ...»

— «Ужъ вѣрно про моего Левушку. Отличился, нечего сказать. Увезъ какую-то дѣвчонку... Слышали?»

— «Какъ же-съ! Теперь идетъ слѣдствіе! Говорятъ и Петербургскій тутъ замѣшанъ! Они дрались на дуэли. Левушка нанесъ ему двѣ раны и уѣхалъ съ добычей...»

— «Туда ему и дорога! Только позовите Гримасникова... онъ вѣрно знаетъ всю эту исторію.»

Но Гримасникова нельзя было оттащить отъ предводительши; онъ терзалъ несчастную разсказомъ о постыдномъ бѣгствѣ Левушки.

— «Да-съ,» продолжалъ онъ: «дѣло скверное-съ. Господинъ, что изъ Питера, велъ себя по столичному. Онъ грудью защитилъ бѣдную-съ дѣвушку-съ. Спасъ ее-съ отъ сильнаго похитителя-съ, котораго-съ мы преслѣдуемъ. А этотъ-съ воспользовался ранами господина этого-съ и воровски, насильственно, увезъ невинную-съ и только случай спасъ его-съ... О, да и достанется ему...»

— «Такихъ людей щадить грѣхъ...» чуть слышно проговорила предводительша. Она ревновала къ Авдотьѣ Семеновнѣ, но за послѣдній поступокъ она

уже ненавидѣла Левушку. Это предпочтеніе простой дѣвушки ей, Клеопатрѣ!.. О, она была готова на все для Левушки; теперь была готова на все, чтобы только отмстить тому же Левушкѣ.

Гримасниковъ зналъ предводительну и понималъ выгоды, которыя могъ извлечь изъ подобнаго положенія дѣлъ. Люди съ пушкомъ на рыльцѣ, боятся самой тѣни опасности. Зная, что Евгеній страстно влюбленъ въ Клеопатру и подозрѣвая въ немъ тайнаго соглядатая провинціальныхъ дѣлъ, Гримасниковъ тотчасъ разсчелъ, что можетъ оказать ему такую услугу, которую Евгеній оцѣнить съумѣетъ...

— «Грѣхъ, матушка, грѣхъ!»—сказалъ Гримасниковъ: «Не должно щадить такихъ негодяевъ. Да что станешь дѣлать, когда такіе люди, какъ Евгеній Сергѣичъ, на свѣтѣ водятся? Онъ проситъ не губить ребенка... О, какой-съ это характеръ! Ужасть, просто-съ! Это-съ, что называется, сама великость души. Я очень-съ жалѣлъ, что не могъ-съ съ нимъ долѣе бесѣдовать. Онъ меня-съ пришибъ своимъ умомъ-съ. И надо отдать справедливость Авдотьѣ Семеновнѣ-съ. Тотчасъ смѣкнула-съ...»

Клеопатра Кириловна вспыхнула, отвернулась и спросила разсѣянно:

— «Что тамъ у васъ случилось сегодня на Косаткѣ?»

— «Тамъ. Ничего-съ. Домашная исторія! Найдена-съ дѣвушка безъ вида. Здѣшній хозяинъ взялъ ее подъ свою опеку-съ ..»

— «Да у нея былъ опекунъ?»

— «Да, можетъ быть-съ... Но еще неизвѣстно: Слѣдствіе еще не назначено... И самый видъ у Евгенія этого, просто, знаете, картина...»

Клеопатра задумчиво взглянула на Евгенія и поблѣднѣла, не усидѣла на стулѣ, встала, хотѣла была пойти, но опять сѣла и вопросительно смотрѣла на Гримасникова. Причиною этого движенія была Марья Осиповна. Она простодушно смѣялась, Евгеній также смѣялся. Онъ былъ веселъ, тогда какъ этого никогда съ нимъ не случалось во все время его пребыванія въ городѣ. Кто могъ разогнать задумчивость, которую создала и которою такъ гордилась Клеопатра Кириловна?

— «Кто эта дама?»

— «Вотъ ужъ, право, не могу сказать...»

— «Гримасниковъ, я хочу знать, кто эта дама...»

— «А вотъ позвольте, узнаю...»

И Гримасниковъ отошелъ; но его подхватилъ кружокъ Авдотьи Семеновны и осыпалъ такими же вопросами.

— «Дайте время! все узнаю... Вотъ, спрошу у хозяина. Батюшка!»

— «Что тебѣ надо?» сказалъ вошедшій Иколочкинъ.

— «Позвольте освѣдомиться на счетъ одной незнакомой дамы.»

— «Не твое дѣло! Она не просительница! Вотъ спрашиваютъ про васъ, душа моя,» — сказалъ Иколочкинъ, подходя къ Мери и нахмурился. Онъ засталъ ее въ жаркомъ разговорѣ съ Евгеніемъ о

предметъ щекотливомъ, — о чувствахъ дружбы и любви... Авдотья Семеновна угадала. Старикъ былъ совершенно очарованъ своей гостьей; на старости лѣтъ страсти гораздо пылче, сильнѣе, если сердце въ молодыхъ лѣтахъ не успѣло перегорѣть на уголь.»

— «Дружба, любовь!» прибавилъ онъ шепотомъ: «Не вѣрьте имъ; ихъ нѣтъ.»

— «Неправда! Вы сами оказали мнѣ дружбу... Вотъ любовь, — та встрѣчается рѣже. По крайней мѣрѣ, мнѣ не удалось ее видѣть.»

И Евгеній и хозяинъ посмотрѣли на нее съ умиленіемъ и состраданіемъ.

— «Будто ужъ вы не любили никого?» спросилъ старикъ.

— «Кого же? Мужа, что ли?»

— «Вы за-мужемъ!» вскрикнули оба и значительно посмотрѣли другъ на друга, какъ будто это участіе возбуждало въ обоихъ ревность.

— «Отца, матери непомню... Сестры, брата у меня нѣтъ... А бѣдный мой ребенокъ... Это совсѣмъ другое чувство.»

Послѣдовало молчаніе. Оба, казалось, были сильно огорчены. Первый опомнился Иколочкинъ. Онъ принужденно улыбнулся и сказалъ.

— «Душа моя! Вы еще будете любить! Ваше время неушло.»

— «Дай, Господи! Авось, какъ Николинька подростетъ... Да что мы тутъ разнѣжничались. Давайте танцовать. Я не люблю танцевъ, да не-

должно отъ другихъ отставать. Вы, дядюшка, со мною.»

— «Что вы, душа моя! Въ мои лѣта!..»

— «Что за лѣта! Вы моложе молодыхъ.»

— «Благодарю; но я хозяинъ...»

— «Ну, такъ вы?..»

— «За счастіе почту...» отвѣчалъ Евгеній.

— «Большое счастіе! Пойдемте!» — И не Евгеній, а Мери взяла его за руку и повела въ залу, гдѣ, по мановенію хозяина, загремѣла музыка. Хозяинъ не отставалъ отъ своей гостьи. Пока ладились пары, къ хозяину подошелъ камердинеръ и шепнулъ на ухо: готова!

— «На-силу! Проси сюда! Нѣтъ, погоди, я самъ ее приведу. Хозяинъ ушелъ Евгеній подхватилъ Мери и вихрь вальса умчалъ ихъ; за ними потянулись пары; пролетая мимо боковыхъ дверей, Мери вдругъ вскрикнула, бросила кавалера, остановилась и съ невыразимымъ безпокойствомъ глядѣла на новую гостью. Ее за руку велъ хозяинъ и прямо къ Марьѣ Осиповнѣ... Пляска остановилась; гости полукругомъ окружили неподвижную Мери.

— «Вотъ ваша Таня!» сказалъ онъ, подводя къ Марьѣ Осиповнѣ прелестную дѣвушку въ красивомъ бальномъ костюмѣ: «Она ваша. Вы спасли ее, вы дали ей свободу, жизнь. Вамъ слѣдуетъ довершить ваши благодѣянія, вѣнчать прекрасный подвигъ. Вотъ, Таня, твоя спасительница...»

Но и Таня и Мери стояли другъ противу

дружки, какъ будто пораженныя чѣмъ то свыше. Невольная нѣмота оковала ихъ уста. Сходство ихъ было поразительно. Мери казалось, что она глядитъ въ зеркало, но не теперь, а нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Душа ея летѣла къ Танѣ и увлекала за собою слабое тѣло; она не перешла, а какъ то передвинулась, схватила ее въ объятія; Таня заливалась слезами, а Мери... это были судороги радости. Она бросала руками, то указывала на небо, то на Таню, то схвативъ ея голову, отдаляла ее отъ себя и всматривалась, то опять сжимала въ объятіяхъ. Эта сцена сдѣлала впечатлѣніе даже на Клеопатру Кириловну.

— «Какой ужасный театръ!» — сказала она: «Я не могу видѣть такого романа...»

При общемъ напряженномъ вниманіи, тишина въ залѣ была мертвая. Слова эти были явственно слышны и дошли до слуха Мери. Она обхватила Таню, обернулась къ публикѣ, выросла, просіяла, и сказала съ торжественнымъ спокойствіемъ: «Мой романъ кончился? Мнѣ есть кого любить! Прощайте!»

Она увлекла Таню. Сначала онѣ шли медленно, потомъ какъ будто условясь, побѣжали... Хозяинъ и Евгеній брисились за ними; но, къ общему удивленію, ихъ не было въ прихожей; онѣ не проходили на улицу; искали ихъ по всѣмъ комнатамъ — нѣтъ; въ иллюминованномъ саду также ихъ не было... Пропали... Начались споры, догадки; начались и кончились. Принялись за танцы, за любезности. Мери и Таню всѣ забыли... Нѣтъ,

не всѣ. Хозяинъ былъ весь вечеръ сильно задумчивъ. Евгеній непримѣтно исчезъ... Клеопатра Кириловна принуждена была любезничать съ Гримасниковымъ... Гдѣ же Мери и Таня?

—

ГЛАВА VIII.

Сидоръ Никитичъ... Вы вѣрно забыли уже Сидора Никитича, оставнаго чиновника, въ домѣ котораго жили Этіэнъ и Мери... Сидоръ Никитичъ сидѣлъ въ своей комнатѣ и распивалъ чай съ пріятелемъ, Тарсовымъ, съ которымъ вы уже имѣли случай познакомиться. Окна были плотно закрыты ставнями и внутренними суконными шторами.

— «Нуте-съ, нуте-съ,—говорилъ Сидоръ Никитичъ: — «Такъ что же Гримасниковъ толкуетъ?... Какъ-съ?..»

— «А говоритъ, что подай пять тысячь, такъ и самъ цѣлъ уйдешь, и дѣвчонку-то выручимъ...»

— «Пять тысячь! Экое ненасытное животное! Ну, да вы знаете его; онъ было и съ меня хотѣлъ брать половину; да ба — я увернулся, заплатилъ, правда, разомъ кушъ, да и сижу теперь на покоѣ... Ну, а ваше дѣло нехорошее...»

— «Чортъ попуталъ, Никитичъ! Право, тутъ нечистый подвернулся...»

— «Да ужъ кому же другому быть...»

— «Еще и то хорошо, что она то сама не знаетъ кто она?»

— «А кто она?»

— «А тебѣ какое дѣло?»

— «Ну, такъ зачѣмъ же изволили трудиться ко мнѣ заходить?»

— «Да, душа ты моя... У тебя домъ то... то есть... садъ съ садомъ рядышкомъ; можно бы помочь моей бѣдѣ. Самъ то я откуплюсь, да мнѣ то дѣвчонку нужно...»

— «А зачѣмъ тебѣ дѣвчонка?»

— «А тебѣ какое дѣло?»

— «Такъ я изволь играть въ темную. Нѣтъ, батюшка, я мѣсто потерялъ, да въ темную ужъ никого не надувалъ. Нѣтъ-съ, просимъ извиненія....»

Сильный лай псовъ прекратилъ на время эту бесѣду. Сидоръ Никитичъ выбѣжалъ на дворъ и воротился назадъ съ плутовскимъ выраженіемъ.

— «Что тамъ случилось?»

— «Ничего-съ, такъ себѣ... Велика ваша дѣвчонка ростомъ?»

— «Будетъ вотъ такъ...»

— «Ну, а лицемъ чернавка?»

— «Да, брунетка...»

— «Ну, такъ это она...»

— «Гдѣ? гдѣ?..»

— «Тутъ, у меня, въ моемъ домѣ...»

— «Сидоръ Никитичъ... Двѣ тысячи...»

— «И десяти не возьму, пока не скажешь, въ какое дѣло я долженъ впутаться.»

— «Въ какое? Да тебѣ на что? У нея ни рода, ни племени. А имѣньице есть по сосѣдству...»

— «Чтожъ ты, жениться хочешь, отъ живой

жены, что-ли? Даромъ, что ты жену согналъ, а все-такй жениться нельзя.»

— «Да я не самъ хочу жениться...»

— «А кто же?»

— «Кучеръ мой...»

— «Ахъ, ты хитрая голова! Закабалить хочешь, закрѣпостить, а имѣньице то за тобой останется, а намъ ничего не достанется. Нѣтъ, братъ, двумя тысячами не отдѣлаешься...»

— «Такъ не получишь ни гроша! Я дѣло и безъ тебя состряпаю...»

Тарсовъ всталъ, взялъ шляпу и хотѣлъ уже идти, какъ вдругъ подъ самымъ окномъ что-то свиснуло, и тихо, да такъ выразительно, что и хозяинъ и гость вздрогнули и посмотрѣли другъ на друга. Къ особенному огорченію хозяина, гость опять поставилъ шляпу на мѣсто.

— «Ну, братъ, такъ и ты?..» сказалъ гость.

— «Что я? Видно и вы не безъ знакомства...»

— «Вѣдь это Савиллъ...»

— «А тебѣ какое дѣло?»

— «Э, братецъ! Ты лишь бы только лишній грошъ съ пріятеля доправить! Ты хуже Савилла! Коли такъ, такъ я тебя ни на грошъ не боюсь; теперь ты мой сообщникъ. Слышишь!»

Сидоръ Никитичъ глядѣлъ на гостя съ ужасомъ.

— «Ну, нечего тутъ время терять! Хорошо, что еще паспорта не задержали. У меня все готово къ отъѣзду... Савиллъ можетъ расмутать меня съ вашей проклятой губерніей еще сегодня ночью...»

И гость свиснулъ, Сидоръ Никитичъ зажалъ ротъ Тарсову, но поздно. Савиллъ вошелъ и открылось засѣданіе...

Между тѣмъ Мери и Таня черезъ садъ, который, какъ вамъ извѣстно, граничилъ съ садомъ Иколочкина, прибѣжали въ домъ Сидора Никитича и тѣмъ возбудили лай собакъ. Степанъ Лукичъ проснулся отъ суматохи, которая поднялась въ домѣ по случаю появленія двухъ барынь. Таня была точь въ точь Мери, но только помоложе и посвѣжѣе...

— «Что за глупый сонъ!» сказалъ Степанъ Лукичъ, глядя на жену и гостью.

— «Это не сонъ, мой другъ! Это моя сестра?

— «Какъ! Откуда?..»

— «Богъ послалъ! Садись, Таня; станемъ разсказывать другъ дружкѣ что нибудь. Вѣдь ты меня любишь, Таня; вѣдь ты мнѣ сестра?.. О, я несчастнѣе тебя, Таня! Ты, по крайней мѣрѣ, ничего не помнишь; ты выросла въ совершенномъ невѣдѣньи... а я... О, я знаю много, я помню не мало... Я помню мать, но отца не помню. О, какъ она плакала, несчастная!.. И я росла, и я училась, меня ласкали, но образъ матери не оставлялъ меня ни на одно мгновенье...»

Степанъ Лукичъ, пораженный и неожиданностью случая, и красотою сестрицы, совершенно проснулся; сталъ ухаживать и за женой и за сестрицей; развернулся; приказалъ подать ужинать... выпилъ лишнюю рюмочку вина. Въ разговорахъ за вкуснымъ ужиномъ прошло добрыхъ

три часа. Бесѣда никогда бы не кончилась, если бы на Косаткѣ, шагахъ въ трехстахъ отъ дома Сидора Никитича, не вспыхнулъ пожаръ. Поднялась тревога, всѣ бѣжали на пожаръ, одни ради помощи, другіе ради любопытства; люди Степана Лукича, подъ предлогомъ, чтобы узнать о пожарѣ, ушли всѣ, даже Кирилло. Степанъ Лукичъ съ нѣжностію обнявъ сестеръ, подошелъ къ окну, и хотѣлъ издали наслаждаться красивой картиной, какъ вдругъ двери скрипнули, Мери закричала, Степанъ Лукичъ обернулся и увидѣлъ Савилла съ страшными товарищами. Безошибочно они бросились на Таню; Степанъ Лукичъ хотѣлъ отстоять несчастную; ножъ блеснулъ и Степанъ Лукичъ упалъ безъ чувствъ наземь... Мери охватилъ обморокъ, а Таня и не вскрикнула... Съ завязаннымъ ртомъ унесли ее разбойники. Все это произошло въ одно мгновеніе. Пока собрались люди, Мери очувствовалась; къ мужу, но мужа уже не было. Мери овдовѣла... Мѣтокъ былъ ножъ Савилла. Мери упала на колѣни передъ трупомъ мужа и призывала на помощь страшнымъ воплемъ; женская прислуга, вмѣсто помощи, бѣгала по саду и по двору и вопила по своему.... Пожаръ потухалъ, но за то на дворѣ Сидора Никитича подымалась буря. Сосѣди со всѣхъ сторонъ сбѣгались на вопли женщинъ и ребенка. Иколочкинъ приказалъ къ забору поставить лѣстницы и со всѣми людьми явился на помощь.... Видя, что народъ толпами ломится въ домъ, и онъ пошелъ вмѣстѣ съ народомъ, напрасно рас-

прашивая, что случилось. Наконецъ, въ столовой онъ увидѣлъ Мери и отступилъ...

— «Боже мой! Это вы!..»

— «Дядюшка! Дядюшка! Ради самаго неба, спасите вашего племянника, моего мужа...»

— «Великій Боже! это... Степанъ!.. Несчастный Степанъ, вотъ какъ намъ привелось съ тобой увидаться... А вы, сударыня... Такъ это вы?.. А? И вы могли... Да, вы у меня отняли племянника два раза... Вы... о нѣтъ .. я виноватъ, я одинъ виноватъ... Но скажи, душа моя, вдова моя безутѣшная... Какъ все это случилось?»

— «Губернаторъ!..»

— «Полиціймейстеръ!..»

«Предводитель!..» раздавалось со всѣхъ сторонъ. Дѣйствительно, всѣ власти съѣхались, но никто не могъ понять откуда этотъ громъ... Все разрѣшилось: вбѣжалъ Осипъ Семеновичъ.

— «Я нашелъ воровъ,» кричалъ онъ: «только дайте мнѣ команду. Я изловлю ихъ!..»

Вслѣдъ за Осипомъ Семеновичемъ вбѣжалъ и Кудимъ.

— «Батюшки свѣты! Что надѣлалъ этотъ воръ окаянный, этотъ Тарсовъ проклятый!..»

— «Тарсовъ!» вскрикнули всѣ.

— «Это его шашни! Я видѣлъ какъ онъ покатилъ съ своего двора. На притонѣ всѣхъ бы изловить можно, кабы повернулись проворнѣе.»

— «Да кого же послать?» спросилъ заботливо губернаторъ.

— «Да вотъ его высокородіе, Осипа Семенови-

ча... да меня... да вотъ, мало ли людей православныхъ! На вора все равно, что на пожаръ, всякій пойдетъ охотно.»

Совѣтъ Кудима былъ принятъ; снарядили двѣ экспедиціи: одна, подъ начальствомъ Осипа Семеновича, пошла прямо на притонъ, а другая, подъ предводительствомъ Кудима, отправилась усиленнымъ маршемъ въ обходъ, чтобы пресѣчь непріятелю всякую возможность бѣгства. Власти, за исключеніемъ тѣхъ, до которыхъ поимка воровъ могла относиться, остались утѣшать Мери и тутъ ждать развязки... Между тѣмъ народъ приходилъ ко двору болѣе и болѣе; даже дамы съѣхались въ незнакомый домъ; о мужчинахъ и говорить нечего. Евгеній отправился въ экспедиціи Кудима.

Полководцы не заставили долго ждать себя. Походъ ихъ увѣнчался полнымъ успѣхомъ. Косатка освѣтилась факелами и фонарями. Съ торжествомъ самъ Кудимъ велъ Савилла. Тарсова и Сидора Никитича связали вмѣстѣ и вели особо; другихъ также попарно. Осипъ Семеновичь несъ на рукахъ Таню; а въ дорожной каретѣ Тарсова ѣхала Лукерья Ивановна. — Само собою разумѣется, что вся процессія остановилась передъ домомъ, гдѣ жила Мери; само собой разумѣется, что Таню и Тарсова съ товарищемъ ввели въ столовую, гдѣ около печальной Мери сидѣло все губернское общество. Покойникъ былъ вынесенъ въ боковую комнату; на пятно отъ крови накинутъ коверъ.... — Мери, увидавъ Таню, какъ будто забыла про

свою печаль и со слезами приняла ее въ свои объятія. Иколочкинъ также съ чувствомъ обнялъ Таню, какъ родную. Между тѣмъ начальство обратилось съ допросомъ къ Тарсову.

— «Милостивый государь!» сказалъ строгій губернаторъ: «Какія причины могли увлечь васъ къ такому ужасному сообществу?»

Тарсовъ молчалъ; но Сидоръ Никитичъ повалился въ ноги губернатору и, натурально, увлекъ за собою и Тарсова.

— «Батюшка, ваше превосходительство, помилосердуй; я все разскажу; я нарочно прикинулся компаньономъ въ этомъ воровскомъ дѣлѣ, чтобы развѣдать все и донести начальству... Только помилуй!..»

— «Негодяй! Разсказывай! Откровенное признаніе облегчитъ твою участь.»

— «Позвольте, ваше превосходительство, я лучше самъ... мнѣ милость!» закричалъ Тарсовъ.

— «Нѣтъ, мнѣ, я первый...» перебилъ Сидоръ Никитичъ.

— «Да онъ всего и не знаетъ...»

— «Чего не знаю?»

— «Молчать! Тарсовъ, разсказывай!..»

— «Корысть, батюшка, ваше превосходительство!..»

Губернаторъ отвернулся. Тарсовъ продолжалъ:

— «Ну, что же дѣлать; открылось, такъ открылось. У Татьяны Осиповны...»

— «Осиповны?» спросилъ съ удивленіемъ Иколочкинъ.

— «Точно такъ-съ. У нея, то есть—у ея покойныхъ родителей, была деревня богатая, съ моей по сосѣдству. Родители померли, деревня сгорѣла; пустую землю батюшка, пустую землю хотѣлъ я присовокупить къ своей, вотъ и все тутъ; а за кучера моего хотѣлъ ее выдать, потому что онъ ей нравился, а потомъ она давай отнѣкиваться. Вотъ и бумагу она подписала.»

— «Силою меня принудили подписать бумагу. Я и теперь не знаю, что тамъ написано.»

— «Хорошо, хорошо!» сказалъ Иколочкинъ: «Не въ томъ дѣло. А какъ же фамилія Тани?»

— «Койнева.»

— «Дочь моя!» закричалъ Осипъ Семеновичъ: «Можетъ ли это быть! Тебя ли нахожу? Господи, подкрѣпи меня! А гдѣ же Маша? Гдѣ мой первенецъ. О, гдѣ жена моя?»

— «А что,» сказалъ Кудимъ: «говорилъ я, что и дѣти найдутся. А Лукерья Ивановна въ повозкѣ. Оставилъ ее тамъ.»

— «Лукерья!» въ свою очередь закричала Мери: «Неужели и я найду мать, отца, сестру. Гдѣ она!»

И схвативъ со стола свѣчку, Марья Осиповна бросилась на улицу; толпа шумя, раздавалась. Добѣжавъ до кареты, Мери поспѣшно отворила дверцы, уронила свѣчу и вскрикнувъ «матушка!» безъ чувствъ упала на руки Евгенія и Иколочкина.

Остальное вамъ нечего разсказывать; день пе-

чали обратился въ день радостный. Губернаторъ и всѣ чиновные гости обоего пола разъѣхались. Осталось счастливое семейство Койневыхъ; Иколочкинъ остался во какой-то странной забывчивости, и Евгеній, да въ углу торчалъ Кудимъ могильщикъ.

— «Друзья мои!» сказалъ Иколочкинъ: «Теперь у меня большая семья, и я радъ, что умѣлъ быть бережливымъ. Но подумаемъ и о покойникѣ. По крови, все-таки онъ мнѣ ближе всѣхъ.»

— «Покойникъ?» тихо сказалъ Кудимъ: «Ближе всего ко мнѣ. Батюшка! извольте живыми заниматься, а ужъ за мертвецомъ я присмотрю; ни въ чемъ не будетъ нуждаться. И вотъ что, добрый баринъ! Убери ты всю семью къ себѣ въ барскіе твои хоромы, а меня оставь здѣсь хозяйничать.»

— «Добрый Кудимъ,» сказала Мери съ чувствомъ: «Мое счастіе — созданіе твое, Кудимъ!»

— «Эхъ, бѣлая барыня, а про Бога-то и забыла.»

— «Нѣтъ, Кудимъ! Но я не имѣю еще силъ молиться! Счастіе мое слишкомъ велико.»

— «Большому кораблю большое и плаваніе. Ты, мать моя, стоишь твоего счастія. — Дай, Богъ, тебѣ только мужа по твоему сердцу; вотъ тогда удружишь Кудиму. Право! Ну, а теперь послушайтесь меня, уѣзжайте со двора; а то вы мнѣ мѣшаете.»

Иколочкинъ одобрилъ совѣтъ могильщика; всѣ перешли въ палаты богача, и Кудимъ принялся за свое дѣло, и, по тогдашнему обычаю, на дру-

той же день Кудимъ у воротъ своего кладбища встрѣтилъ великолѣпные похороны Степана Лукича.

—

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ И ПОСЛѢДНЯЯ.

ВЫМОРОЧНАЯ УСАДЬБА.

Со времени отъѣзда Евгенія изъ столицы въ нашъ провинціальный городъ, прошло ровно три недѣли. Въ день случается много, а въ три недѣли еще больше, особенно если въ городѣ стоитъ ярмарка, а за городомъ разгуливаютъ ночные гости. Наступилъ двадцать второй день отпуска Евгенія; то былъ понедѣльникъ. На выморочной усадьбѣ, гдѣ скрывались Кайневы, возникла новая жизнь, дѣятельная, рабочая. Иколочкинъ купилъ эту усадьбу отъ города и полки работниковъ принялись за дѣло. Вся семья переселилась на красивый хуторъ того же Иколочкина; отъ выморочной усадьбы до хутора этого небыло и версты. Иколочкинъ ежедневно рано утромъ и послѣ обѣда ходилъ, вмѣсто прогулки, на усадьбу и осматривалъ работы. — Въ этотъ понедѣльникъ, какъ мы уже сказали, Иколочкинъ пришелъ на усадьбу очень рано. Осматривая работы, онъ замѣтилъ другаго зрителя и улыбнулся.

— «Что вы тутъ дѣлаете?» спросилъ хозяинъ.

— «Догадываюсь, для кого вы строите эту прекрасную дачу,» отвѣчалъ Евгеній.

— «Никогда не догадаетесь.»

— «Какъ никогда! Марья Осипо́вна...»

— «Гмъ! Да, вы у меня не были на хуторѣ! Право, не были! Пойдемте!»

— «Я почту за честь.»

— «Вотъ ужъ и честь! Я перевезъ туда мою семью, чтобы спасти ихъ отъ участія этихъ городскихъ сплетницъ, чтобы укрыть отъ осады любезниковъ. Богатая вдова красавица на ярмаркѣ — и притомъ же съ характеромъ Маши!.. Скажите пожалуйте! У васъ тутъ есть въ губерніи родственники?»

— «Никого.»

— «Дѣла?»

— «Никакихъ.»

— «Имѣніе?»

— «Omnia mea mecum porto.

— «Что же васъ завело къ намъ? Служба?»

— «Не служба, а глупость, которой никогда не прощу себѣ.»

— «Должна быть большая глупость.»

— «Ужасная.»

— «Тайна?»

— «Не знаю какъ вамъ сказать! Я хотѣлъ выиграть закладъ, который мнѣ доставлялъ 10 тысячь единовременно и тысячу рублей ежегодно.»

— «Сколько! Сколько!»

Евгеній повторилъ.

— «Чѣмъ же рисковали вы?»

— «О, я не могу объ этомъ хладнокровно подумать. Не подходить ни къ одной женщинѣ цѣлый годъ!»

— «Глупо! Впрочемъ, кто не дѣлаетъ глупостей? Во всей этой исторіи глупѣе всѣхъ — я.»

— «Какимъ образомъ?»

— «А вотъ увидите! Но, вы непремѣнно должны выиграть закладъ.»

— «Это невозможно.»

— «Кто вамъ сказалъ?»

— «Я!»

— «Вы ошиблись. Пойдемте выигрывать закладъ.»

— «Но вы не знаете, въ чемъ закладъ.»

— «Знаю, и мы непремѣнно выиграемъ.»

— «Сколько я васъ ни уважаю, но я долженъ вамъ объявить, что этого не будетъ.»

— «Вздоръ! Будетъ!»

— «Не можетъ быть!»

— «Должно быть!»

— «Я скорѣе застрѣлюсь...»

— «Обвѣнчаетесь...»

— «Не шутите! Ради Бога, не шутите! Вы не знаете, что со мною случилось.»

— «Знаю! Вы влюбились, въ полномъ смыслѣ слова, въ мою племянницу, въ Машу. Вотъ и все тутъ. Прекрасный выборъ. Глупость можетъ обратиться въ истинное счастіе для обоихъ. Я наблюдалъ за вами издали; я получилъ объ васъ изъ столицы самые отличные отзывы. Ну, вотъ мы и пришли; всѣ бѣгутъ къ намъ навстрѣчу. Маша, ты чего перепугалась?»

— «Я, дядюшка? Ни малѣйше... Я такъ... Я не ожидала въ нашемъ уединеніи встрѣтить посторонняго...»

— «Онъ не посторонній. Маша, у меня есть къ тебѣ дѣло. Друзья мои, займите гостя... Мы сейчасъ воротимся... Только прогуляемся по саду... Вотъ Маша, въ чемъ дѣло... только чуръ вести себя по прежнему... Любишь-ли ты Евгенія?..»

Маша молчала.

— «Ну, душа моя, признавайся! Ты ужъ не ребенокъ! Говори...»

— «Люблю.. »

— «Ну, и кончено. Сговоръ конченъ, приступимъ къ свадьбѣ.. »

— «Что вы, что вы, дядюшка?»

— «Сдѣлай милость, не мѣшайся не въ свои дѣла. Я съ разу замѣтилъ, что вы другъ другу нравитесь. Я ревновалъ тебя, дурочка! Я самъ полюбилъ тебя, и очень радъ, что ты племянница и спасла меня отъ дурачества... Да о чемъ тутъ толковать... Евгеній! Поздравляю!..»

— «Съ чѣмъ?»

— «Вотъ тебѣ невѣста!»

Иколочкинъ любилъ распоряжаться деспотически. Во всѣхъ дѣлахъ онъ извѣстенъ былъ твердой и непреклонной волей; вся семья и самъ Евгеній испугались, Иколочкинъ смѣялся.

— «Ну, Осипъ Семеновичъ, нуте, Лукерья Ивановна! Благословляйте дѣтей! Вѣрьте мнѣ, тутъ нѣтъ ошибки. На этотъ разъ Маша будетъ счастлива...»

Общее смущеніе продолжалось и еще болѣе возрасло, когда Иколочкинъ, кликнувъ камердинера, сказалъ:

— «Савельичъ, съѣзди въ Ближнее и накажи попу, чтобы у него въ воскресенье все было готово къ свадьбѣ...»

— «Дядюшка! Помилосердуйте! Что скажутъ люди?»

— «Что имъ угодно!.. Ты вышла замужъ по принужденію твоихъ опекуновъ. Ты не любила Степки, и онъ того стóилъ. Ты можешь жалѣть о немъ, какъ о человѣкѣ; но зачѣмъ наряжаться въ притворную супружескую горесть? Это на тебя не похоже! Что же ты хочешь? проплакать поддѣльными слезами годъ, вычеркнуть цѣлый годъ изъ твоей жизни. Ну, да кончено. Прошу повиноваться.»

Никакія убѣжденія не могли поколебать слова Иколочкина... Родители принуждены были благословить дѣтей, дѣти поцѣловаться... Иколочкинъ злобно смѣялся и потиралъ руки... Изъ города прискакалъ ливрейный лакей и привезъ письмо. Иколочкинъ расхохотался. Милости просимъ, въ самую пору... Вслѣдъ за лакеемъ, на дрянныхъ дрожкахъ, въ одну лошадь, явился Гримасниковъ, и съ таинственнымъ видомъ требовалъ Таню на два слова.

— «У нея отъ меня нѣтъ тайны,» сказалъ Иколочкинъ: «Объявляй, Гримасниковъ, что тамъ у тебя?..»

— «А вотъ что! Тарсовъ играетъ роль нѣмаго и ни въ чемъ не признается... По слѣдствію оказывается, что Татьяна Осиповна кое-что знаетъ о связяхъ его съ Савиломъ.»

— «Знаю. И вотъ что: послѣднее время, меня держали въ кладовой съ желѣзными окнами. Разъ вечеромъ въ домѣ поднялся ужасный шумъ и крикъ, суматоха затихла и въ мою кладовую, темную и холодную, бросили связаннаго по рукамъ и ногамъ человѣка. Не прошло и десяти минутъ, Тарсовъ вошелъ къ намъ со свѣчкой; я укуталась и притворилась спящею. Тарсовъ подошелъ ко мнѣ, отдернулъ одѣяло и сказавъ: спитъ! обратился къ плѣннику; то былъ Савилъ; я осторожно и не разъ посматривала на этого страшнаго человѣка.»

— «Что дашь, Савилъ?» сказалъ Тарсовъ едва слышно: я тебя выпущу...»

— «Молодцы мои сами меня отымутъ...» заревѣлъ Савилъ.

— «Тише, дѣвку разбудишь... А на молодцевъ не надѣйся! Я, братъ, ждалъ тебя съ сильной дружиной; похватали твоихъ молодцевъ больше десятка... и другихъ переловимъ, если сунутся.»

— «Вѣчно и я и всѣ наши тебѣ служить будемъ; и если другіе заберутся, и тѣхъ оповѣстимъ, чтобы Тарсовскаго не трогали. Казну принесемъ, а если понадобится Савилъ, такъ пошли только въ село или городъ, гдѣ кабакъ есть, и пусть посолъ твой только вымолвить: «Вѣчный долгъ!» черезъ три дня явлюсь, куда укажешь...»

— «Вѣрю тебѣ, Савилъ! Пойдемъ теперь ко мнѣ; всѣ въ домѣ спятъ...»

— «А эта дѣвка?..»

— «Что она разумѣетъ? Да и спитъ, будто убитая. »

Самъ Тарсовъ развязалъ Савила, увелъ; а больше я ничего не знаю...»

— «Вся сія,» сказалъ Гримасниковъ, записывая: «согласна суть съ другими показаніями. Извольте подписать...»

Таня подписала. Иколочкинъ, Койневъ и Евгеній также подписались. Гримасниковъ сталъ откланиваться.

— «Эй, послушай, Гримасниковъ, у меня есть къ тебѣ просьба...»

— «Извольте приказывать. Вы знаете, что я...»

— «Знаю... У меня теперь людямъ много дѣла; такъ потрудись объѣхать всю губернскую чиновность и проси отъ меня въ Ближнее село на обѣдъ, балъ и ужинъ, въ воскресенье. Жду къ себѣ дорогаго гостя.»

— «Кого это?»

— «Не твое дѣло!.. Ты только исполни...»

— «Непремѣнно всѣ будемъ...»

Промелькнули эти райскіе дни, и не оглянулись. Иколочкина въ эти дни мало видали; онъ, то и дѣло, уѣзжалъ то въ Ближнее, то на выморочную усадьбу. Одно только замѣтили жители хутора, что всю дорогу отъ этой усадьбы до Ближняго тщательно вычистили и убрали плошками на пространствѣ пяти верстъ. Наступило и воскресенье. Иколочкинъ казался встревоженнымъ; успокоился только тогда, когда верховой привезъ ему ожидаемое извѣстіе...»

— «Ну, теперь поѣдемъ! Но, друзья мои, вы должны исполнить мою просьбу.» Объявивъ, въ чемъ

состояла просьба, Иколочкинъ съ Машей сѣлъ въ коляску и уѣхалъ. За ними, въ особенномъ экипажѣ, Койневы съ Таней. За ними Евгеній въ красивомъ кабріолетѣ... Въ Ближнемъ нашли уже много губернскихъ гостей... Пріѣхалъ и дорогой гость Егоръ Лукичъ, племянникъ Иколочкина... Старикъ обнялъ его съ нѣжностью; представилъ всѣмъ гостямъ. Когда дѣло дошло до Евгенія, Егоръ обрадовался и расхохотался.

— «Ну, любезный, ты не женился...»

— «Нѣтъ, Жоржъ!»

— «Я такъ и зналъ...»

— «Но ты вѣрно не захочешь, чтобы я исполнилъ страшное условіе...»

— «Э, извини, любезный! Я, признаюсь, за этимъ и пріѣхалъ. Сегодня конецъ твоему отпуску; сегодня ты еще свободенъ; но завтра—извини. Впередъ, мой другъ, объ закладъ не бейся. Женитьба не шутка! Ты сказалъ: въ провинціи пропасть прекрасныхъ и богатыхъ невѣстъ. Стоитъ только петербургскому жителю показаться, невѣсты роемъ поднимутся. Поѣду на 28 дней въ отпускъ и женюсь! Ну, что, братъ? Теперь пеняй на себя...»

— «Послушай, братъ, по крайней мѣрѣ, не разсказывай.»

— «Этого въ условіи не было...»

— «Я прошу тебя...»

— «Нѣтъ! Надо васъ учить молодыхъ людей быть осторожнѣе въ словахъ.»

— «Твоя правда!» сказалъ Иколочкинъ, ударивъ

его сзади по плечу: «Слово—соколъ, вылетитъ, не воротишь... У меня сегодня для твоего пріѣзда въ селѣ сельская свадьба. Я прошенъ посаженымъ, ты не откажешься быть дружкой?»

— «Да это превесело...»

Гости съѣзжались. Пріѣхала и Клеопатра Кирилловна и Авдотья Семеновна и пошли провинціальныя сцены. Прежде всего напали на Жоржа; но тотъ сторонилъ отъ дамъ, какъ только могъ. Искали Евгенія; но онъ исчезъ.

— «Послушай, Егоръ!» сказалъ Иколочкинъ: «Ты огорчилъ Евгенія! Посмотри, онъ еще сегодня съ досады женится...»

— «Не бойтесь, дядюшка!»

— «Ну, а если! Ты дурно разсчиталъ: Надобно было бы явиться тебѣ не сегодня, а завтра. Право, я боюсь...»

— «Будьте совершенно покойны, дядюшка! Я вамъ ручаюсь, что не женится...»

— «Ну, а если?»

— «Тогда я самъ женюсь...»

— «На комъ?»

— «На комъ прикажете.»

— «Слово—соколъ, вылетитъ, не воротишь.»

Начался пиръ. Къ общему удивленію, Марья Осиповна была одѣта по бальному. Таня тоже; ни вида прошедшей печали... Многіе женихи готовились послѣ обѣда начать искательство прекрасной руки... Встали, отдохнули и, когда смерклось, по повѣсткѣ хозяина всѣ отправились въ церковь. Тамъ не было ни жениха, ни невѣсты,

потому, что Евгенія никто не считалъ женихомъ. Раздалось пѣніе; всѣ обратили глаза къ дверямъ, ожидая жениха, и увидали Марью Осиповну съ родителями въ подвѣнечномъ платьѣ... Гости взволновались; но удивленіе ихъ обнаружилось громкимъ крикомъ, когда Иколочкинъ подвелъ къ невѣстѣ Евгенія и пригласилъ племянника къ исполненію должности... Жоржъ не зналъ, что съ нимъ дѣлается. Онъ искоса поглядывалъ на дядю; но тотъ усердно молился. Невозможно описать шума, когда обрядъ кончился и пошли поздравленія... Такая на всѣхъ лицахъ радость! Восхваляли Иколочкина за сюрпризъ... Одна только Авдотья Семеновна нѣсколько надулась... Ей нравился Евгеній... Изъ церкви всѣ пошли садомъ къ большимъ воротамъ; тамъ ожидали гостей экипажи; иллюминація пылала и огненной полосой терялась вдали. Выморочная усадьба горѣла яркимъ свѣтомъ. И узнать нельзя было стараго дома. Описаніе было бы излишне; скажемъ только, что эта усадьба ни въ чемъ не уступала усадьбѣ въ Ближнемъ; на крыльцѣ, облитомъ огнями, встрѣтилъ молодыхъ Кудимъ могильщикъ, въ богатомъ кафтанѣ, отороченномъ галунами.

— «А что, матушка, бѣлая барыня, сказалъ онъ,—видишь! Кудимъ не солгалъ. Послалъ тебѣ Богъ муженька по тебѣ. Ужъ этотъ, глядя на тебя, не задремлетъ... Но я здѣсь не даромъ, добрые люди! Я здѣсь для того, чтобы, вступая въ храмъ жизни, вы вспоминали и о смерти. Не я, такъ другой Кудимъ будетъ ждать васъ на моемъ мѣстѣ...»

Разыгрался сельскій праздникъ, сгорѣли потѣшные огни; разъѣхались гости, взялъ шляпу и Иколочкинъ.

— «Ну, Егоръ, сказалъ онъ: пора и намъ. — Да я было и позабылъ. Что же ты, разсчитался съ Евгеніемъ?..»

— «Дядюшка!..» закричали молодые: «Неужели мы будемъ считаться!»

— «Непремѣнно! Я одинъ глупъ въ этой исторіи! Я назначилъ племянникамъ слишкомъ большое содержаніе, и тѣмъ подалъ имъ поводъ къ непростительнымъ шалостямъ... Независимое состояніе одного, чуть было не погубило лучшей женщины на этомъ свѣтѣ; другой, изъ шутки, чуть было не погубилъ друга, достойнаго настоящей своей участи. Егоръ—заплати!»

— «Дядюшка! У меня нѣтъ при себѣ такой суммы...»

— «Ты бился объ закладъ! Ты долженъ былъ быть готовъ къ расплатѣ... Я плачу и вычту... Ну, теперь, Егоръ, съ нимъ квитъ, а со мной изволь разсчитаться... Ты обѣщалъ жениться на комъ прикажу. Я приказываю: изволь жениться на Авдотьѣ Семеновнѣ... Она женщина добрая, умная; она одна не радовалась сегодня счастію Евгенія, потому что не притворщица... Старайся заслужить ея уваженіе — и мое... Прощайте милые! Храни васъ Богъ...»

Непреклонная воля дядюшки очень понравилась племяннику, когда онъ ближе познакомился съ Авдотьей Семеновной. Вдовушка узнала объ этой

волѣ, воротясь изъ подъ вѣнца и душевно благодарила своенравнаго старика...

Таня... Но вы устали! Я думаю, вамъ такъ надоѣлъ этотъ Закладъ въ немногихъ письмахъ, что вы никогда не будете биться объ закладъ. И не бейтесь! Вы никогда не узнаете, что случилось съ Таней, если я не сяду къ письменному столу и не разскажу вамъ ея занимательной исторіи. — Но теперь низачто! Я вижу, какъ вы перепугались, и скорѣе сведу мой романъ на упокой.

Кудимъ, приготовивъ про запасъ могилу, вышелъ на дорогу и призадумался. Въ окнахъ любимой усадьбы горѣли огни, хотя на дворѣ довольно было свѣтло.

— «Сходить, что ли, къ дѣткамъ моимъ?.. Стариковъ моихъ нѣтъ; поѣхали свою Михневку провѣдать; сегодня ждали, да не пріѣзжали. Сходить? Нѣтъ, что-то спать хочется. Спасибо моей бѣлой барынѣ. Теперь ходить въ артель не надо. Свой домъ, свой хлѣбъ... За то и для бѣдныхъ легче. Могилы даромъ готовлю. Кто-то въ новой ляжетъ?»

Стукъ цѣпей разбудилъ Кудима. Онъ взглянулъ. Партія гарнизонныхъ солдатъ вела преступниковъ. Кудимъ сталъ всматриваться... Знакомые: Савилъ, Ноготокъ, Косолапый Ѳоня; другихъ онъ не могъ разобрать, только показалось ему, будто въ толпѣ промелькнули лица Тарсова, Поточкина и Гримасникова...

— «Долго правили!» сказалъ онъ: «Почитай два года шелъ розыскъ, да доправили... И добро и

зло выйдутъ на свою дорогу. Что это какъ меня сонъ клонитъ! Уморила могила...» И Кудимъ пошелъ въ свою красивую избу, легъ, заснулъ и не проснулся; онъ не зналъ, что онъ выкопалъ вчера могилу для себя; онъ не чувствовалъ, что простой гробъ его несли на кладбище Иколочкинъ, Евгеній, Жоржъ и почетнѣйшіе горожане; что честнаго могильщика провожалъ весь городъ, и потомъ нищіе и богатые совершили погребальную тризну въ садахъ выморочной усадьбы, а гостей угощали Лукерья Ивановна, Мери, Таня и Дуня, т. е., Авдотья Семеновна.— На этотъ разъ вся семья была въ траурѣ и отъ души не снимала черныхъ платій до перваго праздника. — Прощай, Кудимъ! Спасибо тебѣ за все и за мою повѣсть!

ИНСТРУМЕНТЪ.

ПОВѢСТЬ ИЗЪ ВРЕМЕНЪ

ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

На платья и шляпки мода, — на людей — мода; какъ же не быть модѣ и на мѣста? Еще на нашей памяти Екатерингофское гулянье волновало каретниковъ и модистокъ за мѣсяцъ впередъ; а ужъ про тѣхъ, которые ѣздятъ въ каретахъ къ модисткамъ, — и говорить нечего... Теперь все глуше, глуше это пріятное мѣсто: экипажей меньше, людей все таки не мало, но—эта публика не измѣняетъ ни себѣ, ни Екатерингофу — этому дорогому старику, который помнитъ Петра Великаго. Въ этой рощѣ много пролетѣло тайныхъ рѣчей политическаго, высокаго, страстнаго и забавнаго содержанія; изъ нихъ бы можно написать чудные мемуары; но гдѣ эти рѣчи? — Ихъ носитъ сѣверный вѣтеръ надъ мутной хлябью Финскаго Залива.

Въ исходѣ марта 17...го года, Нева разошлась. Государь на буерѣ отправился въ Шлиссельбургъ, куда ожидали Царицу Параскевію Ѳеодоровну съ дочерьми и съ Царевнами Наталіей, Маріей и Ѳеодосіей Алексѣевнами. Не могу доложить какимъ, сухимъ или мокрымъ путемъ онѣ пожаловали въ Шлиссельбургъ; кажется, сухимъ, по-

тому, что Пелагеѣ Андреевнѣ Кутеяровой, комнатной боярышнѣ Марьи Алексѣевны, на царскомъ буерѣ стало дурно... Не будь этого происшествія никто бы и не замѣтилъ, да и не могъ бы замѣтить Пелагеи Андреевны, потому что она сидѣла между двумя сундуками съ *золотною* одежою Царевны, и закутала лице какимъ-то платкомъ, и теплымъ и удушливымъ. Безъ сомнѣнія отъ этой предосторожности ей и сдѣлалось дурно; она свалилась какъ снопъ; перепугала царственныхъ путешественницъ и самого Государя обезпокоила.

— «Что такое?» спросилъ Государь...

— «Ничего!» отвѣчалъ молодой рослый денщикъ, раскутывая боярышню: «Придушило маленько; видишь какую рогожу намотала... Ахти!..» И денщикъ отскочилъ, будто его въ ногу змѣя ужалила.

— «Что тамъ еще?..»

— «Ничего!» отвѣчалъ денщикъ, покраснѣвъ до ушей и нагинаясь, чтобы поднять платокъ, которымъ была обмотана Пелагея Андреевна, и который выпалъ изъ рукъ его, когда его что-то ужалило.

— «Какъ ничего?..»

— «Оно и въ самомъ дѣлѣ, какъ подумаешь такъ ничего», отвѣчалъ онъ, собираясь съ духомъ: «да видно тутъ гвоздь какой; больно перепужался.»

— «Да что же ты подымаешь платокъ, когда боярышня лежитъ. Подними боярышню!..»

— «Я? Низачто!.. Руки обожжетъ; погляди какая разокрасавица...»

— «Вотъ что!.. Ну такъ помоги мнѣ!..»

— «Не могу! Стыдно...

— «Я велю тебѣ...»

— «Ужъ развѣ велишь!»

И денщикъ, дрожащими руками, сталъ подымать боярышню; но какъ человѣкъ предусмотрительный, зажмурился. Боярышня безъ чувствъ не могла удержаться на ногахъ и упала на грудь своего спасителя; денщикъ раздвинулъ руки въ ужасѣ, будто вилы; коленки у него пригнулись; уста какъ-то мимоходомъ коснулись безъ поцѣлуя холодной щеки Пелагеи Андреевны; онъ вздрогнулъ и закричалъ во все горло: «Караулъ! Рѣжутъ! Караулъ!..»

Потрясены ли были нервы у боярышни отъ этого неистоваго крика, или отъ вліянія воздуха, только она очнулась въ вилообразныхъ объятіяхъ денщика, не могла его видѣть въ лицо, потому что онъ отвернулся, какъ отворачивается сонная собачка, когда ее подчиваютъ табакомъ... Пелагея Андреевна, замѣтивъ свое положеніе, вспыхнула, вспрыгнула, вскрикнула: «Ахти, Господи, срамъ какой!..» и закрыла лице руками.

— «Ахти, Господи, срамъ какой!» повторилъ денщикъ и тоже закрылся.

Трудно описать какое впечатлѣніе произвело на присутствующихъ все это зрѣлище... Буеръ, миновавъ развалины Нізвшанца, сталъ подъ крылья свои подбирать свѣжій сѣверо-восточный вѣтеръ: матросы забѣгали; заскрипѣли мачты; холсты передвинулись, и нетише парохода, подобно широко-

крылой гальціонъ, буеръ плавно и шибко спустился къ новой крѣпости, и свернулъ крылья у Троицкой пристани. Зрѣлище новой столицы заставило позабыть о денщикѣ и боярышнѣ. Съ нѣмымъ вопросомъ поглядывали Царица и Царевны на Петербургъ и на Петра. Удивленіе и грусть выражались въ этомъ взорѣ; всѣ были печальны; только лице Петра сіяло многозначащей улыбкой. Онъ смотрѣлъ на бѣдныя лачуги города, какъ страстно любящая мать на ребенка, когда онъ не по лѣтамъ говоритъ остроумныя рѣчи. Буеръ давно стоялъ на мѣстѣ, давно узкая лѣстница была перекинута на деревянную пристань, но, и хозяинъ, и гости утопали въ глубокой, хотя и совершенно разнородной думѣ. Трезвонъ съ колокольни Троицкаго Собора, радостные клики съ деревянныхъ мостковъ, которые вели съ пристани во дворецъ, или домикъ Петра Великаго, — ихъ пробудили. Окутанная въ теплую душегрѣю, на песцовомъ мѣху, придерживая бѣлоснѣжною рукою голландскій платочикъ на головѣ, статная, стройная, румяная, легко и торопливо бѣжала на встрѣчу мужу и гостямъ, очаровательная хозяйка; прибѣжала, смутилась, поникла чудной головкой, но взоръ и рѣчь Петра—одушевили Государыню...

— «Катя! Вотъ я тебѣ привезъ всю родню... Теперь мы всѣ вмѣстѣ...»

Было и грязно, и на дворѣ не слишкомъ свѣтло, и вѣтеръ; не до церемоніала. И Царица и Царевны вышли вслѣдъ за Государемъ запросто. Буеръ опустѣлъ; остались на немъ только денщикъ, да

боярышня, да матросы. Придворные лакеи сняли сундуки съ золотнымъ приборомъ и унесли; пошла за ними и Пелагея Андреевна, и дошла было до самой лѣсенки; но денщикъ убралъ царскій полушубокъ, кожаный передникъ, морскія рукавицы и сапоги, все это навьючилъ на лѣвую руку и подошелъ въ одно время съ боярышней къ лѣсенкѣ. Сошлись, вглянулись, и въ ужасѣ присѣли.

— «Омутъ! просто омутъ!» ворчалъ денщикъ: «Діавольское навожденіе. И за чѣмъ это Государь приказалъ этимъ бабамъ носить лица наружу. Вотъ теперь и пошло колдовство. Въ бѣлый день туманъ наводятъ...»

— «Онъ меня съѣстъ, разбойникъ!» ворчала боярышня: «Батюшки свѣты, такъ и глядитъ волкомъ... Въ торопяхъ фату обронила... и прикрыться нечѣмъ... Ну, сторонка безстыдная! Экой позоръ, прости Господи! На женское лице глядятъ будто на торговку... Охъ, сгорю отъ стыда!..»

— «Ой, не смогу... Чуръ меня! Наше мѣсто свято...»

— «Пошелъ прочь! Отвяжись, безстыдникъ! Не позорь меня чернымъ глазомъ... Сгинь, пропади!..»

— «Да воскреснетъ Богъ и расточатся...»

Неизвѣстно, до чего бы они договорились. На бѣду, у самаго буера пробѣгалъ въ эту минуту одинъ изъ шутовъ царскихъ. Сцена его остановила; видно, уже ему не въ первый разъ. Дуракъ смѣкнулъ въ чемъ дѣло и съ хохотомъ закричалъ:

— «Полно чиниться! Поцѣлуйтесь! Суженаго конемъ необъѣдешь...»

Эти слова, что искра въ порохъ; съ крикомъ отчаянья и денщикъ и боярышня рванулись на узкую лѣсенку; на несчастіе веревка для опоры была со стороны денщика. Столкнулись, его удержала веревка; но Пелагея Андреевна перекувырнулась и бухъ въ воду. Тутъ все было забыто. Проворно царскія вещи были сложены на лѣсенку; денщикъ перекрестился, спрыгнулъ въ воду, досталъ оглушенную паденіемъ боярышню, вынесъ, поставилъ лицемъ прямо въ огородъ царскій и безъ оглядки пустился бѣжать, самъ не зная куда, и отъ кого. Царицыны боярышни поспѣшили на помощь Пелагеѣ Андреевнѣ, и провели ее въ мазанку, назначенную временно для пребыванія Маріи Алексѣевны. Царевна уже была тамъ. Досада разливалась по выразительному лицу ея; она сидѣла въ задумчивости и думала Богъ знаетъ о чемъ.

— «Гдѣ ты это пропадала, Палашка?»

— «Матушка, Государыня Царевна! Отомсти! Не дай срамить вѣрныхъ слугъ твоихъ...»

— «Что́ съ тобою?» спросила Царевна съ участіемъ.

— «Драгунъ проклятый, нѣмецкій этотъ людорѣзъ долговязый, хотѣлъ съѣсть меня...»

— «Глупости...»

— «Какія, матушка Царевна, глупости! Какъ только ты ушла, мое солнышко, онъ прискочилъ и загородилъ дорогу.»

— «Ну...»

— «Загородилъ. Вижу, что нечистый; у него полымя изъ глазъ такъ и пышетъ.»

— «Ну...»

— «Вдругъ какъ бросится на меня... и столкнулъ въ воду.»

— «Въ воду! Середь бѣла дня, чуть не на глазахъ нашихъ? Хорошъ пріемъ! Кто же тебя изъ воды вынесъ?»

— «Ужъ не знаю; чай, водяной выкинулъ.... Государыня Царевна, заступись и помилуй!..»

— «Чего же ты хочешь?..»

— «Чтобъ его, окаяннаго, самого въ воду столкнули, чтобы глаза ему выкололи, грѣховоднику; пусть на женскую наготу не глядитъ, когда случай фату сдернетъ; матушка...»

— «Перестань!.. Нѣмецъ... Насъ съ тобою не послушаютъ. Гляди еще скажутъ, что ты его обидѣла; выдадутъ ему головой...»

— «Помилуй, Государыня Марья Алексѣевна!..»

— «Нѣтъ! Палаша! Я тебя люблю и вотъ что сдѣлаю. Спрячу! Скажу, что тебя черный глазъ испортилъ, такъ я тебя къ матери съ обозомъ отослала...»

— «Вѣкъ не забуду милостей твоихъ...»

— «Кто-то идетъ! Вѣрно за тобою... Спрячься!..»

Палаша спряталась за высокую спинку огромнаго кресла, и присѣла. Вошла комнатная дѣвушка и доложила, что какой-то Нѣмецъ пришелъ.

— «Такъ и есть!»

— «Господи, спаси и помилуй!»

— «Зови! Нельзя отказать...»

— «Не пускай... снюхаетъ...»

Но было поздно. Вошелъ точно Нѣмецъ. На высокихъ ногахъ, какъ на двухъ шестахъ, болтались кафтанъ, камзолъ и манжеты; лице, подъ огромнымъ парикомъ, казалось съ кулакъ; руки висѣли, будто маятники; дугой вошелъ онъ; въ комнатѣ согнулся въ полукругъ и тихо спросилъ:

— «Гдѣ больная?»

— «Здорова, батюшка, давно здорова. Испужалась маленько; прошло... Теперь спитъ... Прощай...»

— «Моя глюбошайшая аттенція...» и Нѣмецъ ушелъ.

Царевна и Палаша отъ радости запрыгали, и вдругъ испугались.

Раздалась музыка на дворѣ; играли на трубахъ и флейтахъ, и такъ громко, какъ-будто надъ головою. Проиграли, и мѣрно, таинственно, протяжно глухимъ звукомъ раздались удары колокола. Девять разъ пробили часы и въ крѣпости ударили въ барабанъ. Этотъ бой подходилъ къ мазанкамъ ближе и ближе. Дѣвушки одна къ другой прижались и съ трепетомъ ожидали, чѣмъ все это кончится. Но бой ушелъ, какъ пришелъ, и все затихло.

— «Ну, городокъ!» сказала Палаша: «Колдуны и разные страхи на волѣ себѣ такъ и ходятъ. А хоромы-то, хоромы! Потолокъ рукой достанешь; поглядѣть изволь, дождь тутъ насквозь проходитъ;

окна будто на той лодкѣ... чтобъ она... Чуръ меня... и вспомнить страшно. Хороши терема, нечего сказать. На Москвѣ у конюховъ жилье лучше...»

Царевна печально улыбнулась и вздохнула.

— «О чемъ, Государыня Царевна?..»

— «Охъ!.. На Москвѣ, не приведи Богъ, что мнѣ разсказывали...»

— «Что, матушка Царевна?..»

Марья Алексѣевна пригнулась и сказала шепотомъ:

— «Баили, что всѣхъ насъ въ новый городъ выписали, чтобы замужъ за Нѣмцевъ поотдавать.»

Палаша перекрестилась.

— «Для Аннушки Ивановны пріискали уже какого-то нитавскаго короля...»

— «Господи, прости!..»

— «А для племянницы Катиньки, хоть и подростокъ, а все-таки пріискали кого-то въ запасъ...»

«Слушай!» раздалось почти у самыхъ оконъ мазанки. Это слово было сказано не отрывисто, не разговорнымъ манеромъ, а на распѣвъ. На бѣду у часоваго голосъ былъ такой пронзительный, что собесѣдницы поблѣднѣли, и обмерли, когда часовой вытянулъ свою безконечную ноту и смолкъ. Царевна указала на окно, шепнула: «Насъ подслушиваютъ..» На цыпочкахъ, переступая легонько, добралась до постели; не раздѣваясь, улеглась, и занавѣсь опустилась. Палаша не знала, гдѣ ея постель; выдти спросить, боялась. Измученная, она недолго боролась съ благодатнымъ сномъ; но увы!

и тамъ ей не было покоя. Нѣмецъ съ буера то и дѣло являлся, пламя изъ глазъ, вотъ такъ и жжетъ. Палаша проснется, плюнетъ, отчурается, и опять задремлетъ; да ба, — Нѣмецъ съ другой стороны подходитъ. Едва къ утру ей удалось совершенно отчураться и уснуть, какъ слѣдуетъ.

II.

— «Это вамъ, господинъ денщикъ, очень можно говорить; но имѣйте милость присмотритъ, что въ Катарингофъ — не много дома. При дворца только кухня и людской домъ. Этотъ можна сдѣлать чиста. Большой флюгель; тамъ можна жить шестъ персонъ; подзорной маякъ — Царь нужно; оранжереи—мой нужно; на калинкинска скотна дворъ— тамъ только холодной альтана; въ рощахъ четыре альтана, тожъ холодной; теперь за рѣчкой, гдѣ парники...»

— «Да не умничай, Гаврило Карлычъ! Сказано — и кончено. Изволь таскать цвѣты въ садъ.»

— «Всѣ умирать будутъ...»

— «Не твое дѣло. Государыня съ Царицей и Царевнами помѣстятся во дворцѣ...»

— «Десять апартаментовъ на верху; внизу девять; внизу жить не можетъ...»

— «Послушай, ты Гаврило! Не болтай много. Выноси цвѣты, а не то вѣдь у меня канонирская команда; свисну, такъ мы сами все перетаскаемъ и тебя въ цвѣтникѣ на самой серединѣ вмѣсто подсолнечника посадимъ; близорукой твоей плешивой головы никто и не различитъ отъ...»

— «Господинъ денщикъ!..»

— «Ну, поворачивайся...»

— «Извольте, я поворачиваюсь...»

Гаврило Карлычъ Шурстъ, придворный садовникъ, дѣйствительно поворотилъ къ оранжереямъ, которыя были тамъ, гдѣ теперь тріумфальныя нарвскія ворота; насвистывая, пошелъ скорымъ шагомъ; а денщикъ отправился къ лодкамъ, цѣпью стоявшимъ между Гутуевскимъ Островомъ и частью берега, нынѣ застроеннаго улицами между Обводнымъ Каналомъ, Таракановкой, Фонтанкой и Невой. Все это пространство входило въ составъ Екатерингофской дачи. Недалеко отъ устья Фонтанки стоялъ тотъ флюгель, гдѣ, по словамъ Гаврилы Карловича, можно было жить шести персонамъ. Лодки стояли противу самаго флигеля; канониры выгружали изъ нихъ на Гутуевскій Островъ разные большіе и малые шесты, колеса, щиты, и тому подобное; фейерверкеры все это уставляли противу большой альтаны или бесѣдки, мимо фундамента коей теперь проходитъ Обводный Каналъ. Денщикъ подошелъ къ берегу, посмотрѣлъ на работы и сказалъ: «Ладно! У васъ дѣло идетъ скоро. Да что же кухня и прислуга не ѣдетъ?..»

— «За лѣсомъ, Константинъ Ивановичъ, ничего не видно; чай, теперь уже противу боярскихъ дачъ» (гдѣ теперь заводъ Берда и другіе).

Константинъ Ивановичъ вынулъ изъ-за пазухи большой листъ и сталъ читать Инструкцію, какъ всему чину празднества быть, гдѣ кому изъ придворныхъ жить, какія мѣста очистить отъ листьевъ

подъ царскіе экипажи. И въ это самое время, какъ онъ перечитывалъ Инструкцію, вѣроятно въ десятый разъ, изъ Большой Невы, въ узкій рукавъ, обмывающій западный берегъ Екатерингофскаго Острова, вошелъ на всѣхъ веслахъ и даже съ парусами катеръ; на немъ тма перинъ, подушекъ, женщинъ; но лицъ нельзя было видѣть; густыя покрывала заслоняли ихъ непроницаемо. Только камеръ-медхены и камеръ-фрейлины Царицы Екатерины Алексѣевны одѣты были по-Европейски, и лицъ не скрывали; напротивъ, онѣ съ удовольствіемъ замѣтили на берегу Константина Ивановича, который, замѣтивъ, съ своей стороны, что на катерѣ женскій полъ, покраснѣлъ, какъ ракъ, и нарочно погрузился въ чтеніе Инструкціи. Напрасная предосторожность; катеръ причалилъ; раздались тоненькіе голосишки:

— «Константинъ Иванычъ, полно умницу корчить; что ты тамъ читаешь?»

— «Штрументъ Его Царскаго Величества.»

— «Полно пыль въ глаза пускать,» сказала пожилая, но весьма еще пригожая дама: «Подавай-ка руку; помоги намъ изъ катера на сушу перебраться...

— «Хороша суша! Грязь по косточки; не успѣли вамъ дороги намостить: Посидите лучше въ катерѣ, пока мои люди съ огненною потѣхою управятся.»

— «А когда же мы съ нашимъ дѣломъ управимся? Подавай руку! До флигеля кое-какъ доберемся, а тамъ до самого дворца битый путь.

— «Ну, нельзя совсѣмъ. Въ молодой дубовой рощѣ, что Государь у флигеля прошлой осенью насадилъ и запретъ на нее положилъ, тамъ битый путь, что кисель. Какое теперь время для гулянья...»

— «Ты, Константинъ Ивановичъ, Государю про это скажи!..»

— «А Государь отвѣтитъ: не твое дѣло, а еще заикнусь, такъ и дубинкой...»

— «И по дѣломъ. Не умничай, а подавай руку! Вѣдь ты же сухо стоишь; трава подъ тобой; вся поляна обсохла. Ну, поворачивайся Константинъ Ивановичъ!»

Нечего дѣлать; Константинъ Ивановичъ протянулъ руку вмѣстѣ съ инструментомъ. Женщины, сначала личныя, а потомъ и безличныя, опираясь на руку деньщика, перепрыгивали на вязкую, влажную сушу; осталась одна и никакъ не хотѣла идти съ катера.

— «Пелагея Андреевна,» сказала та же дама: «Что же ты! Пора тебѣ съ здѣшнимъ обычаемъ освоиться. Вѣдь Константинъ Ивановичъ не укуситъ. Вѣдь у него лице такое грозное, а сердце доброе. Вѣдь тутъ не на царскомъ буерѣ; онъ тебя не столкнетъ въ воду. Ступай, Пелагея Андреевна!»

Константинъ Ивановичъ, на дрожащихъ ногахъ, сталъ осѣдать будто каменная башня на шаткомъ фундаментѣ; но стыдъ держалъ его въ прежней позитурѣ; правая рука съ инструментомъ торчала впередъ и будто указывала дорогу въ Кронштадтъ.

Пелагеѣ Андреевнѣ также стало стыдно, что она середь бѣла дня боится драгуна; откуда взялась смѣлость. Бойко пошла она къ Константину Ивановичу, схватила его за руку пониже локтя, такъ сильно, что Константинъ Ивановичъ вскрикнулъ, уронилъ инструментъ, и когда боярышня оторвала свою руку, будто отъ куста крыжовника, Константинъ Ивановичъ стоялъ въ грязи на одномъ колѣнѣ. Придворный женскій штатъ весьма забавлялся зрѣлищемъ; тѣ, которыя были съ лицами, такъ и заливались звонкимъ смѣхомъ; безличныя — однѣ улыбались и завидовали тѣмъ, что съ лицами; другія — дулись и досадовали на соблазнъ Невскихъ нравовъ. Къ которому разряду принадлежала Пелагея Андреевна? Какъ вы думаете?

— «Ну, господинъ фатермистеръ!» сказала дама: «Пошутили, теперь разводи по фатерамъ; чай, для Пелагеи Андреевны новый домъ успѣлъ построить?.. Отвѣчай же, куда кому идти?..»

— «Боже мой!»

— «Что тамъ такое?»

— «Царскій штрументъ!..»

— «Какой штрументъ?»

— «Тотъ, гдѣ все прописано, чему быть и чему не быть. Пропала моя головушка!»

— «Батюшки свѣты! Царскій наказъ!» воскликнули всѣ личныя и безличныя: «Да гдѣ же онъ?»

— «Утонулъ, въ Кронштотъ унесло; пожалуй, еще къ свейскому королю доплыветъ! Ахъ, Пелагея Андреевна!..» шепотомъ досказалъ Константинъ Ивановичъ: «Погубила ты меня ни за ал-

тыкъ, ни за два... Богъ тебѣ судья! Что я теперь стану дѣлать?..»

Дѣвушки бываютъ злы и добры такъ, отъ нечего дѣлать, какъ случится, какъ вздумается. Чуть не всѣ бросились къ берегу, тонули въ грязи, высматривали... наказа нигдѣ не было видно. Пелагея Андреевна также-было сдѣлала шага три на помощь драгуну. Но кровь бросилась къ головѣ, она схватилась за дерево и едва удержалась на ногахъ.

Поиски и утѣшенія были напрасны. Какъ вкопаный стоялъ Константинъ Ивановичъ надъ мутными волнами рукава Невы, и думалъ, думалъ, думалъ...

— «Ничего!» закричалъ онъ торжественно. «Всѣ помню, семьнадцать пунктовъ; всѣ по пальцамъ перечелъ; всѣ есть; благо, что память у меня не штопаная; ни одинъ не ускользнулъ... Пунктъ первый; ступайте за мной. Я покажу, гдѣ кому мѣститься...»

Но дѣвушки не шли; окружили Константина Ивановича со всѣхъ сторонъ, и давай разспрашивать, какъ указано быть празднику.

— «Не ваше дѣло. Секретность, которую я законсервовать обязанъ. Пусть его утонетъ, лишь бы кому въ руки прежде времени не попался...»

— «Да вѣдь мы не разболтаемъ сюрпризовъ.»

— «Не могу.»

— «Пелагея Андреевна, попроси ты.»

— «Ну, такъ теперь нарочно не скажу. Вотъ вамъ...»

— «Не скажешь?»

— «Не скажу низачто!..»

— «Ну, коли такъ, постой же!.. Оставьте, не просите его... Мы ему отплатимъ...»

— «Не боюсь я васъ, чечотокъ...»

— «Поглядимъ, посмотримъ!»

И дѣвушки вошли во флигель и стали заниматься своимъ дѣломъ; а денщикъ, повторяя въ полголоса: пунктъ второй, пунктъ третій... и, заучивая, такимъ образомъ, наизустъ инструкцію, пошелъ къ Гаврилѣ Карловичу...

— «Ну, — Палаша,» сказала дѣвушка съ лицемъ:—«поддѣла ты парня знатнаго; только онъ, слышно, большой ярыга; говорятъ, на многихъ сватался.»

Пелагея Андреевна въ это время разкутывала свое покрывало; вдругъ вскрикнула и присѣла.

— «Что такое, Палаша?»

— «Ничего, ничего,» — отвѣчала она, дрожа, и спрятала руки назадъ.

— «Какъ ничего?»

— «Таракашка по стѣнѣ такой большой пробѣжалъ, черный такой, ухъ... страшно!..»

— «Еще бы! Тутъ зимою кто живетъ? Холопья, сторожа,—такъ и не диво... Ну, однако, пойдемъ во дворецъ, надо покои поубрать, постели переслать; дѣвушки однѣ и не смогутъ, и все таки присмотръ нуженъ; пойдемъ, Палаша!..»

— «Сейчасъ! Бостроги поправлю... Ступайте! Я догоню!» Ушли.—«Ахъ, ты Господи! А инструментъ-то у меня въ фатѣ заплутался. Отдай имъ! Какъ

бы не такъ! Вѣдь чего добраго, есть и грамотныя,—прочтутъ; всю тайность Царевнамъ перескажутъ, Государь разсердится... Бѣдный Константинъ Ивановичъ! Что съ нимъ будетъ! —А какъ Государь спроситъ про этотъ штрументъ? Государю лгать нельзя. Потерялъ, обронилъ.... Опять достанется. Бѣдный Константинъ Ивановичъ! Пропалъ,— а мнѣ какъ ему помочь? Самой отдать? На смѣхъ подымутъ; и такъ только въ дѣвичьихъ и рѣчи, что про него. Упаси Господи, какъ узнаютъ. Что мнѣ дѣлать? Что мнѣ дѣлать?»

— «Палаша!»

— «Вотъ тебѣ разъ... Зовутъ... Видно смѣкаютъ, за мною присматриваютъ.»

— «Палаша! Бѣги скорѣе, шуты пріѣхали.»

— «А мнѣ что за дѣло? Не шуты, а шутихи. Вамъ бы только, чтобъ надъ Константиномъ Ивановичемъ смѣяться. Что онъ вамъ сдѣлалъ? Не васъ онъ въ воду обронилъ? Меня... Такъ мнѣ съ нимъ и разсчитываться... А ужъ штрумента вамъ не видать, какъ ушей своихъ.»

— «Государь ѣдетъ!» раздался голосъ въ саду.

— «Боже мой! Сгубила я Конетантина Ивановича!» И съ этими словами, спрятавъ за пазуху роковой инструментъ, боярышня выбѣжала изъ флигеля, и сама не-своя, остановилась у пристани, въ то самое время, когда Государь, стоя на рулѣ красиваго катера, проѣзжалъ мимо. Между гребцами можно было узнать Меншикова, Апраксина, Зотова, другихъ вельможъ, и многихъ иностранныхъ резидентовъ. Константинъ Ивановичъ былъ уже на сво-

емъ мѣстѣ и салютовалъ Царскій катеръ семью пушечными выстрѣлами. Царственная семья вышла на берегъ въ большихъ цвѣтникахъ. Гаврило Карлычъ успѣлъ выставить въ главный или собственный садъ чуть не всѣ цвѣты изъ теплицъ. Хотя деревья чуть чуть опушались мелкой зеленью и какъ будто на весну собирались; но за то въ цвѣтникахъ было полное лѣто, іюль мѣсяцъ. Гости, одни заправду, другіе притворно, дивились. Только Государь не обращалъ вниманія на цвѣты; простился съ своими, и въ сопровожденіи одного только Константина Ивановича, отправился на легкой лодкѣ на взморьѣ. Посѣтилъ свой маякъ, объѣхалъ Трухтановъ Островъ, и, по Таракановкѣ, обошелъ большую часть Екатерингофской дачи, до того мѣста, гдѣ за теплицами подымалась красивая семья молодыхъ дубковъ, насажденныхъ собственною рукою Великаго Хозяина.

— «Стой!» закричалъ Государь: «Это уже не буря, а рука злаго человѣка. Гдѣ сторожъ?»

Но сторожа не было. Гаврило Карлычъ, откуда ни возьмись, и доложи Государю, что третій сторожъ сбѣжалъ уже съ этого поста; что тайный воръ приходитъ правильно каждую недѣлю разъ, вывернетъ три дуба съ корнемъ и пропадетъ, будто сквозь землю провалится; что всѣ предосторожности оказались безуспѣшными. Государь слушалъ Гаврилу Карлыча съ неудовольствіемъ; но не сказалъ ни слова; махнулъ рукой и пошелъ ко дворцу по аллеѣ, которая существуетъ и нынѣ, но уже не аллея, а улица, довольно пустынная, многозаборная.

— «Слушай, Костя! Я этимъ Нѣмцемъ недоволенъ. Плутуетъ. Это его штуки. Пай сторожей остается у него въ карманѣ. Много рабочихъ дней на дубовую рощу даромъ написано; будто онъ шалости воровскія каждый день исправляетъ. Понимаешь?»

— «Понимаю.»

— «Такъ мнѣ кажется. Надо изловить вора. Не можешь ли ты?»

— «Могу, Государь, коли для того только усердіе нужно...»

— «Ну, такъ займись этимъ.»

Государь вошелъ во дворецъ, а Константина Ивановича неволя подмыла и понесла прямо къ флигелю, гдѣ у открытыхъ оконъ сидѣли комнатныя боярышни. Смеркалось. Но въ глубинѣ нижней комнаты Константинъ Ивановичъ замѣтилъ Пелагею Андреевну, и не зналъ, идти ли впередъ, или обратно. Но у молодости орлиное зрѣніе; дѣвушки завидѣли денщика и хоромъ звали его подойти къ окну.

— «Что, Константинъ Ивановичъ! Не нашли штрумента?»

— «А гдѣ его найдешь? Да и ненужно. Я все помню, у меня все въ порядкѣ. Государь доволенъ...»

— «А какъ узнаетъ, что штрументъ пропалъ, плохо будетъ.»

— «Повинюсь, помилуетъ, вѣдь ненарокомъ... Ну, прощайте, чечоточки! Пора на покой. До свѣта надо за дѣло приниматься...»

— «А ты во дворцѣ выплясывать сегодня заморской пляски не будешь?»

— «Что я, медвѣдь ученый, что ли? У насъ, по деревнямъ, дворянъ этой потѣхѣ не учили, такъ ужъ не подъ стать въ мои лѣта ноги себѣ выламывать. Мое дѣло солдатское. Вотъ пойду вора сегодня стеречь въ дубовой рощѣ, что за теплицами. Чай думаетъ: теперь тамъ веселіе, имъ не до меня. А я его изловлю, да въ клѣтку и закупорю. Прощайте! Желаю веселиться...»

— «Мы то будемъ веселиться,» сказала одна боярышня, оправляя на себѣ венгерское платье, какъ тогда называли: «а ужъ ты поплатишься за то, что не сказалъ, какъ завтра насъ тѣшить будутъ... Чай дуракъ ужъ проговорился. Камеръ идетъ; видно за нами...»

Боярышня угадала, камеръ-лакей объявилъ, что во дворцѣ ждутъ дамъ. Всѣ поднялись. Къ общему удивленію, Палаша стала одѣваться, и пока другія охорашивались передъ зеркаломъ, она уже была готова и пошла вслѣдъ за подругами, смѣло, бойко, какъ будто вся старина разомъ съ плечъ ея свалилась. На дорогѣ она маленько поотстала и завела рѣчь съ камеромъ; но скоро присоединилась къ вереницѣ боярышень и вмѣстѣ съ ними вошла во дворецъ.

Во дворцѣ... Мы ужъ привыкли всѣ домики Петра Великаго называть дворцами, хотя они даже меньше чѣмъ домики. Вспомните Нарвскій, Ревельскій, Петербургскій и другіе, — и, не правда ли, они немногимъ отличаются отъ сардамской квар-

тиры Великаго Мастера? Почему и неудивительно, что Екатерингофскій, даже сами царственныя особы, называли дворцемъ, потому что тутъ была и есть довольно большая зала, въ которой удобно могъ исполняться менюэтъ въ восемь паръ. Верхнія комнаты были убраны великолѣпно, по тогдашнему; китайскія ширмы и мебели возбуждали удивленіе не только Царицы Параскевіи и Царевенъ, но даже и резидентовъ. Послѣднимъ, только не извѣстно почему, не совсѣмъ нравились мѣдныя обронныя картины съ латинскими надписями, Sluselburg iactu, Petropolis fundat, Narua expugnato, Proelium Kalisz... Петръ Великій поглядывалъ задумчиво на эти изображенія. Ему были уже извѣстны планы короля шведскаго на Россію; но онъ еще не зналъ навѣрно, куда: на Сѣверъ, Югъ или Востокъ направитъ стопы свои Карлъ XII.—Въ другихъ комнатахъ верхняго этажа мебель была еще самая простая; но уже въ одной изъ нихъ стояли англійскіе часы съ курантами, и разыгрывали какую-то штуку къ неописуемому удивленію боярышень, которыя собрались сюда и ждали пока укажутъ плясать. Между боярышнями ныряли шуты; другой прислуги не было.

— «Графъ!» сказала пожилая дама, съ которою мы уже не много знакомы: «Что же ты, про інтрументъ разсказалъ?»

— «Не могу къ Нему подойти!» отвѣчалъ Дакоста: «Нѣмцы, кругомъ да около, стоятъ заборомъ; все, знаешь, тузы; ихъ задирать не приказано. Балакиревъ разъ проврался что-то о Нитавскомъ

королѣ, такъ потомъ и самъ не радъ былъ... А тутъ теперь, погляди все какіе: цесарской, аглецкой, Богъ знаетъ коро нѣтъ. Говорятъ самъ водяной изъ моря окіана прислалъ посла; такъ гдѣ уже тутъ нашему сіятельству, между такихъ персонъ, путаться... Еще успѣемъ... А будетъ потѣха; намоютъ Константину Ивановичу голову; и по дѣломъ; важничаетъ. Когда я, или Балакашка, или другая букашка изъ нашихъ, мимо проходитъ, — онъ непремѣнно плюнетъ... Постой, постой, теперь ты отъ меня не отплюнешься. Ну, на силу! Видно-то Константинъ Иванычъ самыя плохія лодки подъ флейты поставилъ. Видишь, чуть не о полуночи пожаловали...»

Графъ Дакоста, главный шутъ царскій, сказавъ это, побѣжалъ по всѣмъ верхнимъ комнатамъ и кричалъ: «Кто въ плясъ, кто въ присядку? Милости просимъ, пожалуйте, а я на бубнахъ буду играть съ музыкой... а вы подтягивайте!.. »

Всѣ вняли приглашенію и сошли въ нижнюю комнату, которая называлась: Большое Зало. Музыканты играли на крыльцѣ; мужчины подходили къ дамамъ благочинно, чуть не на цыпочкахъ, составлялись пары. Государь окинулъ взоромъ собраніе и спросилъ: «А гдѣ же Костя? Онъ у меня на завтра комендантомъ.»

— «Костя?» лукаво спросилъ Графъ: «Изволитъ штрументъ отыскивать, что Ты ему далъ...»

— «Какъ? Онъ потерялъ мою записку? Быть не можетъ. Позовите его сюда!»

Пелагея Андреевна задрожала, поблѣднѣла. За-

бывшись, выступила было впередъ, но, замѣтивъ, что всѣ мужчины глядятъ на нее съ жадностію, бросилась въ другую комнату; оттуда на широкое деревянное крыльце, гдѣ стояла музыка; оттуда въ аллею, и тутъ ужъ безъ оглядки пустилась бѣжать все прямо, да прямо, къ дубовой рощѣ... На бѣгу она не замѣтила, да и на тихомъ ходу не могла бы увидѣть, что по дорожкѣ, вершка на три отъ земли, протянута веревка. Само собою разумѣется, что она зацѣпилась, упала, и, только благодаря времени года, не ушиблась, потому что земля походила на кисель. Но лучше бы ушибиться, чѣмъ встать, какъ встала Пелагея Андреевна...

— «Попался!» съ громкимъ смѣхомъ раздалось со всѣхъ сторонъ:

— «Сюда! Сюда! Огня, огня!»

Первый прибѣжалъ Константинъ Ивановичъ, и со всѣхъ ногъ, всѣмъ корпусомъ своимъ, повалился на Пелагею Андреевну, продолжая кричать: «Огня, огня!...»

Канониры, отвернувъ потаенные фонари, освѣтили клочекъ земли, гдѣ происходила сцена... Константинъ Ивановичъ хотѣлъ повернуть къ свѣту лице пойманнаго вора; но воръ упрямо защищался.

— «Постой, постой, не удастся! Видишь, какой хитрый! Въ женскій полъ нарядился; вотъ я тебя лицемъ прямо къ Государю поставлю... Ну, показывай свою воровскую рожу!»

— «Да, вы Константинъ Ивановичъ, пощекочите; можетъ воръ щекотки боится,» сказалъ канониръ, подставляя фонарь какъ можно ближе къ Палмнъ.

— «А что, въ самомъ дѣлѣ.»

— «Константинъ Ивановичъ, Константинъ Ивановичъ, помилуй!» закричавъ истерически, Пелагея Андреевна схватила за руки деньщика... Константинъ Ивановичъ забормоталъ на какомъ-то дикомъ языкѣ, хотѣлъ вырвать руки, но Палаша, боясь щекотки, не пускала.

— «За правду женскій полъ!» сказали канониры и отступили.

— «Господи Боже мой, спаси и помилуй!» бормоталъ невнятно Константинъ Ивановичъ: «Наше мѣсто свято, чуръ меня! Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази... Выручайте, ребята!.. Оборотень... Оборотень... Пелагеей Андреевной перекинулся... Эй ребята, ухватите меня за мундѣръ... тащитъ... право тащитъ... не выдайте, ребята!»

— «Константинъ Ивановичъ!» жалобно прошептала боярышня: «Да это я...»

— «Не ты, не ты! Лжешь! Не обманешь... Голубчики товарищи, что же вы? Не я буду, нечистая сила, рукъ не могу высвободить, помогите!»

Геніальная мысль посѣтила простодушную дѣвушку.

— «А пускай посмѣютъ подступиться. Я — вѣдьма! За чѣмъ въ мою рощу ходите. Всѣхъ васъ изжарю. Вонъ отсюда!..»

Канониры, и такъ уже приготовленные къ чему-то сверхъестественному, какъ будто только и ждали этого приказанія, побросали фонари и брыз-

нули въ разныя стороны. Канонеры были счастливѣе боярышни: они знали, гдѣ Константинъ Ивановичъ разставилъ свои сѣти, и, благополучно миновавъ капканы, бросились въ лодку; раздался шумъ веселъ по Таракановкѣ. Константинъ Ивановичъ во все это время кричалъ: «Помогите!» — а Пелагея Андреевна: «Замолчи, послушай... Я Пелагея Кутеярова, я не вѣдьма... Ты погубишь меня, осрамишь! Я хотѣла тебя выручить, — принесла штрументъ.

— «Штрументъ?» — Это слово привело въ чувство Константина Ивановича: «Наказъ? Гдѣ онъ, пропалъ или попалъ...»

— «Ко мнѣ въ руки! Вотъ онъ, неблагодарный! На! возьми, негодяй, только выручи и меня! Посадилъ ты меня въ западню; одежду испачкала; гдѣ хочь достань мнѣ другую; не могу же я такой замарашкой и во флюгель показаться.»

— «Пелагея Андреевна! О, не дурачь меня... Право умру и отъ стыда и отъ радости, и отъ досады; такъ душу на клочки и рветъ... Наказъ царскій — цѣлехонекъ... И кто мнѣ принесъ его?!.. Господи! Не пойму моего счастія. Растолкуй!»

— «Что тутъ за распросы? Въ фатѣ моей запутался, а въ воду не падалъ. Не хотѣла я тебя погубить; никому его не показала; а какъ услышала въ царской бесѣдкѣ, что Государю на тебя доносятъ, что ты наказъ потерялъ... Уже не знаю какъ, бѣгомъ къ тебѣ бѣжать пустилась, а ты...»

— «Матушка Пелагея Андреевна! Помилуй, не буду!» завопилъ Константинъ Ивановичъ, и съ этими словами бухъ ей въ ноги...

— «Что ты! Что ты это, Константинъ Ивановичъ! Мундѣръ испачкаешь...»

— «Матушка, прости и помилуй!»

— «Да полно кричать, и такъ чай уже услышали...»

— «Не встану, хоть убей не встану, пока не простишь...»

— «Богъ проститъ, только выручи меня!..»

— «Тебя!»

Константинъ Ивановичъ схватилъ боярышню на руки и понесъ къ оранжереямъ; только не успѣлъ онъ сдѣлать и ста шаговъ, какъ показались факелы. На крыльцѣ стоялъ Государь и всѣ гости; не куда, да и нельзя было спрятаться. Въ отчаяньи онъ не зналъ, что дѣлать. Изъ верхняго этажа дворца замѣтили въ дубовой рощѣ огни; слышали отдаленный крикъ, спѣшили идти на мѣсто дѣйствія; поджидали только факеловъ; но дѣйствующія лица сами явились на площадкѣ передъ крыльцемъ дворца. Не оставалось другаго исхода этой траги-комедіи, какъ принести повинную, что́ и денщикъ и боярышня, какъ будто условясь, исполнили съ надлежащимъ церемоніаломъ.

— «Ага!» сказалъ Графъ Дакоста: «Видишь какую любовь затѣялъ. Не давай ему, Государь, въ жены Пелагеи Андреевны. Пусть прежде подастъ Твою записку.»

Константинъ Ивановичъ вынулъ записку и подалъ Государю. Графъ онѣмѣлъ; не одна заго-

ворщица до крови прикусила себѣ губы. Государь гнѣвно посмотрѣлъ на Дакосту и сказалъ Константину Ивановичу:

— «Тутъ что-то не такъ, но ты мнѣ послѣ самъ разскажешь...»

— «Зачѣмъ послѣ? Могу и теперь.»

Пелагея Андреевна вскочила и грязной ручкой заслонила ротъ денщику.

— «Говори!» сказалъ Государь.

И тѣ же грязныя руки закрыли испачканное лице Пелагеи Андреевны, а Константинъ Ивановичъ разсказалъ все отъ слова до слова докладно, и, кончивъ, отступилъ почтительно.

Государь улыбнулся и сказалъ: «Ступайте! Умойтесь!»

Всѣ разошлись по домамъ. Боярышни объявили Палашу между собою безстыдницей; и не хотѣли быть съ ней въ одной комнатѣ. Въ слезахъ она накинула на себя теплую душегрѣю и пошла куда глаза глядятъ... Дошла она до пристани; задумавшись, ничего не видѣла, даже и того, что Государь съ Константиномъ Иванычемъ надъ самою пристанью стоятъ и потѣшнымъ огнемъ на завтра распоряжаютъ.

— «Куда ты?» спросилъ Государь, но Палаша не узнала его голоса.

— «Богъ мнѣ судья!» отвѣчала она.

— «И я немножко. Куда же ты идешь?»

— «Иду топиться.»

— «Иди лучше за-мужъ за Костю, такъ и концы въ воду...»

— «За-мужъ?..»

Пелагеѣ Андреевнѣ показалось, что земля ее поглащаетъ; но на этотъ разъ она проснулась въ объятіяхъ Константина Ивановича, не испугалась, и даже поцѣловала жениха, тѣмъ спокойнѣе, что на всемъ берегу только онъ одинъ и былъ. Вотъ какъ измѣняются нравы людскіе! Пелагея Андреевна блаженствовала, но не долго: вѣстовая пушка возвѣстила, что наступило 1-е мая... Все утро у дворца играла музыка. Флотъ яликовъ и шлюпокъ прибылъ изъ Петербурга; обѣдали въ саду на помостѣ, настланномъ усердіемъ Константина Ивановича. Послѣ обѣда на лодкахъ посѣтили подзорный дворецъ, побывали въ Петербургѣ, воротились къ вечеру въ Екатерингофъ, и вышли у большой альтаны, гдѣ усердіемъ того же Константина Ивановича приготовленъ былъ полдникъ. Смерклось, и на Гутуевскомъ заходили огни и заползали какія-то черныя тѣни. По сигналу, вспыхнула великолѣпная иллюминація. Праздникъ заключился блистательнымъ фейерверкомъ: послѣдняя картина представляла весну, разсыпающую розы разныхъ цвѣтовъ. Зрѣлище привело въ восторгъ всѣхъ, но больше другихъ восхищалась Палаша, и, когда разлилась огнемъ послѣдняя картина, она не выдержала, и сказала такъ громко и свободно, какъ будто бы тутъ никого не было:

— «Господи, Боже мой! Какая я счастливая! Вѣдь это все мой Константинъ Ивановичъ выдумалъ!..»

—

IV.

Непрочны радости на этомъ свѣтѣ Не успѣли молодые люди поближе познакомиться, какъ Государь получилъ въ Екатерингофѣ извѣстіе отъ Шаутбенахта своего, Боциса, что городъ Борго очищенъ отъ шведскихъ войскъ, и что дѣлать дальше? Посланецъ захворалъ, а надо было послать человѣка вѣрнаго, расторопнаго и въ морѣ бывалаго. Жребій палъ на Константина Ивановича. Не говоря ни слова невѣстѣ, онъ ночью пустился въ путь. Въ отлучкѣ былъ не долго, но воротился хромой... Шведъ подстрѣлилъ Константина Ивановича въ ногу... «Слава Богу, не изуродовалъ, но хромой слуга не находка. Кстати, Гаврило Карлычъ какъ-то провинился и Константинъ Ивановичъ, съ молодою женою, поселился въ Екатерингофѣ на вѣчное житье, — главнымъ смотрителемъ всей дачи. На вѣчное житье, потому, что не только эта чета, но дѣти, внуки, правнуки не хотѣли разстаться съ Екатерингофомъ, и я слышалъ все, мною выше разсказанное, отъ одного изъ отдаленныхъ потомковъ Константина Ивановича и Пелагеи Андреевны. При жизни Петра Великаго, Екатерингофъ цвелъ, какъ роскошная оранжерея; но ударилъ часъ, и его забыли совершенно, такъ, что нѣсколько лѣтъ живая душа сюда незаходила; только охотники, проѣздомъ на Трухтановъ Островъ и далѣе на взморье, посѣщали Константина Ивановича, чтобы обогрѣться. Отъ нихъ узнавалъ онъ, что дѣлается въ Петербургѣ; отъ нихъ узналъ онъ, что умеръ Петръ II, всту-

шла на престолъ Анна Іоанновна. Дальше онъ ничего не узналъ на этомъ свѣтѣ: переселился въ вѣчность. Пелагея Андреевна не отстала отъ нѣжно любимаго супружника, и умерла въ тотъ же день, оставивъ взрослыхъ сына и двухъ дочерей. Сынъ женился на дочери прядильнаго фабриканта, ближайшаго своего сосѣда. Онъ, подобно родителямъ, любилъ Екатерингофъ, можетъ быть, нѣсколько болѣе, потому что это была его родина. Тутъ было все, что можетъ быть дорого сердцу. Онъ съ грустію смотрѣлъ, какъ съ каждою весною болѣе и болѣе разрушался старый дворецъ. Онъ даже два раза ѣздилъ въ Питеръ, рапортовалъ о необходимыхъ починкахъ, но канцелярія отъ строеній на рапорты его не обращала никакого вниманія. Рощи замохли, дорожки расползлись, стала по всей дачѣ грязь непроходимая, такъ что и смотрителю не было возможности оставаться на этой топи. Изъ остатковъ развалившихся бесѣдокъ, онъ построилъ себѣ, съ помощію двухъ сыновей, небольшой домъ, на другомъ берегу Таракановки, и завелъ отъ нечего дѣлать австерію для охотниковъ, коихъ число съ каждымъ годомъ умножалось, и очень естественно: дичь въ этихъ мѣстахъ плодилась, какъ грибы. Въ 1745 году, неожиданный ударъ постигъ Ивана Константиновича: на двадцать верстъ кругомъ Петербурга запретили охоту. По проекту Миниха, послѣдовалъ указъ 27-го мая: старый лѣтній дворецъ раздѣлить на двѣ части и поставить по обѣимъ сторонамъ Екатерингофскаго дворца... Указъ этотъ, до

1749 года, не былъ приведенъ въ исполненіе. Въ этомъ же году лѣтній дворецъ разобрали, къ Екатерингофскому пристроили флигеля; а всю дачу, съ прилежащими къ ней землями, до Лиговскаго канала, Московской дороги и Емельяновки, обнесли частоколомъ и окопали рвомъ для звѣринца. Такимъ образомъ Иванъ Константиновичъ со всею семьею попалъ въ звѣри, но не надолго. Онъ умеръ, а дѣти его, придворные оберъ-егеря, посвятившіе себя моднымъ тогдашнимъ занятіямъ — охотѣ, проводили время довольно весело до 1765 года; въ этомъ году звѣринецъ уничтоженъ; сдѣланъ новый проектъ. Екатерингофская дача сократилась и вошла въ прежнія границы. Предполагалось, около дворца полукругомъ, раскинуть садъ и разрѣзать девятью аллеями, которыя всѣ сходились бы ко дворцу и пересѣкались полукруглыми и поперечными дорогами. Узнавъ объ этомъ, оберъ-егеря весьма опечалились, и напрасно. Планъ остался планомъ. Екатерингофъ заглохъ; сыновья Ивана Константиновича умерли; послѣ старшаго остался сынъ Лаврентій Константиновичъ. Онъ замѣтилъ, что горожане болѣе и болѣе начинаютъ посѣщать Екатерингофъ. Самъ онъ не служилъ, жена его была знатной хозяйкой. Вотъ онъ и разставилъ въ рощѣ двѣ палатки: въ одной торговалъ всякимъ яствомъ и напиткомъ самъ, въ другой супружница. Тогда Екатерингофъ самъ собою оживился до того, что комитетъ для уравненія повинностей, вошелъ съ докладомъ, чтобы мѣсто въ Екатерингофѣ оставить незастроеннымъ, и,

слѣдуя народному влеченію, обратить его въ публичное гульбище. Но для того надо было въ глуши этой сдѣлать просѣки, поставить мосты, устроить лавочки. Всѣ эти работы поручены артиллеріи капитану Шванебаху, а денегъ на расходы ассигновано 4,000 рублей. Указъ, утвердившій докладъ комитета, послѣдовалъ 19 іюля 1804 года. Тѣмъ и кончилась средняя исторія Екатерингофа... Новая начинается съ 1823 года.

Графъ М. А. Милорадовичъ, бывшій с.-петербургскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ, полюбилъ это мѣсто, и по представленію его, съ іюня того же 1823 года, подъ надзоромъ инженеръ-полковника Сакера и градскаго главы Жербина, открылись весьма сложныя и немалотрудныя работы. На Екатерингофскую дачу избрано мѣсто при впаденіи Таракановки въ Неву, соотвѣтствующее четвертой части всего прежняго пространства. Эти, можно сказать, болота, осушены каналами, отъ чего появилась въ паркѣ и саду порядочная вода, а земля выросла значительно. Битый путь для экипажей и для пѣшеходовъ легъ по всѣмъ направленіямъ. Дворецъ Петра Великаго перебрали съ основанія и возстановили въ первоначальномъ видѣ. Построены вновь: красивый воксалъ, ферма, русская изба, такъ называемый Павильонъ Львовъ, устроены игры, насажено болѣе 1,000 разнаго рода деревъ, клумбы, цвѣтники, партеры. Весною 1824 года, все это уже было готово; все удивляло городскихъ гостей. Гулянье 1 мая, которое тутъ правильно каждый годъ имѣло мѣсто съ

неизвѣстнаго времени, стало блистательно Каретниковъ и модистокъ оно истинно обогащало; другъ передъ дружкой старались блеснуть новостью фасона ширококрылаго ландо, или лодочки-коляски, или ловкаго фаэтона. — Прошло нѣсколько лѣтъ, и страсть къ Екатерингофу умѣрилась. 1-е мая привлекло туда многочисленную публику, но между извощицкими колясами, изрѣдка уже блистали великолѣпныя новинки. Еще нѣсколько лѣтъ и Екатерингофское гулянье обратилось въ народное. Посѣтители отправляются туда на лодкахъ, или на извощикахъ въ одиночку. Садъ и паркъ набиты простымъ и среднимъ народомъ, который, *слѣдуя влеченію своему*, крѣпится и не измѣняетъ старинѣ, драгоцѣнному для народной гордости. Случалось мнѣ входить въ разговоры съ бородатыми посѣтителями Екатерингофа. Каждый зналъ, что построилъ его Петръ Великій въ воспоминаніе побѣды, одержанной поблизости отъ этого мѣста надъ Шведами, и въ честь матушки Государыни Екатерины Алексѣевны. Судебъ Екатерингофа, его исторіи никто не зналъ; даже во всѣхъ книгахъ, изданныхъ о Петербургѣ, я не нашелъ полнаго описанія всѣхъ обстоятельствъ, которыя, впрочемъ, могли быть собраны. Конечно, мнѣ много помогъ Константинъ Лаврентьевичъ, но что касается до фактовъ, составляющихъ собственно исторію Екатерингофа; я все нашелъ въ актахъ и печатныхъ книгахъ, безъ малѣйшаго затрудненія.

Вы вѣрно спросите, кто этотъ Константинъ Лаврентьевичъ? Не ужели вы такъ недогадливы?

Это потомокъ Константина Ивановича и Пелагеи Андреевны, — по прямой линіи. Бури и всякіе житейскіе перевороты лишили его наслѣдства, недвижимаго и движимаго. Но нравственное осталось при немъ. Онъ сохранилъ къ Екатерингофу прадѣдовскую приверженность; и 30 апрѣля, не смотря ни на погоду, ни на другія препятствія, онъ переѣзжаетъ на дачу въ Екатерингофъ, т. е. въ какую нибудь лачужку въ близь-лежащихъ деревняхъ, и тамъ проводитъ вечера въ созерцаніи величія своихъ предковъ. Вечера, сказали мы, потому, что онъ служитъ, и каждый день поутру, для моціона, прогуливается въ канцелярію и обратно, къ особенной досадѣ извощиковъ, пѣшкомъ, и къ особенному удовольствію доброй жены, потому что, возвратясь, онъ всегда хвалитъ обѣдъ и чистоту воды, которою запиваетъ вкусное кушанье.

ОСТАПЪ И УЛЬЯНА.

—

I.

На пароходѣ Муртайя, проходя мимо живописныхъ береговъ Финляндіи между безчисленными островами и камнями, путешественники воображаютъ, что плывутъ не по морю, а по какой нибудь Миссисипи или Ориноко. Это не море, а морское гульбище. Это что? спрашиваютъ они. Матросы называютъ острова поименно и путешественники вполнѣ удовлетворены. Чего же больше? Они знаютъ кличку острова, которую тутъ же и забудутъ. Никто и не вспомнитъ, что все это принадлежитъ Россіи, вслѣдствіе безчисленныхъ подвиговъ военныхъ; что все это пріобрѣтено умомъ и доблестью многихъ знаменитыхъ полководцевъ; что каждый островокъ этого безконечнаго архипелага, окаймляющаго Финляндію будто бахрамой, не разъ видѣлъ на себѣ или возлѣ себя Петра Великаго и его знаменитыхъ сподвижниковъ. Вотъ повернули къ Выборгу. Это что? Біоркё, отвѣчаетъ равнодушно Финнъ, и всѣ спокойны. Біоркё! Да это Березовые острова! Не на этомъ ли берегѣ жила прекрасная Ульрика? ужъ не на томъ ли островѣ жилъ Михель Торъ? не

здѣсь ли?.. Здѣсь, здѣсь! Память меня не обманываетъ, и я разскажу вамъ, что знаю; что случай и чтеніе оставили въ моей памяти и портфеляхъ.

Это было рѣшительно въ 1714-мъ году. Я уже имѣлъ случай, хотя и въ повѣсти, но повѣсти исторической, обнаружить, что Финляндія во времена шведскаго владычества была несчастною страною, убѣжищемъ утѣснителей разнаго рода, въ особенности таможенныхъ и пошлинныхъ сборщиковъ. Война, благопріятствуя безпорядкамъ, раздуваетъ и неудовольствіе тамъ, гдѣ оно уже давно тлится. Таможенные и пошлинные сборщики становились дерзкими, въ надеждѣ на безнаказанность; народъ, не находя уже нигдѣ рѣшительно защиты, прибѣгалъ къ самоуправству. Хотя Выборгъ былъ уже покоренъ русскимъ оружіемъ, но не имѣя въ виду удерживать за собою завоеваній въ Финляндіи (въ 1714 году подобнаго намѣренія не замѣтно), не считали нужнымъ измѣнять ни гражданскихъ, ни полицейскихъ установленій. Завоеваніе Финляндіи признавалось только однимъ изъ самыхъ дѣйствительныхъ путей къ миру; оно съ одной стороны ограждало сооруженія на Невѣ, съ другой, приближало наши силы къ сердцу тогдашней Швеціи, къ Стокгольму, наконецъ вело къ равновѣсію значенія нашего и Швеціи на Балтійскомъ морѣ. Державы спорили, боролись, а частные люди спѣшили изъ ихъ борьбы извлекать личныя пользы; не только владѣльцы помѣстій, но и простые поселяне, въ особенности жители при-

брежные и островитяне. Весь архипелагъ былъ усѣянъ контрабандистами, флибюстьерами, которые простерли свою дерзость до корсарства. Послѣднихъ звали чайками; ихъ было немного, и тѣ старались сохранить свой промыслъ втайнѣ...

Августъ былъ на исходѣ. Рыбаки небольшой деревушки на одномъ изъ Березовыхъ островов, ближайшемъ къ морю, собирались ѣхать на промыслъ. Старикъ Томъ Мерсель сидѣлъ на прилавкѣ ветхой хижины и грѣлъ старыя кости на осеннемъ солнышкѣ, утопавшемъ въ волнахъ Финскаго залива. Внука его, Ульрика съ какимъ-то непонятнымъ безпокойствомъ смотрѣла на сборы рыбаковъ; нѣсколько разъ она порывалась сказать что то, но невольный страхъ ее удерживалъ. Рыбаки смѣялись, шутили. Старецъ улыбался, вспоминая свою удаль; одна Ульрика была грустна и непокойна, хотя глаза самыхъ бравыхъ молодцевъ, то и дѣло, обращались къ ней съ нѣмыми любезностями.

— «Не скоро же вы соберетесь!» сказалъ старецъ: «Нѣтъ моего Густава! У него походъ, что завтракъ. Всталъ и уѣхалъ...»

— «Другія времена, Томъ!.. При Густавѣ только рыба ходила по морю; а теперь завелись и Чайки...»

Ульрика вздрогнула.

— «Правда, правда!» проворчалъ старикъ: «Сто третій годъ живу на этомъ свѣтѣ, а такого еще не помню. Своихъ стали грабить. Говорилъ мнѣ староста изъ Таркалы, что у нихъ на берегу бы-

ли наши гости; обобрали купчиху Эрни, что виномъ торговала, напоили ее до пьяна ея же добромъ, и уѣхали съ пѣснями...»

— «А про морскую заставу ты слышалъ, Томъ? Таможенный воинъ легъ спать на сундукѣ, гдѣ наши денежки пряталъ; ночь была бурная; кого ждать? а тутъ будто съ неба свалились, воина поколотили, сундукъ стащили и уѣхали... Знаешь, Томъ, боюсь, чтобы и къ намъ не заглянули...»

— «Нагой разбоя не боится. Что у насъ взять?»

— «Ну, не говори, Томъ, и у насъ есть приманка.» — И молодой рыбакъ зардѣлся, но не смѣлъ взглянуть на ту, которую онъ считалъ дороже злата и камней.

— «Какая приманка?..» холодно сказалъ Томъ Мерсель: «Чайки и носа сюда не покажутъ. Знаютъ они заподлинно нашу бѣдность. Вотъ чего я не понимаю, такъ не понимаю: кто они, эти чайки? Вѣдь не водяные же черти. Люди. Такъ откуда взялись, гдѣ живутъ, какъ прозываются?..»

— «Одного знаютъ, да онъ издалече; говорятъ, изъ — подъ самаго Борго; сюда только на промыслъ ходитъ; тамъ теперь русская война, такъ неловко... Ну, а другіе... кто знаетъ, съ кѣмъ онъ вѣдается; можетъ быть, и водяные у него на службѣ... Только мы заболтались, а солнце окунуться хочетъ... Славная будетъ ночь! Пора! Прощай, Томъ! Первая лоховина тебѣ!»

— «Первая сотня камбалъ, Томъ, тебѣ!»

— «Всю первую тоню тебѣ, Томъ!»

Такъ кричали рыбаки, садясь въ лодки; Томъ только улыбался, поглядывалъ на внучку и ворчалъ почти машинально: Спасибо! Весла шумѣли, тихое зеркало залива заструилось, лодки будто силюэты рисовались черными пятнами на синевѣ; еще не зашло солнце, а ихъ уже не было видно. Старецъ, молчалъ глядя на солнце, отъ котораго видѣнъ былъ только окраинекъ. Ульрика дрожала, къ чему то прислушиваясь; вдругъ вскочила и вскрикнула.

— «Что съ тобой, дитя!»

— «Это онъ, дѣдушка! Не отдавай меня этому звѣрю! Онъ за мной пришелъ! Я спрячусь! Не отдавай! Онъ чайка! Его ждетъ... Вотъ онъ.»

И Ульрика съ быстротою горной серны исчезла между камнями, висѣвшими надъ рыбачьей деревней... Старецъ не успѣлъ опомниться, какъ передъ нимъ уже стоялъ рыбакъ Торъ, сосѣдъ съ ближняго острова. На немъ была куртка тонкаго синяго сукна; исподни полосатыя тонкой матеріи, какой нельзя было найти на всѣхъ Березовыхъ островахъ; кожаный поясъ съ серебряными бляшками; красная жилетка, отороченная чернымъ шелковымъ шнуркомъ; круглая лакированная шляпа, красиво повязанный галстухъ; словомъ, Торъ былъ одѣтъ щеголемъ, какого не найти въ соединенномъ флотѣ всѣхъ морскихъ державъ.

— «Добрый вечеръ, Томъ!»

— «Вечеръ славный; да что такъ поздно?»

— «За дѣломъ никогда не поздно. И правду

тебѣ сказать, Томъ, я ужъ давно сидѣлъ за мысомъ; выжидалъ, пока ваши уѣдутъ.»

— «Добрыхъ людей нечего бояться.»

— «Такъ Томъ, я ихъ и не боюсь, и люблю; да у многихъ изъ нихъ мое дѣло, моя просьба.»

— «Говори!»

— «Отдай мнѣ въ жены Ульрику?»

— «Не могу...»

— «Это почему?»

— «А потому, что она мнѣ внука, а дочь своему отцу. Онъ ея хозяинъ, а я только сторожъ. Погоди, Густавъ вернется съ похода, тогда у него проси...»

— «Томъ! Томъ! Я умру безъ Ульрики!»

— «Проживешь, Михель, проживешь! Старика этимъ не испугаешь; я самъ любилъ мою Анну безъ памяти, три года старики не соглашались, а я не умеръ; и то сказать, что Анна моя жила далече на томъ берегу, въ служкахъ у русскихъ; чуть море соберется смирно лежать, я ужъ вещи тащу, парусъ починяю и вся деревня со мной прощается, будто съ покойникомъ. Я не унывалъ и говорилъ: увидите какую рыбу съ нарвскаго берега привезу! и — привезъ Анну. Чай, ты слышалъ про Анну? Все поморье помнитъ Анну; русской княгиней звали ее, и Густавъ мой отъ нея по русски научился, на бѣду себѣ; за языкъ чужой взяли его Шведы на послуги. Теперь, какъ ихъ до Аланда отогнали, чай, отпустятъ; до русской земли теперь далече. Вотъ, какъ онъ пріѣдетъ, ты къ нему съ сватовствомъ и пожалуй.»

Смерклось. Томъ молчалъ, Михель сидѣлъ возлѣ него въ глубокой задумчивости. Послѣ молчанія, довольно продолжительнаго, Михель всталъ и спросилъ съ страннымъ спокойствіемъ:

— «Томъ, такъ это твоя послѣдняя воля?»

— «Совершенно послѣдняя.»

— «Такъ прощай!»

— «Прощай!»

И Михель пошелъ къ лодкѣ. Правда, онъ оглянулся раза два; но это его не задержало; шумъ веселъ возвѣстилъ объ его отъѣздѣ. Въ то же время между кустарниками, покрывающими гранитный берегъ этого острова, пробиралась чья-то тѣнь и на мысѣ исчезла. То была Ульрика; она спѣшила къ берегу, чтобы подслушать, что будетъ говорить Торъ своимъ людямъ, и не ошиблась въ разсчетѣ.

— «Что, братъ?» говорилъ кто-то на лодкѣ: «Не удалось сватовство!»

— «Удастся! Дайте только своего времени дождаться, а ждать недолго, осень на носу, и пока наступитъ день сватьбы, надо женѣ подарковъ наготовить...»

И сидя на рулѣ, Михель круто повернулъ въ море.

— «Куда, Михель?»

— «Недалече! За нарвской банкой я видѣлъ подозрительную лодку; кажется...»

Но Ульрика не могла ничего болѣе разслушать. Тьма осенней ночи скрыла и пловцевъ и лодку. Дрожа всѣмъ тѣломъ, она воротилась въ избу;

старикъ спалъ сидя; она не хотѣла тревожить старца и сѣла у окна. Дума за думой укачали взволнованное воображеніе; Ульрика заснула.

—

II.

Мы пишемъ не исторію, а историческую повѣсть, почему намъ позволительно послѣ августа, перейти въ іюль, оставить мѣстодѣйствіе одно и переѣхать на другое: переходимъ и переѣзжаемъ. На косѣ, оканчивающейся извѣстнымъ въ нашей исторіи мысомъ Гангудскимъ, есть небольшой городокъ, или паче, селеніе Твермиде, съ заливцемъ, въ коемъ покойно лежалъ нашъ галерный флотъ. Непріятель съ огромной морской силой, въ 16 линейныхъ кораблей, со множествомъ другихъ судовъ, стоялъ у Гангуда. Адмиралъ Вольтрангъ, вице-адмиралъ Лели, шаубинахты и прочіе флагманы держали совѣтъ, какъ они возьмутъ руками весь галерный русскій флотъ и сожгутъ его на маякахъ, въ руководство и потѣху плавающимъ по Балтійскому морю судамъ. Надежды ихъ были совершенно основательны; можно ли было предполагать, чтобы эти большія лодки могли обороняться противу армады, на которой, кромѣ мортиръ, находилось 1,197 пушекъ! Легко сказать, страшно подумать! Шведы, какъ говорится, не зѣвали, и Вольтрангъ на 14 парусахъ отдѣлился отъ главнаго флота, чтобы запереть Тверминнскую бухту и совершенно отрѣзать нашимъ галерамъ пути къ уходу. Но едва флотилія стала приближаться къ бухтѣ, какъ,

къ удивленію всѣхъ Шведовъ, начиная съ адмирала до матроса, съ криками ура! на дружныхъ веслахъ вышло двадцать галеръ, подъ предводительствомъ капитана командора Змаевича. На тонкихъ остроконечныхъ носахъ нашихъ галеръ торчали небольшія мачты, паруса убраны и подвязаны, бесѣдки на кормахъ, въ которыхъ находились командиры галеръ и кормчіе, обыкновенно покрывались чехлами; но на этотъ разъ чехлы были сняты, надъ бесѣдками развѣвались флаги, не отъ вѣтра, а больше отъ быстроты движенія; вѣтеръ стихалъ, какъ будто повиновался герою дня. Орудія шведскаго флота гремѣли, дымъ разстилался туманомъ, въ отвѣтъ между самыми кораблями прогремѣло ура и галеры очутились на открытомъ морѣ... Не успѣли Шведы огорчиться, какъ пятнадцать другихъ галеръ, тѣмъ же порядкомъ пронеслись между тѣми же высокобортными кораблями; напрасно адмиралъ поднялъ бѣлый флагъ и звалъ къ себѣ Лели на помощь; весь галерный флотъ выступилъ изъ тѣсной бухты.

— «Съ нами крестная сила!» закричалъ Гаврило Околѣнникъ, забывъ субординацію.

— «Что зришь?» спросилъ Змаевичъ, стоя передъ воздушною своею каютою съ обнаженною шпагою.

— «Батюшки свѣты!» кричалъ восторженный штурманъ: «Всѣ валятъ .. Ваше высокоблагородіе, ужъ не вернуться ли и намъ и попотчивать свейскій корабль салютомъ нашинскимъ?»

— «На молитву!» закричалъ Змаевичъ: «На тѣхъ

галерахъ Государь... Путь имъ будетъ нашего труднѣе. Молись!»

И весла вздернулись и повисли въ воздухѣ; шляпы слетѣли и съ солдатъ и съ матросовъ. И было о чемъ молиться. Шестьнадцать линейныхъ кораблей, семь фрегатовъ, шнавы, брандеры, бомбардиры и прочія непріятельскія суда усилили пальбу изъ тысячи пушекъ; море кипѣло; дымъ взлеталъ уже облаками, а галеры шли себѣ, будто подъ холостымъ салютомъ, поравнялись съ своими врагами, отвѣтили изъ своихъ пущенокъ, какъ будто деликатессы ради, и шаркая широкими веслами, вышли въ открытое море. Только одна несчастная попала на мель, и Шведы бросились на нее, какъ на жертву, которая должна была облегчить ихъ досаду... Настала тишь, и галеры, соединясь, плавали въ тѣсномъ кружкѣ, будто на гуляньѣ...

— «Ваше высокоблагородіе!» опять закричалъ Околѣшникъ: «А энто што? Энтого не было прежде. Фрегатъ, убей меня Богъ, фрегатъ, да еще и не одинъ, съ галерами и шерботами!»

— «Ихъ-то намъ и велѣно взять, да не знаю, какой теперь ордеръ отданъ будетъ. Это, видишь, тѣ, что поставили на сторожку противу насъ. Ты, чай, слышалъ?»

— «Какъ же не слышалъ! На людяхъ, будто на волнахъ морскихъ, задумалъ Государь галеры перетащить на ту сторону косы; да зачѣмъ отдумалъ? мы бы ихъ такъ и перекинули! Да и то сказать: теперь лучше вышло. Что взяли, а? Вотъ вамъ! Стыдно! Просто срамъ; этакіе здоровые

коты такихъ дрянныхъ мышей пропустили. Просто, плюнуть хочется...» И Гаврило заправду плюнулъ въ ту сторону, гдѣ стоялъ шведскій флотъ, совершенно одураченный подвигомъ русскихъ.

— «Молодъ ты, братъ Гаврило,» замѣтилъ Змаевичъ, ударивъ молодаго штурмана по плечу: «за то амбиціи много.»

— «Что мнѣ тамъ амбиція! Кто ее знаетъ; а ужъ тутъ дѣло за себя говоритъ.»

— «Смирно! Шаубинахтъ!»

И все смолко. Государь съ генераломъ Вейде подъѣхали къ галерѣ Змаевича.

— «Ты ко мнѣ,» сказалъ Государь, «въ авангардію! Стыдно будетъ послѣ такой удачи не искать сущнаго авантажу!»

Раздались сигналы, галерный флотъ построился къ бою; авангардъ велъ шаубинахтъ Петръ Великій; всѣ суда красиво и ровно шли къ тому мѣсту, гдѣ стояла флотилія Эренгильда, посланная для воспрепятствованія переноскѣ галеръ сухимъ путемъ. Воцарилась торжественная тишина; только шумъ веселъ гармонически нарушалъ молчаніе. Эренгильдъ не понималъ направленія галернаго флота; ему и въ голову не могло придти, чтобы этотъ муравейникъ ополчался аттаковать слона.

— «Они смотрятъ на насъ, какъ на шпектакль,» сказалъ Змаевичъ. Галера его шла въ первой линіи возлѣ Государевой.

— «Будетъ имъ шпектакль!» подхватилъ словоохотливый штурманъ: «Не ходи, куда не просятъ. Видишь, какъ за камышкомъ притаились,

съ мачтами спрятались; съ той стороны и видно не было; вотъ мы вамъ съ этой въ зубы посмотримъ. Ребята, дружнѣй!» —

Этотъ крикъ повторился по всему флоту; его заглушилъ страшный залпъ изъ всѣхъ орудій... Но не успѣлъ гулъ лечь на морѣ, раздался громовой голосъ, слишкомъ всѣмъ знакомый: Абордируй! И галеры авангарда вцѣпились въ адмиральскій корабль. Было два часа; пушки дѣйствовали сильно и мѣтко; Шведы защищались храбро, отчаянно; не рѣдко, нѣсколько человѣкъ солдатъ летѣли съ корабля вмѣстѣ съ обрубленной лѣстницей; многихъ храбрецовъ духомъ пороховымъ разрывало, какъ сказано въ журналѣ. Петръ былъ вездѣ; то кормщикъ, то матросъ, то воинъ, то полководецъ, великій успѣвалъ исполнять всѣ эти должности; бой длился; уже пробило четыре часа, кровавыя волны уносили трупы и шведскіе и русскіе; но примѣръ Царя одушевлялъ всѣхъ баснословною храбростью. Ура! раздалось съ одной стороны фрегата Олифанта.— «Стой!» закричалъ кто-то на другой его сторонѣ и соскочилъ въ лодку. — «Держи! Уйдетъ!» —На этотъ крикъ бросился самъ Петръ и другіе, и увидѣли внизу въ шлюбкѣ Гаврилу Околѣнника; онъ висѣлъ на шеѣ Эреншильда: тотъ уже былъ въ лодкѣ съ своими гренадерами, надѣясь уйти въ суматохѣ, велѣлъ опустить флагъ; но едва соскочилъ въ лодку, какъ кто-то упалъ на него съ борта и обхвативъ руками, кричалъ неистово. По счастью, наши были близко и не дали гренадерамъ распорядиться по своему. Въ шлюпку Эрен-

шильда наши валились, какъ мухи. Надо было силою остановить ихъ усердіе.

— «Вотъ онъ! Вотъ онъ, голубчикъ!» кричалъ Гаврило, оцарапавшій себѣ лобъ о пуговицы шведскаго шаубинахта. Передайте его нашему Орлу съ рукъ на руки, а мнѣ некогда. Тутъ ужъ все кончено. Курицу поймали, надо цыплятъ переловить...» И съ ловкостью обезьяны Околѣнникъ очутился на палубѣ корабля, пробрался на другой бортъ, слѣзъ, какъ кошка, въ свою галеру, отчалилъ и пошелъ на шнаву шведскую, которую уже окружали русскія галеры.

— «Посторонись!» кричалъ Гаврило: «Мы ѣдемъ! мѣсто капитанъ-командору!»

Но шнава уже сдавалось; принимали плѣнныхъ.

— «Подавай ихъ сюда!» кричалъ опять неугомонный Гаврило: «У насъ мѣста много. Чтобъ ихъ! Трехъ матросовъ у насъ пушкой дурацкой стащили. Подавай сюда!»

Невольно повиновались нѣкоторые плѣнные повелительному голосу Гаврилы. Первому, который соскочилъ на галеру, Гаврило велѣлъ подать весло.

— «Садись-ко на мѣсто покойника! Ваши его украли.»

Плѣнный спокойно взялъ весло, сѣлъ на мѣсто и сказалъ къ удивленію всѣхъ, по русски:

— «Война уверовала. Этого вора не уймешь!»

— «Что? ась? какъ?» забормоталъ Гаврило, выпучивъ глаза на гребца; тотъ махнулъ рукой, горько улыбнулся и сталъ умащиваться, чтобы

дѣйствовать весломъ было легче. Гаврило имѣлъ время разсмотрѣть плѣнника.

— «Чухонецъ! Ей же Богу, Чухонецъ бѣлобрысый! Пенька на головѣ, а еще смѣетъ полодски говорить. Погоди, я его...»

Гаврило бы еще долго толковалъ съ собою; но пошли сигналы, да и вѣтеръ подулъ, и галерный флотъ съ невиданной добычей направилъ свой путь въ Або.

—

III.

Вечерѣло. Августъ пошелъ къ концу; у Гельсингфорса стоялъ весь русскій флотъ, корабельный и галерный. Хотя военный консиліумъ на генералъ-адмиральскомъ кораблѣ еще продолжался; но всѣ суда были готовы къ выходу въ море; всѣ знали, что чуть кончится консиліумъ, пойдутъ сигналы въ походъ; всѣ были на своихъ мѣстахъ, кромѣ нашего Гаврилы: онъ сидѣлъ на носу шведскаго фрегата Олифанта съ плѣнникомъ и тихо бесѣдовалъ, но не съ плѣнникомъ.

— «Прощай, голубушка!» сказалъ онъ, поглядывая на заливъ: «Бѣдная моя Аксинья; вотъ эти самыя свейскія пушки всѣ ребра тебѣ изломали. Какъ шла молодецкая потѣха, я и не замѣтилъ; какъ пошли въ Абовскъ, тутъ только спохватились: отчего течь... Матушка моя! Аксиньюшка! Галерочка моя ненаглядная, косатка ты моя бѣлокрылая; черезъ девять валовъ однимъ взмахомъ прыгала; ахъ, Аксиньюшка, вѣдь и добру молодцу

зададутъ рану залихватскую, околечатъ на смерть ядрышкомъ; молодецъ перекрестится и весело Богу душу отдастъ. Отъ пороха на совѣсти нѣтъ копоти. Знаю, матушка! Не гляди на меня такъ горестно; знаю, знаю, больно окалечили; и для васъ больницы у нашего Царя есть; вылечатъ, Аксиньюшка; голландскіе Нѣмцы тебя новымъ манеромъ изукрасятъ; я опять къ тебѣ проситься буду... Прощай, Аксиньюшка!»

— «Тебѣ дерева жаль,» сказалъ плѣнникъ.

— «Самъ ты дерево...»

— «А каково же было мнѣ бросить дочь милую, отца дряхлаго, идти на послуги Шведамъ, которые за каждую вѣсть благодарили по своему; а чѣмъ же я виноватъ, что вѣстей добрыхъ для нихъ негдѣ взять было?..»

— «Эхъ, Остапъ! Что прошло, то миновалось. Ступай въ службу царскую; на штатъ ступай; тебя пожалуютъ окладомъ и рангой.»

— «Я плѣнникъ.»

— «Какой же ты плѣнникъ, когда тебя мнѣ подарили? Твоя воля у меня въ шляпѣ. Сниму шляпу поклонюсь, а ты себѣ и лети... Мы теперь пойдемъ съ этимъ чучеломъ фрегатомъ въ Питербургъ; по пути, на привалѣ спустимъ тебя поблизости отъ Выборга, если хочешь; а нѣтъ, такъ ступай покуда подъ мою команду на царскую шлюбку, что на Екатерининскомъ кораблѣ; туда меня назначили покуда.»

Разговоръ Гаврилы и Остапа былъ прерванъ пріѣздомъ Государя на фрегатъ. Пользуясь попут-

нымъ, хотя и слабымъ, вѣтромъ, подняли паруса; Олифантъ снялся; за нимъ потянулись всѣ плѣнныя шведскія суда и пять русскихъ галеръ. Плаваніе было медленно, потому что вѣтеръ постоянно ослабѣвалъ; ночь простояли на мѣстѣ; утромъ вѣтеръ опять всталъ, но флотилія должна была идти лавирами, потому что, по принятой на консиліумѣ резолюціи, она должна была соединиться съ новыми военными кораблями, шедшими изъ Ревеля, и тогда уже направить путь къ Кроншлоту. Все это исполнилось, хотя и медленно, но въ совершенномъ порядкѣ. Тотчасъ по прибытіи кораблей, Государь пересѣлъ на корабль: св. Екатерина, съ нѣкоторыми лицами своей свиты. Гаврило, схвативъ полушубокъ одною рукою, а другою Остапа, сказалъ: «Пойдемъ!» и также переселился на корабль.

— «А гдѣ моя шлюпка?» спросилъ онъ; но никто не отвѣчалъ на его вопросъ, да и надобности не было. Шлюпка покойно сидѣла на своемъ мѣстѣ; онъ осмотрѣлъ ее, потрепалъ по ребрамъ, погладилъ, окрестилъ Дашей, сталъ искать принадлежащихъ къ ней гребцевъ; вмѣсто двѣнадцати, оказалось только десять...

— «Ну, ты, Остапъ одиннадцатый, а двѣнадцатаго Богъ пошлетъ. Всѣ дѣйствія Гаврилы были какимъ то отдѣльнымъ эпизодомъ; никто имъ не занимался; Государь тщательно осматривалъ корабль; всѣ глаза были обращены на Государя; на пути уже Петръ Великій замѣтилъ Гаврилу и спросилъ: все ли у него въ исправности?

— «Не хватаетъ одного гребца, да и безъ него справимся,» отвѣчалъ Околѣнникъ, и все пошло своимъ порядкомъ. Флотилія принуждена была идти лавирами. Миновали опасный Гохландъ. Между Лавансари и Нервской балкой, къ вечеру старые моряки заходили непокойно. Черныя тучи сгущались надъ головами пловцевъ; вѣтеръ стихалъ, но эта тишина не предвѣщала ничего добраго. Государь отдыхалъ въ это время и моряки не знали на что рѣшиться.

— «Худо!» сказалъ старый офицеръ.

— «Плохо!» повторилъ другой.

— «Дѣло къ ночи!..»

— «Государь отдыхаетъ...»

— «Коли плохо,» отозвался Околѣнникъ: «такъ чего ждать? Надо поклониться Богу да Государю; нашего ума тутъ не къ чему прикладывать. Не разбудите Государя, вамъ же худо будетъ.»

Совѣтъ подѣйствовалъ. Доложили Государю. Петръ Великій вышелъ на палубу, взглянулъ на небо, и нахмурился.

— «Будетъ жарко!» сказалъ онъ, и распоряженія одно за другимъ послѣдовали въ самомъ стройномъ порядкѣ, такъ что самому тупому нельзя было ошибиться; не успѣлъ Государь раздать приказаній, какъ страшный вѣтеръ набѣжалъ, какъ будто со всѣхъ сторонъ. Это, какъ намъ сказывали, свойство морскихъ штурмовъ, бушующихъ въ мѣстахъ тѣсныхъ между островами. Небо было будто укутано въ тучи. Море,.. какъ будто гигантскій плугъ прошелъ его равнину и усѣялъ поверх-

носъ хребтами до-облачныхъ горъ. Не робость, а какая то трусость, смѣшанная съ отчаяньемъ, охватила сердца старыхъ моряковъ. Это чувство тѣмъ болѣе было извинительно, что они знали мѣстность, вѣдали, что въ этомъ углу Финскаго залива много каменистыхъ банокъ, а довольно было одной, чтобы истребить всю флотилію. Положеніе пловцевъ было еще тѣмъ опаснѣе, что ночь наступила и зги не было видно; западный вѣтеръ несъ суда, Богъ знаетъ куда. На кораблѣ: Эсперансъ поломало мачты, на кораблѣ: св. Екатерина, гдѣ находился самъ Государь, бухтъ-шпритъ надломило въ двухъ мѣстахъ. Надежды на спасеніе уже никакой не было. Собрались приступить къ послѣднимъ мѣрамъ; рѣшились рубить мачты; валы уже заглядывали на палубы.

— «Стой!» воскликнулъ Петръ: «Мы должны быть близь берега. Шлюпку!..»

Весь экипажъ, увлеченный однимъ чувствомъ, бросился въ ноги Государю.

— «Государь, не уѣзжай!»

— «Я уповаю открыть берегъ и сигналъ вамъ подать, куда держаться.»

— «Не покидай насъ, Государь! Безъ тебя мы погибнемъ. Изъ-за тебя и насъ Богъ хранитъ.»

— «Богъ великъ и милостивъ!»

— «Готова!» раздалось возлѣ корабля. То былъ Гаврило съ шлюпкой, которая прыгала возлѣ и едва держалась на баграхъ.

Государь прыгнулъ на шлюпку и сѣлъ на руль. Общій вопль огласилъ воздухъ.

— «Мое мѣсто занялъ,» пробормоталъ Гаврило: «ну, да все равно, двѣнадцатымъ весломъ послужу не хуже. Ребята, дружно!»

И шлюпка то бросалась въ облака, то падала въ черный зѣвъ влажной пропасти; но искусенъ былъ кормчій, усердны гребцы, и шлюпка быстро подвигалась впередъ, и вдругъ толкнулась на берегъ.

— «Земля!» воскликнули всѣ.

— «Ребята, ищите валежника, сѣна, дерева; скорый огонь можетъ спасти ихъ; боюсь, чтобы корабли подъ воду не стали нырять!..»

— «Господи!» воскликнулъ Остапъ по-фински. «Это нашъ островъ! Вотъ наша деревня! Огня, братья, огня! Соломы, соломы!»

И Остапъ бѣгалъ отъ окна къ окну, но никто не отзывался. Гребцы разсыпались по деревушкѣ, натаскали на берегъ дровъ и соломы, подняли огромный огонь; Государь самъ добылъ огонь, самъ принесъ охабку дровъ, самъ притащилъ беремя соломы; но въ то же самое время дѣйствіе нашей повѣсти раздѣлилось. Гаврило не отставалъ отъ своего Остапа; вмѣстѣ съ нимъ вбѣжалъ на дворъ Тома, гдѣ происходила ужасная сцена; нѣсколько человѣкъ хорошо вооруженныхъ разбойниковъ окружали дѣвушку; одинъ изъ нихъ завязывалъ ей ротъ, другіе держали ее за руки. Огонь еще не успѣлъ освѣтить этой сцены. Остапъ могъ только догадываться, догадался и, какъ тигръ, бросился на разбойниковъ; ударомъ дюжаго кулака онъ положилъ на мѣстѣ одного; прочіе бросились бѣжать;

одинъ изъ нихъ вскочилъ на камень и пустился по гранитному гребню къ берегу, но его догналъ Гаврило на скалѣ, послѣдней къ берегу; разбойникъ защищался упорно, успѣлъ добыть ножъ, поранилъ Гаврилу въ руки и въ бокъ.

— «Э, чортовъ сынъ!» возопилъ Гаврило: «Ты, пожалуй, меня окалечишь, со свѣта сживешь! Нѣтъ, братъ, лучше жъ я тебя со свѣта выкину. Пошелъ вонъ!»

Гаврило напрягъ свои силы, оттолкнулъ супостата, и тотъ полетѣлъ со скалы въ воду.

Пламя костра освѣтило самое это мгновеніе полнымъ свѣтомъ. Разбойникъ катился со скалы и стучалъ головой объ острыя ея ребра. Море его не приняло и, обливъ бѣшеной пѣной, притолкнуло къ отвѣсному берегу. Въ это самое мгновеніе на красныхъ волнахъ мелькнула лодка; она уносила спасшихся разбойниковъ. Между-тѣмъ женщины съ горъ замѣтивъ огонь, и полагая, что чайки жгутъ ихъ селеніе, забыли страхъ и сбѣжали въ долину; но, увидавъ мундиры русскіе; стали кричать отъ радости гораздо сильнѣе, чѣмъ кричали отъ страха; а появленіе Остапа привело ихъ въ совершенный восторгъ. Для Петра вся эта драма не существовала; орлиные очи онъ вперилъ въ мракъ, разстилавшійся надъ морскою пучиною. Рука его, будто забытая, недвижно указывала на костеръ. Гребцы какъ-будто понимали нѣмое приказаніе. Когда Густавъ обрадованной, но еще дрожащей дочери, отцу и женщинамъ разсказалъ въ чемъ дѣло, всѣ забыли про себя, сносили на бе-

регъ солому, сѣно, и когда этотъ бренный матеріалъ сталъ истощаться, стали ломать двери, ставни и разную рухлядь и все несли на спасительный маякъ. Во истину спасительный! Когда на корабляхъ увидѣли огонь, крикъ радости заглушилъ шумъ бури; лучъ спасенія блеснулъ и согрѣлъ отчаянныхъ, освѣжилъ бодрость, послужилъ руководительной звѣздой и источникомъ совѣта. Не безъ труда, не безъ усилій флотъ подошелъ къ Березовымъ Островамъ; вѣтеръ сталъ стихать и обратился въ ровный, попутный. Еще не разсвѣло, какъ всѣ «вреды» были исправлены по возможности, потому, что спѣшили воспользоваться вѣтромъ. Государь щедро наградилъ деревенскихъ помощницъ, возвратилъ имъ Густава, собрался ѣхать на флотъ. Нѣтъ Гаврилы!.. Напрасно искали его вездѣ, гдѣ только могли подозрѣвать его убѣжище. Будто въ воду упалъ.

— «Отдайте его первому нашему крейсеру,» сказалъ Государь и уѣхалъ.

Съ зарей флотилія ушла. Всѣ жители провожали ее благословеніями. Всѣ были веселы; только одинъ Густавъ былъ грустенъ и задумчиво поглядывалъ на море.

— «Не тамъ ли онъ?» со вздохомъ тихо спросилъ Густавъ, и пошелъ по берегу: «Боже мой! Это кто?»

Женщины подбѣжали и хотѣли всѣ спрятаться за спину Густава и все видѣть.

— «Не ошибаюсь ли я? Это, кажется, Михель Торъ...»

И женщины съ крикомъ отскочили.

— «Не бойтесь, не бойтесь! Онъ въ западнѣ, онъ весь въ крови; кто это его посадилъ въ пещерку?.. Михель!.. А Михель! Выходи!»

Но Михель молчалъ. Волны бросались на него; умывали; но кровь опять выступала, а птицы морскія ныряли мимо пещерки и заглядывали, готовъ ли пиръ для нихъ.

— «Гмъ! Птица за тебя отвѣчаетъ, Михель! Но зачѣмъ эти птицы кружатся надъ скалою! Нѣтъ ли и тамъ кого? Пойдемъ! Боже мой, Гаврило; подъ нимъ цѣлое озеро крови!»

— «Это Михель убилъ его!» хоромъ закричали женщины.

— «Не убилъ! Онъ дышитъ. Воды! Полотенца!»

Все было сдѣлано, что́ въ подобныхъ случаяхъ дѣлается. Гаврилу обмыли, перевязали; рана оказалась несмертельною, неважною, но отъ потери крови, отъ послѣдняго гигантскаго усилія онъ ослабѣлъ и лишился чувствъ. Когда онъ проснулся, первое слово его было:

— «Остапъ, гдѣ мы?..»

— «Дома.»

— «Сколько стклянокъ пробило? Государь выходилъ?..»

Густавъ боялся отвѣчать на его вопросы.

— «Успокойся, Гаврило! Ты раненъ.»

— «Чѣмъ, ядромъ?»

— «Ножемъ разбойника.»

— «Только-то! Сто́итъ говорить о такой царапинѣ. Вставай, Гаврило, пора на службу...»

— «Нѣтъ, постой, погоди!»

И Густавъ не безъ труда удержалъ Гаврилу на бѣдной койкѣ.

— «Вотъ что случилось!» продолжалъ Финнъ: «Есть у меня дочка Ульрика; полюбилась она нашему сосѣду Михелю Тору, человѣку злому; при мнѣ уже онъ заглядывалъ на нашъ островъ, да, видно, смѣкалъ, что я его понимаю и не смѣлъ просить Ульрики. Когда Шведы захватили меня съ острова, онъ подмѣтилъ, когда Ульрика была въ лѣсу одна съ коровами, и сталъ ее замужъ за себя упрашивать; та перепугалась и, вмѣсто отвѣта, опрометью прибѣжала домой, но передъ дѣдомъ съ бѣдой своей таилась, пока Торъ самъ не пришелъ къ Тому сватомъ. Томъ ему наотрѣзъ отказалъ, и Михель пришелъ въ бурную ночь, когда нашихъ рыбаковъ не было дома, пришелъ съ пятью товарищами, пришелъ съ ножемъ и огнемъ, захватилъ Тома и Ульрику, связалъ ему руки и ноги, а Ульрикѣ завязалъ ротъ, хотѣлъ унести, хотѣлъ — да мы наѣхали...»

Гаврило вскочилъ, Гаврило все вспомнилъ.

— «Батюшки свѣты!» закричалъ онъ: «А Государь, а шлюпка, а корабли?..»

— «Уѣхали въ Питербурхъ.»

— «Стой! Я здѣсь не останусь!..»

— «Не останешься?..»

— «Да, не останусь! Я не дезертиръ; меня аркебузовать никто не смѣй! Разбойникъ меня ножемъ прихватилъ, а я его, окаяннаго, въ море выбросилъ!..»

— «Такъ это ты скинулъ Тора въ море?»

— «А то кто же? Отродясь не лгалъ! Меня Государь знаетъ! Змаевичъ за меня вступится. Не хочу, не держи, я иду...»

— «Пойдешь, какъ выздоровѣешь...»

— «Да ты мнѣ указъ, что́ ли?..»

— «Не я, Государь указалъ...»

— «Государь!» И Гаврило успокоился, легъ, и сказалъ со стономъ: «Охъ! прихватилъ порядкомъ.»

— «То-то же; лежи смирно, а не то годъ тебя́ здѣсь держать буду... А я пойду; надо Тора вытащить, да съ товарищемъ на его островъ отвезти, да оповѣстить про другихъ.»

— «Жаль, что я тебѣ помочь не могу.»

— «Спасибо! Прощай, а за тобой Ульрика присматривать будетъ.»

Ушелъ Густавъ, пришла Ульрика и сѣла у окна.

— «Вишь, Чухонка!» подумалъ Гаврило, и стало ему непокойно. «Видно, море выточило изъ морскихъ чудесъ... А еще Чухонка! Провалъ побери!»

Гаврило отплюнулся и зажмурился, но не утерпѣлъ; сначала сталъ смотрѣть однимъ глазомъ, потомъ и обоими.

— «Дьявольское навожденіе! Да полно, я ужъ не умеръ ли? Можетъ-быть, это водяная вѣдьма меня поймала и околдовала. Постой, спросимъ ее. Какъ тебя зовутъ?»

— «Что́ хочешь?» спросила Ульрика робко, правда, по-русски, но больно коверкая слова.

— «Хочу знать, какъ тебя зовутъ.»

— «Ульрика.»

— «Такъ и есть! Такого имени у крещеныхъ нѣтъ! А ну, перекрестись...»

Ульрика перекрестилась и улыбнулась.

— «Вотъ тебѣ разъ! Крестится! Такъ ты Ульяна?..»

— «Можетъ-быть, по-русски и такъ.»

— «Ульяна! Что тутъ толковать! Ульяна Остаповна. Вотъ и все тутъ.»

И пошла бесѣда; съ грѣхомъ пополамъ, междуметіями, пантомимами и частью словесами объяснялись они ежедневно, и, наконецъ, объяснились во взаимной любви. Выздоровѣлъ Гаврило; но старикъ Томъ захворалъ неизлечимою болѣзнью. Набѣгъ Тора свелъ его въ могилу. Послѣ похоронъ всѣ трое сидѣли на берегу и поджидали крейсера. Когда рѣчь зашла объ отъѣздѣ, Гаврило почесался, Ульрика покраснѣла; Гаврило началъ-было уже и рѣчь держать.

— «Помнишь, Остапъ,» говорилъ онъ, «вотъ такая же была больная погода. То есть, я примѣрно веду рѣчь не къ тому, чтобы старое разсказывать, да языкъ у человѣка, то же, что у колокола; не зазвонитъ, пока не разболтается. Ну, а и у колокола разный звонъ, есть и мелкій, есть и такой, что подъ него ни вѣсть какую думу задумаешь. И то правда, громъ такъ не бываетъ: прежде блеснетъ, а потомъ уже загудитъ...»

— «Что ты мелешь, Гаврило? Вотъ погляди лучше: изъ Выборга царская галера идетъ...»

— «Гдѣ идетъ? Какъ идетъ? Вотъ тебѣ разъ! Отродясь не лгалъ! Какъ же я скажу, что галеры не видѣлъ?»

— «Да зачѣмъ тебѣ и говорить неправду. Ты меня сюда привезъ, я тебя въ Питербургъ поставлю...»

— «Ты?»

— «И не одного, а съ невѣстой!»

— «Отецъ родной! Эй, галера! стой! подавай сюда!»

Галера, укрываясь отъ сильной погоды, шла шерами и, замѣтивъ зовущихъ ее людей, подошла къ острову...

Нужно ли досказывать?

Для нѣкоторыхъ необходимо. Гаврило, Остапъ и Ульяна Остаповна съ пожитками взяты были на галеру, отвезены въ Петербургъ, гдѣ, по ходатайству Змаевича, и зять и тесть поступили на корабль его, на которомъ ходили по морю много съ многой честью; а жена Гаврилы Ульяна Остаповна, во время непродолжительныхъ походовъ отца и мужа, какъ медвѣдь на зиму, запиралась въ своей кронштатской квартирѣ отъ любопытныхъ взоровъ праздныхъ людей. Впрочемъ ей скучно не было; пошли дѣти, а дѣти и хозяйство для доброй матери занимательнѣе самыхъ странныхъ романовъ.

ЛЕНОЧКА,

или

НОВЫЙ 1746 ГОДЪ.

—

I.

— «Батюшки свѣты! Олександро Сергѣичъ! Ты ли это?...»

— «Безотмѣнно я, самъ, своею персоною и съ прикладомъ сынишки...»

— «Неужели у тебя такой большой сынъ?»

— «Ростомъ, да не лѣтами. Подростокъ, недоросль; всего-то ему двадцать третій годокъ пошелъ. Привезъ въ резиденцію. Хочу ему тутъ амплуа отыскать. Да теперь трудненько будетъ. Милостивцевъ моихъ протекторовъ нѣтъ... Объ нихъ, чай, оффиціально нигдѣ и не разговариваютъ...»

— «Полноте, Олександро Сергѣичъ! Что ты это! Служилъ при Биронѣ! Ну, служилъ, велика бѣда. Всѣ тогда сервису искали у Герцога... Ты вѣдь въ политичныхъ его маневрахъ тейльнаму (участія) никакого не принималъ...»

— «Какой тейльнамъ! Я какъ только смѣкнулъ про Семеновскіе прожекты, на парадѣ съ коня

повалился и будто у меня большая маладія приключилась; такъ и пролежалъ во всю суматоху. Да что ты станешь чинить, когда моему малёру не повѣрили и учали слѣдствіе производить. Я догадался, чего имъ хочется; въ отставку — и дня не задержали, абшидъ гонорабельный прислали и паспортъ на выѣздъ отъ Татищева. Я опять догадался, скорѣе въ деревню спрятался. Ты, Иванъ Иванычъ, милитернаго нрава и обычая не знаешь; ты живописныхъ дѣлъ мастеръ, а мы-то въ чинѣ поручика гвардіи по всѣмъ дворцамъ ходили, всякое видѣли! Ну, да что объ этомъ толковать на улицѣ? Того и жди, подслушаютъ, къ Петру Иванычу спровадятъ. Не о томъ теперь рѣчь. Остановился я на почтовомъ дворѣ. Оно все-таки и почтовый дворъ, а все кабакомъ пахнетъ. Да и оставаться же тамъ надолго не презентабельно; и еще въ какой гнусный комеражъ попадешь. Не знаешь ли квартеры, рангѣ и достатку моему конвенабельной...»

— «И весьма знаю. У Ивана Ивановича Вешнякова.»

— «У тебя?»

— «У меня! И къ тому же я теперь коллежскую ассессорію имѣю, такъ не стыдно будетъ...»

— «Поздравляю, душевно поздравляю... Ну, а принципалъ твой, фонъ Растрелій?..»

— «И онъ повышенъ. Ужъ теперь не фонъ, а де Растрелли.»

— «Вотъ какъ! Изъ Нѣмцевъ въ Французы...»

— «Перестаньте, Олександро Сергѣевичъ! Пе-

поѣзжайте лучше ко мнѣ, такъ наболтаемся еще вдоволь...»

— «Быть по твоему. Все равно, кому платить; а гдѣ же ты живешь?»

— «На самомъ юру. Изволишь видѣть, за этимъ плацомъ по рѣчкѣ Мойкѣ дома разбросаны; тутъ живутъ и коллежскіе и статскіе совѣтники, да и самъ Его Превосходительство господинъ Шаргородскій тутъ резиденцію имѣетъ. Тутъ все равно, что въ Милліонной или въ Морской. Конечно, на Невской перспективѣ или въ другомъ мѣстѣ можно за алтынъ жить, да вѣдь и я съ тебя дорого не возьму. Тутъ все одна багатель, самая знатная чиновность живетъ. А домъ мой—вонъ съ зеленой крышей и съ красными трубами...»

— «Ошибиться трудно. Ну, такъ бери же ты моего сынишку, а я отправлюсь на почтовый дворъ. Прощай!»

— «До плезиру васъ видѣть!»

Александръ Сергѣевичъ пошелъ къ Милліонной, а Вешняковъ съ подросткомъ къ кучѣ домовъ, которые занимали весь квадратъ между Мойкой, Невскимъ проспектомъ и площадью. Тутъ было не мало улицъ и переулковъ; этотъ квадратъ походилъ на Нѣмецкій городокъ въ родѣ Вольмара. Строенія бо́льшею частію деревянныя; но чистота отдѣлки и свѣтлыя окна свидѣтельствовали о достаткѣ и значеніи жильцовъ. Вешняковъ постучался въ калитку, залаяла собака, ключъ щелкнулъ и высокая, красивая женщина отворила калитку.

— «Никого не было?» спросилъ Вешняковъ по италіянски.

— «Были, были: и синьоръ Валерьяни, и Каравакъ, и Мартелли, и Перезинного, и Соловьевъ...»

— «Богъ съ тѣми; а жаль, что Соловьевъ не обождалъ. Онъ вѣрно приходилъ отъ Ивана Ивановича за портретомъ. Франческа, пойдемъ; присядь; я напишу руку съ твоей — и портретъ готовъ.» Франческа проворчала что-то и повиновалась. Въ мастерской стояло не мало образовъ, изготовляемыхъ для дворцовыхъ церквей, картоновъ, портретовъ, эскизовъ. Глаза юноши разбѣжались; мастерская показалась ему волшебной храминой. Онъ не обращалъ уже вниманія на хозяина, а тотъ между тѣмъ усадилъ Франческу, взялъ у стѣны и поставилъ на мольбертъ женскій портретъ, и принялся за кисть и палитру.

— «Важная барыня!» сказалъ Вешняковъ, глядя на портретъ: «Кому-то достанется? Графу или нашему? Ужъ эти двое всѣхъ другихъ отопрутъ.. Видишь, шельмовка, какъ улыбается: улыбку-то я поймалъ.»

— «Боже мой!» вскрикнулъ юноша пронзительнымъ голосомъ и схватилъ себя за голову обѣими руками. Франческа также вскрикнула и вскочила съ перепуга. Вешняковъ едва не уронилъ кисти...

— «Что съ тобой?» спросилъ живописецъ. Но юноша стоялъ, какъ вкопаный, устремивъ пылающіе взоры на портретъ. Вешняковъ улыбнулся.

— «Что, небось, прошибло. Да, братъ, не у такихъ, какъ ты, духъ захватило отъ этой барыни-

ни. При дворѣ красавицъ больше сотни, а эта первая. Развѣ только одна съ нею поспоритъ; да на ту только кланяются, а глядятъ на эту... Кто-то пріѣхалъ... Погляди, Франческа!..»

Франческа вышла. Вешняковъ продолжалъ восхвалять оригиналъ своего портрета, исчислялъ всѣхъ, очарованныхъ ея прелестью; не кончилъ онъ своего панегирика, потому что въ комнату вбѣжала, впорхнула молодая дѣвушка; то была она, оригиналъ портрета. Взглянувъ на юноши, она остановилась, вспыхнула, едва внятно прошептала:

— «Боже мой! Сережа!» и замѣшательство исчезло, оставивъ на бархатныхъ ланитахъ яркій слѣдъ, легкій румянецъ, который еще болѣе возвысилъ ея дивную красоту.

— «Ахъ, мосье Вешняковъ! Я забыла въ каретѣ мой веерь! Потрудитесь послать...»

— «Сейчасъ, матушка Елена Николаевна, сейчасъ, душкомъ сбѣгаю...»

Вешняковъ ушелъ. Сережа смотрѣлъ на Елену Николаевну, и глубокое изумленіе было написано на прекрасномъ его лице. Она любовалась замѣшательствомъ юноши весьма недолго.

— «Сережа!...»

— «Леночка!...»

— «Тсъ! Ни слова! Мы не знакомы! Мы никогда не видали другъ друга. Ты погибнешь, если узнаютъ...»

— «Мнѣ все равно...»

— «Пожалѣй меня, Сережа! Умоляю тебя!..»

— «Вотъ онъ, вотъ, матушка Елена Николаевна, вотъ вашъ веерокъ, у барыни...» кричалъ Вешняковъ, отворяя двери, въ которыя вошла толстая, распудренная, разукрашенная мушками старуха лѣтъ шестидесяти. Она была одѣта въ дорогое платье изъ толстой шелковой матеріи, поверхъ котораго былъ накинутъ бархатный полушубокъ на собольемъ мѣху. На головѣ шапочка мѣховая же изъ черныхъ лисицъ; подъ полушубкомъ, который никогда не застегивался, потому что его и застегнуть нельзя было, вилась широкая орденская лента; подъ ногами стучали золотыя подковки. Странное смѣшеніе костюмовъ двухъ вѣковъ придавало строгому лицу барыни непріятную важность. Дородность дѣлала движенія ея медленными. Едва вдвинулась она въ мастерскую, какъ Елена очень искусно поставила ей стулъ, спинкой къ Сережѣ. Вешняковъ все кланялся весьма низменно и подавалъ Сережѣ знаки, чтобы онъ вышелъ; но Сережа не видѣлъ Вешнякова, не видѣлъ старухи, и даже Елены Николаевны... Голова его упала на грудь, горе неисходное терзало сердце; онъ ненавидѣлъ свѣтъ, себя, Елену. Онъ страдалъ местью. Проектъ за проектомъ перебѣгали въ пылкомъ воображеніи... Онъ то горѣлъ, то леденѣлъ, и Богъ знаетъ, чѣмъ бы кончилась вся эта сцена, если бы старушка не завела разговора, поглотившаго вниманіе юноши...

— «Ахъ, бестія!» сказала она: «какой ты мастеръ! Точь-въ-точь Леночка, когда разговариваетъ съ Маркизомъ, или когда амурится съ Барономъ;

но ужъ ты мнѣ, плутишка, какъ хочешь, а отмалюй Барона съ розой. Болванъ болваномъ! Не могу понять, какъ его приглашаютъ à la chasse, на карусель и въ Сарское. Правда, отъ него много плезиру, когда врать начнетъ. Да не всегда въ попадъ. Намѣдни спугнулъ лисицу, а renard совсѣмъ ужъ была на приманкѣ. Государыня схватила ружье, а онъ какъ отпуститъ буфонство какое то, всѣ захохотали, а лисица s'est sauvé! Ужъ за ужиномъ il a reçu pardon, когда отошло венгерское съ пирогомъ и стали разносить наливку мою. А что ты, дурашка, кушалъ когда нашинскія наливки?»

— «Не имѣлъ счастія, Ваше Сіятельство...»

— «Ну, такъ отмалюй мнѣ Барона съ розой. Я тебѣ двадцать рублей и двѣ бутылки смородиновки пожалую...»

— «Знаете ли что, Вешняковъ...» перебила Леночка: «вы ужъ сдѣлайте tableau, и Маркиза и Графа...»

— «Маркиза, пожалуй, я согласна, а Графа — не хочу...»

— «Пустяки, ma tante, обидится; а Графа я очень жалую.»

— «И я жалую, и потому то и не хочу...»

— «Пустяки, пустяки! Если вы не согласитесь, ma tante, такъ я его сама нарисую и скажу, что вы приказали...»

— «Да послушай, Леночка!...»

— «Да я ужъ все слышала! Мнѣ Графъ надо-

вѣлъ! Вообразилъ себѣ, будто ужъ на свѣтѣ нѣтъ мужчины красивѣе...»

— «И нѣтъ таки...»

— «А есть!»

— «Право, нѣтъ!»

— «Есть, есть и есть.. »

— «Кто же это?»

— «Это ужъ мое дѣло!... Вчера за моимъ туалетомъ сидѣло мужчинъ человѣкъ тридцать и, право, кромѣ Маркиза и Барона, всѣ лучше его... Ахъ, мосье Вешняковъ! Долго ли вы будете меня мучить? Сократите сеансъ! Мнѣ надо еще заѣхать къ Великой Княгинѣ; мы хотѣли вмѣстѣ прочесть новый романъ, до обѣда... а теперь уже скоро одиннадцать... А въ шесть часовъ хотѣлъ къ намъ быть кавалеръ дю Клеронъ; очень милый малый; онъ въ нашемъ свѣтѣ много значитъ; черезъ него можно дѣлать дѣла; онъ мнѣ обѣщалъ...»

— «Вашъ портретъ конченъ...»

— «Вы хотите сказать сеансъ?»

— «Нѣтъ, портретъ!»

— «Неправда, неправда! Постойте, я посмотрю! О, тутъ еще тьма работы; вотъ чего-то не достаетъ въ глазахъ: они у меня ярче, теплѣе. Что это за волоса? будто примазаны! Нѣтъ, я лучшій судья въ этомъ дѣлѣ... Сегодня некогда, а завтра я къ вамъ буду...»

— «Леночка, пожалѣй мою старость...»

— «Да кто васъ проситъ ходить за мной, будто шлейфъ? Зачѣмъ же вы держите карлицу, Глафиру? Мы съ нею пріѣдемъ. А теперь пора. —

A Dieu! A Dio! какъ теперь говорятъ при дворѣ; прощайте! Поѣдемъ, ma tante...»

— «Ахъ!»

— «Скорѣе, скорѣе! Мы опоздаемъ. La Grande Duchesse Catherine m'attend depuis onze heures... Partons, partons!..»

И Леночка почти насильно вытащила тетушку изъ мастерской. Вешняковъ, смущенный замѣчаніями Леночки, стоялъ какъ вкопанный у портрета и даже не проводилъ своихъ гостей до кареты, что было совершенно противно его правиламъ... Опомнясь нѣсколько, онъ ударилъ мусинтабелемъ объ полъ, бросилъ палитру и сказалъ въ сердцахъ:

— «Кокетка дрянная! Мало ей! Умѣтилъ въ натуру, а она и натурой своей недовольна. Навуходоносарша этакая! Видишь, богиней быть задумала. Меня, коллежскаго ассесора, меня, котораго самъ Каравакъ беретъ за руку, меня учить вздумала дѣвчонка, оттого, что вся знать за нею волочится!! Да что я, батракъ тебѣ, что ли?»

Вешняковъ не кончилъ своей филиппики. Вбѣжалъ оный Баронъ, о которомъ мы уже кое-что слыхали; запахъ тысячи помадъ и духовъ доложилъ о приближеніи его издалече; кафтанъ былъ залитъ золотомъ; на груди, какъ на пасхальномъ окорокѣ, волновались манжеты; цѣпей, цѣпочекъ, колецъ — цѣлый магазинъ, а въ лѣвомъ ухѣ бриліантовая сережка. Онъ былъ довольно благообразенъ; но женскій, писклывый голосъ, изломанныя тѣлодвиженія, все это дѣлало присутствіе его весьма непріятнымъ...

— «Caro pitore!» закричалъ онъ, вбѣгая въ комнату: «Сто рублей! Только пожалуй мнѣ съ этого портрета копію!»

— «Я не могу. Я далъ честное слово...»

— «Что за вздоръ! Ты же обѣщалъ Графу копію!»

— «Нѣтъ!»

— «Врешь, обѣщалъ! И увидишь — разсердятся: его не жалуютъ; а мы — дѣло иное... Я увѣренъ, что даже будутъ очень довольны.»

— «Увѣрены?..»

— «Больше! Я имѣю свои причины кое-что думать. И если бы я не былъ, женатъ... Ну, такъ что жъ, будетъ копія?..»

— «Съ удовольствіемъ! Я готовъ для вашей милости сѣсть на печку; только какъ же я это сдѣлаю? Сейчасъ, сію минуту, пріѣдутъ за портретомъ: когда же я успѣю?..»

— «Что за бѣда! Вотъ платье и руки не засохли! Вотъ этакъ замарай, и кончено...»

— «Караулъ!»

— «Чего ты кричишь?..»

— «Три дня работы пропало...»

— «Вотъ тебѣ три червонца; заткни себя глотку и пиши копію. Я завтра заѣду...»

— «Запирай, Франческа, двери! Спусти собаку! Не впускай никого! Я не маляръ какой нибудь: я коллежскій ассесоръ Вешняковъ! Каравакъ беретъ меня за руку; я только не Итальянецъ, а то, по всему, я... О! Да это просто смерть съ этими господами; запачкалъ и руки и платье... Постой,

постой! Елена Николаевна съ тобой раздѣлается... Погоди, дружокъ, проучатъ тебя... Изъ Коллегіи выживутъ, въ вояжъ отправятъ, сошлютъ въ деревню. Вѣдь это портретъ Елены Николаевны, слышишь ли ты, разбойникъ, Елены Николаевны!!»

— «Какой Елены Николаевны?» спросилъ отецъ Сережи, входя въ комнату: «Знавали и мы Елену Николаевну...»

— «Ахъ, батюшка!» съ крикомъ сказалъ Сережа, бросаясь къ отцу: «Мы, кажется, стѣснимъ Ивана Ивановича! У него тутъ ярмарка. То и дѣло, къ нему приходитъ знать...»

— «Полно, полно! Вотъ ваши комнаты! И выходъ особый, и помѣщенье для людей; пойдемъ, посмотримъ...»

Вешняковъ пошелъ съ Александромъ Сергѣевичемъ, а Сережа подбѣжалъ къ портрету, плюнулъ на него, схватилъ, опрокинулъ и поставилъ къ стѣнкѣ...

— «Прощай, кокетка! Мы съ тобою не знакомы, мы никогда не видали другъ друга!» съ горькимъ смѣхомъ сказалъ Сережа, и ушелъ на свою половину.

—

II.

Рано утромъ Александръ Сергѣевичъ ходилъ взадъ и впередъ по гостиной и курилъ трубку. Передъ Сережей стоялъ красивый серебряный кувшинъ съ молокомъ и такой же подносъ съ сухарями.

— «Что ты не ѣшь, Сережа!»

— «Не хочется!»

— «Дѣти должны завтракать. А мнѣ не до пищи. Все медитую, куда тебя отдать; въ Шляхетскій корпусъ или въ преображенскій полкъ, куда ты давно уже записанъ, почитай, въ день рожденья... Изъ корпуса ты можешь попасть и въ конный новый Регментъ, а ужъ въ полку останешься пѣхотинцемъ... Кто это пріѣхалъ?»

Сережа вздрогнулъ. Дверь изъ гостиной была прямо въ мастерскую и, на бѣду, растворена; отецъ могъ увидать Леночку: она хотѣла пріѣхать Сережа могъ перенести обиду; но зналъ, что отецъ не такъ сговорчивъ... Но опасенія его были напрасны. Въ мастерскую вошелъ какой-то жукъ, — такъ тогда называли приказныхъ, — въ сопровожденіи Франчески; онъ вошелъ въ гостиную и, низко кланяясь, подалъ бумагу.

— «Что за диво!» сказалъ отецъ Сережи: «Комнѣ! казенная бумага! печать Военной Коллегіи... Прочтемъ! Тфу ты, что это такое! Сережа, ужъ не ты ли подавалъ просьбу? Да какъ это?.. Глазамъ не вѣрю... Сережу, дитя, ребенка, въ конный полкъ офицерскимъ чиномъ... Шутка, что ли? Да нѣтъ! Подписи, печать... Неужели нашъ мастеръ Вешняковъ такъ силенъ? Больше некому. Видно попросилъ Растрелія. Вотъ и онъ кстати! Спасибо дружище! Видишь, плачу отъ радости!...»

— «Что случилось?»

— «Диво дивное! Сережа принятъ въ конный полкъ офицерскимъ чиномъ!..»

— «Что?»

Тотъ повторилъ.

— «Полно скрытничать! Кромѣ тебя, никто не знаетъ о нашемъ пріѣздѣ. Признавайся, какъ ты это сочинилъ?»

— «Убей меня Богъ, ничего не понимаю...»

Всѣ, не исключая и Сережи, напрасно терялись въ догадкахъ; не день, не два ломали себя голову, а между тѣмъ Сережу обмундировали, представили въ полкъ. Командиръ принялъ его не только ласково, но почтительно. Все это отцу показалось весьма страннымъ; но онъ еще болѣе удивился, когда молодому офицеру приказано было немедленно переѣхать на жительство въ казармы. Сережа ничего не понималъ, что съ нимъ дѣлалось; повиновался слѣпо судьбѣ, и когда ознакомился нѣсколько со службой, ему показалось, что все это случилось потому, что такъ должно было случиться. Товарищи сторонили отъ него, опасаясь, чтобы онъ не навлекъ имъ какой либо непріятности. Не видимая, но сильная рука быстро его возвышала... Не прошло и двухъ мѣсяцевъ, какъ Сережу позвали къ командиру...

— «Очень жалѣю, что наша служба вамъ не понравилась.. »

— «Напротивъ!.. Но...»

— «Слабость здоровья! По лицу этого не видно. Можетъ быть, душевныя страданія? Не мое дѣло входить въ причины вашихъ поступковъ; но ваша скромность, ваши благородные пріемы, ваше неукоризненное поведеніе заставляютъ меня сожалѣть, что я теряю такого офицера, и радовать-

ся, что при дворѣ вы будете имѣть больше случаевъ обратить на себя Высокомонаршее вниманіе.»

— «Что онъ, рѣхнулся?» подумалъ Сережа, и не могъ придумать начала своей рѣчи.

— «Нечего дѣлать, разстанемся; но разстанемся друзьями! Поѣзжайте прямо къ Ивану Ивановичу и объявите швейцару вашу фамилію...»

— «Ваше Сіятельство! Я ничего не понимаю...»

— «О, изъ васъ будетъ искусный дипломатъ! Такъ вы и не знаете, что вы пожалованы камер-юнкеромъ...»

— «Я?»

— «Вы! Безъ всякой ошибки...»

— «Ей Богу, не знаю!»

— «Ахъ, Боже мой! скоро одиннадцать! Вы можете опоздать; поѣзжайте!..»

—

III.

Сидя въ дежурной комнатѣ, камеръ-юнкеръ Сережа терялся въ догадкахъ: кто это распоряжается его судьбою и не удостоитъ даже спросить его, согласенъ ли онъ самъ на всѣ эти перемѣны. Незнакомый ни съ кѣмъ, будто въ лѣсу, онъ видѣлъ вокругъ себя волненіе колоссальнаго міра. Только золото, дорогіе каменья, парчу, глазетъ, мундиры и звѣзды видѣлъ онъ въ залахъ Зимняго Дома. На выходахъ, стоя въ анти-каморахъ, онъ дрожалъ, какъ листъ. Съ товарищами ему удалось однако же познакомиться, тѣмъ болѣе,

что переѣздъ двора на лѣто въ Сарское Село поселялъ между всѣми придворными болѣе непринужденности; отъ нихъ бралъ онъ уроки придворной жизни, и, при необыкновенныхъ способностяхъ, умѣлъ скоро усвоить себѣ эту не малотрудную науку. Начальство отличало его, какъ чиновника примѣрнаго по своей исправности и ловкости; молодыя дамы, какъ прекраснаго наружностью; старухи, какъ умнаго и любезнаго собесѣдника; въ два мѣсяца онъ сталъ для всѣхъ необходимъ. Но эта честь утомляла Сережу; раза два онъ даже прихворнулъ, и второй недугъ его былъ причиною, что съ оставленіемъ въ званіи камеръ-юнкера и съ чиномъ статскаго совѣтника, его назначили состоять при канцеляріи Канцлера. Сережа ѣздилъ ко двору часто; но ужъ служба его не была такъ утомительна. Вы спросите, что же Елена Николаевна? Вѣдь она ежедневно встрѣчалась съ Сережей? — Случалось. — Вѣдь она же видѣла его, говорила съ нимъ?.. Встрѣчалась; но ни одного взгляда. И притомъ ей было некогда. Между Леночкой и Сережей стоялъ цѣлый заборъ поклонниковъ. Сережа притомъ не могъ простить ей первой встрѣчи и мстилъ, то есть, не смотрѣлъ на нее; а когда встрѣчалъ ее, то отворачивался и разсматривалъ шпалеры. Хотя сначала онъ уклонялся отъ знакомствъ и посѣщеній, но впослѣдствіи созналъ необходимость сблизиться съ двумя, тремя лицами, бывать у нихъ, кутить съ ними и пускаться въ конфиденціи. Тайна Сережи, не смотря на все, оставалась при немъ.

— «Что, братъ?» сказалъ однажды за плотнымъ ужиномъ Князь ***: «Ты, кажется, никогда не влюбишься!»

— «Никогда!»

— «Послушай, Сергѣй Александровичъ, оно, конечно, оригинально, но ужъ черезчуръ невинно. Какъ это ты можешь устоять противу Натальи Александровны? Она на тебя глаза высмотрѣла; вотъ, такъ и лѣзетъ къ тебѣ въ душу, а ты, будто медвѣдь отъ оводовъ, отмахиваешься. Неужели она тебѣ не нравится?»

— «Нѣтъ ничего удивительнаго!» подхватилъ другой собесѣдникъ: «Сергѣю Александровичу не нравится и Елена Николаевна.»

— «Вотъ въ этомъ я не вижу ничего удивительнаго...» перебилъ опять Князь: «Эта неприступная, жестокая, страшная красавица, можетъ понравиться только людямъ слишкомъ самолюбивымъ, которымъ кажется, что ихъ богатство и значеніе имѣютъ магическую силу. Вотъ уже скоро два года, толпа поклонниковъ не уменьшается, а кого изъ нихъ ты назовешь счастливцемъ?.. По моему, это не кокетство, а высшій умъ, какимъ только можетъ обладать женщина. Я опытный Ловеласъ, и вы будете смѣяться, а я скажу вамъ мою мысль. Елена любитъ; но ея любимца нѣтъ въ толпѣ поклонниковъ, которыхъ мы видимъ ежедневно...»

— «И этотъ любимецъ долженъ всплыть на верхъ очень скоро.»

— «Это почему?»

— «Потому, что Еленѣ Николаевнѣ сдѣланы

формальныя пропозиціи; это разъ; а во-вторыхъ, завѣщаніе дядюшки гласитъ, что она вольна избрать себѣ жениха по сердцу, но съ нѣкоторыми кондиціями; если же до 6-го февраля, именно, будущаго года, не выйдетъ замужъ, то все имѣніе, переходитъ къ двоюродной племянницѣ покойнаго...»

— «Ты какъ все это знаешь?»

— «Еще бы! На этой второй племянницѣ женится моя милость, разумѣется, если Елена Николаевна не выйдетъ замужъ...»

Сережа выслушалъ все внимательно и далъ себѣ слово, во что бы то ни стало, воспрепятствовать урочному замужеству. Время себѣ между тѣмъ шло. Объ Рождествѣ Сережа получилъ награжденіе за особенныя заслуги, оказанныя имъ по дипломатической части. О Сережѣ говорили, какъ о молодомъ геніѣ, обѣщающемъ великія и богатыя надежды. Приближался 1746-й годъ... Около Зимняго Дворца хлопотало множество народа. Растрелли являлся вездѣ: то на Невѣ устанавливалъ машины, то на особомъ каналѣ, проведенномъ изъ Невы. Шестнацать лошадей поднимали воду въ бассейны, устроенные надъ Большою Залою; на лугу, что нынѣ Дворцовая площадь, воздвигались деревянныя крашеныя пирамиды. Механикъ Кейзеръ, по указаніямъ Растрелли, хлопоталъ около фонтановъ. Погода благопріятствовала празднеству; морозъ во все время не доходилъ выше пяти градусовъ. Въ первый день новаго года послѣ обѣдень весь дворъ, поздравивъ Императрицу, не разъѣз-

жался до обѣда; послѣ обѣда дворецъ опустѣлъ, но на самое короткое время... Сережа, надѣвъ домино и маску, явился въ анти-каморы. Скоро выпелъ весь дворъ; двери дворца открылись для народа; Сережа, увлекаемый толпою, очутился въ аванъ-залѣ, гдѣ еще стояла огромная пирамида, называвшаяся Буфетомъ; вслѣдъ за тѣмъ, порывомъ той же народной волны, Сережу, можно сказать, перекинуло въ Большую Залу. Хотя онъ привыкъ къ великолѣпію; но представившееся зрѣлище его ослѣпило, изумило, и, надо прибавить, оглушило. Великолѣпные огненные узоры обливали стѣны колоссальной, давно уже несуществующей, Большой Залы, въ пространствѣ коей нынѣ помѣщаются три жилые этажа и дворикъ. Шесть тысячъ шкальчиковъ вокругъ стѣнъ составляли какую то удивительную надпись, которая громко свидѣтельствовала о пламенномъ и могучемъ воображеніи оберъ-архитектора; но этого мало: съ трехъ стѣнъ стремились широкіе водопады; фонтаны били въ разныхъ мѣстахъ залы; восклицанія сливались въ гулъ, который, съ шумомъ воды, придавалъ зрѣлищу сказочное великолѣпіе... Музыка играла въ разныхъ комнатахъ: общій польскій нѣсколько разъ обошелъ залы; наконецъ, маски разстались, разсыпались по заламъ; Сережа воротился въ Большую Залу, чтобы еще разъ посмотрѣть на эту картину изъ Шехерезады и отправиться домой; вдругъ подъ рукой онъ почувствовалъ чужую маленькую ручку; низенькая дама пискливымъ голосомъ сказала:

— «А я знаю, о чемъ вы думаете?..»

— «Гляди на это великолѣпіе, угадать не трудно...»

— «Неправда. Вы думаете о Леночкѣ...»

Сережа вздрогнулъ.

— «Неправда!» сказалъ онъ: «Ни она обо мнѣ, ни я объ ней, давно уже не думаемъ.»

— «Неправда! Впрочемъ, вы, можетъ быть, а ужъ за нее я могу поручиться, что она думала только о васъ! Ей это и доказать не трудно. Вашъ чинъ, мундиръ, — ея свидѣтели...»

— «Что это значитъ?..»

— «А то значитъ, что вы не поняли ея любви. Не случилось, а если бы представилась возможность, вы вѣрно бы ей измѣнили; но она и тогда бы не пожалѣла о вашемъ возвышеніи; вы, слава Богу, достойны того, что для васъ сдѣлала протекція многихъ, многихъ...»

— «Боже мой! Неужели всѣмъ, всѣмъ я обязанъ...»

— «Любви Леночки...»

— «Я васъ не пущу... Я узнаю, кто вы!»

— «Узнаете, только не сегодня.»

— «Когда же?»

— «Не дальше какъ завтра, въ семь часовъ вечера...»

— «Гдѣ?»

— «Въ домѣ тетки Леночки. Будете?»

— «Непремѣнно... Но я забылъ... мнѣ запрещено говорить...»

— «Срокъ испытанія кончился. Пріѣзжайте на сговоръ Леночки.»

— «Она выходитъ замужъ?»

— «Непремѣнно, и очень скоро...»

— «Такъ зачѣмъ же я пріѣду?..»

— «А долгъ благодарности? Хороши вы! Если бы вы знали, сколько хитрости, сколько стараній употребила Леночка, чтобы на этомъ ужасномъ пути сохранить чистоту деревенской Леночки, вашей сосѣдки, той Леночки, что, помните, бѣгала съ вами по доламъ и лугамъ? Для нея вы рвали цвѣты, для нея ловили птичекъ, чтобы доставить ей удовольствіе — дарить имъ свободу; для нея... но мы заболтались. Вѣрьте одному: Леночка все та же, только выдержала экзаменъ въ самомъ трудномъ пансіонѣ, и выдержала блистательно. Теперь собирается жить заправду и ждетъ васъ завтра. Прощайте!»

Маска исчезла. Сережа напрасно искалъ ее глазами; напрасно бѣгалъ по заламъ; напрасно; забывшись, онъ отправился домой пѣшкомъ, не обращая вниманія но то, что въ чулкахъ и башмакахъ не ловко снѣгъ мѣсить, не слушая кликовъ толпы, которая доканчивала допивать вино изъ умирающихъ фонтановъ, устроенныхъ по угламъ крашенныхъ пирамидъ. Сережа опять жилъ у Веннякова; прибѣжавъ, бросился искать живописца. Но его не было. Онъ возвратился на другой день ровно въ 7 часовъ, когда Сережа садился въ карету...

— «Иванъ Ивановичъ!»

— «Семь часовъ!»

— «Но скажите мнѣ...»

— «Семь часовъ! Скорѣе! Вы опоздаете!» И Вешняковъ втолкнулъ его въ карету и захлопнулъ дверцы.

— «Одно слово. .»

— «Семь часовъ! Пошелъ!»

У тетушки было много гостей. Сережа вошелъ, никѣмъ не замѣченный, именно въ то время, когда Леночка громко читала завѣщаніе дядюшки, а смѣхъ еще громче заглушалъ чтеніе.

— «Чтобъ былъ статскій, для того, чтобы на войнѣ не убили или не изувѣчили; не ниже чина статскаго совѣтника и не старше отнюдь 35 лѣтъ: понеже въ бракѣ равенство лѣтъ кондиція первая.» Общій хохотъ прервалъ чтеніе.

— «Хорошо равенство лѣтъ: 18 и 35! Ровно вдвое!»

— «А все прочее предоставляю разуму Леночки... Дорогой дядюшка! Онъ повѣрилъ моему разуму, и не ошибся. Мой выборъ сдѣланъ.»

Воцарилась мертвая тишина. Леночка встала, осмотрѣла гостей и, замѣтивъ Сережу, подлетѣла къ нему, обняла безъ церемоній, пламенно поцѣловала, повернулась на одной ножкѣ, присѣла и съ притворною застѣнчивостью сказала: «Вотъ мой суженый-ряженый; его и конемъ не объѣдешь!

— «Какъ!» воскликнула тетушка: «Да вы съ нимъ, почитай, незнакомы...»

— «Ошибаетесь, ma tante, я съ нимъ знакома ровно восемьнадцать лѣтъ! Тетушка, благословите насъ!..»

Сговоръ и свадьба совершились еще до срока.

Новый 1746-й годъ дѣйствительно былъ эпохой въ жизни и Сережи и Леночки... Сережа было задумалъ купить домъ, устроиться въ Петербургѣ, но Леночка разсудила иначе. Ей удалось выхлопотать для мужа мѣсто резидента при дворѣ одного Германскаго владѣтеля, и счастливые супруги тою же весною отправились за границу на своихъ лошадяхъ, въ четырехъ экипажахъ. — Вешняковъ снаряжалъ ихъ въ путь вмѣстѣ съ отцемъ Сережи.

— «А что, Олександро Сергѣевичъ?.. Какова Елена Николаевна?»

— «Молодецъ! Да впрочемъ это ужъ годъ такой У меня, Иванъ Ивановичъ, озимь вотъ ужъ этакая теперь; лѣсъ будетъ, какъ выростетъ...»

— «А Елена Николаевна?»

— «Молодецъ! Молодецъ!»

— «Сама себѣ жениха снарядила. Только какъ же это будетъ, Олександро Сергѣевичъ? Вѣдь съ Сережи то портрета нѣтъ...»

— «И не надо! Я его и такъ не забуду...»

— «Ну, безъ портрета и себя забудешь. Не надо, такъ не надо; а все-таки скажите, Олександро Сергѣевичъ, какова наша Елена Николаевна?»

— «Молодецъ!»

— «То-то же!»

ВОЛЬНЫЙ ГЕТМАНЪ

ПАНЪ САВВА.

—

КРАСНОРУССКАЯ ЛЕГЕНДА.

—

И у цѣлыхъ народовъ, какъ у простыхъ людей, есть отцы, матери, братья, сестры, словомъ всѣ виды родства. А ужъ едва ли у кого изъ народовъ такъ много родныхъ, какъ у матушки Руси. Сестрица наша Красная Русь-или Галиція сначала вышла замужъ за Поляка, а потомъ за Нѣмца. Въ какой степени она приняла привычки, нравы и языкъ послѣдняго мужа, намъ неизвѣстно; но отъ перваго много потерпѣла, многому научилась и языкъ свой крѣпко на его ладъ измѣнила. У ней, сказать лучше, стало два языка. Вѣрная своему происхожденію, она сохранила старинный, а въ угодность мужу научилась и новому, его языку. И стала пѣсни пѣть и свои и польскія; и тѣ и другія обилуютъ первообразными красотами, которыхъ не изобрѣтетъ остроумное художество. Венцеславъ Олесскій (Wazlaw z Oleska) и знаменитый виртуозъ Липинскій, тщательно собрали эти драгоцѣнные памятники народной поэзіи, и сохранили для потомства не толь-

ко слова, но и напѣвы. Недавно случилось мнѣ въ разномъ хламѣ отыскать повѣсть малороссійскую о Панѣ Саввѣ. Я вспомнилъ, что и въ галицкихъ пѣсняхъ что-то поютъ про Пана Савву. Обѣ легенды не полны, но вмѣстѣ становятся совершенно понятны и удовлетворительны; въ одной начало, въ другой конецъ. Хотите познакомиться съ Паномъ Саввой? Слушайте! Разскажу, какъ умѣю.

Въ какое время происходило все то, что буду разсказывать, опредѣлить трудно. Было себѣ когда то. Были тогда и Татаре и Турки, и было Казачество. Украйна простиралась отъ Кавказа до Карпата, а на югъ до Балкановъ. Была себѣ Украйной, вольной землей, которую считали своимъ наслѣдіемъ всѣ сосѣди, а въ существѣ то былъ край безъ господина, земля безъ управы, вѣчная данница и кормилица гостей; только войны продолжительныя между сосѣдями давали ей мнимый отдыхъ; мнимый, говорю, потому что тогда на просторѣ, свободно и безнаказно разыгрывалось казацкое молодечество. Свои, не хуже Татаръ, грабили богатыхъ, уводили въ плѣнъ красавицъ; казакъ съ верховій Буга съ товарищами гостилъ на берегахъ чистаго Псла, а у него въ тоже время въ гостяхъ пировали степные наѣздники по своему; и теперь въ Малороссіи тяжба въ модѣ, но только на бумагѣ, а тогда таже вѣчная тяжба, только на *шабелькахъ*.

Пріѣхалъ такимъ гостемъ и Панъ Савва, казакъ высокій, статный, краснолицый, но и въ благообразіи его что-то было такое, что какъ посмотришь на него, такъ и въ широкой одеждѣ тѣсно сдѣ-

лается; пріѣхалъ онъ въ село Усманьку, куда со многихъ окрестныхъ и далекихъ мѣстъ съѣзжались гости къ Рождеству Христову; потому что въ той Усманькѣ была церковь во имя Рождества Христова; уцѣлѣла эта церковь отъ военныхъ гостей, потому только, что черезъ Усманьку не шла ни одна дорога на какой либо важный городъ; стояла себѣ Усманька въ сторонкѣ; казаки прилежно ходили въ церковь и благодарили Бога за свою безъизвѣстность. Въ послѣдній проѣздъ Татаръ, опасность была слишкомъ близка; въ Усманькѣ слышали крикъ и шумъ сраженія. Небольшой лѣсъ скрывалъ и скрылъ село отъ страшнаго непріятеля. Тамошніе казаки пошли въ обходъ Татарамъ и ночью отбили обозъ, отставшій отъ войска. Много грабленнаго серебра нашли въ обозѣ. Бо́льшею частію церковное: оклады, подсвѣчники, лампады, чаши... Отнесли казаки серебро къ отцу Прокопу, а отецъ Прокопъ поѣхалъ въ Кіевъ и сдѣлалъ на образъ Рождества Христова серебряныя ризы; мастерамъ за работу казаки три года платили, и вотъ только что расплатились, какъ пришелъ и праздникъ храмовый; казаки слушали службу съ умиленіемъ и нечего грѣха таить, съ гордостію. Гости любовались на богатство иконы, хвалили казацкое безкорыстіе и благочестіе, а пуще всѣхъ Панъ Савва.

— «Не я буду,» говорилъ Панъ Савва: «коли въ Львовѣ-городѣ, или во Владимірѣ, или гдѣ ни есть на бѣломъ свѣтѣ, найдется такое чудо. Жидъ бы умеръ съ горя, если бы посмотрѣлъ на такое богатство.»

— «Умеръ бы, можетъ быть и не умеръ» отвѣчалъ казакъ Терешко, раскручивая свои сѣдые усы: «а ужъ бы лихорадка затрясла его до смерти; вотъ тогда бы и умеръ...»

— «Я про то и говорю, Пане Терентій.»

— «А! про то; такъ оно на ваше и выйдетъ. Ну-те, Панове казаки вольные и гости честные, уже вы мнѣ будете помогать отца Прокопа угощать. И отецъ мой Терешко, и дѣдъ мой Терешко, такъ уже пускай и я буду Терешко. Въ нашемъ дому этотъ праздникъ Усманька всегда *обходила;* такъ пускай уже и сей годъ по старинѣ будетъ...»

— «Пускай будетъ по вашему, Пане Терентій! Кланяемся!» отвѣчали и казаки и гости. Терешко не спрашивалъ, кто и откуда. Домъ у него былъ обширенъ. Меду, пива, горѣлки и даже винограднаго вина много. Жена была мастерица на кухнѣ: дочка красавица... Понятно теперь, что всѣ возрасты охотно приняли приглашеніе. Отецъ Прокопъ благословилъ пищу и питіе — и пошелъ пиръ, котораго нечего описывать. Такихъ пировъ много бывало и на дѣлѣ и на бумагѣ; а кому знать нужно, прочти о томъ у Основьяненка. Тамъ все прописано. Извѣстное дѣло, что тогда пира безъ пьянства не бывало. Терешко на томъ стоялъ, чтобы другіе стоять не могли. Свалилъ онъ, одолѣлъ казаковъ; одинъ Савва съ нимъ тягался...

— «Вотъ здоровый бѣсъ!» сказалъ Терешко: «Постой-же! Недолго и ты у меня потягаешься. Оленочка, а подай-ка пугаръ, что на именинахъ ходитъ...»

Олешочка принесла не пугаръ, то есть не чару, а нѣчто въ родѣ кострюли. Эта чаша отличалась отъ кухонной посуды металломъ и работою украшеній, а впрочемъ добрая кострюля, такъ что на малую семью можно бы и борщъ сварить...

— «Хлопче!» сказалъ Терешко: «а ну-ка, поди до шинвицы, нацѣди того меду, на которомъ кленовая вѣтка лежитъ; нѣтъ братику, отъ именинаго пугара и отъ именинаго меда спасуешь...»

— «Да не спасую же...»

— «А вотъ же спасуешь.»

— «А вотъ же нѣтъ. Что дашь!»

— «А ужъ если не спасуешь, бери все, что хочешь...»

— «А потомъ скажешь: не можно!»

— «Какъ же я это скажу, коли уже иначе сказалъ... Не скажу.»

— «Ну, такъ гдѣ пугаръ? Гляди!!...»

— «Постой, братику! Одинъ не выпьешь, пополамъ со мною; и то много...»

— «Не мѣшай» — и Савва осушилъ кострюлю и надѣлъ ее себѣ на голову... Терешко, вытуча глаза, глядѣлъ на гостя; не вѣрилъ тому, что видѣлъ...

— «Съ нами крестная сила!» сказалъ онъ наконецъ: «Это уже не человѣкъ; это уже хуже... Уходить отъ него...»

Да ба! панъ Терешко ноги пропилъ; стояли подъ столомъ не Терешковы ноги, а колоды. Ни съ мѣста. Страхъ отъ того еще болѣе выросъ.

— «Ого!» подумалъ Терешко: «Это уже онъ такъ

зачаровалъ ноги, что будто я цѣлую пшеницу выпилъ.» И сталъ креститься.

— «Молись Оленочка!» продолжалъ онъ: «Не хорошо тутъ что то!»

— «Это вамъ не отыдно, пане Терентій?» сказалъ Савва: «Вы простой хамъ, что-ли, что такую дурь Оленочкѣ въ голову вбиваете. Гдѣ же таки теперь колдуны?...»

— «Въ Нѣжинѣ есть, въ Кіевѣ есть, въ разныхъ мѣстахъ есть. Вы пане Савва откуда?...»

— «Изъ далече. Изъ Немирова.»

— «Это уже подъ Ляхомъ?»

— «Такъ какъ вы подъ Татарами.»

— «Такъ и у васъ доброе казачество еще не пропадаетъ.»

— «А зачѣмъ ему пропадать?»

— «Подите же, спросите, что кіевскій воевода разсказываетъ...»

— «Да что́ онъ разсказываетъ? Языка ему не приняжешь. Пусцай болтаетъ, вѣтеръ носитъ.»

— «Вотъ это по-казацки! Давайте руку, пане Савва! Разумныхъ людей люблю слушать. Тотъ Воевода, чтобъ ему добра не было, и въ Усманьку хотѣлъ бить, людей обдирать, своихъ приставниковъ заводить, то, другое, да мы ему шляхи (дороги) попортили; мосты подрубили; не доѣхалъ; вернулся; недоброе на насъ замышляетъ. Хорошо, что неблизко. А вы, Пане Савва, до Кіева поѣдете?..»

— «Нѣтъ, пане Терентій! Хорошо, что Оленочка ушла. Я за другимъ дѣломъ въ Усманькѣ...»

— «А ну-те! За какимъ же тамъ дѣломъ?»

— «Охъ, пане Терентій!»

— «Охъ, пане Савва...»

— «Да вамъ чего вздыхать?»

— «Такъ себѣ вздыхается. А вамъ чего?..»

— «Дошла до насъ вѣсточка, что тамъ за лѣсомъ въ сторонкѣ, не то что красавица, а ужъ и не знаю какая дивчина есть; и правду говорили люди. Пріѣхалъ я такъ; отъ чего же мнѣ на Украйнѣ дива не посмотрѣть. А поѣду дурень, дурнемъ. Голову, знаете, совсѣмъ ошеломило...»

— «А я говорилъ, пане Савва, что и медъ и пугаръ...»

— «Да не медъ, пане Терентій, что вашъ медъ! А то, что слаще меду.»

— «А что по вашему слаще меду? По нашему...»

— «Да и по вашему, думаю, тоже...»

— «А что по вашему? А? Ужъ я смѣкаю, пане Савва! То?»

— «Да ужъ чему же быть, какъ не тому.»

— «Да это и дитя знаетъ. Такъ которая вамъ приглянулась? У насъ, что ни взглянешь, такъ цвѣтокъ...»

— «Можетъ оно и такъ. Только ужъ та подсолнечникъ противу другихъ...»

— «Вотъ что! Попалъ я и въ сваты...»

— «Коли захочешь, такъ и въ отцы...»

— «Ты, можетъ, про Оленочку думаешь...»

— «Да не можетъ, а просто таки про Оленочку...»

— «Охъ, пане Савва! Зачѣмъ ты у насъ про-

шлой зимы на святкахъ не былъ... А ужъ теперь она отсюда изъ Усманьки черезъ рѣчку за мужъ не пойдетъ. Тутъ при честной Иконѣ нашей, что мы казацкимъ обычаемъ снарядили, тутъ ей и жить и умирать... На томъ мы старшіе казаки стали и положили и на сходкѣ приговорили, что сынкамъ нашимъ добывать вольныхъ женъ, а дочкамъ вольныхъ парней, чтобы у всякаго была добрая воля въ Усманькѣ оставаться...»

— «И я вольный казакъ...»

— «Да ужъ другой есть. Вонъ храпитъ молодикъ Доня Трофимъ; тотъ Оленочку полюбилъ и Оленочкѣ полюбился. Далече съ Десны въ Усманьку на житье перешелъ. Послѣ Трехъ Волхвовъ вѣнчаться будутъ.»

Панъ Савва лукаво улыбнулся и сталъ головой кивать, будто хмѣль разбирать его началъ. Панъ Терентій очень обрадовался дѣйствію своего ужаснаго меда; высулилъ что было подъ рукою и засмулъ сномъ крѣпкимъ. Проснулся. Пана Саввы уже не было; гости хлопотали около Трофима и шепотомъ говорили: «Цытьте, цытьте! Чтобы Оленочка не почуяла...»

— «Что тамъ такое?» спросилъ Терешко...

— «Цытьте, пане Терентій, не то Оленочка услышитъ. Трофима нѣтъ.»

— «Какъ нѣтъ? А этожъ кто у васъ въ рукахъ?»

— «Трофимъ, да мертвый. Вотъ это у васъ всегда на праздникъ до смерти допотчуютъ. А еще хвалитесь пивницей...»

— «Такъ Трофимъ...»

— «Умеръ...»

Терешко ударилъ объ полы руками и воскликнулъ:

— «Отъ также!...»

Подняли Трофима, освидѣтельствовали и нашли, что онъ былъ задушенъ, но кѣмъ и чѣмъ, это оставалось загадкой не долго. Терешко разсказалъ про подвиги и сватовство пана Саввы; тайное удаленіе его оправдывало подозрѣніе.

— «Уже и съ виду, я говорилъ, что разбойникъ.»

— «Да я и по лицу это видѣлъ...»

— «И что на немъ, и что на конѣ его было? Съ молодецкой добычи не возьмешь...»

— «Давайте его искать...»

— «А гдѣ же мы его найдемъ! Развѣ погнаться въ ту сторону, куда онъ поѣхалъ...»

— «А въ какую жъ сторону поѣхалъ...»

— «Глядите, панове, можетъ онъ на всѣ четыре стороны поѣхалъ.»

— «А можетъ во что нечистое перекинулся. И пришелъ безъ дороги, и ушелъ безъ пути; можетъ гдѣ нибудь сидитъ подъ землею, да свѣжимъ дерномъ прикрылся, или пескомъ себя засыпалъ. Пойдемъ, не найдемъ ли?»

И точно, казаки и слуги, всѣ разбрелись по саду, огороду, двору, и улицамъ, вездѣ искали слѣдовъ, куда панъ Савва провалился... При этомъ обыскѣ поколотили жида, что шинковалъ въ Усманьской корчмѣ, въ твердомъ убѣжденіи, что онъ

заодно съ паномъ Саввой; но всѣ поиски оказались напрасными. Воротились. Трофимъ лежалъ на прежнемъ мѣстѣ. Рѣшились сказать Оленочкѣ о постигшемъ ее несчастіи, но и ее не нашли. Усманька взволновалась. Поиски возобновились. Молодежь стала поворотливѣе; старики шумливѣе... Переискали до послѣдней щелки. Многіе отворяли такіе сундучки, въ которые не только Оленочка, но и рука ея не помѣстилась бы, а никому и въ голову не пришло заглянуть въ церковь. Одинъ отецъ Прокопъ, и то по должности, пошелъ служить вечерню, отворилъ дверь, да и крикнулъ на все село. —

— «Вотъ гдѣ она! Ловите!...»

Неизвѣстно, зачѣмъ онъ хотѣлъ ловить Оленочку, потому что она смирнехонько стояла передъ богатой иконой и молилась...

— «Оленочко, сердце мое...» такъ началъ было Терешко... Но она встала весьма покойно и также покойно сказала толпѣ, указывая на икону...

— «Не журитесь, добрые люди! Такъ Имъ угодно. Сами грѣхъ попустили, сами и грѣшника отъищутъ. Похоронимъ Трофима, а тамъ и Божью волю увидимъ...»

И впервые Усманьскія Святки прошли въ общей печали и сокрушеніи. Тутъ ужъ не до веселья. Съ горя, казаки стали поминать Трофима въ очередь. Тутъ ужъ не до шутокъ. На поминальныхъ пирахъ проливали горячія слезы и услаждали ихъ горечь сладкимъ медомъ; не дотянули до Трехъ Волхвовъ и трехъ дней. Рано по утру, передъ обѣдней, по всей Усманькѣ, слухъ пронесся, ужъ

точно самъ собою, потому что никто не зналъ, кто принесъ, да и въ село никто ни вчера, ни въ тотъ день не приходилъ; да если бы и захотѣлъ придти, такъ нельзя было за сугробами и мятелью. Усманька, что островъ, кругомъ бѣлымъ полемъ облилась; ни стежки не стало видно. Не смотря на то старшіе собрались къ Терешкѣ и открыли совѣтъ.

— «Этого еще не бывало,» говорили казаки; «Татарва зимою не рыскаетъ, можетъ то и не Татарва, а такъ себѣ, проѣздомъ кто нибудь...»

— «А чего же они на Усманьку тянутъ? Или Воевода Кіевскій или Татарва. Другихъ гостей быть не можетъ. И не воевода; идетъ безъ шляха.»

— «Вотъ Момля пускай вернется. Узнаемъ. А вотъ и Момля... Ну, что?»

— «Татарва проклятая! Видно съ плѣна какого ворочаются. Ободранные, на коникахъ разнаго роста; и збруя разношерстая, и одежа будто краденая; на Усманьку тянутъ, видно чтобы большимъ шляхомъ не идти, чтобы не переловили.»

— «А много ихъ?»

— «Да гдѣ тамъ много.»

— «Переловимъ ихъ пане Терентій, да воеводѣ въ Кіевъ пошлемъ въ гостинецъ...»

— «Переловимъ! Кони готовы! Садитесь на коней и съ Богомъ! Это уже не война, а полеванье...»

И въ полчаса, безъ малаго, вся Усманька, то есть мужской полъ, высыпала на добрыхъ коняхъ въ поле; Момля ѣхалъ впереди, путь указывалъ. Не проѣхали и полъ версты, какъ дѣйствительно

увидали небольшую шайку неизвѣстныхъ людей; поскакали казаки шибче, но и шайка не зѣвала, мигомъ снялась съ поля и въ порядкѣ пошла на уходъ; казаки за ними; Усманьскія женщины проводили своихъ до конца села, тутъ на пригоркѣ остановились и провожали ихъ глазами; исчезли казаки въ дали, а женщины, разсуждая по своему, разошлись по домамъ. Оленочка вошла въ свою комнатку и сѣла на скамьѣ у окна задумавшись. Ей показалось, что-то шевелится въ избѣ; оглянулась; то былъ Панъ Савва. Потемнѣло у Оленочки въ глазахъ; страхомъ ротъ заперло; дрожитъ бѣдная, что черешня отъ вѣтра...

— «Оленочко, сердце мое! Не бойся! Это я! Не смогъ я съ моею любовью; выманилъ я мужской полъ изъ Усманьки; и до вечера не догонятъ и вернутся съ пустыми руками; и ужъ тамъ, какъ себѣ хочешь, а будешь ты, Оленочка, моею любою женою. Со всей Украйны соберу я для тебя, Оленочка, китайки, атласы, дорогіе дамашки; будешь ѣздить по Украйнѣ воеводихой на вороныхъ коняхъ; будешь въ милостыню раздавать битые талеры, будешь...»

— «Пане Савва, пане Савва, а что скажетъ на то Терешко; что скажетъ Трофимъ въ могилѣ...»

— «Тотъ, что въ могилѣ ничего не скажетъ, а панъ Терешко пріѣдетъ къ намъ въ гости, погуляетъ, наше счастье посмотритъ и дастъ благословенье...»

— «А что скажетъ отецъ Прокопъ? Онъ слышалъ, какъ я клялась, что не отойду отъ

Усманьской Иконы даже въ гости въ чужое село. Съ нею жить, съ нею умирать поклялася...»

— «Грѣхъ на мнѣ, Оленочка! Я увезъ тебя неволей.»

— «И то правда! Постой же, пане Савва, на дворѣ холодно, пускай вздену теплую свиту, да и поѣдемъ. Видно мнѣ ужъ такъ на роду написано...»

— «Не мудруй, Оленочка! Ступай, одѣвайся, а если ты зло какое задумала, такъ хуже будетъ. Я въ Усманькѣ не одинъ...»

Оленочка видно не разслушала этой угрозы. Не за шубой, нѣтъ, на улицу бросилась она съ крикомъ. Панъ Савва за ней. Село огласилось воплемъ женщинъ и рѣзкимъ свистомъ Саввы; изъ-за плетней поднялись въ разныхъ мѣстахъ дюжіе страшные сподвижники Саввы. Въ ужасѣ женщины попрятались и заперлись въ домахъ; а Оленочка въ церковь, и упала на лѣсенькѣ передъ Иконой, только и успѣла ухватиться за толстую мѣдную проволоку, которою низъ образа былъ обведенъ трижды. Вошелъ Савва, вошли и его сподвижники; накинули на Оленочку теплую одежду; стали тащить ее отъ образа; но рука ея какъ будто приросла къ проволокѣ; еще усиліе и образъ оторвался; казаки подхватили его; первый панъ Савва.

— «Уходите!» съ паперти сказалъ товарищъ Саввы: «Казаки уже назадъ ѣдутъ съ погони...»

И Оленочку вмѣстѣ съ Иконой вынесли изъ церкви, изъ села, въ лѣсъ; тамъ ожидали ихъ

добрые кони и еще товарищи, и когда казаки въѣхали въ свое село, оглушаемые воплемъ женщинъ, Савва со своими былъ уже далече. Само собою разумѣется, что казаки ударились за нимъ въ погоню, но Савва не промахъ; безъ устали мчались добрые кони; десять разъ перемѣнялъ онъ путь свой и обманывалъ погоню, и только на третій день, миновавъ Владиміръ, сталъ помышлять о покоѣ.

— «Вотъ же Оленочка,» сказалъ Савва, оставшись съ нею на единѣ въ теплой хатѣ и разматывая разные платки, которые дѣлали ее нѣмою: «Видно такъ уже Богу угодно, чтобы ты была мнѣ женою. И клятва твоя съ тобою. Не разсталась ты съ своею Иконою; будетъ она стоять въ твоей спальнѣ; дѣти и внуки наши будутъ ей молиться. Ну, моя Оленочка; тутъ у меня много въ селѣ знакомыхъ. До дому далече. Тутъ и поженихаемся, тутъ и оженимся. Я уже и къ попу послалъ.»

Безсмысленно глядѣла Оленочка на пана Савву, какъ-будто не понимала, что съ нею дѣлается. Откуда ни возьмись пришли дѣвицы, чинно и не безъ страха кланялись Саввѣ, и потомъ уже невѣстѣ; посадили Оленочку на скамейку, стали расплетать ей косу и запѣли:

Ой нѣту, нѣту батюшки дома,
Ой поѣхалъ батюшка до Львова,
Съ бѣлой рыбы бѣлый гребень покупать,
Оленочкѣ косу чесать...

Савва все время стоялъ передъ красавицей и пожиралъ ее пламенными взорами.

— «Мамочко! Оленочко!» сказалъ онъ съ чувствомъ: «Усмѣхнись, а не можешь, то заплачь! Все будетъ сердцу легче!...»

— «Будетъ плакать! Еще наплачется!» сказала впоследствіи одна изъ дѣвицъ. Но Оленочка въ томъ же оцѣпенѣніи чувствъ молчала и сидѣла на скамьѣ, будто каменная. Дѣвушки расплели косу; накрыли Оленочку тонкимъ полотенцомъ и тотчасъ же начали пѣть пѣсню:

Въ воскресеніе рано
Синее море играло.
Ой не море играло,
А Оленочка утопала,
Все отца поджидала.
Спасай меня, батюшка, спасай,
Не дай мнѣ утонуть,
Въ этомъ морѣ погибнуть...
Отецъ бросился на берегъ:
Ни челна, ни весла
Все волна унесла...

Вы видите, что я не перевожу этихъ драгоцѣнныхъ пѣсенъ, а переписываю ихъ только на русскій языкъ слово въ слово. Съ послѣднимъ стихомъ дѣвушки подхватили Оленочку и, можно сказать, унесли въ церковь. Священникъ съ причтомъ ожидалъ молодую чету. Увидавъ Савву, онъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ и возвелъ глаза къ небу.

— «Нуте, отецъ Яковъ!» сказалъ ему Савва грубо: «Поворачивайтесь живо! Дома ждутъ...»

Обрядъ совершился въ какомъ-то страшномъ молчаніи; никто не плакалъ, никто не радовался; всѣ сохраняли суровую важность, а пуще всѣхъ Савва. Оленочка, словно кукла, исполняла все,

что ей приказывали. Савва вывелъ ее изъ церкви за руку, сѣлъ въ сани и воротился въ свою хату, гдѣ тѣ же дѣвушки встрѣтили молодую опять пѣснею:

Спрашивалъ соколъ кумушку:
Гдѣ ты кумушка была?
Гдѣ ты ножки загрязнила,
Гдѣ ты перья заросила? —

Въ тихомъ я бродѣ была,
Студену воду пила,
Тамъ я ноги загрязнила,
Тамъ я перья заросила.

Спрашивалъ ее отецъ:
Гдѣ Оленочка была,
Гдѣ заплакала глаза,
Слезами личико облила?

Въ домѣ Божіемъ была,
Три раза присягала,
Тамъ заплакала глаза,
Тамъ лице слезами залила...

Докликалась эта пѣсня до сердца Оленочки. Она оглянулась, будто опомнилась, засмѣялась и съ привѣтомъ подошла къ дѣвушкамъ.

— «Спасибо, сестрицы, спасибо! Дай Богъ и на вашихъ свадьбахъ гулять! А на моей погуляйте! А что же это, пане Савва, свадьба безъ подарковъ?»

— «А какихъ же тебѣ подарковъ надо?...»

— «По три битые талеры каждой дѣвушкѣ...»

— «На, роздай!...»

— «Не хотимъ! Не хотимъ!» закричали дѣвушки.

— «Ну такъ хоть медомъ угости!»

— «Сейчасъ, мамочка моя, сердце мое; вотъ

такъ бы давно. Я сбѣгаю только до здѣшнаго пана...»

И Савва на радости бросился изъ хаты бѣгомъ. Оленочка усѣлась съ подобающею важностію и спросила:

— «А отъ чего же сестрицы нашего серебра не захотѣли.»

— «Бѣдная Оленочка! За коршуна ты вышла! Серебро то все грабленое; про твоего Савву вся Украина знаетъ, а пуще наше село. Видно дорога въ домъ его черезъ наше село проходитъ. Раза три въ годъ забѣгаетъ съ своимъ казачествомъ. Всякій разъ наберетъ денегъ, пива, меду, живности всякой, да еще въ придачу красную дѣвушку... То еще у него доброе есть, что отъ отца отъ матери дитяти не возьметъ, а сироту подай ему, хоть недоростка, лишь бы лицемъ хороша была... Можетъ быть, какъ теперь женился, такъ уходится.»

Оленочка улыбнулась. Нельзя было продолжать любопытнаго разговора, потому что панъ Савва вернулся, притащилъ съ собой и другаго пана, владѣльца того села, и паню, и дѣтей, и еще пришли какіе-то гости. Нанесли между тѣмъ со двора и вина, и пива, и меду, и всякой всячины. Оленочка хозяйничала на чудо. Панъ Савва былъ въ восторгѣ и клялся и заклинался, что даетъ этому селу льготу, что если гостемъ проѣзжать будетъ, такъ не возьметъ ни деньги, ни добра, ничего, а что возьметъ, платить будетъ. На радости панъ Савва охмѣлѣлъ, гости разъѣхались,

но къ удивленію Оленочки въ хатѣ остались два казака, которыхъ она прежде и не замѣчала.

Одинъ уже старый, страшной наружности, покрылъ пана Савву свитой и сказалъ со смѣхомъ:

— «Спи, пане Савва! Стеречь ты насъ на гуляшкахъ; никогда пьянъ не былъ. Отъ радости охмѣлѣлъ. Ложись, пани Савиха, и ты спать. Я, Онисимъ Чубъ, на сторожѣ. Такъ ужъ не страшно.»

Оленочка не отвѣчала. Прилегла и притворилась спящею; но изрѣдка поглядывала на свою стражу и, посмотрѣвъ на другаго казака, чуть не вскочила. То былъ молодикъ Доня Трофимъ, только послѣ смерти сталъ моложе и краше прежняго; на томъ свѣтѣ у него видно и усы и бородку отняли; ни дать, ни взять дѣвушка. Разговоръ его съ Онисимомъ объяснилъ ей многое.

— «Такъ это и есть самъ панъ Савва?» спросилъ онъ. Онисимъ кивнулъ головой.

— «Не чудо, что онъ на Украйнѣ такихъ дѣлъ надѣлалъ.»

— «Какихъ дѣлъ?»

— «Про него за Днѣпромъ разсказываютъ, что Савва до самой Туречины доходилъ; во всѣхъ селахъ гостилъ; что у него красавицъ больше, чѣмъ у Султана.»

— «А на что ему тѣ красавицы? За нихъ не только некрещеная Татарва, да и Ляхи дорого платятъ. Вотъ себѣ взялъ красавицу, такъ эта и его; а не женись онъ на ней и Оленочка была бы наша. Продали бы. Ему три талера съ десяти, а семь наши...»

— «А ужъ, Онисимъ, надо правду сказать, что Оленочка красавица.»

— «Диво, что у пана жена хороша. Да и выбирали мы братику лѣтъ шесть; всю Украйну перенскали. Боюсь только, братику, что теперь дома станетъ засиживаться; на заработки не такъ часто ходить будетъ... Казачество запуститъ. Ты вотъ къ намъ присталъ подъ самой Усманькой; тебѣ наше житье полюбилось; такихъ много, а коли панъ Савва не захочетъ быть Гетманомъ, тогда, братику, другіе нашихъ передушатъ. И такъ на него зубы острятъ. Въ нашей землѣ, подъ Немировымъ, панъ Савва точно паномъ живетъ, никого не трогаетъ. Большіе паны у него въ гостяхъ бываютъ, и за походы его на Украйну хвалятъ и подарки засылаютъ. Подъ Немировымъ насъ никто не тронетъ...»

— «А далеко еще до Немирова...»

— «Да это послѣднее вражье село. А тамъ ужъ пойдутъ все пріятели; тамъ мы панами поѣдемъ. И остановились мы тутъ, чтобы веселье на чужой счетъ справить...»

— «Ты уже, пане Онисимъ, меня своею лаской не оставь! Научи меня и ремеслу, и службѣ, и всему...»

— «Да ужъ научимъ мы тебя всему доброму... Постой! Кажется панъ Савва вздохнулъ; сейчасъ встанетъ; поди скажи казакамъ пускай коней готовятъ; мы тутъ долго не останемся; до́ свѣта уѣдемъ...»

Трофимъ ушелъ, а Савва дѣйствительно потя-

нулся раза два, всталъ, поглядѣлъ на Онисима, да и сказалъ: спасибо! Поглядѣлъ на Оленочку, да и молвилъ: «Ой мнѣ, дурню. Обрадовался не во время...»

Но будить жены не рѣшился. Та старалась спать съ такимъ усердіемъ, что уже и солнце поднялось, и казаки на дворъ собрались, и ѣхать торопились, а она все спала да спала. И когда уже старшіе рѣшились войти въ хату къ своему Гетману, тогда Оленочка вскочила, будто встрепанная; всѣ признаки безсонницы и сильной душевной бури явственно отражались на прекрасномъ ея лицѣ, при всемъ томъ она старалась казаться веселою, довольною; хлопотала только о завѣтной Иконѣ, уложенной въ ящикъ и тщательно закрытой. Панъ Савва, какъ одурѣлый, глазъ не сводилъ съ своей жены и невольно исполнялъ всѣ ея прихоти. Она господствовала полновластно въ этой удалой арміи, къ общему неудовольствію Гайдамакъ; пуще другихъ дулся Онисимъ.

— «Вотъ себѣ и нажили въ Гетманы бѣлую голову. Увидите, что она всѣхъ насъ заведетъ на висѣлицу. Съ бою взяли; невольница; а она носъ задираетъ, будто уже и родилась паней.»

Такъ говорилъ Онисимъ; то же повторяли Гайдамаки во всю дорогу, до самого Немирова, гдѣ пана Савву встрѣтилъ у воротъ города панъ Якубъ, воевода Немировскій, съ полной чашей, съ хоромъ пѣсенъ; встрѣтилъ, поздравилъ, да на Саввиху и заглядѣлся.

— «Ну, сосѣдъ,» сказалъ панъ Якубъ: «я и не

думалъ, чтобъ на Украйнѣ такія водились. То краше воеводихи Львовской; а можетъ и въ самомъ Краковѣ не встрѣтишь такой женщины. Не показывай сосѣдъ своей жены панамъ раднымъ. Поссоришься. Перестанутъ съ тобою хлѣбъ-соль и дружбу водить. Будутъ до твоей жены добираться...»

Послушался панъ Савва пана Якуба. Отгулявъ день въ Немировѣ, потянулъ со своими до своей усадьбы, красиво расположенной на берегу небольшаго озера. Столѣтнія сосны купами обступили ее со всѣхъ другихъ сторонъ и закрывали отъ взоровъ любопытнаго путешественника. Съ трепетомъ вступила Оленочка въ новый домъ свой; передъ нею несли завѣтный ящикъ; вскрыли; уставили Икону на мѣсто и разошлись; остались въ комнатѣ только панъ Савва да Оленочка. Оленочка поблѣднѣла, но за то панъ Савва раскраснѣлся. Ушелъ отъ нея панъ Савва счастливый, довольный; оставилъ Оленочку въ слезахъ, на колѣняхъ, передъ святымъ образомъ. Такого пира въ Савинной усадьбѣ никогда не бывало. Гуляли казаки до другой ночи; прогуляли бъ и недѣлю, еслибы до пана Саввы не пріѣхали два жида съ турецкой границы. Принесли пану Саввѣ вѣсть, что ѣдутъ купцы изъ Туречины съ атласами и китайками; везутъ товары до Кіева; вспомнилъ панъ Савва, что обѣщалъ Оленочкѣ цѣлую комору набить дамашками, да атласами, а другую пушнымъ товаромъ. Дали жидамъ по три талера, сѣли на коней и полупьяные пу-

стнлись въ далекій путь. Панъ Савва и забылъ проститься съ Оленочкой, хотя для нея и походъ предпринялъ. Гайдамаки не дали ему опомниться, боясь, что красота жены удержитъ его дома и товары уйдутъ изъ рукъ. Далече уже вспомнилъ панъ Савва, что не простился, и сказалъ: «вотъ тебѣ разъ....» Да возвращаться было и поздно и смѣшно. Надежда поскорѣе ограбить купцовъ и воротиться къ Оленочкѣ съ дорогими подарками утѣшала вольнаго Гетмана, и кони неслись безъ дороги по путямъ, извѣстнымъ только звѣздамъ Божіимъ, да казацкому коню. И Онисимъ далече уже вспомнилъ про Трофима, но Трофима съ ними не было. А гдѣ же Трофимъ? Остался на усадьбѣ и рано поутру, когда Оленочка вышла на крыльце, чтобы спросить воротился ли панъ Савва съ ночной гулянки, одинъ Трофимъ стоять на крыльцѣ съ голою саблей.

— «Боже!» воскликнула она: «Трофимъ!»

— «Не Трофимъ, а Прохоръ, Оленочка, стоитъ у дверей твоихъ за брата Трофима. Тотъ уже не встанетъ; сладко ему подъ землею. Передалъ мнѣ Трофимъ и свою обиду и свое горе...»

— «Ты братъ Трофимовъ?»

— «А то кто же! Послышали мы подъ Черниговомъ, что сталось на Усманькѣ. Отецъ и позвалъ меня: «Сѣдлай коня, хлопче! Скачи до Усманьки; городамъ не кланяйся: бѣги шибче, а то слѣды нашего Трофима захоронятъ. У того вора, что убилъ Трофима, отыми жизнь, да привези

мнѣ его голову, чтобы я самъ зналъ, что ты убилъ того вора. Съ Богомъ!» — Поѣхалъ я, и доѣхалъ, да не до Усманьки, а на большомъ шляху вашъ свадебный поѣздъ встрѣтилъ. Прикинулся Гайдамакой, что службы ищетъ; присталъ до пана Саввы... Охъ, сердечко мое бѣдное! Лучше было не приставать?...»

— «Отъ чего же Прохоръ?»

— «Про то ты одна знаешь...»

Зарумянилась Оленочка, да скорѣй въ свою спальню. Сердце у ней такъ забилось, что она поспѣшила крѣпче запереть двери, чтобы Прохоръ не услышалъ. Сладко и страшно ей было новое чувство. Прохоръ былъ краше и моложе покойника; тотъ ей нравился; прохора она полюбила. Со страха, что полюбила, не смѣла она къ дверямъ подойти. Приходили прислужницы; приносили кушанья.

— «Не хочу. Не нужно. Я уже сплю...» Такіе отвѣты давала Оленочка, и дрожала отъ ужаса, что такъ сильно полюбила... Наступила и ночь. Оленочка тихо встала, полуотворила дверь на крыльце. Луна на саблѣ Прохора играла своимъ серебромъ. Онъ ходилъ передъ крыльцомъ, чтобы не замерзнуть...

— «Прохоръ! Уходи Прохоръ!» шептала она.

— «А за чѣмъ я пойду? Тутъ мое мѣсто...»

— «Замерзнешь! Ей Богу, замерзнешь! Стужа...»

— «Тепло у меня на сердцѣ... Тамъ что-то горитъ такъ хорошо. Есть у чего погрѣться...»

— «Прошу тебя, Прохоръ, уходи!»

— «Да куда я пойду? Не стану я къ твоей челяди стучаться; мнѣ и тутъ хорошо.»

Оленочка была въ отчаяньи. Она сама чувствовала суровость стужи; она видѣла, какъ Прохоръ переминается и руками и ногами.

— «Прохоръ, Прохоръ, право, ей Богу, замерзнешь!»

— «Пускай замерзну! Что же мнѣ на этомъ свѣтѣ! Брата нѣтъ; кровь Саввы его не воротитъ, а моего сердца не залечитъ. Замерзну себѣ; и не услышу, какъ умру...»

— «Такъ знаешь что, Прохоръ! Ты за чѣмъ тутъ ходишь...»

— «Берегу покой твой!»

— «Такъ ступай въ теплыя сѣни; сиди тутъ съ своей саблей; а чуть свѣтъ, уходи, чтобы злые люди чего не выдумали... Поди сюда, Прохоръ!»

Прохоръ былъ не промахъ; повиновался; вошелъ въ теплыя сѣни, а Оленочка вынесла ему каганецъ и скамѣйку.

— «Садись, бѣдный Прохоръ; тутъ и заснуть можешь...»

— «Гдѣ уже мнѣ тамъ спать; на дворѣ было холодно; тутъ будетъ душно...»

— «Молись Богу, Прохоръ! Только онъ намъ и поможетъ.»

— «А тебѣ какая кручина? Стала пани богатая, хорошая: мужъ молодой, словно тополь стройный, будто дубъ плечистый; счастья у тебя цѣлая миса верхомъ.»

— «Нѣтъ, Прохоръ... Да, Прохоръ, твоя правда... А все Богу молиться не мѣшаетъ... Я пойду молиться...»

— «Ужъ и за меня Оленочка...»

— «И за тебя, мой бѣдный Прохоръ!..»

Разошлись. Но черезъ двери обоимъ было слышно, что подъ этой крышей нѣтъ сна. То Оленочка, то Прохоръ, на выпередки вздыхаютъ.

— Что́ ты не спишь, Прохоръ?»

— «Не спится, Оленочка!»

— «Ты бы пѣсню запѣлъ...»

— «Тебѣ мѣшать буду...»

— «Нѣтъ, Прохоръ! Я подъ пѣсни всегда засыпала.»

— «Люди услышатъ...»

— «Ты такъ занути, не заслышатъ. Челяди въ хоромахъ нѣтъ.»

И Прохоръ занутилъ, то есть, вполголоса запѣлъ:

Ой, ты дывчино зарученая,
Чего ты ходишь засмученая?
Ой, якъ я маю весела буты;
Кого я люблю, тяжко забуты.

Ой, ты, дывчино, чорныи очи,
И въ день ся журишь и не спышь въ ночи,
Черныи очы прынаду далы,
Душу и тыло вразъ зъ жытьемъ взялы...

Ой ты, дывчино, мыслями лудышъ,
Сама не знаешь, кого ты любышь...
Ой, знаю, знаю, кого кохаю,
Да не знаю съ кимъ жыты маю!

Этой пѣсни я не осмѣлился переписывать на русскій языкъ. Слова ея всякому понятны; въ пере-

писнѣ она лишилась бы той прелести, которая сдѣлала ее любимою пѣснію западныхъ Украинцевъ. Конечно, эта пѣсня отличается отъ малороссійскихъ языкомъ, но тогда мѣнялись казаки по всей Украйнѣ и посѣщеніями и пѣснями; и новая думка, привезенная съ дальней стороны, перенималась скорѣе и радушнѣе, чѣмъ нынѣшніе Шубертовскіе романсы. И впечатлѣнія отъ нихъ были и проще и сильнѣе. Вотъ и доказательство. Оленочка не выдержала. Зарыдала и завопила:

— «Ой, знаю, знаю, кого коха́ю (люблю), знаю... Но не велитъ Богъ и его Святая Вѣра...»

— «Кого же ты любишь?..» спросилъ Прохоръ и, забывшись, вбѣжалъ въ спальню.

Оленочка стояла на колѣнахъ передъ своей Иконой и съ твердостью, глядя на образъ, сказала:

— «Тебя, Прохоръ! Но вотъ тебѣ крестъ передъ Богомъ, пока я жена Саввы, я вижу тебя въ послѣдній разъ. Прохоръ, прощай! Уходи до дому! Не то, я скажу Саввѣ... Я отдалась волѣ Божіей — и это уже грѣхъ, что сказала, что допустила...»

И безъ дальнихъ разговоровъ Оленочка встала, схватила за руки Прохора, повернула и вытолкала не только изъ спальни, но изъ сѣней, на тотъ же морозъ, который за минуту заставилъ ее неумѣстно разчувствоваться. Разумѣется, остатокъ ночи провела Оленочка не то что въ безсонницѣ, а въ горячкѣ, въ бреду; къ утру приуснула, но не надолго. Пришли слуги, достучались и объявили, что молодой казакъ видно соскучилъ службой; взялъ

съ конюшни гайдамацкаго коня, воронаго, и уѣхалъ.

— «Слава Богу!» сказала Оленочка и съ кроткимъ, благодарнымъ умиленіемъ взглянула на икону.

Куда же это опять дѣвался Прохоръ? Онъ былъ на послѣдней гулянкѣ, онъ слышалъ, что разсказывали жиды, и пустился за Гайдамаками въ погоню. Но не зная дороги, сбился, и попалъ въ Усьманку; тамъ все было тихо, какъ на монастырѣ; весна возвращалась; зелень пробивалась, между прочимъ, и на могилѣ Трофима. Мужской полъ весь былъ въ походѣ, а женщины даже не умѣли объяснить, куда уѣхали казаки. Прохоръ помянулъ брата, поѣхалъ искать казаковъ, но не находя слѣдовъ, вернулся; поѣхалъ въ другую сторону; и тамъ ничего не узналъ; опять воротился.»

— «Лучше же я ихъ подожду здѣсь; когда-нибудь да воротятся,» такъ говорилъ Прохоръ: но весна прошла; поля засѣяли, стали бабы и косарей нанимать изъ чужихъ селъ; дошло дѣло и до жатвы; Прохоръ, въ нетерпѣніи, сдѣлалъ еще нѣсколько безполезныхъ поисковъ; пожелтѣлъ и яровой хлѣбъ; малъ и старъ, все было въ полѣ; по пустому селу, въ глубокой думѣ, прогуливался Прохоръ одинъ-одинехонекъ. Казаку стыдно было бабскимъ дѣломъ заниматься; на то есть черныя руки; а казакъ на поле гарцуетъ, а не работаетъ; ходилъ Прохоръ, ходилъ, да со скуки до шинка зашелъ, выпилъ *лампочку* доброй перцовки, закусилъ свѣже-просольнымъ огурцомъ, хотѣлъ опять идти на свою однообразную прогулку, да послы-

шалъ стукъ копытъ; черезъ оконце корчмы увидалъ на конѣ пана Савву; бросился въ стодолу (корчемный сарай) и завалился за сѣно.

— «Чортъ бы ихъ побралъ!» было первое слово Саввы: «Убили моего Онисима. Не будь Усманька, родина моей Оленочки, за Онисима пожегъ бы я ихъ домы съ землею! . А знатно бился Онисимъ. Досталось моему тестю. Хотѣлъ зятя сгубить, вотъ тебѣ на память. Ну, тутъ намъ попасывать нечего. Перекусимъ, да и дальше. Что-то моя Оленочка дѣлаетъ?..»

И точно, перекусили у жида, пошумѣли и отправились въ путь. Прохоръ выползъ изъ своей засады и могъ еще видѣть, какъ панъ Савва тянулъ со своими на закатъ солнца; за войскомъ его тянулись возы, покрытые кожами подъ охраненіемъ самыхъ отчаянныхъ Гайдамаковъ.

Не успѣлъ Прохоръ проводить глазами пана Савву, какъ съ другой стороны въ Усманьку вступили казаки; передъ ними на носилкахъ несли Терешку, изуродованнаго, полуживаго. Но бодрость духа не оставляла старика:

— «Чтобъ его огонь испекъ,» бурчалъ онъ, «чтобъ ему добра не было ни на этомъ, ни на томъ свѣтѣ! Чародѣй поганый... Несите меня до церкви! Тамъ я на него еще Богу пожалуюсь. Вѣрую и уповаю, что правому моему дѣлу поможетъ...»

Громко молился Терешко, но молитву его заглушили вопли женщинъ, возвратившихся съ поля.

— «Гдѣ мой Андрей? Гдѣ мой Антонъ? Гдѣ

мой женихъ? гдѣ братъ...» раздавалось со всѣхъ сторонъ.

— «Побилъ ихъ Савва, будь онъ проклятъ!» отвѣчалъ Терешко: «Не журитесь! Отыщемъ мы его берлогу; Богъ научитъ, гдѣ его воровской притонъ.»

— «Подъ Немировымъ!» сказалъ Прохоръ: «Тамъ и Оленочка, тамъ и Святая Икона наша; туда потянулъ и панъ Савва. Я былъ тамъ: видѣлъ Оленочку, видѣлъ Икону...»

— «Ага!» воскликнулъ Терешко: «А не говорилъ же я вамъ, что Богъ научитъ. Служи, отче, по бѣдымъ панихиду, а намъ напутственный молебенъ...»

Но Терешко не дослушалъ службы; изнемогъ; отнесли его въ пустой домъ; Прохоръ сталъ ходить за нимъ, что за отцемъ роднымъ; сообщилъ ему все, не скрылъ даже и любви своей и объясненія. Терешко рвался въ походъ; но самое нетерпѣніе его замедляло выздоровленіе. То же нетерпѣніе одушевляло и Прохора.

— «Пане Терентій! Ты лучше останься! Мы сами пойдемъ!..»

— «Эге! набѣжалъ онъ на купцовъ кіевскихъ; ограбилъ; казаки со всѣхъ сторонъ пошли на выручку. Что́ сдѣлали? Полгода гонялись. Чародѣй все насъ обманывалъ, да съ досады, что его на грѣхъ до Оленочки не пущаютъ, въ какое село не придетъ, всѣ пожитки и животы заберетъ, да на первомъ торгу продастъ, да снова въ сторону; мы за нимъ, а онъ у насъ подъ носомъ село

ограбитъ, да и уйдетъ, сатана его знаетъ, куда. Наскучило казакамъ за чародѣемъ гоняться, да и своего достатка жаль стало. Мы одни Усманцы остались; подъ самой Усманькой мы дорогу ему загородили; прорвался; теперь уже далече. Нѣтъ, не такъ надо. Позову я все казачество; коли уже берлога открыта, пойдутъ всѣ. Да безъ меня не пойдутъ...»

Старый Терешко былъ правъ. Когда онъ уже видѣлъ близкую возможность выступить въ походъ, послалъ гонцевъ во всѣ стороны; въ концѣ сентября собралось много казаковъ въ Усманькѣ. На канунѣ дня, назначеннаго для выступленія въ походъ, Терешко задалъ гулянку въ саду подъ черешнями. Отслужили поутру обѣдню и молебствіе, и поѣхали. Панъ Савва не ожидалъ гостей у себя дома; правду сказать, онъ и не спѣшилъ домой; въ томъ же селѣ, гдѣ вѣнчался, увидѣлъ онъ молодицу, жену богатаго казака.

— «Не Оленочка, правда,» сказалъ онъ: «а все-таки больно хороша!» да и присталъ къ ней, а того не разузналъ, что панъ Якубъ изъ Немирова къ той же молодицѣ въ гости ѣздитъ и казацкое богатство множитъ. Въ Немировѣ панъ Якубъ не встрѣтилъ друга у воротъ. Принялъ холодно и примѣтно обрадовался, когда панъ Савва объявилъ ему, что онъ распустилъ своихъ Гайдамакъ съ добычей по домамъ на зимовку; свою долю отправилъ съ хлопцами на усадьбу, а самъ только съ однимъ мальчикомъ къ другу заѣхалъ. Не выдержалъ панъ Якубъ и объявилъ пану Сав-

въ свое неудовольствіе. Панъ Савва не промахъ. «Сѣдлай, хлопче, коня!» Не успѣлъ панъ Якубъ распорядиться, какъ панъ Савва уже былъ въ чистомъ полѣ. Странная тоска разлилась по сердцу Вольнаго Гетмана. Съ грустью взглянулъ онъ на веселую свою усадьбу. Трепетно ступилъ на крыльце. Навстрѣчу ему высыпала вся челядь и стала поздравлять его. «Что́ такое случилось?..» — «Родила пани сына...» Другой бы обрадовался, а пану стало такъ тяжело, такъ душно, тѣсно, что онъ сѣлъ за столъ и головой поникъ, будто присужденный къ казни. Предчувствіе его не обмануло.

— «Гости, гости!» кричала челядь.

— «Какіе то гости?..» дико сказалъ Савва, и въ этотъ разъ не обманулся. Точно, страшный гость сталъ на порогѣ: Терешко съ топоромъ, а за нимъ толпа казаковъ.

Поздно вечеромъ казаки торжественно возвращались уже съ своего дальняго похода. Впереди почетные казаки несли икону; за нею Оленочка ѣхала въ саняхъ, *о-бокъ* съ Прохоромъ, тамъ Терешко и казаки на пикахъ несли трупъ пана Саввы; за ними тянулся обозъ, нагруженный богатствами Вольнаго Гетмана; темнѣло, но путь казакамъ освѣщало зарево Саввиной усадьбы. Панъ Якубъ у воротъ встрѣтилъ своихъ мстителей. И въ другихъ селахъ съ такимъ же торжествомъ встрѣчали казачество; а въ Усманькѣ отецъ Прохоръ со крестомъ и слезами привѣтствовалъ шествіе. Терешко опять задалъ гулянку и на гулянкѣ объявилъ Оленочку невѣстой Прохора. Голову

Саввы отослали съ почетными гонцами къ отцу Трофима и просили благословенія Прохору. Воротились послы съ самимъ отцемъ. Опять загуляло казачество на свадьбѣ въ домѣ Терешки. Разплясались, разыгрались казаки; но больше всего утѣшала ихъ пѣсня, сложенная кочующимъ слѣпцомъ, которую заставляли повторять безпрестанно. Пѣсня дошла до потомства. Мы нашли ее въ собраніи Липинскаго и въ любопытномъ сочиненіи г. Скальковскаго о Гайдамакахъ. Есть разности и въ текстахъ и въ самыхъ преданіяхъ Но въ главномъ обѣ согласны, и между собою, и съ отысканнымъ мною началомъ легенды.

Пѣсня казакамъ до того нравилась, что они хоромъ повторяли многіе стихи и смѣялись.

ДЕВЯТОЕ МАРТА.

—

БЫЛЬ.

—

Alle Schuld rächt sich auf Erden.

Schiller.

I.

— «Ха, ха, ха! погляди Сережа! Экая пропасть желѣзныхъ игрушекъ! Больше чѣмъ у тебя въ спальнѣ навѣшено!»

Такъ говорилъ дядюшка остановясь съ ватагой молодежи передъ лавкой купца Хазаръ-Хаимки, въ которой довольно живописно развѣшанное восточное оружіе прикрывало канаусы, мови, тармаламы московскихъ фабрикъ; это оружіе и три чубука вмѣстѣ съ костюмомъ продавцевъ были поводомъ, что Армянина Хазаръ-Хаимку во всемъ городѣ звали Персіяниномъ, а лавку его персидскимъ магазиномъ.

— «Купи баринъ; хорошій есть вещь; тифлисскій товаръ; самы привезлы.»

— «Купи, баринъ!» кричалъ дядюшка такъ, что на всю ярмарку было слышно: «денегъ тебѣ, что ли, жалѣть! У насъ съ тобой не одинъ сундукъ!..»

— «И всѣ скоро будутъ пустые,» шепотомъ сказалъ Ваня Ивану Иванычу; послѣдній разгладилъ усы, значительно посмотрѣлъ на Ваню, а потомъ на Сергѣя Аѳонасьевича Лысакова, молодаго купчика, въ собольемъ новомодномъ сертукѣ, съ карманами впереди, гдѣ обыкновенно покоятся руки щеголей. Лысаковъ разсматривалъ оружіе какъ-то нехотя; глаза его безпрестанно устремлялись въ глубь довольно темной галлереи, искусно сколоченной изъ разныхъ дреколій и закрытой рогожками, какъ-будто онъ ждалъ, что въ этомъ искуственномъ и полезномъ для торгующаго класса полумракѣ, блеснетъ звѣзда яркимъ свѣтомъ. Лавка Хазаръ-Хаимки имѣла превосходное географическое мѣстоположеніе: въ нее упирались двѣ галлереи, и Лысаковъ тотчасъ замѣтилъ и воспользовался выгодою позиціи; онъ преспокойно сѣлъ на прилавокъ, или правильнѣе на кучу мовей и канаусовъ, и сталъ барабанить ногами въ стѣнку прилавка. Дядюшка никогда не отставалъ отъ племянника, засмѣялся, подскочилъ и тоже сидѣлъ на канаусѣ и также билъ нещадно ногами въ бѣдную стѣнку. Иванъ Ивановичъ закутался въ военную шинель; прижалъ воротникъ къ ланитамъ и живописно облокотился на колонну, или правильнѣе на бревно, къ явной опасности всего ярмарочнаго зданія. Ваня съ важностью опустился на груду ковровъ лежавшихъ у входа; Ванька же и Ванюха кое-какъ пріютились за прилавкомъ. Въ этомъ хорѣ запѣвалой всегда былъ дядюшка... Отъ обыкновенныхъ запѣвалъ онъ отличался тѣмъ, что тѣ

передъ подвигомъ всегда откашливаются, а этотъ отсмѣивался...

— «Ха, ха, ха!» рѣзко раздалась интродукція: «Иванъ Ивановичъ, что́ насупился; не хочешь ли табачку? а?»

Молчаніе.

— «Ха, ха, ха! вишь разсѣлся; сидитъ, рядитъ въ молчанку.»

— «Полно врать, дядюшка!» строго сказалъ Сергѣй Аѳонасьевичъ.

— Да это я такъ, Сережа, въ шутку! Право въ шутку!»

— «Это онъ такъ,» подхватилъ Ванюха, молодой кунчикъ: «съ-дуру или съ-пьяна, не разберешь! Карпъ Трофимычъ вчера былъ больно грузенъ...»

— «Грузенъ? Ха, ха, ха! Грузенъ, да на ногахъ; а вы всѣ, что свайки лежала; ни одинъ головы не могъ поднять; Ванька затянулъ пѣсню; такъ голосъ въ горлѣ и застрялъ; махнулъ рукой, да и ухмылился...»

— «Да перестань же врать!» перебилъ Ванька, также молодой кунчикъ: «Не то мы Ивана Иваныча попросимъ, такъ онъ тебѣ піявку къ носу поставитъ.»

— «Самъ ты, піявка этакая; только ты не кровь, а вино сосешь...»

— «Хазаръ!» громко спросилъ Сережа: «А это что у тебя съ золотой ручкой...»

— «Это самый золотой ручка! Это ханской ножъ; шахъ съ такимъ на охоту ходитъ; сама рѣжетъ; два шакала разомъ распорешь! На, гляди;

хоть въ цирюльню отдай: борода рѣжетъ! На; можь обрить себя и посмотрѣть въ ножъ, хорошо ль обрилъ себя: зеркала не нада. Старой ножъ; на; видишь, тутъ золотомъ была написана; слезла.»

— «Важный ножъ!» сказалъ Сережа, съ любопытствомъ разсматривая оружіе: «Иванъ Иванычъ! Поглядитка, ты военный! По твоей части..»

— «Знатный тесакъ! Рублевъ пять стоитъ! На кабана аль на медвѣдя пригоденъ!»

Ваня, Ванька, Ванюха, всѣ оставили мѣста свои и окружили Сережу; разсматривали ножъ внимательно; рѣшили, что онъ очень хорошъ, до того хорошъ, что быка можно зарѣзать, такъ, что и не услышитъ. Кстати же на первой недѣлѣ поста и охоту на двухъ медвѣдей затѣваетъ Семенъ Ефимычъ Лычкинъ. При этомъ имени Сережа измѣнился въ лицѣ, а дядюшка запѣлъ:

— «Ха, ха, ха! Охота пуще неволи! Семенъ Ефимычъ за медвѣдемъ гоняется; а мы за его дочкой! Ужъ близко; кажется, скоро догонимъ козочку нашу...»

— «Правда!» прервалъ Иванъ Иванычъ съ насмѣшливой улыбкой: «Отъ такихъ собакъ не уйдешь!..»

— «Ха, ха, ха! Ай да Иванъ Иванычъ! Экая штука! Такъ словомъ, будто штыкомъ, и колетъ! Завидно, что ль? Да у насъ мало ли невѣстъ, что ль? Не одна Татьяна Семеновна! Вонъ Анна Ѳедотовна Лохмотова! Тьфу ты пропасть, легка на поминъ... словно снѣгъ на голову! И Ваничка съ ней! Вотъ теперь третій день ярмарка стоитъ,

масляница честная идетъ; православный народъ гуляетъ; а Ваничка все при сестрѣ, будто городовой у будки... Э! губа не дура! Всѣ лавки миновала, такъ и норовитъ въ Хазару или къ Сережѣ!..»

— «Полно врать!»

— «Право, въ шутку! Безъ всякаго помысла... Матушка Анна Ѳедотовна, всякаго здравія желаемъ...»

— «Бонъ журъ, Карпъ Трофимычъ!»

— «Что я за Бонжуръ такой! Я тебѣ, матушка, поводу не подалъ хаять меня по нѣмецкому. Пусть твой братецъ иной часъ позволяетъ себѣ носъ задирать; да ты то что? Женскій полъ. Бабій волосъ длиненъ, да умъ коротокъ! Вотъ тебѣ за Бонжуръ!»

— «Полно врать!»

— «Я въ шутку, право, въ шутку...»

— «Молчи, дядя, не то піявку къ носу...»

— «Молчу, молчу!..»

Но дядя не угомонился; онъ только отретировался въ галлерею, попалъ тамъ на какого-то знакомаго и сталъ ему что-то весьма выразительно разсказывать; а въ лавкѣ Хазаръ Хаимки все перемѣнилось. Ваничка или братецъ присталъ къ Ванѣ, Ванькѣ, Ванюхѣ, Ивану Иванычу, товарищамъ и собесѣдникамъ, которые, оттащивъ его въ уголъ, осыпали упреками.

— «Что ты это у Сергѣя Аѳонасьича пересталъ бывать? А? Нынче, не то что въ будни! На масляной уже донскаго не подавали! Чистую шам-

вашею; а блины, братецъ, столбиками; икрой, словно дегтемъ, тѣсто обмазываемъ; развернулся, нечего сказать! Что отсталъ? Признавайся!»

— «Право, братцы, за недосугомъ! Сегодня прійду!»

— «Ну, да смотри же! Не придешь, такъ мы тебя по своему вытребуемъ... Въ тоже время Анна Ѳедотовна, перебирая Тифлискіе товары изъ Москвы, и не слушая объясненій Хамки, безпрестанно обращалась съ вопросами къ Лысакову:

— «Что это вы покупаете?»

— «Да вотъ купилъ-съ ханскій ножъ!»

— «Ахъ, Господи, какой страшный; да на что онъ вамъ?»

— «На охоту-съ ходить...»

— «А вы ходите на охоту?»

— «Каждый день...»

— «Что вы это! Шутите! Ахъ нѣтъ не шутите; я васъ понимаю... Но зачѣмъ же этотъ ножъ? Пуркуа?..»

— «Такъ, для плезиру и бо́льшаго азарта!..»

— «Вы меня дурачите!»

И взоры, увлаженные прозрачною слезою, вились въ глаза Сергѣя Аѳонасьевича. Онъ смутился, онъ былъ виноватъ передъ Анной Ѳедотовной. Когда онъ познакомился съ ихъ домомъ, не проходило дня, чтобы онъ не побывалъ у больной старушки или у Ванички, съ которымъ пошла закадычная дружба. Самая неопытная дѣвушка обладаетъ опытностію a priori распознавать поводы посѣщенія молодыхъ людей. Такъ и Анна Ѳедо-

товна совершенно постигала, что Иванъ Ивановичъ ѣздитъ къ нимъ исправно черезъ два дня на третій для отвода, или лучше сказать для привода ревности въ сердце неприступной Татьяны Семеновны Лычкиной, въ которую или въ богатство которой онъ былъ влюбленъ смертельно, хотя и безъ опасности смерти; что Андрей Никитигъ Бамазѣя ѣздитъ къ нимъ про случай; онъ, предсѣдатель суда, ему же кланяются издали могущественнѣйшіе и богатѣйшіе граждане, рѣшился оставить холостое состояніе, сочетаться брачными узами и принять на себя тяжкую ношу чужаго богатства. Еслибы Татьяна Семеновна и рѣшилась за него выйти, то онъ, пожалуй, женится на Аннѣ Ѳедотовнѣ; она, безо всякой опытности, постигала, что Христіанъ Христіановичъ Штырхъ, хотя и холостъ, однако дорожитъ своею свободою, и ѣздитъ для полученія серебряннаго рубля за предписаніе матушкѣ хворать какъ можно долѣе; что Сергѣй Аѳонасьевичъ, — вотъ это она знала лучше другихъ статей, — ѣздитъ только для Анны Ѳедотовны; что онъ любитъ ее и стóитъ взаимной любви... Вотъ тутъ-то женская прозорливость попала въ двойной обманъ. Могъ ли стоить взаимной любви — повѣса, кутило, который утро проводилъ за картами, вечеръ за картами, ночь за картами; въ антрактахъ пировалъ на живописныхъ хуторахъ съ живорасписанными дамами; зимою освѣжался шумнымъ катаньемъ на саняхъ, съ толпою разнаго рода уменьшенныхъ Ивановъ; противу чего заботливая полиція нѣсколько разъ

собиралась принять мѣры; даже посыланы были къ Сергѣю Аѳонасьичу парламентеры, но каждый разъ возвращались безъ успѣха. Сергѣй Аѳонасьичъ принужденъ былъ къ тому и самою многочисленностію друзей, которые познакомились съ нимъ прежде и расхватали всѣ уменьшительныя нѣжныя имена, такъ, что когда нашъ знакомецъ, поступилъ въ компанію, долженъ былъ сохранить полный титулъ Ивана Иваныча, за недостаткомъ другихъ. Друзья Сергѣя Аѳонасьевича всѣ учились въ хорошихъ заведеніяхъ; самъ Сергѣй Афонасьевичъ въ пенсіонѣ Токмачини, о которомъ вы всѣ, навѣрное, слышали; они всѣ учились недурно, а многіе и отлично, въ томъ числѣ и нашъ герой. Чуть на волю, — пошли карты, рысаки, рестораціи, загородныя гулянья, пріятельницы и пріятели. Хорошо еще, если такой юноша имѣетъ отца; тогда онъ кутитъ въ долгъ, что́ не всегда удобно; не всякій кредиторъ вѣритъ долголѣтію человѣка, насильно уничтожающаго свое здоровье; а у Сергѣя Афонасьича отецъ умеръ черезъ недѣлю послѣ его выхода изъ пансіона, а дядюшку Карпа Трофимыча вы уже знаете. Не только особу, но и все состояніе дядюшки племянникъ прибралъ къ рукамъ, и море житейское кипѣло.

И Анна Ѳедотовна могла любить, могла вѣрить?.. Я не намѣренъ доказывать психологическихъ возможностей и невозможностей; я разсказываю, что́ было, что́ случилось; къ тому же до дѣвичьяго слуха не доводятся всѣ событія и случаи жизни молодыхъ людей. Зачѣмъ имъ это знать

прежде времени; а на бѣду и Анна Ѳедотовна Лохмотова была воспитана деликатно. Покойный Ѳедотъ Петровичъ, за болѣзнію жены, держалъ гувернантку нѣмецкой націи, породы итальянской, которая усердно воспитывала Анету, но еще усерднѣе и успѣшнѣе стряпала на кухнѣ. По смерти Ѳедота Петровича, Италіянка вышла за мужъ за одного Француза, также гувернера, который также какъ и она, кромѣ педагогическаго таланта, обладалъ обширными познаніями въ гастрономіи. Молодая, по названію и обычаю, чета завела великолѣпную гостинницу. Французъ однако же не перенесъ своего счастія; умеръ. Италіянка стала еще счастливѣе, получивъ полную свободу и не мало денегъ. Анна Ѳедотовна, при такихъ связяхъ, могла бы знать тайны всего города, но мадамъ Коки, къ сожалѣнію, нельзя было часто отлучаться отъ дома, особенно для докончанія образованія Анеты. Стоило ли для такой ничтожной цѣли жертвовать драгоцѣннымъ временемъ и пріятными бесѣдами?

И такъ Анна Ѳедотовна не могла знать о подвигахъ Сергѣя Афонасьевича. Она видѣла только въ немъ красиваго мужчину, съ которымъ могла разговаривать на смѣшанномъ русско-французскомъ языкѣ, любимѣйшемъ нарѣчіи многихъ дамъ; притомъ же Сергѣй Афонасьевичъ былъ такъ внимателенъ; присылалъ и привозилъ превосходную постилу; даже иногда конфекты, которые впрочемъ изготовлялись городскимъ кандитеромъ только для трапезной перспективы, а въ употребленіи оказы-

вались неудобосъѣдомыми. Дѣло дошло даже до такихъ подарковъ, которые, на точномъ основаніи правилъ благочинія, представляются *только невѣстамъ*, какъ-то: платья, платки, брошки, серги и тому подобное. Слѣдовательно, сомнѣнія не было, эти подарки замѣняли обыкновенный порядокъ сватовства; Сергѣй Аѳонасьевичъ находилъ время заходить къ Лохмотовымъ почти ежедневно, что́ уничтожало нѣкоторые неблагопріятные слухи, заносимые въ домъ Лохмотовыхъ Бамазѣей и Штырхомъ; да и что́ всѣ эти слухи для любящихъ ушей? Они слушали только Сергѣя Аѳонасьевича и про Сергѣя Аѳонасьевича хвалебныя рѣчи Ивана Ѳедотовича, извѣстнаго въ компаніи подъ именемъ Ванички; да еще любили слушать дядюшку, который въ качествѣ наперсника, являлся иногда къ Аннѣ Ѳедотовнѣ вмѣсто племянника и приносилъ отъ него подарочки и хорошія вѣсти. Всѣ ждали, что къ новому году будетъ въ городѣ новость; и точно... Съ новымъ годомъ наступилъ новый порядокъ. Сергѣй Аѳонасьевичъ пересталъ бывать у Лохмотовыхъ; дядюшкѣ запрещено было ходить туда; дядюшка исполнялъ приказаніе племянника по своему; прежде ходилъ къ Аннѣ Ѳедотовнѣ, теперь сталъ ѣздить, когда племянникъ заигрывался въ карты, и Анна Ѳедотовна повѣсила любящія уши; она знала и красоту и богатство соперницы. Татьяна Семеновна Лычкина, хотя и не имѣла деликатнаго воспитанія, но зато въ голубыхъ глазахъ ея сіяло цѣлое небо чистымъ блескомъ; черты лица ея такъ были прекрасны, такъ выразительны, что обаянному зрителю каза-

лось, будто у нея вся душа наружу; и какая душа! Невинная, добрая, ласковая, веселая! А кто не любилъ душевныхъ сокровищъ, и тотъ не могъ не восхищаться красотою Татьяны Семеновны, оправленною въ брильянтовую раму серегъ, діадимъ, фермуаровъ, брошекъ, которыми Семенъ Ефимычъ Лычкинъ нещадно украшалъ единородную. Есть красота, которую ничто не уродуетъ; ее, кажется, можно одѣть въ ризу изъ солнечныхъ лучей; поставить подъ балдахинъ изъ чистаго жемчуга, на изумрудныхъ столбикахъ; подъ ноги постлать полъ сложенный изъ самоцвѣтныхъ камней — и красота не потеряетъ своей простоты. Нѣтъ, небесный взглядъ, улыбка заблещутъ еще ярче, пышнѣе. Просто, кричи караулъ отъ такой красоты, какъ очень часто выражался Андрей Никитичъ Бамазѣя насчетъ Татьяны Сергѣевны. Вы теперь нѣсколько знакомы почти со всѣми лицами моего разсказа и я попрошу васъ, вмѣстѣ со мною отправиться на ярмарку, прямо въ персидскій магазинъ. Вы помните, что отъ пламеннаго взора Анны Ѳедотовны— нашъ герой смутился; онъ не зналъ, что отвѣчать; вертѣлъ въ рукахъ ханскій ножъ съ золотой ручкой, и, стараясь ободрить себя, спросилъ:

— «Хазаръ! А что тебѣ слѣдуетъ?...»

— «Да что съ тебя запрашивать; бери за моя цѣна; двадцать карбованцевъ.»

И Сергѣй Аѳонасьевичъ машинально растегнулся, вынулъ бумажникъ туго набитый депозитками; вынулъ двѣ красныя и привелъ себя опять въ прежній порядокъ. Анна Ѳедотовна живо перебрасывала

куски матерій; ни одинъ ей не нравился. Надо было уйти Сергѣю Аѳонасьевичу, да вѣдь нельзя же не сказать Анетѣ на прощаніе чего нибудь; а сказать не легко было; тѣмъ болѣе, что Анета, казалось, ожидала этой рѣчи. Вдругъ раздался громкій смѣхъ и топотъ не легкихъ ногъ. Дядюшка запыхавшись вбѣжалъ въ лавку...

— «Ха, ха, ха! Прозѣвали, вотъ какъ прозѣвали! Семенъ Ефимычъ, Татьяна Семеновна, Андрей Никитичъ, Пелагея Яковлевна, Христіанъ Христіанычъ!...»

— «Да полно врать!»

— «Право не вру! Вотъ ужъ этотъ разъ, просимъ извинить! На дрогахъ пріѣхали, да противу самой нашей лавки вышли, и пошли по рядамъ. Что за аксамитный салопъ у Татьяны Семеновны; пряжка тутъ на шеѣ ростомъ съ блинъ масляничный; шляпка розовая съ перьями, словно верба бѣлая на головѣ; на красный товаръ и не взглянули; такъ и повалили къ Разгиндяеву. Вотъ заработаетъ плутяга! Семенъ Ефимычъ на томъ стоитъ, чтобы серебро, золото, да алмазы покупать; тряпокъ не любитъ... Тутъ нечего ждать; сюда не пожалуютъ. Ну, Серёжа! Скорымъ шагомъ маршъ, маршъ! Эй, вы, Кутиловцы, по два въ рядъ заходи! За нами!

Дядюшка потащилъ племянника и племянникъ повиновался, не сказавъ Аннѣ Ѳедотовнѣ ни слова, не кивнувъ головой, не простясь взглядомъ; не до нея было влюбленному купчику; онъ шелъ такъ скоро, что дядюшка возлѣ бѣжалъ и подпрыгивалъ, будто пристяжная, покрикивая на разнаго

рода Ивановъ: «Не отставать, Кутиловцы! Командира слушаться!...»

Дядюшка не обманулъ. Лавка Разгиндяева сіяла вдвойнѣ: блескомъ сребра и золота. На полкахъ сверкали чайники, молочники, кружки, стаканы, и такъ далѣе. На прилавкахъ запястья, запонки, ожерелья, серги и множество мелочей изъ благородныхъ и фальшивыхъ металловъ; на складномъ стулѣ сидѣла Татьяна Семеновна и беззаботно, съ улыбкою дитяти, перебрасывала въ рукахъ дорогое ожерелье изъ яхонтовъ. Сергѣй Аѳонасьевичъ остановился передъ лавкой и не зналъ, что дѣлать, какъ поступить, какъ переступить порогъ, за которымъ сіяла Таня. Дядюшка тоже остановился, сказавъ прр!, будто удерживая лошадь. Но это неосторожное восклицаніе обратило на компанію вниманіе гостей Разгиндяева. Андрей Никитичъ Бамазѣя лукаво улыбнулся и значительно изъ-подлобья взглянулъ на отца и дочь; Семенъ Ефимычъ нахмурился; Христіанъ Христіановичъ Штырхъ протянулъ руку и сказалъ:

— «А! Сергѣй Афонасій! каково ваше здоровье!»

Онъ ужъ такой, Христіанъ Христіановичъ, что на умѣ, то и на языкѣ! Пелагея Яковлевна, толстая барыня, отставная капитанша, прищурилась, примкнула лорнетъ къ зеленымъ глазамъ и тихо сказала:»

— «А, видно, подарочки хочетъ купить.»

Но Сергѣй Афонасьевичъ не слышалъ и не слушалъ ничего. Волшебный, хотя и тихій голосъ Тани занялъ все его вниманіе.

— «Вотъ кстати!» говорила она: «Пожалуйте сюда, Сергѣй Афонасьичъ! У васъ столичный вкусъ; такъ всѣ говорятъ; подите къ намъ; дайте совѣтъ; вотъ они (то есть Разгиндяевъ) говорятъ, будто эта нитка розовыхъ камешковъ лучше алмазовъ; будто въ столицахъ только ихъ и носятъ, а брильянты совсѣмъ бросили...»

— «Заложили, а чтобы не остаться безъ прикрасъ, замѣнили ихъ дешевенькимъ товарцемъ... Что можетъ быть краше чистѣйшаго изъ всѣхъ камней, что горитъ всѣми огнями, всякимъ цвѣтомъ, а самъ бѣлъ и чистъ, какъ честный человѣкъ...»

— «Слышите, слышите!» прошепталъ Бамазѣя на ухо Семену Ефимычу.

— «Слышу!» отвѣчалъ тотъ громко, не обинуясь тѣмъ, что предастъ предателя.

— «Подальше, братъ, съ вольнодумствомъ! Отваливай!»

— «Батюшка,» съ живостью, перебила Таня: «онъ правъ! Какъ хотите, а всѣ эти камешки хуже тряпокъ: платье два и три раза надѣнешь — не замѣтятъ; брильянты носите хоть каждый день, а это ожерелье будто вывѣска; разъ надѣнешь, а потомъ и совѣстно.»

— «Дура ты у меня порядочная! Коли въ столицахъ носятъ, такъ и ты носи! Что ты у меня развѣ какая деревенщина; я на томъ стою: нынче свѣтъ умудрился; воды не пьетъ, брильянтовъ не носитъ, потому что больно ужъ чистые; ни какого цвѣта и вкуса. Ну, тезка, говори акку-

ратную цѣну и по рукамъ. Я симъ братъ кунецъ; у меня на всякой товаръ прѣфиксъ. Торговаться не люблю...»

— «Полторы, послѣднее слово!»

— «Что ты, тезка, возьми восемь!»

— «Видно, что торговаться не любите.»

— «Ну, девять! Право, довольно! Возьми еще и то въ толкъ, что оно Танѣ не нравится.»

— «Вотъ ужъ правда, такъ правда!»

— «Это вамъ потому не нравится,» сказалъ Бамазѣя: «что я сталъ хвалить.»

— «Можетъ-быть и это правда; не спорю...»

— «У насъ вкуса нѣтъ, потому что мы не кутимъ, не буянствуемъ, а люди солидные...»

— «Отвяжитесь вы съ вашею солидностію; а намековъ вашихъ я не хочу понимать. Сергѣй Аѳонасьевичъ, видѣли вы у нихъ (то есть, Разгиндяева) икону налойную, вотъ эту! Не правда ли, чудо какъ хороша! Посмотрите, лице, право, будто живое! Батюшка, купите!»

— «Мало ихъ у тебя въ образной; да и окладъ-то бѣдненекъ; ну, тёзка, такъ ничего не уступишь?..»

— «Извините-съ, не могу!...»

— «А за что вымѣняешь эту икону?» спросилъ шепотомъ Сергѣй у хозяина.

— «Сто-двадцать серебромъ!»

— «Заверни!...»

— «Давай сюда яхонты, тёзка! Вотъ тебѣ четыреста серебромъ... Не люблю долго торговаться...»

— «Право, не могу!»

— «На, на! Вотъ-тѣ тридцать еще; полтора сдачи...»

— «Батюшка, позвольте до завтра...»

— «Завтра другое найдемъ, а теперь пора домой; гости станутъ съѣзжаться...»

— «А вы, батюшка, позабыли пригласить Сер...»

Таня не кончила, встрѣтивъ грозный, неистовый взглядъ отца. Мгновенное молчаніе было прервано дядюшкой...

— «Ха, ха, ха! Сережа, сюда, Сережа, скорѣй! Вотъ, братецъ, куштикъ...»

И Сережа поспѣшилъ къ дядюшкѣ, который съ любопытствомъ разсматривалъ серебрянаго рыцаря одѣтаго въ золотое вооруженіе. Лычкинъ воспользовался этой диверсіей.

— «Что́ съ тобой, Таня! Дурище этакое! Ты меня осрамить хочешь! Ты развѣ не знаешь, каковъ гусь этотъ Лысаковъ; погляди, середь бѣла дня, съ ножемъ ходитъ...»

— «И съ иконой, батюшка!»

— «Тебѣ въ угоду, глупая, изъ одного бахвальства вымѣнялъ; придетъ домой, тотчасъ за столъ бражничать сядетъ съ ватагой разбойниковъ; видишь, какъ они возлѣ лавки шныряютъ, атамана поджидаютъ...»

— «Батюшка! Мнѣ жаль васъ, мнѣ за васъ стыдно...»

— «Это что еще?»

— «Ради Бога, дома, дома! Побейте меня, только дома! А теперь, при людяхъ, за что на-

падать на человѣка, про котораго говорятъ всякое зло злые языки. Кромѣ почтенія, кромѣ старанія угодить вамъ, что вы дурнаго видѣли отъ него?..»

— «Мое почтеніе! Да ты развѣ не знаешь, что онъ на тебя мѣтитъ...»

— «Батюшка! Да кто же это лучше меня и знать можетъ! Я рада за себя; жалко за него и за васъ! Но вы сердитесь! Ради Бога, сотворите надо мною вашъ праведный судъ, — только дома! Пойдемъ!.. Прощайте, Сергѣй Афонасьичъ!»

Таня вышла изъ лавки одна со слезами на глазахъ. Лычкинъ былъ совершенно смущенъ; спутники его старались показать, будто ничего не замѣчаютъ. Штырхъ пожиралъ взорами всю лавку; серебро — тотъ же опій; Штырхъ опьянѣлъ: «Скоро ли,» подумалъ онъ: «пожалуетъ къ намъ холера; тогда практика распространится; тогда можно за визитъ взимать и по два карбованца, а какъ холера сильно разыграется, то и по три.»

Бамазѣя перешептывался съ отставной капитаншей, какъ-будто разсматривая разныя галантерія на прилавкѣ.

— «Видишь, бриллiантовыя серьги? Будутъ твои, если дѣло уладишь.»

— «Нѣтъ, Андрей Никитичъ! Маловато! За женой возьмешь больше милліона, а меня пятисотенными привѣсками отпотчиваешь! Стóитъ труда, а труда не мало; говоритъ, будто на тебя смотрѣть не можетъ; что у тебя... и сказать боюсь...»

— «Да ну, Палаша, что за счеты! Вѣдь ты мнѣ давно служишь...»

— «Давно, да ничего не выслужила! И за то что скажу, не ожидать мнѣ отъ тебя награды. Да все равно: говоритъ, что у тебя и образъ и душа наторжника...»

—

— «Было зачѣмъ звать!» сказалъ Сережа, возвращаясь изъ глубины лавки: «серебряный болванъ съ позолотой!»

Лычкинъ что-то пролепеталъ и хотѣлъ уже идти, но Сережа остановилъ его.

— «Семенъ Ефимычъ! Благо вы теперь одни! Я вижу, что вамъ противъ меня наговорили; или что ни есть дурное вы сами на меня выдумали; но я такъ много уважаю васъ, что готовъ просить прощенія въ проступкѣ, котораго не вѣдаю...»

— «Благо задѣлъ, такъ послушай же!» И Лычкинъ оттащилъ Сережу въ самую глубину лавки: «Ты тамъ, можетъ-быть, и ученъ и уменъ; да мнѣ тебя не нужно; слышь, ты съ молдуньями возишься, приговариваешь къ себѣ невѣстъ; Анну Ѳедотовну сшибъ, за Таню принялся; такъ я тебѣ объявляю, что не видать тебѣ Тани, какъ ушей своихъ; она у меня генеральшей будетъ, а не купчихой, да еще за такимъ развратникомъ! Милліонъ? Будетъ и побольше, да не для того, чтобы ты потъ мой пропилъ; трудъ мой на мамзелей протранжирилъ.»

— «Семенъ Ефимычъ!»

— «Слушай! О Танѣ — отдумай! А тебѣ вотъ мой совѣтъ: ступай въ свой посадъ, гдѣ отецъ торговалъ; не держи шайки разбойниковъ; пере-

стань пьянствовать, брось соблазнъ и скверну; женись на доброй дѣвушкѣ изъ равныхъ тебѣ купеческихъ дочекъ, а выше носа не подымай... Утрутъ, братъ, такъ, что больно будетъ... Ну, да не мое дѣло. Сломай себѣ шею, ступай въ каторгу, на все твоя воля, но только въ домъ мой ни ногой! Слышь, мы не знакомы! Прощай!..»

Семенъ Ефимычъ выбѣжалъ изъ лавки, какъ звѣрь лютый, толкнувъ небрежно Штырха. Бамазѣя съ капитаншей посовѣтовали оставить сцену; Штырхъ, оглядываясь на серебро, удалился съ важностію и глубокомысленно. Дядушка запрыгалъ и сталъ хохотать.

— «Чудеса въ рѣшетѣ! Какая у него рожа глупая, точно волкъ озирается; того и гляди, укуситъ. Охъ, выпросилъ бы у Сережи полтинникъ и Бамазѣѣ пожаловалъ, если бы онъ Пелагею Яковлевну за носъ укусилъ. Что за носъ такой, ха, ха, ха! Право, Ярославцы рѣпу такую привозили. Сережа, а Сережа! скажи правду, каковъ носъ у капитанши? А?.. Да что на тебя столбнякъ, что́ ли, нашелъ?..»

— «Столбнякъ, дядя! Помѣняемся и разсудкомъ и чувствами! Дядя, я буду служить тебѣ гораздо усерднѣе...»

— «Что́, что́ такое?»

И дядя вытянулся; примѣтно было, что онъ напрягаетъ все свое вниманіе, чтобы вслушаться лучше и лучше понять странныя рѣчи племянника.

— «Охъ, дядя! Жаль, что ты глупъ; я тебѣ завидую... Тебѣ и свое горе непонятно; какъ же ты

можешь сочувствовать чужому... Да, Каринъ...» И Сережа схватилъ его за руку такъ сильно, что тотъ крякнулъ: «Довольно дурачиться! Пора опомниться! пора...»

— «Обѣдать! ей-Богу пора! Пойдемъ! всѣ ждутъ!»

— «Пора, пора! Ты всѣхъ насъ переморилъ своимъ волокитствомъ! Вотъ Иванъ Иванычъ не выдержалъ, пошелъ къ Лычкинымъ на блины.»

Такъ кричали Иваны съ галереи.

— «Ха, ха, ха! А у меня подъ ложечкой будто Христіанъ Христіанычъ тамъ побывалъ съ аптекой! Такъ, кажется, цѣлый столбикъ блиновъ разомъ бы и проглотилъ... Пойдемъ, пора!..»

— «Пора!» страннымъ голосомъ прошепталъ Сережа и пошелъ изъ лавки такъ быстро, что не только дядюшка, но и всѣ Иваны должны были подпрыгивать, какъ солдаты заднихъ шеренгъ на поворотѣ, чтобы не отстать. По счастію, сани были близко. Компанія умчалась въ домъ Лысакова.

II.

Не назвалъ я вамъ города, не назову и рѣки, а кто ея не знаетъ? Бурлива, шумна, широка, не равна, своенравна, бросаетъ острова гдѣ вздумается, уноситъ ихъ съ весною и бросаетъ въ морскую пучину; тѣшится, пока не окуетъ ее морозъ русскій, — и тогда лежитъ тихая, невидимкой; по хребту ея гуляютъ салазки безопасно, а лѣтомъ и мачтовыя суда дробитъ на щепы. И теперь слякоть по городу; кто на колесахъ, кто на саняхъ; лужи стоятъ по улицамъ будто озера, а на рѣкѣ

гладь, просторъ, твердый путь: гдѣ же и кататься объ Масляной, какъ не по рѣкѣ широкой, куда коньки и кулачный бой съ утра еще сманили нѣшее народонаселеніе. Кто-то сказалъ, что русскій народъ не умѣетъ ни скучать, ни веселиться. Что хотѣлъ этимъ сказать истый наблюдатель, не знаю, но скука — не русская стихія и, должно быть, даже не русское слово. Тоска, печаль, грусть, уныніе, истома, горе — все это по-русски, все это оттѣнки чувства бывалаго, понятнаго; всѣ эти оттѣнки слышатся въ мелодіяхъ русскихъ пѣсенъ; но скуку, должно быть, сочинили русскіе сочинители. Имъ и книги въ руки. А русское веселіе?.. Такъ разсуждало еще одно дѣйствующее лицо, съ которымъ не было случая познакомить читателя. Леонидъ Степаньчъ Полочка былъ учителемъ въ городскомъ пансіонѣ. Хотя онъ и не преподавалъ философіи, но любилъ философствовать, потому что носилъ имя знаменитаго греческаго героя. Полочка въ будни философствовалъ только ночью и то во снѣ, потому что днемъ преподавалъ ариѳметику, физику, словесность и французскій языкъ. За то въ воскресенье и праздники Полочка отправлялся на публичныя гульбища, покупалъ и щелкалъ орѣшки и философствовалъ со всею греческою свободою и краснорѣчіемъ до поздняго вечера, пока шатающееся человѣчество не обнаруживало вокругъ философа явной необходимости общаго отдохновенія. Тогда Полочка возвращался домой, выпивалъ праздничную порцію настойки; закусывалъ холодной телятиной съ огурцами и спалъ

уже безъ всякой философіи. Не удивительно, что, въ четвертый день сыропустной недѣли, Леонидъ стоялъ у Ѳермопилъ и щелкалъ орѣхи. Ѳермопилами называлъ онъ деревянный спускъ изъ города на рѣку, единственный путь, по которому конный и пѣшій могли пробираться на рѣку и обратно. Никто не могъ ускользнуть отъ его наблюдательныхъ взоровъ; философія не могла избрать лучшей академіи; тутъ всѣ на лицѣ; притомъ же перилы были такъ удобны, что могли служить и покойнымъ сѣдалищемъ и удобной упорой, когда Леониду Степанычу угодно было философствовать стоя. Начало его философской бесѣды мы уже читали, онъ остановился на ораторской фигурѣ задержанія. А русское веселіе? Такъ утвердилъ онъ этотъ членъ своей тайной рѣчи и обратилъ внимательное око на живую картину этого веселія. И правда, рѣка кипѣла народомъ; много саней, много шляпокъ женскихъ, но больше головъ подъ платками; издали шелъ гулъ отъ кулачнаго боя; мѣстами въ загородахъ молодежъ скользила на конькахъ; вечернее солнце освѣщало картину красноватымъ свѣтомъ. Гулянье на славу; одна бѣда, у самаго спуска на рѣкѣ стояла обширная лужа, какъ это всегда случается у рѣчныхъ спусковъ. Полочка обратилъ на эту лужу особенное вниманіе и уже собрался философствовать, какъ вдругъ изъ города къ спуску подъѣхала красивая дорожная кибитка на полозьяхъ; тамъ сидѣли дядюшка съ племянникомъ съ выраженіемъ самымъ немасленничнымъ Сережа былъ погруженъ въ глубокую думу; дя-

дюшка съ завистью и досадой глядѣлъ на гулянье.

— «Что́ я зрю?» воскликнулъ Полочка: «Сергѣй Аѳонасьичъ, ты ли?»

Тотъ очнулся; открылъ глаза, посмотрѣлъ на Полочку съ грустью.

— «Я!» отвѣчалъ онъ тихо.

— «Мы!» подкинулъ дядюшка громко, и уже хотѣлъ захохотать, но вопросъ Леонида Степановича: куда! остановилъ его врожденное веселіе.

— «Куда?» спросилъ онъ племянника съ видомъ недоумѣнія.

— «Домой, въ посадъ!» отвѣчалъ Серёжа печально: «Намъ въ вашемъ важномъ городѣ не житье... Тутъ...»

Серёжа не кончилъ. Слеза досадная сверкнула въ глазахъ его.

— «А далеко ли отсюда?»

— «Будетъ верстъ тридцать...»

— Э! Такъ это всё-равно что на дачу. Значитъ на время.

— «На всегда!..»

— «На всегда?» завопилъ дядюшка не своимъ голосомъ, вспрыгнувъ и махнувъ дубиной. Лошади испугались, рванулись и, благодаря покатости спуска, кучеръ не могъ ихъ удержать; это была бы еще не бѣда; но въ то же время изъ большой лужи только что вынырнули четырехмѣстныя новомодныя сани, въ которыхъ сидѣли назади капитанша съ Таней, а впереди Лычкинъ съ Бамазѣей. Непомѣрно дородныя лошади уже втащили сани на

деревянный помостъ спуска, какъ вдругъ кибитка Лысакова скользнувъ ударила въ новомодныя сани, и нырнувъ въ лужу во всю курьерскую быстроту понеслась по рѣкѣ. И въ этомъ не было бъ большой бѣды; но толчокъ былъ уже черезъ чуръ силенъ; сани не опрокинулись, но сѣдоки, за исключеніемъ кучера и Тани, не усидѣли на мѣстахъ; ихъ выбросило, и прямо въ лужу. Утонуть было не гдѣ, но зрѣлище было самое уморительное. Капитанша окрасила желтый салопъ, розовую шляпу и рыжее лицо въ темнокоричневый цвѣтъ; Лычкинъ всталъ, отряхнулся и столпившійся народъ глядѣлъ на него съ улыбкой; но когда Бамазѣя выползъ изъ лужи, народъ захохоталъ во все горло; съ головы Бамазѣи слетѣла тайна, которую онъ такъ долго, тщательно и такъ удачно хранилъ. Эта роковая тайна плавала по лужѣ вмѣстѣ съ щегольской шляпой; сотни рукъ указывали на парикъ Бамазѣи, сотни голосовъ разсыпались шутками.

— «Эвоно, какъ у него разомъ волоса-то вылѣзли!»

— «Экъ онъ живо голову себѣ обрилъ...»

— «Знатная голова; и на гребень тратиться не надо...»

— «Да кто его такъ окарналъ...»

— «Лысаковъ, оторви-голова...»

— «Лысаковъ!» Завопилъ Лычкинъ: «Подай его сюда, разбойника! Не я буду, дубиной накостыляю спину. Лавочникъ поганый, лабазникъ алтынный,

я тебя въ лужѣ выкупаю по своему. Подавай его сюда.»

— «Напрасно изволишь трудиться, Семенъ Кѳимычъ!» сказалъ Полочка, подходя къ новомоднымъ санямъ: «Городъ нашъ понесъ чувствительную потерю. Сергѣй Аѳонасьевичъ оставилъ его навсегда и удалился на житье въ старый посадъ свой...»

— «Не уйдетъ, окаянный! И тамъ его найду! Не спрячется! Гдѣ ни встрѣчу; отдую, нарочно поѣду...»

— «Поѣдемъ лучше домой!» сказалъ жалобно Бамазѣя, кутая въ полномъ смыслѣ обнаженную голову въ длинный воротникъ шубы.»

— «Лучше! лучше!» кричали въ народѣ: «Обрился, такъ вымыться надо.»

— «Нѣтъ! какъ хочешь Андрей Никитичъ, а ты на то надъ судомъ и поставленъ, чтобы разврату и безчинству потачки не давать. Пиши указъ, чтобы Лысакова въ судъ поставили...»

— «Напишу, только поѣдемъ!..»

Насилу уговорили Лычкина сѣсть въ сани; но этимъ комедія не кончилась; народъ бѣжалъ за ними; многіе забѣгали впередъ чтобы посмотрѣть на коричневую капитаншу. Лычкинъ былъ внѣ себя отъ бѣщенства; Бамазѣя утонулъ въ шубѣ; капитанша громко ругалась; но блѣдная Таня не не обращала на нихъ ни какого вниманія. Вошедъ въ свою комнату, она упала на колѣни передъ образами и тихо сказала: «Господи! Неужели навсегда?..»

—

III.

Масляницу въ нашемъ городѣ допировали довольно скучно; особенно въ домѣ Лычкина; онъ не выѣзжалъ никуда; не принималъ никого; утромъ бранилъ Лысакова; за обѣдомъ — idem; ввечеру idem; ночью бредилъ тѣмъ же. Капитанша ѣздила по всей своей практикѣ и разсказывала о произшествіи по своему, такъ, что въ ея разсказахъ всѣ были очень забавны, только не она. Бамазѣя въ самомъ дѣлѣ или притворно простудился и не показывался ни куда. Христіанъ Христіановичъ увѣрялъ всѣхъ, что у него флюсъ и кашель, но что онъ его вылечитъ непремѣнно къ концу первой недѣли поста. Всѣ вѣрили этому охотно, потому что Штырхъ лечилъ Бамазѣю даромъ. Иваны разныхъ родовъ, потерявъ атамана, утѣшались у мадамъ Коки; одинъ Леонидъ Степановичъ, замѣтивъ, что въ городской жизни произошелъ видимый безпорядокъ, рѣшился по окончаніи масляницы посѣтить всѣхъ участниковъ печальной исторіи, и само собою разумѣется, началъ съ Лычкина. Его конечно не приняли бы, по хозяйскому приказанію, но по счастію, когда Полочка позвонилъ въ колокольчикъ, Лычкинъ былъ на дворѣ и распоряжался.

— «Кто тамъ?» спросилъ онъ гнѣвно.

— «Мы,» отвѣчалъ Палочка: «пришли провѣдать о здоровьи Семена Ефимыча.»

— «Здоровъ, чортъ тебя возьми, а какъ побью Лысакова, еще больше буду здоровъ; душу заморю.»

— «Э, да у Семенна Кфимыча гнѣвъ саженями надо мѣрять...»

— «Сами смѣряемъ; вашей мудрости не попросимъ; вотъ коли хочешь... Эй, Ѳеня, впусти Деку, — вотъ, Степанычъ, коли хочешь, такъ можешь мнѣ услугу оказать...»

— «Я радъ служить всякому.»

— «Такъ, братъ, одинъ не управишься. Да не о томъ рѣчь. Таня у меня занемогла; думалъ сначала, что кобенится, такъ нѣтъ. Христіанъ Христіановичъ говоритъ, что и очень больна; а Нѣмецъ не солжетъ, лгать ему нечего. Говоритъ, что пуще всякаго зелья, мази и снадобья, надо Таню развлекать; а теперь и кіатры перестали и ахтеры уѣхали, да и какъ больной ѣздить; такъ Христіанъ Христіанычъ говоритъ: читать бы ей что такое назидательное. Послалъ я за книжками, да ярмонка разошлась; книжники уѣхали; а у здѣшнихъ приступа нѣтъ: книжка съ палецъ толщиной — полтора рубля. Вѣдь теперь на серебро; вѣдь это по настоящему пять съ четвертью; а что въ ней, прочтешь и выбрось. Отродясь книгъ не покупалъ. А вотъ у тебя чай книгъ много.»

— «Больше учебныя...»

— «Вотъ оно такихъ и надо. Вѣдь не сны же ей толковать или сказки читать. А такое учебное, знаешь, назидательное...»

— «Развѣ не дать ли ей Телемака.»

— «А кто онъ?»

— «Сынъ Улиса...»

— «А этотъ кто?

— «Грекъ...»

— «Отваливай! Я самъ бывалъ въ Таганрогѣ; знаю, братъ, Грековъ; хитры больно, а Таня у меня добрая душа, сердце на ладони.»

— «Такъ Антенора...»

— «А этотъ кто?»

— «Тоже Грекъ, да французской...»

Лычкинъ низко поклонился.

— «Такъ этому то вы дѣтей обучаете. Русскаго-то у васъ ничего и нѣтъ пригоднаго для дѣвушки...»

— «Много есть, да все въ чтеніи; а вотъ развѣ «Большой Выходъ Сатаны.»

— «Тфу ты, вотъ еще съ какою дьявольщиной подъѣхалъ... Видно я не на того напалъ. А еще въ городѣ его всѣ хвалятъ...»

— «Постой, Семенъ Ефимычъ,» придумалъ: «Женихъ Мертвецъ...»

— «Ахъ ты, Степанычъ! а еще ученый! Ну какъ можно больной такую ужасть читать. И здоровая расхворается...»

— «Погоди; есть у меня Донъ-Кихотъ.»

— «А это что?»

— «Рыцарь, такой знаешь, не то угорѣлый, не то помѣшаный, всю жизнь свою глупости дѣлалъ; съ мѣльницами сражался, думалъ, что супостатъ...»

— «Экой болванъ! Видно, ночью опознался ..»

— «Именно! Вотъ тамъ вся жизнь его описана, и преумно; смѣшно, а назидательно...

— «Батюшка, принеси!..»

— «Пришлю, Семенъ Ефимычъ!»

— «Нѣтъ ужъ потрудись самъ принеси и самъ почитай; вѣдь у насъ-то читать некому... Помнится же у васъ на первой недѣлѣ школьники въ науку не ходятъ.»

— «Да вѣдь надо и намъ время отдохнуть...»

— «Заплачу! Что хочешь заплачу! По полтиннику за день...»

— «Не смѣши, Семенъ Ефимычъ; цѣлый день читать нельзя, поутру часъ, да вечеромъ другой; и то трудно: дашь по цѣлковому за часъ...»

— «Ахъ, ты барынникъ этакой! Гдѣ же у васъ совѣсть; да возьму я любато пономаря; такъ онъ мнѣ за пятиалтынный всю твою книгу въ одинъ часъ прочтетъ.»

— Ну, такъ и бери себѣ пономаря, а порядочныхъ людей не трогай! Прощай!

— «Леонтій Степанычъ, постой, погоди!»

— «Я не Леонтій, батюшка, а Леонидъ, тотъ, что при Ѳермопилахъ съ тремя-стами разбилъ цѣлую армію Персовъ...»

— «Будь по-твоему. Бей себѣ Персовъ, сколько душѣ угодно, только возьми по четвертаку за часъ!..»

— «Не оскорбляй меня, Лычкинъ! Я тебѣ не батракъ какой!»

— «Да все-таки помотать часокъ языкомъ вашему брату не дорого стóитъ. Раззорюсь, такъ разорюсь, вотъ тебѣ полтину за часъ!..»

— «Цѣлковый! Я не торгашъ какой; я... да что я... я Полочка... я двѣнадцать лѣтъ былъ въ

службѣ; имѣю штабъ-офицерскій чинъ... Я!.. А ты что? Что ты? откуда у тебя чванство взялось? денегъ много накопилъ... Не знаю, кто барышникъ... Вотъ тебѣ! Прощай!..»

— «Каковъ! Языкъ-то у него бритва! Оболжетъ, по городу опозоритъ... Эй, Леонтъ Степанычъ! Идетъ! Помиримся двумя цѣлковыми, только, гляди, въ одни сутки и прочти!..»

— «Прощай, прощай!»

— «Экой ненасытный! Говори же: во сколько дней прочтешь?»

— «Во сколько случится.»

— «Нѣтъ, братъ, знаемъ мы эту штуку. Такъ у насъ и Христіанъ Христіанычъ прежде лечилъ. Что возьмешь гуртомъ за всю книгу?»

— «Прощай! Посылай за пономаремъ, а моя нога у тебя не будетъ...»

— «Ну, быть по-твоему. На твою совѣсть полагаюсь; посмотримъ, какова у тебя совѣсть... И то еще я долженъ тебѣ сказать, завтра я ѣду на медвѣдя; говорятъ, подъ Зипуновкой трое лежатъ. Ѳома Евлампьичъ, нашъ голова, Андрей Никитичъ, да стряпчій, да я, вся честная компанія, всѣ ѣдемъ; такъ Танѣ безъ меня еще скучнѣе будетъ; не полѣнись, дорогой.»

— «Ладно, ладно! Будешь доволенъ, а когда приходить?»

— «Сейчасъ, батюшка! За тѣ же деньги и я послушаю...»

Леонидъ Степанычъ, сколько мнѣ извѣстно, былъ авторомъ въ душѣ; а будучи авторомъ, имѣлъ и

авторскія страстишки, въ томъ числѣ и страсть читать, хоть и чужое, за неимѣніемъ пока своего. Онъ бы согласился читать и даромъ, но если бы его согласился слушать человѣкъ образованный. Лычкина же онъ рѣшился проучить и взять пошлину, какъ онъ говорилъ, съ невѣжества. Первое и второе чтеніе прошли какъ нельзя лучше; Лычкинъ то и дѣло засыпалъ, но Таня слушала чрезвычайно внимательно. На третіе чтеніе, то есть, на другой день, Полочка пришелъ гораздо раньше положеннаго времени; Лычкинъ уже уѣхалъ на медвѣдя; Таня весьма обрадовалась приходу Полочки и тотчасъ же пригласила приступить къ чтенію. Но Полочка счелъ долгомъ свѣтскаго человѣка прежде потолковать о томъ, о семъ, а тогда уже поразить слушательницу потокомъ сладкогласнаго чтенія.

— «Какъ вы себя чувствуете?» спросилъ онъ съ ужимкой.

— «Плохо. Да я вамъ должна сказать, что я не больна...»

— «Такъ отъ чего же плохо?..»

— «Вы человѣкъ ученый...»

— «Говорятъ...»

— «И правду... Вамъ должно быть извѣстно все, что писано и переписано о душѣ и тѣлѣ...»

— «Очень много писано; но къ чему все это...»

— «Христіанъ Христіанычъ говоритъ, что тѣло онъ можетъ лечить, но душѣ помочь онъ не умѣетъ.»

— «И Христіанъ Христіанычъ говоритъ правду. Душу можетъ уврачевать одна молитва...»

— «О, я молилась, и какъ молилась!..»

Таня до того полулежала на красивой кушеткѣ; но съ этими словами привстала; блѣдное лице ея покрылось яркимъ румянцемъ; грудь примѣтно волновалась. Подочка хотя и былъ философъ, но не стоическій: красота Тани его отуманила; онъ смотрѣлъ на дѣвушку съ восторгомъ и глоталъ въ душѣ восклицанія: «Боже мой, какъ хороша! Ай! какъ прелестна...» и тому подобное.

— «По цѣлымъ ночамъ, по цѣлымъ суткамъ молилась я, не помогло. Отмолюсь, начну думать; не понимаю кто, а подскажетъ: это Бамазѣя батюшкѣ наговариваетъ, а Сережа добрый, честный человѣкъ...»

— «Бамазѣя? Сережа?.. Извините, сударыня, я совсѣмъ смущенъ; я, ей-Богу, не знаю о чемъ рѣчь... то есть, про Бамазѣю не могу ни утверждать, ни отрицать...»

— «Да и не надо. Это дѣло конченное. И болѣзнь моя съ него пошла. Пока онъ не объяснился, до тѣхъ поръ я любила и не страдала. Но помните ли тотъ день, когда онъ уронилъ парикъ?..»

— «Не могу вспомнить безъ смѣха...»

— «А я безъ ужаса! Передъ тѣмъ, послѣ обѣда, когда я одѣвалась, чтобы ѣхать на гулянье, Бамазѣя вползъ къ батюшкѣ въ спальню и предложилъ на мнѣ жениться...»

— «Бамазѣя!» вскочивъ въ ужасѣ, спросилъ Полочка: «Такая прекрасная и превосходная женщина въ кабалу къ этому уроду!..»

— «Вотъ видите, Леонидъ Степанычъ, вы те-

перь уже не отрицаете его достоинствъ; вы пришли въ ужасъ. Каково же было мнѣ услышать отъ батюшки, что и они съ Бамазѣей изволили порѣшить — и что я имѣю быть его женою...»

— «Никогда этого быть не должно...»

— «И не будетъ! Не хочу огорчить батюшки отказомъ, но меня отнесутъ въ церковь не въ подвѣнечномъ платьѣ, а въ четырехъ доскахъ гроба....»

— «Да что вы это матушка, Татьяна Семеновна! Что вы это со мною дѣлаете! Я человѣкъ смирный; сѣку розгами дѣтей безжалостно, а самъ книгу читаю; всякую чувствительность побѣдилъ умомъ и терпѣніемъ, а вы совсѣмъ меня разжалобили. Ахъ, ты Господи, стыдъ какой, до слезъ прошибло... Татьяна Семеновна, ну, хоть изъ сожалѣнія ко мнѣ, не умирайте!..»

— «Не въ моей власти! На то Божія воля! Мы и говорить объ этомъ перестанемъ. Я хотѣла совсѣмъ не то сказать, не о томъ спросить; не знала, какъ рѣчь повести, да спутала. Я хотѣла спросить про Сережу?»

— «Про котораго? У меня во второмъ классѣ два Сергѣя, да одинъ въ третьемъ...»

— «Ахъ, Леонидъ Степанычъ, этотъ давно уже оставилъ училище; но, можетъ-быть мнѣ на спускѣ прислышалось будто вы знакомы съ Лысаковымъ.»

— «Съ Сергѣемъ Аѳонасьичемъ! О... друзья, матушка, закадычные! Весело у него по вечерамъ бывало. Вотъ понялъ, такъ понялъ Горація, хотя

ко-литыни ни бельмеса не знаетъ; а Горація понялъ. Можетъ-быть, вы слыхали про знаменитую оду:

Nunc est bibendum, nunc pede libera
Pulsanda tellus...

Собственно для Сергѣя Аѳонасьича цѣлую недѣлю трудился и переложилъ по-русски. Постойте, дай Богъ памяти; оно, знаете, не буквальный переводъ, не точь въ точь, а приблизительно, то есть, что называется подражаніе; всей не припомню, а начало вотъ какъ:

Теперь друзья, когда угодно,
Пришла пора вина испить;
Теперь пора пятой свободной
Подъ ладъ музыки объ полъ бить...

Просто, малина, не пѣсня, особенно когда хватятъ хоромъ; а надо вамъ сказать, что у Лысаковскихъ Ивановъ басы престрашные; какъ грянутъ, такъ моего тенора будто водой залило; охрипнешь, а все не слыхать... Особенно, знаете, когда вечеръ пойдетъ уже утромъ; когда бутылки не то ужъ что по столу, а по полу валяются. Со мною разъ чуть большое несчастіе не случилось; я, знаете, въ азартѣ, хотѣлъ стихамъ придать выраженіе, хотѣлъ *пятой свободной* ударить объ полъ; хвать — дзынь, дзынь, бутылка подъ ногами въ дребезги; а одинъ осколокъ въ сапогѣ и завязъ. Спасибо сапожнику; до тѣла не дохвалило... а другой разъ.»

— «Замолчите!» прошипѣла, прохрипѣла Таня, задыхаясь, и упала на кушетку, лицемъ въ подушки.

— «Господи Боже мой! Да что я сдѣлалъ? Чѣмъ провинился?.. Матушка, Татьяна Семеновна, голубушка, солнышко, что вы, что вы это?.. Спазмы, пароксизмъ, Христіанъ Христіанычъ! Гей! Христіанъ Христіанычъ, сюда, караулъ!..»

— «Замолчите, замолчите!» рыдая сказала Таня: «Мнѣ не нуженъ докторъ, мнѣ не нужно ничего; вы... вы... подкуплены Бамазѣей! Васъ нарочно привели сюда! Вы начали свою комедію ломать очень искусно! Вы огорчили, вы чуть не убили меня, но слава Богу, тотъ же голосъ послышался мнѣ: Таня, не вѣрь! Сережа добрый, честный человѣкъ.»

— «Сергѣй Аѳонасьичъ? Да это совсѣмъ дѣло другое! Кто не былъ молодъ, кто не былъ жуиръ; кутежъ, это такой ужъ періодъ, возрастъ человѣчества, лишь бы тутъ зла да порока не было. Кажется, я человѣкъ солидный, акуратный. Слыву и есмь примѣромъ нравственности, а чтобъ въ веселой компаніи рюмку другую добраго вина не выпить, да пѣсни не спѣть; да что мы, нѣмые мусульмане, что ли? На сердце смотри, на дѣла, на нравила. Вотъ тогда съ Сергѣемъ Аѳонасьичемъ не многіе потягаются. Честенъ, какъ мечъ Баярдовъ! Просто, чортъ на правду! На злое дѣло никакое краснорѣчіе, никакой интересъ его не подвинутъ; а сердце, сердце! Да это не сердце, а сокровищница, изъ которой каждый бѣдный серебро пригоршнями бери. Знаете, матушка Татьяна Семеновна, хотя я и далъ слово молчать, а теперь такой случай, что не могу. Знаете, тотъ

неизвѣстный, что присылаетъ деньги къ намъ въ училище на воспитаніе двухъ сиротъ, что погорѣли объ Рожествѣ, — это онъ. Если его вы такъ тепло любите, такъ ужъ я васъ благословляю. Барочка, нечего сказать! Я и не догадался, что за Сережа! Мнѣ казалось, что съ вами и не знакомъ; почитай не бывалъ у васъ...»

— «Рѣдко, потому что обращеніе батюшки...»

— «Ахъ, онъ медвѣдь этакой... извините сударыня, я и забылъ, что про почтеннѣйшаго Семена Ефимыча идетъ рѣчь... этакой барыш... баринъ важный, хотѣлъ сказать... Право, извините!.. Я путаю, но сами посудите, могу ли я говорить хладнокровно, когда по милости этого... этого человѣка, то есть вашего батюшки я лишился истиннаго моего друга; городъ потерялъ въ немъ будущаго Ротшильда; человѣчество — вполнѣ достойнаго человѣка; исторія—почетнаго имени... Теперь мнѣ все понятно! Даже самыя вечеринки наши были не что иное, какъ дыханіе бури, кипѣвшей въ груди его. Отъ того-то мы орали, онъ молчалъ; мы пили, онъ вздыхалъ; нѣтъ, тоски его не могла заглушить самая буйная оргія; наконецъ онъ не могъ перенести тяжкихъ мукъ и уѣхалъ... А! Вѣдь мнѣ стоитъ сѣсть, описать фактъ какъ онъ есть, послать въ какую угодно редакцію, напечатаютъ подъ именемъ Евжень Сюя или Александра Дюмы. Бѣдный Сергѣй!»

— «Добрый, добрый Леонидъ Степановичъ! Теперь я не могу не вѣрить вашей искренности. Благодарю васъ! Вы меня совершенно успокоили!

Разсказы, намеки, колкія насмѣшки, признаюсь, больно меня грызли. А что, думала я, если и въ самомъ дѣлѣ ты полюбила недостойнаго?»

— «Врутъ они всѣ! Самаго достойнѣйшаго! Завтра же ѣду въ его посадъ; завтра же растолкую ему, что онъ глупъ, дѣла не смыслитъ, исторіи не знаетъ; пусть вспомнитъ Сикста Пятаго; притворись такимъ же дуракомъ, виноватъ, простякомъ, то есть простымъ человѣкомъ; Ивановъ всѣхъ въ шею; сиди въ лавкѣ, трудись, работай; Карпа Трофимыча на цѣпь, и все уладится, устроится; а на счетъ Бамазѣи, изобрѣтемъ разныя трудности, препятствія...»

— «Ничто не остановитъ такого человѣка...»

— «Ни что́? А исторія! Въ ней всему примѣры! Военная хитрость во всѣ времена и вѣки почиталась добродѣтелью полководцевъ. А я чѣмъ хуже Аннибала? Я ему поставлю такую подножку, что не опомнится! О, да это будетъ презабавно... Вдругъ по почтѣ къ нему присылаетъ парикъ законная жена изъ Петербурга...»

— «Помилуйте! Но это будетъ клевета!..»

— «Невинная ложь, военнаа хитрость! Пока онъ не представитъ доказательствъ, Семенъ Ефимычъ и въ домъ его не пуститъ.»

— «Но я не желала бы...»

— «Не мѣшайтесь не въ свои дѣла! Когда Александръ Македонскій принялъ подъ свое покровительство семейство Дарія, онъ у него не спрашивалъ, что дѣлать и какъ поступать, а самъ обо всемъ озаботился. Кончено! Я иду, я воро-

чусь ввечеру читать Донъ Кихота, а теперь не могу; теперь... Ну, да я ужъ знаю, что сдѣлаю. Будьте покойны! Прощайте!»

И Леонидъ ушелъ.

Наступилъ вечеръ. Таня во весь день здоровая и веселая, стала тосковать. Смерклось—и ей стало страшно. Кто-то бѣлый, длинный, страшный былъ въ комнатѣ. Таня затрепетала, силилась закричать, не могла; зажмурясь, молча, сотворила молитву; открыла глаза; бѣлый стоялъ возлѣ ея кушетки; то былъ самъ Лычкинъ, но бѣлый, длинный; Таня вскрикнула и лишилась чувствъ. Очнулась; около нея хлопотали Полочка, капитанша, дѣвки и приказчики.

— «Что съ тобою, Таня?..»

— «Что съ вами, Татьяна Семеновна...»

Таня оглядывалась, дрожа отъ страха...»

— «Не привидѣлось ли что?» спросила капитанша.

— «Вѣрно Бамазѣя,» перебилъ Полочка. «Правда, есть чего испугаться! Чудовище этакое! Разъ онъ нечаянно пожаловалъ на экзаменъ. Самый первый ученикъ, такой, что, кажется, ничто его не сконфузитъ, въ это время отвѣчалъ на мои вопросы; какъ взглянулъ на Бамазѣю и сбился.»

— «Полноте, вы тутъ еще,» съ досадой сказала капитанша: «Самое чинопочитаніе заставляло бы васъ быть по скромнѣе на счетъ такой важной персоны...»

— «Персона то его можетъ быть и важна, но ужъ фигура и рожа никуда не годятся...»

— «Много вы понимаете въ фигурахъ то...»

— «Надѣюсь много, когда другимъ объясняемъ...»

— «Школьникамъ! Да мы съ Таней не школьницы; сами толкъ знаемъ; господинъ Бамазѣя прелюбезнѣйшій кавалеръ...»

— «Для такихъ прелюбезнѣйшихъ дамъ какъ...»

— «Какихъ? Извольте договаривать, какихъ?..»

— «Видите, сударыня, если я выражусь фигурой, такъ вы не поймете, а если на прямки, такъ у васъ сдѣлается престранная фигура. Васъ скорчитъ отъ злости... Прикажете сказать?..»

— «Отъ такихъ школьныхъ остряковъ ни какая дерзость не обидна. Вóзитесь съ мальчиками, съ мужварьемъ, такъ въ хорошей компаніи вамъ и неловко...»

— «Нѣтъ, у насъ всѣ мальчики благонравные. Есть одинъ негодяй! Пушкинъ написалъ Капитанскую дочку, а ужъ про этого теперь говорятъ: Капитаншинъ сынокъ... Съ этимъ возимся, такъ возимся, да кажется, прійдется выгнать. Геростратъ! Геліогабалъ! Атилла!..»

— «Ругаться!»

— «Господи! онъ тутъ!» поблѣднѣвъ и схвативъ за руку Полочку, прошептала Таня.

— «Кто? Чтó съ вами, Татьяна Семеновна? Воображеніе ваше растерзано представленіемъ фигуры Бамазѣи. Но вы должны превозмочь себя. Представьте себѣ Бамазѣю безъ парика, — и смѣхъ смѣнитъ ужасъ... Да на кого вы такъ пристально смотрите?»

Таня указывала дрожащею рукою на двери отцевской спальни.

— «Онъ ушелъ!»

— «Кто ушелъ?»

Таня приложила палецъ къ устамъ и какъ-будто успокоилась. Полочка сѣлъ противъ нея на кресла, покачалъ головой, пожалъ плечами и началъ тако:

— «Чудесъ на свѣтѣ не перечтешь. Я самъ, не могу сказать, вѣрю, но люблю чудесное. Когда фактъ подвергнутъ систематическому изслѣдованію, окажется, что чудо было самое естественное. Но такихъ чудесъ, которыя остались для потомства чудесами, въ исторіи очень много. Вы, вѣрно, слыхали про короля Шведскаго, про Анну Іоанновну... но про чудо, что я вамъ разскажу, вѣрно никто не слышалъ, потому что я вычиталъ его въ такой книгѣ, которая лѣтъ триста какъ забыта и совершенно того стóитъ. Эверсъ, имя я уже и позабылъ, былъ англійскій адмиралъ, то есть, морской генералъ. У него была жена, молодая, но сварливая, и, что хуже, — любила не мужа, а другихъ. Адмиралъ это подмѣтилъ и составилъ завѣщаніе, что все, что ни имѣетъ, завѣщаетъ не женѣ, а родному племяннику; оставалось свидѣтелямъ подписать, потомъ внести въ книги судейскія и завѣщаніе спрятать. Но чтобы соблюсти всѣ эти формальности, требовалось времени по крайней-мѣрѣ мѣсяцъ. Хотя адмиралъ тщательно скрывалъ отъ жены и ото всѣхъ свою затѣю, однако у женщинъ есть свое чутье: пронюхала — и оторопѣла,

Что тутъ дѣлать? Слышитъ она, что въ слѣдующую субботу у Эверса будутъ гости, все мужчины, и что ей не велѣно быть въ субботу дома. Не трудно было догадаться, что эти гости не кто иной какъ свидѣтели при завѣщаніи. Слышитъ она и то, что Англія, объявивъ войну Франціи, посылаетъ флотилію, и флотиліи той выйти въ четвергъ, а услышала она это, примѣрно, во вторникъ. И корабли уже были назначены, которымъ идти; Эверсовыхъ въ спискѣ не было, хотя въ такое военное время и его были въ готовности. Весь вторникъ и всю середу госпожа Эверсъ ѣздила по хозяйственнымъ дѣламъ; ввечеру, противу обыкновенія, ни куда въ гости не поѣхала; не успѣли сѣсть къ вечернему столу, какъ вдругъ приходитъ адъютантъ отъ королевы. Письмо, самое ласковое письмо; проситъ его королева, чтобы онъ уже для нея только, въ угожденіе, завтра же пошелъ въ море, на мѣсто той эскадры, а та де получила другое назначеніе. Эверсъ поцѣловалъ письмо, сѣлъ за рабочій столъ и написалъ своимъ кораблямъ приказы; разослалъ, поутомился, легъ и заснулъ сномъ крѣпкимъ. На другой день пошли хлопоты дорожныя; но какъ-будто нарочно все было въ отличномъ порядкѣ, и эскадра около полудня благополучно снялась съ якоря. Жена торжествовала, и въ тотъ же вечеръ угощала своихъ пріятелей и пріятельницъ отличнымъ и веселымъ ужиномъ, за которымъ много смѣялись дипломатическому искусству адмиральши, умѣвшей отправить мужа въ продолжительную и опасную экспедицію, такъ, что ни

онъ, ни королева не подозрѣвали, кто причиною такой чести. Не много было гостей: двѣ миледи съ своими милыми, да милый адмиральши. Барыни и пристали къ хозяйкѣ: «Покажи завѣщаніе.» Ключъ былъ давно поддѣланъ и завѣщаніе явилось на столѣ; прочли; поругали адмирала и рѣшили показать эту роковую бумагу знаменитому королевскому адвокату, который, вѣроятно, придумаетъ противу такого зла какую-либо хитрость. Что откладывать? Положили собраться къ адмиральше вечеркомъ, въ субботу, и привезти съ собой адвоката. Такъ и сдѣлали. Пошли сначала разговоры о войнѣ, о королевѣ, о Эверсѣ, а тутъ пуншикъ, то грокъ, а тамъ и за ужинъ... На дворѣ была страшная буря; частенько порывомъ вѣтра потрясало всѣ окна.

— «Каково теперь муженьку моему въ морѣ?» смѣясь, сказала хозяйка.

— «Да и свидѣтелямъ жутко приходится,» подхватилъ милый.

— «Да!» сказала барыня: «сегодня хотѣли подписывать.»

— «Я думаю,» сказалъ опять милый: «теперь уписываютъ грокъ, чтобы ободриться. Вѣдь свидѣтели всѣ на кораблѣ адмиральскомъ.

— «Правда, правда!» улыбаясь, замѣтила хозяйка.

Это все заинтересовало адвоката. Всѣ три барыни стали разсказывать ему дѣло.

— «Такъ я не много пойму,» сказалъ онъ: «Нельзя ли показать мнѣ завѣщаніе.»

— «Можно, можно!»

И хозяйка вскочила, побѣжала въ кабинетъ, который былъ тутъ же, возлѣ столовой. Чарезъ растворенныя двери видно было, какъ она подошла къ конторкѣ, какъ уронила свѣчу и опрометью выбѣжала въ столовую. Блѣдная, испуганная спросила она:

— «Слышите!»

Всѣ поблѣднѣли. Вѣтеръ вылъ на дворѣ, а въ комнатѣ страшно скрипѣло кораблемъ, когда его сильно бурей ломаетъ; трещитъ такъ, что ушамъ страшно; вдругъ будто сломалась мачта; потомъ пошелъ странный гулъ, словно что то спускалось въ комнату и разомъ все затихло. Въ безмолвномъ ужасѣ прослушали всѣ эту страшную серенаду; но когда затихло, стали оправляться и увѣрять себя взаимно, что все это не что иное какъ концертъ бури, которая что-нибудь изломала на крышѣ дома.

— «Разумѣется пустяки,» заключилъ адвокатъ: «но гдѣ же завѣщаніе?»

— «Я уже не въ силахъ. Поль, ты знаешь, принеси!»

Такъ сказала хозяйка и усѣлась.

Поль, то есть милый, принесъ бумагу. Адвокатъ вынулъ и надѣлъ очки, придвинулъ свѣчу, разсмотрѣлъ завѣщаніе, покачалъ головою и сказалъ рѣшительно:

— «Хорошо, что не успѣлъ совершить такого важнаго акта... Надо вамъ постараться, чтобы передъ смертью...»

Адвокатъ не кончилъ. Двери растворились такъ, какъ будто кто взмахнулъ крыльями; пахнуло вѣтромъ и затушило всѣ свѣчи, кромѣ одной; въ комнату вошелъ адмиралъ и четыре офицера его экипажа; платье, волоса, все показывало, что они промокли съ головы до ногъ; губы у всѣхъ были синія, глаза оловяныя. Офицеры, сложивъ на груди руки на крестъ, остановились посереди залы, а Эверсъ, обыкновенною своею походкою, подошелъ къ адвокоту и вырвалъ у него изъ рукъ завѣщаніе.

— «Поздно!» сказалъ Эверсъ, какъ будто отвѣчая на послѣднюю рѣчь адвоката и такимъ голосомъ, который точь въ точь походилъ на журчаніе фонтана: «Сегодня въ одиннадцать часовъ двадцать минутъ корабль мой разбило бурей; онъ лежитъ на днѣ морскомъ вмѣстѣ съ нашими трупами!»

Электрическое движеніе ужаса вздернуло живыхъ и тотъ же ужасъ приковалъ ихъ къ стульямъ. Эверсъ взялъ со стола послѣднюю свѣчу и продолжалъ:

— «Адель! (такъ звали адмиральну) Въ минуту смерти узналъ я, какою безчестною цѣною ты купила мое почетное удаленіе и неожиданную смерть. Ты хотѣла, чтобы я умеръ безъ завѣщанія, но я этого не хочу. Господа, пожалуйте!»

Эверсъ пошелъ въ кабинетъ, офицеры за нимъ; онъ подписалъ бумагу; офицеры сдѣлали тоже. Эверсъ сложилъ завѣщаніе въ конвертъ, запечаталъ, вынулъ ключь, положилъ пакетъ въ контор-

ку, заперъ. Тогда офицеры подали ему шелковый снурокъ; онъ обтянулъ этимъ снуркомъ конторку, завязалъ и припечаталъ адмиральскою своею печатью, которую вынулъ изъ кармана, потому что эта печать была съ нимъ въ походѣ. Печать Эверсъ опять положилъ въ карманъ. Исполнивъ все, онъ поставилъ свѣчу на столъ — и все исчезло будто сонъ, такъ что гости, приходя въ себя, сомнительно другъ на друга поглядывали, недоумѣвая, сонъ ли имъ мерещился, или, можетъ быть, вмѣсто вина, хлѣбнули опія. Но каково же было ихъ удивленіе, когда зажгли свѣчи и всѣмъ соборомъ удостовѣрились, что конторка точно была опечатана. Не трудно было догадаться, что барыню эта буря сломала до горячки. Во время ея болѣзни, безпамятной и отчаянной, пришло извѣстіе изъ флота, что дѣйствительно въ тотъ самый день, въ тотъ самый часъ корабль адмирала Эверса погибъ со всѣмъ экипажемъ. Кабинетъ тотчасъ опечатали. Когда Адель стала выздоравливать, ей и сказать про это боялись, но она сама догадалась. Чудная натура человѣческая: и чудеса на нее не дѣйствуютъ.

— «Не боюсь!» говорила она: «Завѣщаніе недѣйствительно, на немъ нѣтъ судѣйской помѣтки и оно нигдѣ не явлено.»

Какъ бы не такъ. Явился наслѣдникъ, судъ, адвокаты; вскрыли конторку и завѣщаніе: все есть и помѣтка и печать; въ судейскія книги — и тамъ все въ порядкѣ, и еще что всего важнѣе, записано заднимъ числомъ и ни тѣни подлога; она

стала было доказывать, но судьи объявили ее сумасшедшею. Свидѣтели не явились и бѣдная Адель за правду сошла съ ума и умерла въ домѣ умалишенныхъ. Вотъ вамъ! А весь Лондонъ зналъ, что случилось. Историки писали; докладывали королевѣ; приводили къ ней собесѣдницъ и адвоката; одинъ лордъ, приближенный и важный сановникъ, полетѣлъ съ мѣста; тѣмъ исторія и кончилась.

— «Ужъ точно исторія!» сказала капитанша: «Это вы и въ училищѣ такія небылицы разсказываете?»

— «Я не думаю утверждать, а разсказалъ, что прочесть случилось. Такихъ анекдотовъ куча. Вотъ, напримѣръ, есть такія души, что слышатъ за нѣсколько верстъ, когда къ нимъ идетъ или ѣдетъ человѣкъ близкій...»

Таня вскочила. Глаза у нея помутились, губы посинѣли.

— «Не идетъ, не ѣдетъ! Господи, его везутъ... онъ уже въ нашей улицѣ... Что́ съ нимъ случилось?..»

Всѣ окружили Таню и старались удержать, но она рвалась къ дверямъ, вырвалась, побѣжала и вдругъ отступила. Въ комнату вошелъ Бамазѣя.

— «Вы одни?.. Нѣтъ вы не одни; тамъ васъ много... Гдѣ же батюшка?..»

— «Татьяна Семеновна, успокойтесь! воля Всевышняго! Горячность Семена Ефимыча увлекла его слишкомъ далеко. Онъ хотѣлъ убить медвѣдя одинъ, на славу, но медвѣдь...»

— «Растерзалъ его...»

— «Мы не допустили, но поздно; онъ успѣлъ уже разорвать жизнь...»

— «Батюшка, батюшка!»

И Таня бросилась въ сѣни, куда вносили окровавленный трупъ Лычкина.

— «Татьяна Семеновна!» сказалъ Полочка съ чувствомъ входя въ комнату, гдѣ положили покойника. Таня, на колѣняхъ, приподнялась; обѣими руками указала на родителя и опять рыдая упала лицомъ на его ноги. Полочка счелъ обязанностію принять на себя временную диктатуру. Не стану описывать подробностей; рѣдкій изъ васъ не имѣлъ случая на своемъ вѣку быть свидѣтелемъ подобныхъ происшествій. Похороны, погребальный обѣдъ, поминовенія, трауръ, все это шло въ самомъ строгомъ порядкѣ, благодаря неутомимому усердію Полочки. По его же совѣту Таня заперлась ото всѣхъ, только одинъ Полочка имѣлъ къ ней доступъ. Замѣтно было, что Леонидъ чѣмъ то особенно доволенъ, хотѣлъ сообщить Танѣ, но свѣжесть несчастія оттого его удерживала. Прошла уже и другая недѣля; Леонидъ совсѣмъ измѣнился; былъ разсѣянъ и встревоженъ. Въ одинъ прекрасный вечеръ, Леонидъ пришелъ къ Танѣ совершенно разстроенный.

— «Здравствуйте, Леонидъ Степанычъ!»

— «Прощайте, матушка Татьяна Семеновна! Прощайте дня на два.»

— «Куда же это?..»

— «Неужели вы не догадываетесь?»

Таня посмотрела на него пристально и покраснела.

— «Не вѣкъ плакать, не вѣкъ сиротствовать, да и нельзя такъ жить; лучше въ монастырь идти; на свѣтѣ для людей такая уже очередь; несчастіе, счастіе, неудача, удача, черное, бѣлое, ведро, ненастье... Прошло несчастіе, можно подумать и о красномъ днѣ... Вамъ на первыхъ порахъ и на умъ объ этомъ не приходило. А я сейчасъ смѣкнулъ. Семенъ Ефимычъ, царствіе ему небесное, теперь не помѣха... Сергѣй Аѳанасьичъ недалече... Пишу письмо. Посылаю по почтѣ. Все поджидаю, авось пріѣдетъ и душѣ было весело. Нѣтъ отвѣта. Недѣля съ хвостикомъ прошла. Пишу опять письмо; посылаю съ нарочнымъ. Вчера воротился безъ отвѣта. — Да что онъ, спрашиваю. — Ничего-съ. Все молится; въ церковь ходитъ. Сказалъ: отвѣтъ пришлю. — Э, думаю себѣ въ понедѣльникъ праздникъ, завтра суббота. Послѣ классовъ поѣду! Классы отошли. Станціонный содержатель далъ лошадей до самаго посада. Прощайте, матушка Татьяна Семеновна, не скучайте; вотъ я вамъ про запасъ и книжечки принесъ; альманахи и разное... Прощайте, прощайте!..».

И Полочка убѣжалъ, подскакивая.

—

IV.

Тридцать верстъ не смотря на мартовскіе ухабы, не большое разстояніе. Полочка подъѣхалъ къ воротамъ Лысакова часу въ десятомъ; по всему

посаду еще горѣли огни; по бревенчатой мостовой ходили люди; но на дворѣ Лысакова даже собака не залаяла. Долго стучался Полочка; наконецъ послышались чьи-то медленные шаги. Калитка отворилась безъ опроса; въ темнотѣ нельзя было разобрать, кто отворилъ ее.

— «Дома Сергѣй Аѳонасьичъ!..»

— «Леонидъ Степаньчъ — ты!..»

— «Сергѣй! Ты самъ отворилъ калитку? Здравствуй, дружище! Что это у тебя, борода?..»

— «Не мѣсто, не мѣсто! Пойдемъ въ избу!»

Въ бѣдной комнатѣ горѣли двѣ сальныя свѣчи на большомъ столѣ. Примѣтно было, что хозяинъ только что оставилъ чтеніе. Софа обитая тикомъ, да кресла составляли всю утварь этой комнаты. Все это показалось страннымъ любознательному Полочкѣ, но видъ хозяина заставилъ его вздрогнуть. Волоса были въ безпорядкѣ; лице истомленное, блѣдное; борода небольшими и неровными клочьями; халатъ простой, и заначканный платокъ на шеѣ, все это крайне не понравилось Полочкѣ. Онъ взялъ Лысакова обѣими руками, подвелъ къ столу и разсматривалъ съ удивленіемъ.»

— «Что́ это значитъ?..»

— «Я тебя не понимаю, Леонидъ.»

— «А я тебя и того менѣе. Ну, погляди, что ты изъ себя сдѣлалъ, на кого ты похожъ?..»

— «На добровольнаго труженика, который заслужилъ свою тяжкую жизнь...»

— «Ребяческими глупостями! Ты, братъ, Потемкина корчишь, что ли, или Карла Пятаго? Ве-

лика бѣда, кутилъ не въ мѣру; мѣра переполнилась, лишнее объѣзжало, и опять все въ порядкѣ. Я желалъ бы знать, что ты этимъ сдѣлаешь, что истратишь молодую, полную силъ жизнь на сидѣніе дома, на чтеніе величайшихъ истинъ, для того чтобы они остались безъ приложенія, пропали безъ плодовъ, какъ гніютъ безполезно лучшія зерна на дурной почвѣ. Да ты, любезный, послѣ этого, дармоѣдъ, грѣшникъ...»

— «Вотъ это правда,» со вздохомъ сказалъ Лысаковъ.»

— «И умножаешь свой грѣхъ ежедневно, ежеминутно...»

— «Какъ?»

— «Да такъ! Если бы ты въ самомъ дѣлѣ сдѣлалъ какое зло, такъ искупить его слѣдуетъ подвигами благочестія, благотворительности, такъ, чтобы отъ тебя добро бѣжало во всѣ стороны, словно лучи отъ солнца, а то нерахой ходитъ... Ахъ ты, фарисей этакой! А можетъ быть ты отъ любви съума сошелъ; это дѣло другое; тогда прощай! Съ сумасшедшимъ толковать нечего...»

— «Подвигами благочестія, благотворительности!» прошепталъ Лысаковъ, задумчиво садясь въ кресла.

— «Красноречіе прошибло. Впередъ! Положимъ, когда тебѣ Лычкинъ отказалъ на отрѣзъ, ты вотъ и впалъ въ меланхолію. Это меланхолія, мой другъ, увѣряю тебя, гипохондрія, хандра, тоска, которою страдалъ лордъ Байронъ англійскій и всѣ другіе Байроны всѣхъ націй. Мнѣ эта хандра и въ сти-

хахъ надоѣла; Хандрить, братъ, не трудно. Всякой дуракъ можетъ большымъ пѣтухомъ надуться; никого не удивитъ; а умный человѣкъ, если у него что нибудь и есть на душѣ, не покажетъ; долгъ ли это, расчитается; обидѣлъ ли кого, попроситъ прощенія; сдѣлалъ зло большое, искупитъ добромъ, а не покажетъ, какъ честной человѣкъ, не покажетъ. Вѣдь это подло. Тутъ Мужъ зрѣлый гнилѣе хилой бабы. Но положимъ, что по слабости разсудка и по пылкости твоей любви къ Татьянѣ Семеновнѣ...»

— «Таня!..» Лысаковъ всплеснулъ руками и заплакалъ...

— «Положимъ, что по всѣмъ этимъ поводамъ ты и впалъ въ меланхолію. Всякая болѣзнь излечивается радикально удаленіемъ причины; причина удалена, уничтожена. Лычкина медвѣдь разорвалъ...»

Лысаковъ вскочилъ въ ужасѣ.

— «Вотъ видишь, до чего дошла глупая твоя меланхолія; ты и писемъ моихъ не читалъ. Страшно его медвѣдь помялъ. Всю грудь распоролъ. Судьба! Перстъ Божій! Тутъ вашего ума нечего прикладывать, но сила въ томъ, что Татьяна Семеновна свободна избрать себѣ въ мужья, кого ей угодно, и мы съ нею жениха себѣ выбрали...»

— «Выбрали?»

— «(Ага! переполошилъ!) Да, выбрали, да, кажется, прійдется перемѣнить... оказывается меланхоликомъ, а можетъ быть и просто сумасшедшимъ...»

— «Леонидъ! Леонидъ! Не договаривай! Теперь я вижу, что милосердію Божію нѣтъ предѣловъ...»

— «Ну, вотъ это сказано умно и справедливо... Дальше!»

— «Я не такъ виноватъ, клянусь честію, я не такъ виноватъ...»

— «Да это каждый мальчишка понимаетъ. Неугодно ли, дальше!»

— «Ты шутишь, но мнѣ не до шутокъ! Меня избило, изломало, изранило, а ты горячимъ масломъ пожаръ поливаешь! Правда! Я сошелъ съ ума. Я и забылъ, что я не могу на ней жениться; я не хочу ее сдѣлать навсегда несчастною.»

— «Ну, такъ знай же ты, хандра съ бородой, что Таня — ни за кого на свѣтѣ кромѣ тебя замужъ не выйдетъ; этого мало — она умретъ...»

— «Умретъ?»

— «Непремѣнно и скоро, если я не привезу ей врача! Такой любви я не только не видывалъ, да и не читывалъ; это, братъ, не то что у виконта Дарлинкура! Это такая страсть, что saevit circa iecur ulcerosum, что если она узнаетъ, что ты минуту только показалъ, будто не хочешь, кончено; она будетъ victima nil miserantis orci! Понимаешь ли, только тобой и дышетъ!»

— «Господи! Это мнѣ въ казнь! Но я принимаю твой крестъ; я готовъ на всѣ жертвы...»

— «Э, да ты братецъ Годуновъ, что́ ли? Заставляешь себя такъ усердно упрашивать. Полно дурачиться; мнѣ и самому надоѣло; только изъ дружбы къ тебѣ; изъ состраданія къ бѣдной дѣ-

вушкъ, я принялъ на себя роль свата; признаюсь, не легкая роль; представъ себѣ...»

И Полочка сталъ разсказывать, какъ онъ читалъ ей Донкихота, какъ принесли Лычкина, однимъ словомъ, что мы знаемъ и чего не знаемъ, что было и чего не было, убѣдительно, краснорѣчиво. Хотя Сережа по временамъ и задумывался, однако большею частію слушалъ внимательно; къ концу бесѣды онъ сталъ спокойнѣе, веселѣе; слезы, но слезы благодатныя навертывались на глаза; утро застало ихъ еще за бесѣдой. Полочка дотого измучился, что какъ сидѣлъ на софѣ, такъ и уснулъ. Когда проснулся, передъ нимъ стоялъ прежній Сергѣй Аѳонасьичъ, обритый, причесанный, въ щегольскомъ сертукѣ, въ лакированныхъ сапогахъ... Полочка глазамъ своимъ не вѣрилъ.

— «А гдѣ же твоя меланхолія?..»

— «Ты меня вылечилъ, Леонидъ, я тебѣ обязанъ второю жизнію!»

— «Ура! Я и не зналъ что я такой докторъ! Ну, ужъ какъ хочешь, а веди къ завтраку настоящей шампанеи! Выпьемъ!..»

— «Шампанское будетъ, но я пить не стану.»

— «Это почему...»

— «Потому... потому... что я недавно выпилъ послѣднюю рюмку въ моей жизни и чуть не захлѣбнулся ..»

— «Карлъ-Двѣнадцатый! Ты вотъ такъ насильно и лѣзешь въ исторію!..»

— «Влѣзъ, какъ то вылѣзу!.. Ну, подымайся Леонидъ! Завтракъ и лошади готовы...»

— «Вотъ докторъ! А!.. А что за визитъ?»

— «Дружескій поцѣлуй, и просьбу: не оставляй меня своею дружбой...»

— «Пошелъ ты прочь послѣ этого. Терпѣть не могу этихъ сладостей. Давай настойки!»

Bacchum in remotis carmina rupibus
Vidi docentem...

По-русски у меня выходитъ лучше; да по-русски и пѣть можно:

Я Вакха зрѣлъ;
Онъ пѣсни пѣлъ;
Хоръ нимфъ кругомъ
Сидѣлъ рядкомъ;
Сатиры съ острыми ушами
Стучали козьими ногами
Эвое, Эвое!

Вотъ же мнѣ это восклицаніе ужасно нравится. «Ура» это что́-то такое торжественное, приличное великолѣпному празднеству. Виватъ! тоже хорошо, но похоже на ординарное наше: здорово! И притомъ ловко за первымъ бокаломъ; а Эвое! что́ то такое пьяное, мягкое, бархатное! Эвое... будто, знаешь, языкъ намыленъ; не поворачивается. Греки хитрые! Знатно придумали! Эвое, эвое! Я Вакха зрѣлъ... Эвое!..»

И Полочка пилъ и пѣлъ преусердно, не замѣчая что хозяинъ почти не прикасался къ пищѣ. Но въ этомъ отношеніи Полочка былъ эгоистъ; насилу отзавтракалъ; всталъ, съ помощію Лысакова; сѣлъ въ кибитку, также съ постороннею помощію и, безъ всякаго уже пособія, заснулъ. Еще за свѣтло они пріѣхали въ городъ, но Полочка не могъ отпра-

виться къ Татьянѣ Семеновнѣ; его отвезли домой, а Сережа остановился на прежней своей квартирѣ. Онъ не успѣлъ или забылъ распродать мебель. Какъ будто зналъ, что воротится.

—

V.

— «Здравствуй, Сережа! Извини что видишь меня всего въ грязи! Весна пришла; на улицахъ лужи стоятъ. Solvitur acris hyems grata vice veris ac favoni! Но я такъ спѣшилъ къ тебѣ отъ Татьяны Семеновны, что забылъ у нихъ калоши. Ноги промочилъ; да стоитъ ли говорить о такихъ пустякахъ, когда ей угодно было изречь. тихо, тихо, такъ что только слухъ искренней дружбы могъ разслушать: я буду рада видѣть Сережу!... А? Рада! Понимаешь ли, Сережу?.. Ахъ, ты, душенька Татьяна Семеновна, что за чудесная! Ну, пойдемъ же, пойдемъ къ Лычкиной...»

— «Я?.. Мнѣ?.. Идти въ этотъ домъ?.. Побойся Бога!.. Я не пойду!»

— «Такъ зачѣмъ же мы пріѣхали? — Это разъ! Во вторыхъ: сегодня праздникъ и я еще свободенъ. А завтра по утру у меня три лекціи: словесность, нѣмецкій языкъ и физика; когда же я успѣю? Правда понедѣльникъ, но сколько я ни люблю Римлянъ. но это что у нихъ было fas и nefas, просто вздоръ. Это, мой другъ, авгуры выдумали; это, душа моя, были такіе обманщики, что, встрѣчаясь другъ съ дружкой на улицахъ, сами не могли удержаться отъ смѣха. Знаешь, любезный, у

меня отъ тебя тайны нѣтъ, но дружба дружбой, а служба службой. Хоть и стыдно, а должно признаться, что я нѣмецкій языкъ больно плохо разумѣю, а лекцію читать въ высшемъ классѣ. Проклятый Карлъ Карлычъ началъ съ мальчишками Жанъ-Поль-Рихтера... а тутъ его и прогнали. А я изволь продолжать... То есть, я тебѣ скажу, безтолочь. Вотъ почему должно считать Нѣмцевъ преумнѣйшими людьми, потому что они и непонятное понимаютъ. А я, братъ, кажется, многому учился, а тутъ просто въ тупикъ сталъ. На первый разъ я и ухитрился. Карлъ Карлычъ опальный; вотъ я и пришелъ въ классъ и говорю: Жанъ-Поль-Рихтеръ отличный писатель... тутъ я и откололъ его біографію изъ Словаря. Но... вотъ гдѣ хитрость; слушай: но по моему мнѣнію и согласно отзывамъ германскихъ критиковъ, слогъ этого писателя не имѣетъ той классической образцевой важности, какъ слогъ Шиллера и Гёте; а потому мы будемъ лучше изучать Шиллера... опять откололъ біографію, колокольчикъ зазвонилъ и лекція кончилась. Да завтра то что же я буду дѣлать? Мнѣ вѣдь надо приготовиться; всѣ переводы у насъ такіе, что просто Лука написанъ Козьмою. И тутъ я ухитрился: взялъ Валленштейна. Вотъ видишь, два стиха прочту и пошелъ разсказывать тридцати-лѣтнюю войну; а вѣдь эта война отъ того и тридцатилѣтняя, что тридцать лѣтъ продолжалась. Такъ матеріала для нѣмецкихъ моихъ лекцій на два мѣсяца станетъ. Тутъ же еще пойдетъ страстная седмица, праздники, а между тѣмъ прі-

ищутъ учителя — и репутація моя не потерпитъ поврежденія. Но все таки надо хоть и десять стиховъ, а перевести себѣ точно и ясно, филологически, и освѣжить въ памяти историческія подробности. На все нужно время, душа моя, а ужъ теперь первый часъ. Прійдется работать ночью... Пойдемъ же душа моя, сдѣлай милость, пойдемъ, чтобы до обѣда-то отдѣлаться...»

— «Ты не знаешь, Леонидъ...»

— «Все знаю, душа моя, понимаю какъ трудно влюбленнымъ голубкамъ первое свиданіе; оттого-то и долженъ я, въ качествѣ медіатора, быть тутъ; а не то я бы уже грызъ Валленштейна съ утра. Пойдемъ же, пойдемъ!..»

— «Если бы ты зналъ, Леонидъ...»

— «Тфу ты къ чорту! Въ самомъ дѣлѣ ты неизлечимо боленъ, опять припадокъ меланхоліи. Гдѣ же твоя вчерашняя стоическая твердость, гдѣ же веселіе, которымъ ты меня такъ обрадовалъ? Татьяна Семеновна — медвѣдь, что-ли? Чего тутъ бояться...»

— «Твоя правда, или, или...»

— «Aut Caesar, aut nihil! Маршъ!»

Леонидъ Степанычъ, забрызганный съ ногъ до головы, остановился въ прихожей, держа за руку Сережу.

— «Палашка, душенька, подай стирку и щетку; почисть меня, родная; вотъ такъ, моя душа; доложи барынѣ.»

— «Да они васъ видѣли въ окно; приказали просить...»

— «Слышишь! Да что ты сталъ такой гумигутовой! Ободрись! Пойдемъ...»

Вошли. Татьяна Семеновна не смѣла взглянуть на Сережу; не могла вымолвить слова и обратно. Медіаторъ улыбнулся и началъ:

— «Другъ мой, Сергѣй Аѳонасьевичъ Лысаковъ, воротился на жительство въ нашъ городъ, и, узнавъ о горестной потерѣ вашей, милостивая государыня Татьяна Семеновна, счелъ священнымъ долгомъ лично засвидѣтельствовать то удовольствіе... виноватъ... то сожалѣніе, которое ощущаетъ нѣжная душа моего друга. Конечно, тутъ есть и удовольствіе — видѣть васъ, милостивая государыня, Татьяна Семеновна, и найти васъ въ цвѣтущемъ здоровіи. Время излечаетъ сердечныя раны; время безстрастное, какъ эти часы... Господи Боже мой, что я вижу. Третій часъ!.. Извините меня, Татьяна Семеновна, прости меня Сергѣй; дружба дружбой, а служба службой; право, не могу! До пріятнаго свиданія!»

Полочка обратился въ бѣгство.

— «Что́ это съ нимъ?» тихо спросила Таня. Голосъ ея пролилъ въ душу Сережи знакомую сладость. Ему вдругъ стало легко; онъ рѣшился взглянуть на нее, и ему представилось, будто ангелъ примиритель явился ему и принесъ небесное прощеніе... Онъ не могъ отвѣчать отъ полноты чувствъ, и влажными отъ слезъ глазами, въ безмолвномъ умиленіи смотрѣлъ на Таню.

— «Что́ это съ вами?» спросила Таня, ободрясь

и приходя въ обыкновенное состояніе своего простодушнаго нрава...

— «Такъ-съ, ничего!»

— «Что́ же это мы стоимъ! Присядемъ! Вы вчера пріѣхали?»

— «Вчера.»

— «Должно быть, дурная дорога...»

— «Ухабы, грязь...»

— «А на улицу посмотрите. На лодкѣ плавать можно.»

— «Да, на лодкѣ...»

— «Я рада. По-крайней-мѣрѣ весна скоро. Можно перебраться на мызу. Признаюсь, мнѣ въ этомъ домѣ и грустно и страшно.»

— «О, да! Я васъ понимаю, Татьяна Семеновна! Но вотъ что. У васъ на́ мызѣ покои теплые; протопить, можно бы и теперь переѣхать.»

— «Прекрасная мысль! Я послушаюсь вашего совѣта; но вотъ бѣда; я еще въ городѣ не устроилась. Полочка старыхъ приказчиковъ прогналъ; открылъ плутовство; новыхъ еще мы не наняли, да трудно сыскать...»

— «Татьяна Семеновна, вы такъ добры, вы не откажете...»

— «Въ чемъ?»

— «Позвольте мнѣ быть вашимъ приказчикомъ..»

— «Что́ вы, что́ вы?...»

— «Клянусь, никто на свѣтѣ не будетъ вамъ служить такъ вѣрно до гробовой доски...»

— «Вы меня конфузите, Сергѣй Аѳонасьичъ! Я не могу принять вашего предложенія.»

— «Не можете! Да развѣ я не могу пойти въ приказчики къ кому мнѣ угодно? Я разорился, Татьяна Семеновна; я пріѣхалъ сюда искать мѣста ..»

— «Разорились! Господи! Да на что же Богъ послалъ мнѣ такое богатство, если не на то, чтобы помогать ближнему; возьмите сто, двѣсти тысячъ, что я, возьмите все...»

— «Татьяна Семеновна!» съ любовью сказалъ Сережа.

— «Вы добрый, честный человѣкъ! Когда разбогатѣете, отдадите!»

— «Я солгалъ неудачно! Нѣтъ, Татьяна Семеновна; съ тѣхъ поръ, какъ я выпилъ послѣднюю въ жизни рюмку вина; съ тѣхъ поръ, какъ я отдалъ чужое добро и выпросилъ изъ дома Карпа Трофимыча; съ тѣхъ поръ, какъ я оставилъ пустую и грѣшную жизнь...»

— «Что съ вами?...»

— «Такъ что-то укололо. Съ тѣхъ поръ, говорю, всѣ дѣла мои пошли совсѣмъ иначе; я сидѣлъ запершись, а приказчики въ недѣлю продали весь товаръ; словомъ, что до моего состоянія, то оно какъ нельзя лучше...»

— «Зачѣмъ же вы хотѣли итти въ приказчики?...»

— «Зачѣмъ?»

Оба покраснѣли.

— «Послушайте, Татьяна Семеновна, вы дѣвушка, управлять вамъ дѣлами не приходится; вѣдь вамъ надо же кого нибудь да взять повѣреннымъ...»

— «Пока Леонидъ Степанычъ всѣмъ заправляетъ;

правда, ему трудно, но онъ обѣщалъ пріискать другаго...»

— «Меня, Татьяна Семеновна, меня, клянусь вамъ. Управляютъ же опекуны, друзья, родственники чужими имѣніями. Развѣ вы мнѣ не довѣряете?..»

— «Какъ вамъ не стыдно! Но я боюсь обременить васъ; у васъ и своего дѣла...»

— «Полноте! Для васъ, Татьяна Семеновна, я радъ въ огонь и въ воду.»

— «Отъ чего же для меня!» спросила съ живостію Таня и не могла удержаться отъ улыбки. Сережа смутился; собирался отвѣчать; но въ прихожей послышался шумъ; въ комнату вбѣжалъ Полочка съ веселымъ лицемъ.

— «Нѣмца привезли! Нѣмца! Рихтеръ, Шиллеръ, Валенштейнъ, Аделунгъ, всѣ подъ столъ! Здравствуйте, матушка Татьяна Семеновна, позвольте поцѣловать ручку. Физика мнѣ ни почемъ; завтра буду такъ вертѣть электрическую машину, что днемъ задамъ фейерверкъ. Здравствуй, душенька, Сережа! Словесность! Плевое дѣло! Ораторская рѣчь завтра. Цицерона отколю такъ, что стекла изъ оконъ посыплются... Нѣмецъ пріѣхалъ! знаете, матушка, этотъ Нѣмецъ, что гора на душѣ у меня лежалъ. Ухъ, воскресъ! Теперь могу не своимъ дѣломъ не заниматься...»

— «Вы, видно, Леонидъ Степанычъ и на меня намекаете, что я васъ моими купеческими дѣлами...»

— «Нѣтъ, нѣтъ, вздоръ, плевое дѣло! Теперь я

буду посвободнѣе, повѣреннаго мигомъ сыщу... Да вотъ вамъ повѣренный, мой Сережа! Дѣло знаетъ, человѣкъ честный и васъ безъ души любитъ... Ай, проговорился!... Караулъ, не буду!... Да, впрочемъ, что жъ я тутъ сказалъ худаго? Человѣкъ человѣка или любитъ или не любитъ. Хуже послѣднее. Правда, тутъ я сказалъ что-то въ родѣ парѣчія: «безъ души»... Немного неловко. Далъ маха! Ну, да, впрочемъ, и тутъ нѣтъ бѣды. И я васъ, Татьяна Семеновна, безъ души люблю. Вотъ вамъ!... Да я думаю, и безъ меня найдутся многіе... Правда, мнѣ подъ-сорокъ, а Сережѣ и тридцати нѣтъ... У Римлянъ одно и тоже слово во время царей — одно значило; во время республики — другое, а при императорахъ — третье... Такъ и въ отношеніи къ возрасту человѣческому. Впрочемъ, слово—соколъ; слетитъ, не воротишь. Сказалъ, такъ сказалъ. Да и сказалъ правду, такъ что тутъ? Такой повѣренный васъ не продастъ. Притомъ же самъ плечистъ, сундуковъ много, то есть, я думаю, если бы ваши сундуки соединить, такъ вышло бы, почитай, губернское казначейство. А что, если бы и заправду?..»

— «Леонидъ! Мнѣ кажется, Татьяна Семеновна устала слушать твою словесность. Позволь на этотъ разъ...»

— «Цыплята курицы не учатъ! Впрочемъ, я съ тобой согласенъ, а какъ повѣренный теперь ты, а не я; а я эксповѣренный, то не угодно ли тебѣ пожаловать въ контору, для пріема всѣхъ дѣлъ по описи.»

— «Если Татьяна Семеновна прикажетъ...»

— «И я сама пойду съ вами! Я вамъ покажу многое завѣтное, про что и Леониду Степанычу не успѣла сказать...»

— «Видишь, Сережа, какой ты у насъ повѣренный; отъ тебя у насъ нѣтъ ничего завѣтнаго.»

Таня по пути легонько ударила Полочку по рукѣ и сказала съ улыбкой:

— «Сами сказали, что вамъ подъ-сорокъ, а дурачитесь!»

Всѣ ушли въ контору.

—

VI.

— «Дернуло меня впутаться въ любовныя и то чужія дѣла. Во всѣхъ дѣлахъ ужасная революція. Не осмотрѣлъ ретортъ, одну разорвало; благо, никому вреда не приключилось. Ни стиховъ, ни хрій не успѣлъ поправить, а вотъ уже и суббота на исходѣ; воскресенье у дверей... Тридцать первое марта! Недобросовѣстно, конечно, но завтра весь день пропадетъ, а въ понедѣльникъ — лекція и Леонидъ Степановичъ впервые оказался не исправнымъ. Нѣтъ, этого не будетъ. Одному поправлю введеніе, другому изложеніе, третьему заключеніе и дѣло въ шляпѣ. При томъ же вѣдь я знаю, кто какъ учится и что можетъ. Валяй!.. Bene, optime... Bene, optime! Готова карета! спустилъ! Теперь настоички, ветчинки... а ужъ завтра, думаю, Татьяна Семеновна, на славу отличится. За ваше здоровье, Татьяна Семеновна!

Ухъ! душу обожгло. Чудо не настойка, такъ, что, право, трудно рѣшить, кто изъ нихъ лучше: настойка или Татьяна Семеновна! А правду молвить, холостая жизнь преглупое дѣло. На ужинъ копченый гусь, ветчина, балыкъ, икорка, — сухой столъ; а у женатыхъ, вотъ хоть бы и у директора, всегда есть что-нибудь горячее. Да и обѣдъ-то холостой куда плохъ! Инвадилъ Прохоръ солдатскія щти сваритъ, хлебай себѣ на здоровье, и завтра щти, и послѣ завтра щти... Ну, и по части бѣлья; рубашки цѣлый мѣсяцъ не позволятъ носить; и мебель цѣла; а то пьяный Прохоръ грязнымъ вѣникомъ пыль оботретъ, а покрышку на диванѣ запачкаетъ или разорветъ, да и зашьетъ дратвой. Вотъ и теперь ветчину подалъ, а горчицы нѣтъ. Гей! Прохоръ!»

— «Сейчасъ.»

— «Жена — это совсѣмъ дѣло другое! Изъ класса пришелъ: здравствуй душенька; нѣтъ ли чего закусить? Есть, мой милый. Вотъ тебѣ ветчинка... Гей! Прохоръ.»

— «Иду!..»

— «И маринованные грибки, и рыбка сушеная, и домашнее соленье всякое; не будешь жить объ одной ветчинѣ и то безъ горчицы. Прохоръ! Прохоръ!»

— «Чего изволите?»

— «Горчицы!»

— «Сейчасъ.»

— «Закусили! Что мой ангелъ, не погулять ли въ общественномъ саду. — Съ удовольствіемъ. —

Разодѣнется, выйдетъ, прелесть, все въ саду кричатъ: Какъ хороша Татьяна Семеновна... гм, ужъ и Татьяна Семеновна... Не пожелай жены ближняго твоего. Оно конечно желать, такъ желать; хоть не этой, а все таки другой, точно такой же Татьяны Семеновны. Душка, милашка, голову даю на отсѣченіе, что милашка! Воротились: я и кричу: Прохоръ! обѣдать...»

— «Сейчасъ.»

— «Да что́ же ты, Прохоръ, въ самомъ дѣлѣ, спишь что̀ ли?»

— «Никакъ нѣтъ-съ...»

— «Гдѣ же горчица?»

— «Несу »

— «Насилу, вотъ спитъ.»

— «Никакъ нѣтъ-съ.»

— «Что̀ же ты дѣлалъ?»

— «Дремалъ, ваше высокоблагородіе.»

— «Да развѣ это горчица, Прохоръ?..»

— «Это?.. Да, не горчица! Это вакса, ваше высокоблагородіе! Вмѣстѣ стоятъ. Не ту банку взялъ...»

— «Ужъ хоть бы ты, Прохоръ, женился! Все бы у насъ толку было больше.»

— «Никакъ нѣтъ-съ, хуже будетъ!»

— «Это почему?»

Прохоръ махнулъ рукой и ушелъ безъ отвѣта.

— «А что, въ самомъ дѣлѣ, какъ попадешь на такую барыню, какъ наша капитанша? Тогда все будешь ѣсть съ горчицей! А въ дѣвушкахъ какъ ее угадаешь? Можетъ быть и Татьяна Семеновна

пока... Нѣтъ, не можетъ быть. За ваше здоровье, Татьяна Семеновна!..»

Графинчикъ настойки опустѣлъ, а Полочка все еще философствовалъ, но во снѣ. Ему снилась Татьяна Семеновна, настойка, маринованные грибки, Прохоръ. Послѣднее не удивительно потому, что Прохоръ стоялъ у постели и читалъ обычныя утреннія привѣтствія: въ классы звонятъ; это уже второй колокольчикъ; директоръ присылалъ... но ни что не помогало. Прохоръ почесался и рѣшился прибѣгнуть къ хитрости, которую употреблялъ только въ крайнихъ случаяхъ.

— «Ваше высокоблагородіе! губернаторъ присылалъ...»

— А? что?..»

— «Губернаторъ на обѣдъ сегодня зоветъ...»

— «На обѣдъ? одѣваться!»

Прохоръ значительно кивнулъ головой и подалъ сапоги.

— «Честь, конечно...» громко размышлялъ Полочка: «но какъ же я это сдѣлаю? Я обѣщалъ Татьянѣ Семеновнѣ непремѣнно, непремѣнно...»

— «Такъ и поѣзжайте, куда обѣщали. Я губернатору и такъ отказалъ...»

— «Какъ? ты смѣлъ!.. А, понимаю, понимаю...»

— «Батюшка, Леванидъ Степанычъ, не извольте гнѣваться! Васъ ничѣмъ не подымешь, и такъ уже двѣнадцатый часъ...»

— «Двѣнадцатый! Господи, какъ же это я успѣю? До мызы версты четыре будетъ; дорога

скверная; грязь неисходная. Взять линейку прійдется, а на дрогахъ теперь пирогомъ изъ грязи пріѣдешь. А эти линейцы, злодѣи, дороги, да еще воскресенье... Ну, да была не была... въ другомъ въ чемъ себѣ откажемъ...»

— «Въ чемъ бы это?» подумалъ Прохоръ: «Не приведи Богъ, если въ настойкѣ!..»

Сборы были поспѣшны и потому продолжительны. Полочка истощилъ все свое тоалетное искусство и самъ былъ доволенъ собою. На улицѣ онъ весело со всѣми раскланивался и даже отпускалъ коротенькія привѣтствія. Вотъ уже и линейцы въ виду; стоитъ кликнуть, какъ вдругъ изъ-за угла показалась длинная, высокая, тощая фигура купца Сѣвалдышева; она какъ-то глупо осклабилась и зарычала, увидавъ Полочку:

— «Какъ поживать изволите, Леонтій Степановичъ?..»

— «Богъ милуетъ! Леонидъ Степанычъ поживаетъ себѣ помаленьку.»

— «Вижу, вижу, батюшка! То-то вы такимъ щеголемъ. Дѣлишки-то поправили...»

— «Я васъ не понимаю...»

— «Да куда вамъ, такимъ ученымъ, насъ простыхъ людей понимать. Вотъ Лысачекъ изъ ученыхъ; такъ вы сейчасъ другъ друга поняли... Скажи, батюшка, не осерчай, вѣдь не я одинъ говорю; на биржѣ громко толкуютъ...»

— «О чемъ?»

— «Знатно, батюшка, прикидываешься; дѣло полюбовное и мы на торгахъ беремъ иногда да-

ромъ тысячку-другую, только отступись отъ подряда. А тутъ и подрядецъ соблазнительный.»

— «Да растолкуйте о чемъ вы говорите?..»

— «Еще не понялъ? Охъ, ученый народъ! Соловья баснями не кормятъ; воробья на мякинѣ не поймаешь. Такъ вы, батюшка отъ опеки Лычкинской даромъ отказались?...»

— «Что́ такое?»

— «Ну, извини, Леонтій Степанычъ, тамъ у васъ по ученому не знаю какъ, а по нашему у молодой дѣвки молодому парню быть повѣреннымъ не приходится... Про Лысачка не удивительно; ну, а Танька-то... этого никто́ не ожидалъ. На мызу съѣхала... Гмъ! дураковъ нашла, срамница; такъ и повѣрятъ...»

— «Ты смѣешь, борода, про Татьяну Семеновну такъ отзываться? Знаемъ мы и тебя. Знаемъ, что ты въ опекуны себя прочилъ... Знаемъ, знаемъ, зачѣмъ прочилъ; не удалось, такъ ты и давай выдумывать всякую клевету; самъ же и распустилъ... Постой, постой! не удастся! Эй, линейка, на Лычкинскую мызу?...»

— «Обратно, что́ ль?»

— «Туда только.»

— «Полтора цѣлковыхъ...»

— «Ахъ, ты, жидъ этакой! Полтинникъ!»

— «Да что торговаться... трехрублевый!»

— «Давай!... Да, надо же и къ Серёжѣ заѣхать, благо по дорогѣ. Вонъ у того крылечка погоди...»

— «Это что́? опять хандрить! опять дурачиться!... А я сдалъ тебѣ дѣла...»

— «Всѣ дѣла идутъ какъ нельзя лучше,» сухо отвѣчалъ Серёжа: «я работаю до поздняго вечера и, благодаря Бога, все въ порядкѣ!...»

— «Неправда! Борода не въ порядкѣ, ты весь не въ порядкѣ; ты, вѣрно, забылъ, что мы съ тобой обѣщали Татьянѣ Семеновнѣ сегодня у нея на мызѣ обѣдать?...»

— «Забылъ!... Нѣтъ, не забылъ, но я думалъ... я думалъ, что еще рано...»

— «Какое рано! скоро часъ.»

— «Часъ! я мигомъ одѣнусь...»

Пока Лысаковъ занимался тоалетомъ, Полочка нѣсколько разъ собирался что-то сказать, но все останавливался. Лысаковъ одѣлся, а Полочка такъ и не сказалъ ничего. Сѣли на дрожки, поѣхали и до самой мызы промолчали. Пріѣхали. Въ первой комнатѣ, гдѣ въ оно время бывало играли въ горку и курочку, Полочка остановилъ Лысакова.

— «Послушай, любезный, дѣло не ладно! Я и не раскусилъ, что въ самомъ дѣлѣ тебѣ повѣреннымъ быть у дѣвушки не ловко. Это, при всей невинности вашихъ отношеній, ведетъ къ клеветѣ...»

— «Боже мой! неужели говорятъ?...»

— «И громко...»

— «О! я сейчасъ уѣду, сегодня же напишу письмо, откажусь, объясню...»

— «Нѣтъ, врешь, братецъ, ты объяснишься въ любви и сегодня же...»

— «Нѣтъ, Леонидъ, я не могу, я не долженъ...»

— «Тсъ! Татьяна Семеновна идетъ.»

— «Я бѣгу!...»

— «Прр!» пробурчалъ Полочка, схвативъ за фракъ Лысакова, а между тѣмъ Таня вошла въ комнату.

— «Поздно назадъ! маршъ впередъ!...» прошепталъ Полочка, и обратился къ Танѣ: «Матушка, Татьяна Семеновна, не взыщите, что опоздали. Грязь ужасная, лошадь прескверная, а повѣренный вашъ не обзавелся еще экипажемъ...»

— «Повѣренный? нѣтъ я не повѣренный больше! Я не могу... честь ваша для меня всего дороже!»

— «Простите меня; я ничего не понимаю...»

— «Онъ говоритъ правду. Онъ не можетъ быть долѣе вашимъ повѣреннымъ... Дѣло не шуточное; клевета острозубая можетъ повредить адамантовой добродѣтели... Мы объ этомъ не подумали, но все къ лучшему. Если бы не этотъ случай, онъ бы не рѣшился никогда, по застѣнчивости своего характера, признаться вамъ...»

— «Леонидъ! Замолчи...»

— «Послѣ, когда ты говорить станешь, а теперь не мѣшайся... Знаю, матушка Татьяна Семеновна, какъ затруднительно теперь и ваше и его положеніе, и потому буду кратокъ, какъ Тацитъ. Сергѣй до безумія любитъ васъ и эта любовь довела его до гипохондріи...»

— «Господи! Нѣтъ... нѣтъ... я не могу... я не долженъ...»

— «Нѣтъ? Такъ ты не любишь Татьяны Семеновны?.. Ты не готовъ принести себя въ жертву за честь Татьяны Семеновны? Нѣтъ?»

— «О, готовъ, готовъ, возьмите жизнь мою, но...»

— «Да что въ твоей жизни послѣ этого? Она жизнь какой-то улитки, а не рыцаря чести и честности?...»

Татьяна Семеновна пораженная, смущенная, не зная сама, что дѣлать и что дѣлаетъ, упала въ кресла, стоявшія у окна и закрыла лице руками. Безпощадный Полочка продолжалъ:

— «Не можешь? Можешь, долженъ! Вы не вчера познакомились; уже съ годъ по городу ходили слухи, что ты влюбленъ, что тебя любятъ... Кто же повѣритъ теперь чистотѣ отношеній между молодою хозяйкой и молодымъ повѣреннымъ? Уѣзжай въ Америку, мнѣніе останется!»

— «Боже мой!» всплеснувъ руками, вскричалъ Сережа, а Таня, сдѣлавъ тоже, лишилась чувствъ.

— «Вотъ первый плодъ твоей пламенной любви! Грѣхъ на тебѣ, если ты обманулъ меня! Вѣчное раскаяніе поселится въ груди моей, что я повѣрилъ обманщику и погубилъ честное имя лучшей дѣвушки въ свѣтѣ!... Но мнѣ все равно теперь: любишь, не любишь, а женись!... Вижу насквозь твою нечистую душу. Ага! Отвернулся. Сѣвалдышевъ правъ. О, да не осквернятся уста мои такимъ соблазномъ. Понимаю твое отчаяніе; ты не умѣешь притвориться даже изъ состраданія къ несчастной, которая тебя любитъ не по твоему... Милая Таня, лучше бы тебѣ не просыпаться... Дышетъ! Приходитъ въ себя... Сергѣй Аѳонасьичъ! Не угодно ли вамъ выйти? Ваше присутствіе мо-

жетъ имѣть для больной гибельныя послѣдствія... Сергѣй Аѳонасьичъ, что́ же вы?» прибавилъ Полочка шепотомъ, но Сережа оканчивалъ молитву; слезы лились изъ глазъ его; лице его преображенное любовью чистою, высокою, сіяло; перекрестясь, онъ молча подошелъ къ Танѣ, сталъ передъ нею на колѣни и голосомъ дрожащимъ, но полнымъ сладости и нѣжнаго чувства, сказалъ:

— «Простите!.. Я не смѣлъ... Я васъ считалъ для себя недоступною... какъ небо... я не любилъ... я обожалъ васъ...»

И заливаясь слезами ринулся въ ноги Тани... Она плакала какъ дитя и доплакалась до истерики. Полочка прыгалъ отъ радости; въ восторгѣ, онъ до того забылся, что во все горло закричалъ: «Прохоръ, обѣдать!»—Люди засуетились въ столовой... Полочка приказалъ собраться всей дворнѣ и объявилъ, что отнынѣ Сергѣй Афонасьичъ Лысаковъ, не повѣренный, а женихъ Татьяны Семеновны и будущій глава дома. Таня хотѣла протестовать, но опоздала.

Странно. Бываетъ это въ жизни человѣческой. Идетъ она будто въ мракѣ какомъ-то; будто черною пеленою отъ глазъ закрыто солнце; вдругъ буря, пелена упала, мракъ разсѣялся и стало свѣтло, отрадно; будто ангелъ примиритель пролетѣлъ и еще слышно мѣрное движеніе его невидимыхъ крылій. Такъ было и за трапезой у Татьяны Семеновны. Она была мила по обыкновенію; Полочка болтливъ по обыкновенію; но Лысаковъ, вдругъ изъ гипохондрика — сталъ веселымъ,

любезнымъ собесѣдникомъ; ни тѣни хандры. Полочка не отставалъ отъ счастливой четы; и онъ блаженствовалъ; тѣмъ болѣе, что изъ погреба Лычкинскаго принесли лучшаго вина, а Лычкинъ былъ большой знатокъ этого дѣла. Обѣдъ давно кончился, но бесѣда продолжалась, потому что Полочка допивалъ третью. Неизвѣстно; когда бы она кончилась, еслибы Палашка не вызвала Полочку изъ-за стола, сказавъ ему на ухо: «Извозчикъ!»

— «Забылъ, забылъ! На, душенька, отдай ему!»

— «Не беретъ,» воротясь, сказала Палашка.

— «Не беретъ? Вотъ я его! Не беретъ царскаго сребра...»

— «Охотно беру, только мало... Рядились только сюда... А я тутъ почитай три часа простоялъ...»

— «Такъ простоялъ же! Вѣдь я не ѣздилъ! Лошадь отдохнула. Покормить успѣлъ. На, и ступай!...»

— «Какъ угодно маловато. Рублика два надо!»

— «Ахъ ты, Катилина, Катилина! Рубль за то что ѣхалъ и рубль за то что не ѣхалъ... Вотъ тебѣ, неблагодарный, еще двугривенный; знаю, что Прохоръ будетъ ворчать, ну, да на, и ступай себѣ...»

— «Маловато! Я и полтора не возьму...»

— «Да знаешь ли ты, ненасытный, что ты требуешь отъ меня всего дневнаго жалованья. Послѣднюю копѣйку хочешь вырвать изъ моего кармана... Да впрочемъ бери не бери, больше нѣтъ! Хочешь карманы выворочу...»

— «Такъ за тобой баринъ будетъ, я твою фатеру знаю. Въ школѣ...»

— «Постой, Леонидъ; спрячь деньги,» сказалъ Лысаковъ входя въ ту же комнату съ Таней: «вѣдь надо же намъ на чемъ-нибудь домой ѣхать.»

— «И то правда!»

Извощикъ ушелъ; Полочка еще выпилъ бутылочку; Сережа еще побесѣдовалъ съ Таней, о чемъ, неизвѣстно, и женихъ со сватомъ уѣхали. Дорогой Сережа опять нахмурился.

— «Скажи, Леонидъ, что ты передъ обѣдомъ намѣкнулъ про Сѣвалдышева.»

Тотъ разсказалъ.

— «Скряга, сплетникъ! Слава Богу, развязался я съ нимъ; теперь его и векселей не беру, чтобы не имѣть дѣла. У Лычкина есть его векселя, да я ихъ завтра же сбуду...»

— «Да онъ, кажется, богатъ...»

— «Ужасно; но повѣришь ли, мнѣ разсказывали за вѣрное, что онъ всѣ ломбардные билеты и крупныя ассигнаціи съ собою носитъ. Это очень похоже на правду, потому что его приказчики все сторублевыя вымѣниваютъ. Не хочу никому зла. Сегодня, я совершилъ обѣтъ великій. Господи, дай силъ исполнить! Но я и тебя прошу, Леонидъ; оставь ты ссору съ Сѣвалдышевымъ безъ дальнѣйшихъ послѣдствій. Клевета сама собой погибнетъ. Богъ съ ней!...»

—

VII.

Въ общественномъ саду нашего города, въ августѣ тысяча восемьсотъ неизвѣстнаго года, поутру,

часу въ двѣнадцатомъ, многоуважаемый нами Полочка шелъ съ двумя прекрасными мальчиками, щегольски одѣтыми; одному былъ девятый годокъ, другому — седьмой; оба шли весело, но часто останавливались, потому что Полочка безпрестанно встрѣчалъ предметы, достойные вниманія и объясненія. Всѣ любовались, глядя на красивыхъ отроковъ; всѣ, нѣтъ не всѣ. На скамейкѣ сидѣла Анна Ѳедотовна, бывшая въ началѣ нашей повѣсти Лохмотова, а теперь полковница... по фамиліи Погодяйкина... которая командовала полковникомъ мужемъ, съ отличнымъ успѣхомъ. Полковникъ же былъ не иной кто, какъ тотъ же доблій воинъ, Иванъ Ивановичъ, который также въ началѣ нашего разсказа имѣлъ честь, хотя и вкратцѣ, представляться вашему, благосклонный читатель, вниманію. Прошло съ тѣхъ поръ безъ мала десять лѣтъ, но Анна Ѳедотовна цвѣла сколько доротствомъ, столько же и разными колерами, украшающими человѣчество подъ вечеръ жизни. Кромѣ мужа, во власть свою захватила она еще и правую руку его, полковаго адъютанта; а по состраданію къ несчастнымъ, она держала при себѣ сиротку-компаньонку, глухо-нѣмую. Всѣ были на своихъ мѣстахъ, то есть между командиршей и адъютантомъ сидѣла глухо-нѣмая.

— «Какъ вамъ понравился нашъ городъ?» спросила полковница.

— «Я еще не успѣлъ осмотрѣться, хотя мы здѣсь и болѣе недѣли: утромъ письмо, ввечеру спѣшишь къ вамъ на преферансъ; насилу дождал-

ся праздника, чтобы погулять утромъ. Наружный видъ мнѣ очень понравился.»

— «Вуй; видъ шармантъ. Рѣка какая маниФикъ!»

— «Объ этомъ и говорить нечего. Строеніе тоже очень хорошее. Я думаю, вамъ должно-быть пріятно посмотрѣть на родной городъ?»

— «Комса! Родныхъ у меня тутъ нѣтъ; только Сѣвалдышевъ, да я и не велѣла принимать этого медвѣдя. Сетъ энъ гарпагонъ!»

— «Тутъ, говорятъ, есть удивительный человѣкъ, какой-то Лысаковъ...»

— А! Это мой прежній Селадонъ! Премилый былъ молодой человѣкъ; къ несчастію, купчина. Я чувствовала, что я не рождена для этого круга, и чтобы не мучить его напрасными надеждами, рѣшилась отказать ему на отрѣзъ. Бѣдный, чуть съ ума не сошелъ! Уѣхалъ въ свой посадъ Зипуновку; не вытерпѣлъ, недѣли черезъ четыре воротился, получилъ второй отказъ и съ отчаянія женился на Таничкѣ Лычкиной. Я полагаю, что вышелъ хорошій марьяжъ, потому что она настоящая купчиха, простая такая, добрая, и онъ, нельзя сказать, добрый человѣкъ, но удивительнаго я ничего не замѣчала.

— «Можетъ-быть преувеличиваютъ, но то, что разказываютъ...»

— «А что́ разсказываютъ?..»

— «Будто онъ на свой счетъ построилъ въ городѣ двѣ каменныя церкви, да въ посадѣ, какъ вы называете, Зипуновкой?»

— «Да.»

— «Тамъ церковь каменную, да на мѣстѣ, гдѣ медвѣдь разорвалъ тестя, часовню.»

— «Что́ же тутъ удивительнаго? Онъ самъ былъ богатъ, а за женой взялъ, говорятъ, до двухъ милліоновъ... торговалъ счастливо...»

— «Все такъ, но это только начало. Говорятъ, что въ посадѣ и въ городѣ на свой счетъ устроилъ и содержитъ богадѣльни. И это не удивительно, положимъ, но спѣшить на помощь каждому несчастному; не ожидать къ тому случая, а усердно искать, гдѣ только можно помочь больному и бѣдному, это, Анна Ѳедотовна, не шутка! Говорятъ, что онъ, несмотря на всю скромность свою, на всѣ старанія скрывать свои благодѣянія, не можетъ показаться на улицѣ. Собираются толпы имъ облагодѣтельствованныхъ... это удивительно, Анна Ѳедотовна, и удивительно въ нашъ вѣкъ, когда самые добрые люди стали тѣ, которые другому только зла не дѣлаютъ.»

Анна Ѳедотовна молчала. Адъютантъ всё болѣе и болѣе одушевлялся.

— «Говорятъ, что домашняя жизнь ихъ, это какой-то рай, исполненный чистаго счастья.»

Анну Ѳедотовну будто что укололо.

— «Жена плаваетъ въ блаженствѣ; четверо дѣтей, точно купидончики!.. Дочери, говорятъ, будутъ первокласныя красавицы, а мальчики получатъ отличное образованіе; потому что, кромѣ лучшихъ учителей въ городѣ, дядькой у нихъ истинный другъ ихъ отца и матери, какой то Полочка. Говорятъ, онъ былъ прежде учителемъ; но

когда у Лысакова пошли дѣти, онъ бросилъ службу, отказался отъ карьеры, несмотря на всѣ убѣжденія начальства, и пошелъ въ гувернеры; говорятъ, будто даже у нихъ условія нѣтъ; безъ всякаго уговора; и ни одинъ, ни другой того не замѣчаютъ... Какъ хотите, Анна Ѳедотовна, а все это удивительно.»

Анна Ѳедотовна имѣла свои и не маловажные недостатки, слегка уже нами указанные, но въ самомъ дѣлѣ была женщина добрая и чувствительная. Случай и родъ жизни лишили ее возможности блистать, можетъ-быть, такими же добродѣтелями, какими блистала Татьяна Семеновна.

— «Я очень была бы рада, сказала она, если бы все то, что вы разсказываете, оказалось истиной. Воаля Полочка! Воаля и сыновья Лысакова! эта часть вашего разсказа оказывается справедливою. Дѣти шарманъ! Леонидъ Степанычъ, Леонидъ Степанычъ! Вы меня не узнаете?..»

— «Ахъ, матушка Анна Ѳедотовна, извините, извините, всегда близорукъ былъ; теперь еще, какъ нерестaлъ поправлять стихи да хріи по сотнѣ въ день, и зрѣніемъ и здоровіемъ поправился; да и жизнь-то матушка наша, бархатная, тихая, беззаботная, много способствуетъ здоровью; а все таки опознался; простите, матушка. Давно ли здѣсь?»

— «Съ недѣлю.»

— «А на долго-ли?»

— «Да вѣдь мы съ полкомъ тутъ.»

— «Боже мой, Иванъ Иванычъ? Кажется, прія-

тели были. Пѣлъ прекрасно; басъ такой основательный, знаете, важный басъ. Такъ вы съ полкомъ? А давно ли васъ произвели?»

— «Да ужъ больше полугода! А это дѣти, вѣрно...»

— «Наши, наши, хорошія дѣти; не устыдятъ отца, матери и наставника. Извините, матушка, намъ пора...»

— «Куда же такъ рано?...»

— «Первый часъ скоро. У насъ такое заведеніе, какъ на городскихъ часахъ начнетъ бить полдень, такъ съ послѣднимъ двѣнадцатымъ ударомъ Сергѣй Аѳонасьичъ изъ конторы, Татьяна Семеновна изъ бодуара съ дѣвчонками, я съ мальчуганами съ гулянья, такъ всѣ въ столовую и входимъ... такъ и боишься опоздать; никто сердиться не будетъ, да самому жаль.»

— «Позвольте васъ спросить...»

— «Безъ четверти двѣнадцать! Извините, самымъ скорымъ шагомъ едва успѣемъ... Дѣти, маршъ!...»

И Полочка пошелъ скорымъ маршемъ; дѣти за нимъ бѣжали, подпрыгивая. Первый ударъ городскихъ часовъ раздался. Полочка со своими птенцами былъ уже на лѣстницѣ, свѣтлой, устланной коврами, убранной цвѣтами. Домъ и мыза Лычкинскія были давно проданы; Лысаковъ построилъ новый, въ самомъ модномъ вкусѣ. Это былъ первый домъ въ городѣ и по архитектурѣ, и по внутреннему расположенію, и по хлѣбосольству хозяина. Раза три четыре въ годъ собирались всѣ значи-

тельнѣйшія лица въ городѣ къ Сергѣю Аѳонасьевичу на богатые пиры; но сверхъ-того, у Лысакова каждое воскресенье собиралось нѣсколько человѣкъ къ обѣду и у него же проводили вечеръ за партіей преферанса. Татьяна Семеновна любила играть; постоянный ея товарищъ Полочка тоже; но хозяинъ игры не жаловалъ; онъ толковалъ съ купцами о ходѣ торговли, о литературныхъ новостяхъ, и тому подобномъ. Какъ ни счастливо, какъ ни пріятно текла жизнь этого семейства, но съ лица Сергѣя Аѳонасьевича не сходилъ слѣдъ, намекъ тяжкой жизни; чело его рѣдко разглаживалось; еще рѣже улыбка оживляла плотно сомкнутыя уста. И Полочка и Татьяна Семеновна привыкли къ этому выраженію лица, и не обращали на то вниманія. Гости собрались уже къ обѣду; хозяйка старалась ихъ занять, какъ умѣла. Полочка съ дѣтьми подоспѣлъ къ ней во время на помощь, потому что она истощила всѣ свои обычные вопросы и привѣтствія.

— «Знаете ли кого я видѣлъ!» воскликнулъ Полочка, входя въ гостиную: «Право не угадаете! Да что васъ мучить? — Анну Ѳедотовну!»

— «Вотъ новость!» перебилъ гость: «Да она ужъ съ недѣлю какъ здѣсь; а на вечернихъ катаньяхъ каждый день щеголяетъ съ мужемъ, и еще дѣвушка, да офицеръ. Гордая стала, прости ей Господи! Сѣвалдышевъ приходится ей съ родни; Сѣвалдышева старшій братъ былъ женатъ на сестрѣ ея матери; услышалъ, что пріѣхала, толкнулся было къ ней съ почтеніемъ, холопы не пусти-

ли. Говорятъ, не приказано. Надо было видѣть, какъ старика взорвало. Почитай первый разъ въ жизни сѣлъ на извозчика; жтти не могъ; отъ бѣшенства пріѣхалъ на биржу; ругался, ругался, такъ, что всѣ разошлись; и теперь еще не спокоенъ. Вчера пришелъ на биржу, а тутъ, какъ на зло, пришли изъ Нижняго вѣсти; ярмарка стояла важная; у Лысакова не хватило товара: все продано, а у Сѣвалдышева почитай весь товаръ на рукахъ остался. Лысаковскіе приказчики закупили товаръ почти за даромъ, а у Сѣвалдышевскихъ не хватило денегъ; бѣда, и только! Ужъ онъ давно не знаю за что косится на Сергѣя, а вчера ужъ и не выдержалъ...»

— «Полно, почтеннѣйшій,» перебила Татьяна Семеновна: «ему же и стыдно; мы про его злобу не хотѣли бы слышать. Вотъ лучше, Леонидъ Степанычъ, разскажите про Анну Ѳедотовну.»

— «Да что разсказывать? Толста, размалевана, разряжена, сидитъ себѣ въ общественномъ саду и въ лорнетъ смотритъ. Богъ съ нею! Да гдѣ же это Сергѣй, право? Сегодня безпорядокъ! Перваго десять минутъ...»

— Да, приказчики изъ Нижняго пріѣхали; какъ пришелъ отъ ранней обѣдни, такъ и заперся съ ними въ конторѣ... да еще губернскій архитекторъ у него сидѣлъ больше часа... Вотъ, кажется идетъ...»

— «Воскресенье, Сергѣй, а ты выходишь позже чѣмъ въ будни.»

— «Такой случай,» сухо отвѣчалъ Лысаковъ;

лицо его было изморщено пуще обыкновеннаго: «Приказчики просто чудесъ надѣлали въ Нижнемъ; разсказываютъ, будто въ лавкахъ нашихъ по триста человѣкъ за разъ толпилось: мѣрить, рѣзать, завертывать не успѣвали; изъ силъ выбились. Съ новой моей фабрики товаръ до тла искупленъ. Говорятъ, если бъ втрое было, все бы сошло; а тутъ кстати подъѣхалъ Кирилло Григорьевичъ; привезъ чертежи, какъ бани строить...»

— «Бани!» воскликнули всѣ гости и Полочка.

— «Да, бани! Городъ обширный, много народа чистаго живетъ, а въ бани ходить нельзя; у кого есть своя, — хорошо; а у кого нѣтъ, такъ, одолжайся чужими; да и то сказать, для простаго народа дороговато въ нашихъ городскихъ баняхъ и простудно; вотъ мы и хотимъ построить такія, чтобы никому не стыдно было поѣхать; и чтобы дешево было сколько можно. Кирилло Григорьичъ мастеръ своего дѣла. Чудесные чертежи. Прибыли, признаться, никакой не будетъ, да зато городу большое удобство. Вотъ я Кириллъ Григорьичу и разсказываю про Нижній; говорю, что надо фабрику увеличить; онъ тутъ же схватилъ карандашикъ и давай чертить; то есть, право, важный архитекторъ: такъ все знатно, умно разсчиталъ, что старая будетъ себѣ дѣйствовать безпрепятственно, а новая возлѣ еще до зимы выростетъ... много превосходнаго онъ тутъ придумалъ: и церковь своя, и для рабочихъ жилые дома, а ужъ пуще всего мнѣ понравилась больница. Теперь таскай больныхъ за шесть верстъ, хотя я и устроилъ

для того карету; да все въ иную пору года и трудно и опасно; а тутъ больница подъ рукой; лекарь и фельдшера всегда на лицо, аптека тутъ же, а скорая помощь всего важнѣе. Э, да скоро часъ! Таничка, пора!..»

— «Пора, мой другъ, да вотъ ты самъ виноватъ; заслушались. Милости просимъ...»

Гости пошли за хозяйкой; послѣдніе шли хозяинъ съ Полочкой. Леонидъ остановилъ Лысакова въ одной изъ проходныхъ комнатъ.

— «Сергѣй, что̀ съ тобой?»

— «Со мной? Ничего!»

— «Не правда, что̀ нибудь да случилось! Посмотри въ зеркало, ты никогда не былъ такъ печаленъ...»

— «Никогда? Леонидъ, ты не поймешь моей печали! ты будешь смѣяться надъ ея поводами. Я слишкомъ, слишкомъ, черезъ-чуръ счастливъ! Избытокъ удачъ меня пугаетъ; мнѣ кажется, этотъ потокъ опрокинется водопадомъ и броситъ меня въ пучину, откуда нѣтъ исхода... Я достигъ до такого состоянія, которое грѣхъ уже увеличивать; а надо тебѣ знать, что я объ этомъ не заботился; я обращаю барыши на общеполезныя предпріятія, на дѣла Богу угодныя. И что̀ же? Самыя безкорыстныя начинанія непостижимыми путями приносятъ мнѣ неожиданныя, огромныя прибыли...»

— «Что же тутъ такого печальнаго?..»

— «То, что я этого счастія не стою... Каждый день я жду...»

— «Сережа, Леонидъ Степаничъ, что же вы?..» раздался голосъ изъ столовой.

— «Пойдемъ! Я сказалъ тебѣ все; больше сказать немогу...»

Но едва вошли они въ столовую, какъ двери съ шумомъ растворились; въ комнату вбѣжалъ съ громкимъ смѣхомъ Карпъ Трофимычъ...

Не думайте, чтобы въ продолженіи этихъ десяти лѣтъ дядюшка не видался съ племянникомъ. Напротивъ того, не проходило ни одного года, чтобы дядюшка не побывалъ у племянника въ городѣ, а племянникъ у дядюшки въ Зипуновкѣ, гдѣ онъ торговалъ бакалейными товарами при пособіи Лысакова, подъ присмотромъ и руководствомъ надежнаго приказчика. Но эти взаимныя посѣщенія обыкновенно бывали въ опредѣленный срокъ. Дядюшка пріѣзжалъ въ городъ къ Масленной на ярмарку; а племянникъ уѣзжалъ въ Зипуновку всегда въ первыхъ числахъ марта. Посѣщеніе дядюшки въ августѣ показалось весьма страннымъ для всѣхъ, въ особенности для хозяина, тѣмъ болѣе, что дядюшка былъ въ охотничьемъ платьѣ, и не совсѣмъ въ трезвомъ видѣ.

— «Удивилъ? а? удивилъ? не правда ли? Какъ снѣгъ на голову? а? не ожидали?.. То-то же! Старый другъ лучше новыхъ двухъ! вотъ что! Гренадеръ мой и полковникъ сталъ, а все Карпа не забылъ; со всей охотой въ Зипуновку пожаловалъ, да прямо ко мнѣ! А! Полковникъ, чужой, а лучше роднаго иногда... Угостилъ же и я его по старинному. Кутнули, быль помянули, да и от-

правились на охоту: разнаго звѣря настрѣляли; вѣшь, не могу... Зимовать у насъ будетъ Иванъ Ивановичъ! То-то житье пойдетъ! Я со всею моею бакаліей въ городъ перебираюсь... Что мнѣ въ Зипуновкѣ отъ скуки гнить. Завтра же найму лавку и кончено...»

— «Утро вечера мудренѣе,» сухо сказалъ Лысаковъ: «а теперь хлѣба соли не хочешь ли?..»

— «Хлѣбосолъ ты братъ на языкѣ; да ужъ пожалуй, отъ хлѣба соли не бѣгаютъ... Вели подать водки!..»

Карпъ Трофимычъ скоро нализался до нельзя; его отвели въ боковую комнату и уложили; все пошло обычнымъ порядкомъ; играли въ преферансъ, толковали о нижегородской ярмаркѣ, поужинали и улеглись на покой; за то Карпъ Трофимычъ успѣлъ выспаться. Проснувшись, онъ долго не могъ понять, куда попалъ; при блескѣ отъ лампады, теплившейся предъ иконою, онъ замѣтилъ что на столѣ у зеркала стоятъ свѣчи. Карпъ Трофимычъ зажегъ свѣчу и пустился путешествовать по комнатамъ; то были парадные покои и онъ скоро узналъ въ нихъ хоромы племянника.

— «Видишь, какой роскошникъ! Чего тутъ у него нѣтъ; и фарфоръ и золото и зеркала; а диваны-то какіе; словно на качеляхъ, такъ и подмываетъ; штофъ, бархатъ... Тфу ты, гладь какая на столахъ...»

Такъ разсуждалъ онъ проходя по комнатамъ и осторожно трогая вазы, софы, столы и разную щегольскую рухлядь.

— «Ба, ба, ба! Это что? Оружейная!» .

И Карпъ Трофимычъ сталъ разсматривать старинное оружіе, красиво развѣшанное по стѣнамъ небольшой диванной; осмотръ его продолжался довольно долго; но къ утру онъ утомился и прилегъ на старомъ мѣстѣ. Его разбудили къ обѣду; пожурили; покормили; подкрѣпили и виномъ, но въ мѣру и отправили въ Зипуновку подъ строжайшій присмотръ приказчика. Все опять пошло по прежнему. Лысаковъ, по совѣту Полочки, посѣтилъ полковника; Таничка тоже побывала у Анны Ѳедотовны; обмѣнялись визитами, обѣдами, вечерами; а между-тѣмъ наступила осень; пошли общественныя собранія, балы, театры; занумѣла бѣлая зима и улеглась чистымъ саваномъ на улицахъ нашего города. Полковникъ часто ѣздилъ на охоту; надо сказать что и Анна Ѳедотовна находила, что для здоровья Ивана Ивановича это очень полезная забава Послѣ сытнаго завтрака, Иванъ Ивановичъ хотѣлъ взять съ собою и адъютанта; но Анна Ѳедотовна объяснила, что и ей тоже нужна правая рука На что́ Иванъ Ивановичъ сказалъ: «Ну, какъ хочешь,» и уѣхалъ... Охота удалась на славу. Въ городѣ всѣ заговорили о разныхъ подвигахъ охотниковъ; но всѣхъ больше отличился Карпъ Трофимычъ; какимъ образомъ, не могу вамъ объяснить, только разсказывали за истину, будто дядюшка вспрыгнулъ на бѣгущаго испуганнаго медвѣдя верхомъ и на бѣгу зарѣзалъ его ножемъ.

— «Чепуха!» торжественно возгласилъ Полочка слушая такой странный разсказъ: «Какого ножа надо

для такого подвига, а пуще какой силы. А нашъ старый Карпъ развѣ въ пьянѣ совершилъ убійство нечаянно, и то чудеснымъ образомъ... Какъ хотите, не вѣрю. Какъ ты думаешь, Сережа?..»

— «Конечно, конечно...» отвѣчалъ онъ разсѣянно, взялъ свѣчу со стола и ушелъ... Долго не возвращался Лысаковъ въ гостиную; такъ долго, что гость ушелъ не простясь съ нимъ; дѣти тоже ушли спать; въ гостиной остались Таня да Полочка.

— «Гдѣ это Сережа?» спросила Таня съ примѣтнымъ безпокойствомъ.

— «Я объ этомъ цѣлый часъ думаю. Ввечеру онъ дѣлами не занимается.

— «Ну, нѣтъ, вчера ввечеру что-то писалъ ..»

— «Вчера? Что же онъ писалъ?..»

— «Я никогда объ этомъ не спрашиваю. Полагаю, по новой фабрикѣ. Она совсѣмъ готова. Въ посту начнутъ работать. А можетъ-быть и по ярмаркѣ; завтра откроется...»

— «Я смотрѣлъ сегодня лавки; на чудо убраны; какой товаръ, какой порядокъ; то есть, я вамъ скажу, въ столицѣ не должно быть лучше... Вотъ и онъ идетъ... Господи!»

— «Милостивый Боже, что съ нимъ? Какъ онъ страшенъ, глаза сверкаютъ; чего онъ ищетъ!..»

— «Пойдемте къ нему!..»

— «Я боюсь, я вся дрожу... Боже мой, Боже! Смотрите, какъ онъ нагибается, какъ ложится на полъ; ищетъ подъ столами и стульями. Что бы могло такъ сильно его встревожить...»

— «Сергѣй, что́ съ тобой!»

Лысаковъ былъ уже въ гостинной, и дѣйствительно, видъ его былъ страшенъ. Глаза налились кровью; губы посинѣвъ дрожали; онъ искалъ пламенными взорами чего-то и, казалось, ни одна щель не ускользнула отъ его вниманія. Голосъ Полочки заставилъ его вздрогнуть; рукою онъ закрылъ глаза и нѣсколько мгновеній пробылъ какъ-будто въ безпамятствѣ. Полочка поспѣшилъ взять изъ рукъ его подсвѣчникъ, а Таня съ нѣжностію обнявъ мужа, повела его къ софѣ...»

— «Что случилось, милый, скажи намъ! Что пропало?..»

— «Бездѣлица,» прошепталъ онъ не безъ труда: «Но первый разъ въ моемъ домѣ, изъ кабинета, изъ конторки...»

— «Да что такое?..»

— «Пустяки! Какъ тебѣ сказать!.. Вексель, дрянной, всего шестьсотъ, да сегодня срокъ; я вспомнилъ... ищу... не нашелъ... Ну, да перестанемъ объ этомъ; мнѣ стало такъ досадно; я вышелъ изъ себя и перепугалъ васъ, добрые мои друзья!.. Не правда ли? Отъищется; пустяки, да и потеря не важная; но иногда булавка приводитъ въ бѣшенство!.. Я теперь совершенно успокоился. Гдѣ же наши гости, дѣти?..»

— «Ушли спать! Вѣдь ты часа два тамъ провозился...»

— «Неужели? Что значитъ досада; ну, такъ пойдемъ же и мы спать. Сонъ большой лекарь!»

— «Какъ, пойдемъ спать, и безъ ужина! Вторая

повость! Да этого съ тобой тоже никогда не бывало...»

— «Правда, правда! Такъ пойдемъ же ужинать...»

— «Третья новость!» вскричалъ Полочка уже за ужиномъ: «Ты пьешь вино!»

Сергѣй Аѳонасьичъ выплюнулъ вино и сказалъ:

— «Прости Господи! задумался...»

— «О чемъ?»

— «О армаркѣ! Завтра разыграется, а я пускаю много товаровъ такихъ, которыми не торговалъ прежде; пускаю по совѣстливой цѣнѣ; всѣ на меня возстанутъ. . Сѣвалдышевъ будетъ ругать меня на всѣхъ перекресткахъ... Ну, да утро вечера мудренѣе. Пора на покой...»

Полочка задумчиво смотрѣлъ вслѣдъ уходившему Лысакову; онъ замѣтилъ, какъ другъ его раза два посмотрѣлъ въ углы столовой, какъ-будто чего то тамъ искалъ.

— «Вексель?» сказалъ тихо Полочка: «Нѣтъ, не векселя ты ищешь! Тутъ есть какая то тайна, страшная, непонятная; но не знаю почему, а мнѣ самому страшно... Постой, онъ былъ въ кабинетѣ, онъ вышелъ оттуда въ бѣшенствѣ; слѣдственно не успѣлъ запереть его. Пойдемъ!..»

Но кабинетъ былъ запертъ. Возвращаясь, Полочка замѣтилъ въ оружейной необыкновенный безпорядокъ; многія ружья валялись по полу и диванамъ.

— «Вотъ онъ гдѣ былъ!»

Напрасно Полочка ломалъ голову; никакой догадки не приходило на мысль, которая бы сколько-нибудь могла объяснить дѣло. Полочка всю ночь не могъ заснуть; чуть свѣтъ онъ всталъ; пошелъ въ оружейную, но тамъ все уже висѣло въ прежнемъ порядкѣ.

— «Что за дьявольщина! Вѣдь не снилось же мнѣ! Спрашивать у людей не приходится; у Тани — перепугается; у него... страшно! А что́ то есть... Надо уйти, не то еще застанетъ...»

Едва вошелъ онъ въ столовую, какъ туда же изъ спальни пришелъ и Лысаковъ. Мрачный, увидавъ Полочку, Лысаковъ сталъ веселъ; обнялъ друга съ чувствомъ; звалъ на ярмарку и выпивъ на-скоро стаканъ чаю, отправился въ ряды. Лысаковъ не ошибся. Лавки его были биткомъ набиты покупателями; знаменитый персидскій магазинъ Хазаръ-Хаимки былъ тутъ же, но обратился теперь въ балаганную лавку; Сѣвалдышевъ, стоя у своей пустой лавки, ругался, необинуясь, во всеуслышанье; и ярмарка пошла своей чередой; въ каменныхъ новыхъ рядахъ торговали и при огнѣ; Лысаковъ успѣвалъ только пообѣдать да выспаться; а то все время проводилъ въ лавкахъ. Необыкновенно успѣшная торговля его вывела Сѣвалдышева изъ терпѣнія; онъ рѣшился войти въ лавку Сергѣя Аѳонасьевича; обругалъ его въ лицо, плюнулъ и ушелъ... Лысаковъ вскинѣлъ... но вдругъ опомнился, презрительно улыбнулся и обратясь къ покупателямъ, сказалъ тихо:

— «Вы видѣли, слышали?»

— «Давно батюшка видимъ и слышимъ. Ты только пожалуйся; а весь городъ будетъ за тебя свидѣтелемъ...»

— «Жаловаться!» Лысаковъ опять презрительно улыбнулся и сталъ разговаривать о другихъ предметахъ.

—

IX.

Наступилъ постъ. Ярмарка расползалась, точно также какъ и зима, гонимая мартовскимъ вѣтромъ. Такія же лужи стояли на улицахъ, какъ были въ это же время въ достопамятную Масленницу ровно десять лѣтъ тому назадъ. Не смотря на то, что первая седмица марта уже отошла, колеса еще не замѣнили санныхъ полозьевъ; съ визгомъ дохватывало иногда до обнаженнаго камня мостовой; на большой рѣкѣ появились проталины, стояли озера; а на рѣчкѣ, раздѣлявшей нашъ городъ на двѣ равныя части, спѣшили окончить починкою мостъ по настоятельному требованію Христіана Христіановича Штырха. Онъ жилъ по ту сторону рѣчки, въ собственномъ домѣ, тогда какъ большая и важнѣйшая часть его паціентовъ пребывала на этой, такъ-сказать аристократической сторонѣ; домъ Лысакова былъ въ томъ числѣ и занималъ почти половину всей набережной рѣчки. Всегда веселый, открытый для каждаго, этотъ домъ сталъ унылъ и грустенъ. Въ первыхъ числахъ марта Сергѣй Аѳонасьевичъ обыкновенно уѣзжалъ въ Зипуновку, къ дядюшкѣ, или лучше сказать, отвозилъ дядю; но къ общему

удивленію Карпъ Трофимычъ на Масленницу въ городъ не пріѣхалъ. Племянникъ также не разсудилъ ѣхать къ нему и панихиду за упокой Лычкина отслужили не въ часовнѣ воздвигнутой на мѣстѣ его смерти, но въ городскомъ соборѣ. Обѣденный столъ былъ утомительно скученъ; да и кому охота въ такой день корчить забавника; веселіе на умъ нейдетъ; тѣмъ болѣе, что веселость при этомъ случаѣ могла бы оскорбить хозяйку, грустную, заплакавшую, увлеченную разными воспоминаніями. Не удивительно, что гости разошлись раньше обыкновеннаго. Полочка предвидя, что преферанса не будетъ, пошелъ къ Ивану Ивановичу на вечеръ; дѣти разошлись по своимъ комнатамъ; въ гостиной остались супруги. Оба были грустны, задумчивы... Стало смеркаться...

— «Сережа,» съ трепетомъ сказала Таня: «не велѣть ли подать свѣчи...»

— «Пожалуй, а что́?...»

— «Такъ! Невольно припоминается то, чего бы припоминать не хотѣлось...»

— «Что́ же тебѣ припоминается?»

— «Не спрашивай, Сережа! Въ эту пору, десять лѣтъ тому назадъ, въ этотъ самый день, когда батюшка былъ на роковой охотѣ, я вижу вдругъ, входитъ онъ длинный, бѣлый, страшный... Спасите меня!» вдругъ не своимъ голосомъ закричала Таня: «Вотъ онъ идетъ! Прямо ко мнѣ...»

— «Я никого не вижу... Таня!»

— «Не подходи! онъ разорветъ тебя!...»

— «Огня, подайте огня! Ей что́-то причудилось!»

— «Спасите меня! онъ душитъ! спасите, спасите!»

Лысаковъ въ другой комнатѣ вырвалъ у бѣжавшей служанки свѣчу, вошелъ поспѣшно въ гостиную. Таня лежала на богатомъ коврѣ безъ чувствъ... Въ комнатѣ болѣе никого не было... Припавъ къ женѣ, онъ увѣрился, что припадокъ обморока не лишилъ ея жизни; съ помощію служанки ему удалось привести ее въ чувство, но вслѣдъ затѣмъ открылась жестокая лихорадка. Уложивъ Таню въ постель, Лысаковъ пошелъ искать кого-нибудь, чтобы послать за Штырхомъ. Какъ будто съ умысломъ всѣ лакеи и кучера разбрелись неизвѣстно куда. Нечего дѣлать. Лысаковъ самъ схватилъ съ крючка чью-то шубу, отъискалъ чужую шапку и выбѣжалъ на улицу.

— «Извозчикъ!»

— «Куда изволишь?»

— «Къ Штырху!...»

— «За мостъ?»

— «Ну, да, за мостъ! Подавай проворнѣе...»

— «Три гривенника!»

— «Да подавай только! Пошелъ, что силы есть...»

— «Теперь шибко не поѣдешь, вишь какая слякоть... Вотъ бы намъ спуститься только на рѣку, а тамъ поглаже будетъ... Вотъ, прости Господи, хотя бы на спускъ-то фонарь поставили... Того гляди опрокинешь... Да и темь-то какая! Зги не видно!... Ну, слава тебѣ Господи; теперь только подъ мостомъ опасно...»

— «Помогите! помогите! Рѣжутъ, караулъ, помогите!»

Этотъ крикъ послышался подъ мостомъ. Лысаковъ выпрыгнулъ изъ саней и бросился на крикъ; извозчикъ въ испугѣ повернулъ оглобли и сколько силы стегая свою клячу, уѣхалъ. Лысаковъ подходя къ мосту, видѣлъ какъ по ту сторону моста кто-то вскочилъ на сани и также умчался... Подбѣжавъ къ мѣсту преступленія, Лысаковъ слышалъ только хрипѣніе и предсмертные стоны. Онъ наткнулся на мертвое, но еще теплое тѣло. Чтобы сколько нибудь разсмотрѣть состояніе несчастной жертвы, онъ приподнялъ трупъ и кровь хлынула на него ручьемъ; когда онъ вытащилъ его изъ-подъ моста, на рѣчкѣ съ обѣихъ сторонъ показались люди, блеснули фонари.

— «Сюда! сюда!» кричалъ онъ, но и безъ того полицейскій чиновникъ и служители окружили его и освѣтили сцену...

— «Что̀ я вижу!» воскликнулъ Лысаковъ, уронивъ трупъ: «Сѣвалдышевъ!»

— «Сѣвалдышевъ?» глухо повторили полицейскіе.

— «Онъ никогда не ѣздилъ на извозчикѣ; лукавый попуталъ; разъ, и тотъ такъ неудачно...»

— «На извозчикѣ?» сомнительно покачивая головою, сказалъ чиновникъ: «Можетъ быть и на извозчикѣ; только мы ни одного не видѣли, да и слѣдовъ-то не видно...»

— «Еще бы теперь въ распутицу, когда все подъ водою...»

— «Пусть себѣ и въ распутицу...»

— «Ну, дѣлайте, господа, какъ знаете, а я ужо̀ заѣду въ полицію, объясню полицмейстеру...»

— «Да зачѣмъ откладывать, не угодно ли сейчасъ со мною?»

— «Не могу; у меня жена при смерти; я ѣхалъ за Штырхомъ.»

— «Нельзя, Сергѣй Аѳонасьичъ; дѣло не ладно; за Христіаномъ Христіанычемъ Наумъ сбѣгаетъ... да смотри, болванъ, не проговорись; скажи только, что Татьяна Семеновна нездорова; сейчасъ къ себѣ проситъ. Пошелъ! А мы, Сергѣй Аѳонасьичъ, отправимся! Пусть рѣшитъ начальство, а намъ нельзя...»

— «Ты правъ! Пойдемъ.»

Не понятно, какъ это дѣлается въ провинціальныхъ городахъ. Не успѣли дойти до полицмейстерскаго дома, который былъ можетъ-быть въ полуверстѣ отъ моста, а уже тамъ все было извѣстно. У полицмейстера были гости; нѣкоторые остались изъ любопытства; другіе ушли, чтобы имѣть удовольствіе поразить своихъ знакомыхъ удивительною и въ нашемъ городѣ небывалою вѣстью. Осторожный однако же полицмейстеръ, зная, какою прекрасною славою пользуется Лысаковъ во всей губерніи и дальше, счелъ обязанностію производить дѣло со всею предусмотрительностію и по всѣмъ тончайшимъ требованіямъ закона. Когда доложили о прибытіи Лысакова съ непріятнымъ для него спутникомъ, полицмейстеръ Малынжаковъ приказалъ просить его въ *секретную*. Тамъ стоялъ только столъ, два стула и кровать, съ весьма твердою и невзрачною постелью.

— «Батюшка, Сергѣй Аѳонасьевичъ! Что ты это надѣлалъ?»

Такъ встрѣтилъ полицмейстеръ Лысакова.

— «Я? Къ сожалѣнію ничего; опоздалъ; а то бы убійца не увернулся; можетъ быть и самое убійство не совершилось бы.»

— «Послушай, Сергѣй Аѳонасьевичъ! Вѣдь дѣло-то не ладно, придется посидѣть у насъ въ секретной...»

— «Что же дѣлать! Я безпокоюсь только о моей женѣ... Она въ сильной лихорадкѣ; вѣсть эта можетъ убить ее!... Если бы можно было отыскать Полочку, я научилъ бы его какъ поступать, пока...»

— «Не угодно ли тебѣ научить меня, я весь къ твоимъ услугамъ, готовъ для тебя на все, только ужъ ни Полочки, ни живой души безъ губернаторскаго разрѣшенія къ тебѣ не пущу.»

— «Что ты это говоришь, кумъ? Да развѣ я преступникъ?...»

— «Пока въ подозрѣніи, а тамъ окажется по дѣлу сущая истина... Ну, такъ научай же, что мнѣ сказать Полочкѣ?»

— «Но кто же меня обвиняетъ?»

— «Обстоятельства, куманекъ; да не трусь; что можно, обдѣлаемъ. Говори скорѣе, что сказать Полочкѣ; мнѣ некогда; я долженъ сейчасъ съ рапортомъ ѣхать къ губернатору; онъ назначитъ чиновника; мы съ нимъ да съ лекаремъ произведемъ слѣдствіе; для тебя только, пожалуй еще сегодня допросимъ тебя и выпустимъ на поруки... Ну, что же Полочкѣ?...»

— «Благодарю за твою дружбу, кумъ, я умѣю быть благодарнымъ; а Полочкѣ скажи, чтобы Штырхъ запретилъ всѣмъ входить въ комнату къ Танѣ впредь до его разрѣшенія, кромѣ одной Палашки. Подъ этимъ предлогомъ, она можетъ меня и не видѣть день, другой.»

— «Преумно, куманекъ; прощай пока!»

Лысаковъ остался одинъ — и невольный ужасъ сталъ подниматься безмѣрнымъ призракомъ: привидѣніе и болѣзнь Тани, городскія сплетни, трудность открыть скоро настоящаго убійцу, унизительная роль подозрѣваемаго въ убійствѣ при допросахъ, еще призраки... И Лысакову стало холодно; лихорадка заглядывала и ему въ глаза; кровь то отхлынетъ и слѣдъ ея подернетъ морозомъ, то прильетъ къ головѣ и сердцу, и все тѣло въ пожарѣ. Въ этомъ мучительномъ состояніи прошло нѣсколько часовъ. Шумъ въ сосѣдней комнатѣ заставилъ Лысакова опомниться. Онъ слышалъ, что-то тяжелое внесли въ ту комнату; долго возились, наконецъ все утихло; двери изъ этой комнаты отворились; какой-то чиновникъ сказалъ тихо: «Пожалуйте!» У окна на столѣ, закрытый простыней до шеи, лежалъ мертвый Сѣвалдышевъ. За столомъ сидѣло трое слѣдователей. Въ серединѣ Антонъ Антоновичъ Чипсъ, пріятель и поклонникъ Бамазѣи; по правую отъ него руку Малыпаковъ, по лѣвую лекарь, съ боку секретарь. Больше никого не было въ комнатѣ, только въ сторонѣ стоялъ еще столъ, съ вещами; Антонъ Антоновичъ Чипсъ грозно посмотрѣлъ на Лысакова; воспаленный, изму-

ченный призраками и событіями дня, онъ былъ по истинѣ страшенъ. Ему предложили сѣсть: онъ чуть не упалъ въ кресла. Послѣ нѣкоторыхъ формальностей, Чипсъ спросилъ:

— «По какому поводу вы были во враждѣ съ Сѣвалдышевымъ?»

— «Я никогда ни съ кѣмъ не былъ во враждѣ, тѣмъ менѣе съ Сѣвалдышевымъ »

— «Позвольте вамъ напомнить, что не далѣе, какъ въ послѣдній день Масленной, онъ нанесъ вамъ въ лавкѣ тяжкую обиду.»

— «Я простилъ ему безсильную и грѣшную злобу.»

— «Хотя это и не совсѣмъ по человѣчески, но допустимъ. Скажите намъ: по какому поводу вы очутились подъ мостомъ вмѣстѣ съ Сѣвалдышевымъ и одни?»

— «Я ѣхалъ на извозчикѣ къ Штырху, потому что моя жена опасно занемогла; услышавъ крикъ, я выскочилъ изъ саней; видѣлъ какъ человѣкъ и, вѣроятно, извозчикъ бѣжалъ изъ подъ моста, вскочилъ на сани и умчался; мой сдѣлалъ то же.. »

— «Тутъ не вѣроподобны всѣ показанія. Отчего вы поѣхали къ Штырху сами, когда всегда посылаете людей, а ихъ у васъ болѣе полусотни.»

— «Къ собственному моему удивленію, я не нашелъ ни одного дома.»

— «Допросить людей, отмѣтьте! Отчего же на извозчикѣ, когда у васъ на конюшнѣ нѣсколько четвериковъ.»

— «По той же причинѣ. Я не нашелъ ни одного кучера...»

— «Странно! Отмѣтьте: допросить кучеровъ. Отчего вы не задержали того человѣка, что выскочилъ изъ-подъ моста, а бросились къ Сѣвалдышеву...»

— «На это, кажется, и отвѣчать не слѣдуетъ...»

— «Будьте осторожнѣе. Правосудіе не разбираетъ богатствъ и личностей. Отвѣчайте!»

— «Оттого, что когда я подходилъ къ мосту, тотъ уже стремглавъ несся на саняхъ.»

— «Положимъ, что все это такъ; но скажите, ваша ли это шуба и шапка.»

— «Нѣтъ!»

— «Ага!»

— «Что, ага! Болѣзнь жены такъ испугала меня, что я схватилъ первую попавшуюся мнѣ шубу и первую шапку; надѣлъ и вышелъ...»

— «Нѣтъ, это весьма неудовлетворительный отвѣтъ. Вы могли спокойно надѣть и свою шубу, но тутъ явственно вы хотѣли переодѣться съ умысломъ. Теперь послѣдній вопросъ: Это оружіе ваше?»

Лысаковъ вскочилъ въ ужасѣ и схватилъ себя за волосы обѣими руками; глаза его помутились; онъ бросился на Чипса, чтобы вырвать изъ рукъ его тотъ самый ножъ, который онъ десять лѣтъ тому назадъ купилъ у Хазаръ-Хаимки на ярмаркѣ. Слѣдователи и сами перепугались; кровь и пламя въ глазахъ, пѣна у рта, судорожныя движенія, все, все обнаруживало, что Лысаковъ уже не въ своемъ умѣ; на крикъ Чипса вбѣжали въ

присутствіе служители и съ немалымъ трудомъ и вредомъ для себя, успѣли связать неистоваго. Безпамятство его продолжалось болѣе часа; онъ визжалъ на разный ладъ, скрежеталъ зубами, но ни одно слово не вырвалось изъ устъ его.

Напрасно вся слѣдственная коммисія усердно подслушивала... Около полуночи, онъ затихъ; слѣдователи заглянули въ секретную. Онъ лежалъ блѣдный, слабый, полумертвый; уста его что то шептали.

Кумъ рѣшился подойти поближе и едва услышалъ слово: «Священника!... Желаніе его было исполнено въ нѣсколько минутъ. Священникъ былъ уже приглашенъ; дѣло ему объяснили подробно; достойный протоіерей покачалъ головою и сказалъ тихо: «Не можетъ быть!» Когда его позвали къ больному, священникъ примѣтно обрадовался, но, увидавъ Лысакова, испугался: смерть была написана на измученномъ лицѣ; но за то на этомъ же лицѣ, при взглядѣ на добраго пастыря, просіяла улыбка надежды и упованія. Священникъ потребовалъ, чтобы больнаго развязали; это его облегчило; онъ вздохнулъ нѣсколько разъ отрадно, какъ будто впивая улетающую жизнь... Всѣ ушли; священникъ сѣлъ у постели...»

— «Что, Сергѣй Аѳонасьевичъ? Легче ли?»

Тотъ схватилъ руку пастыря и облилъ ее горячими слезами. Отецъ Исидоръ не препятствовалъ потоку освѣжительнаго чувства; онъ ждалъ, пока больной самъ не ощутитъ силы къ духовной бесѣдѣ...

— «Легче, легче, святой отецъ!» наконецъ сказалъ онъ довольно твердымъ голосомъ; «больше десяти лѣтъ, о куда больше, мнѣ не было такъ легко, какъ теперь... Но поспѣши, добрый пастырь, принять мою исповѣдь; она уходитъ, тяжкая жизнь моя; ты ее знаешь, какъ постоянный мой духовникъ, ты вѣдаешь всѣ грѣхи мои, кромѣ одного... Я скрылъ его, потому что не имѣлъ силы исповѣдать страшную тайну. Богъ наказалъ меня и утѣшилъ. Я чувствую теперь столько душевной твердости, что могу открыть тебѣ бѣдную мою душу... Постой, дай отдохнуть...»

Больной привсталъ и, устремивъ тусклый взоръ на крестъ наперстный, висѣвшій на груди отца Исидора, безмолвно и долго молился; наконецъ укрѣпясь молитвой, онъ началъ свою исповѣдь. Слѣдователи напрасно подслушивали; дверь была плотно заперта; устали подслушивать и занялись бесѣдой...

— «Что, Малышаковъ,» сказалъ Чипсъ: «кто бы могъ подумать?»

— «Да, чудеса! И церкви, и богадѣльни строилъ, а выходитъ что богатство — ножемъ нажилъ. Если ему удалось зарѣзать такихъ Сѣвалдышевыхъ двухъ трехъ; такъ и довольно; милліончикъ въ карманѣ.»

— «Какъ хотите, а все какъ-то жаль; для общежитія, для города, для семьи, друзей — истинная потеря...»

— «Татьяну Семеновну мнѣ вовсе не жаль. Какую прекрасную партію могла сдѣлать, а можно сказать насильно вышла замужъ за разбойника.»

— «Да, пріятно будетъ теперь видѣть, какъ Сережу будутъ отправлять на новое жительство...»

— «Да и она то что? Каторжница!... Что это значитъ...»

Въ секретной раздался звонкій, торжественный голосъ отца Исидора; онъ читалъ отходную...»

— «Умеръ?» въ недоумѣніи спросилъ Чипсъ.

— «Неужели умеръ?» повторилъ Малышаковъ:

— «Отыде съ миромъ, какъ очищенный святою церковью праведникъ,» сказалъ Исидоръ, входя въ комнату и отирая невольную слезу...

— «И такъ дѣло Сѣвалдышева покончено...»

— «Начинается!» перебилъ священникъ: «Объявляю вамъ, что въ смерти этого человѣка Сергѣй Аѳонасьичъ неповиненъ. Ищите убійцу.»

— «Вотъ тебѣ разъ!» сказалъ Чипсъ, когда ушелъ священникъ.

— «А, что Антонъ Антонычъ, на мое вышло. Нѣтъ, у меня глазокъ наметался, сразу видѣлъ что не онъ.»

— «Да отчего же онъ такъ этого ножа испугался?...»

— «Да, въ самомъ дѣлѣ, отчего же онъ ножа испугался?»

—

X.

Полочка сидѣлъ спокойно у Ивана Ивановича за преферансомъ, тянулъ дамскій пуншикъ, какъ онъ называлъ свое оранжевое питье и любезничалъ съ Анной Ѳедотовной; гостей было не много, играли

всего на двухъ столахъ; но часу въ девятомъ набѣжало откуда ни возьмись много гостей; вошли они почти вмѣстѣ; почти вмѣстѣ они разсказывали:

— «Слышали?»

— «Удивительное происшествіе!»

— «Кто бы могъ подумать, что Лысаковъ.. »

— «Вы не повѣрите, Лысаковъ зарѣзалъ Сѣвалдышева.»

— «Зарѣзалъ подъ мостомъ...»

Полочка бросилъ карты и вскочилъ.

— «Что за шутки, господа!» сказалъ онъ: «Хоромъ вы разсказываете такую нелѣпость.»

— «Хороши шутки! Я встрѣтилъ Лысакова, когда его вели въ полицію.»

— «А я видѣлъ, какъ полицемейстеръ былъ у губернатора и рапортовалъ. Его превосходительство тотчасъ послалъ Чипса на слѣдствіе...»

— «А я ужъ ихъ всѣхъ видѣлъ на рѣчкѣ. Съ фонарями, кругомъ толпа народа; я сбѣгалъ справиться въ полицію: Что Лысаковъ? Сидитъ въ секретной.»

— «А что́ жъ?» сказалъ Полочка: «Статься можетъ въ городѣ и есть какой однофамилецъ...»

— «Нѣтъ, нѣтъ, Сергѣй! Я самъ видѣлъ; я ему еще здравствуй сказалъ. Не опознаюсь. Довольно я ему денегъ переплатилъ за разный товаръ. Знаю и говорю навѣрное...»»

Полочка исчезъ. Дома онъ узналъ только, что Татьяна Семеновна опасно больна; какъ это случилось, никто ничего не знаетъ, потому что была только одна Палашка; что хозяинъ самъ поѣхалъ

за докторомъ; что Христіанъ Христіанычъ былъ, но хозяинъ не возвращался, потому, потому... и люди стали замиваться. Христіанъ Христіанычъ, сказалъ одинъ приказчикъ, не приказалъ объ этомъ говорить барынѣ...

— «Да объ чемъ объ этомъ?..»

— «Извѣстно о чемъ! Да этого быть не можетъ! Откроется. .»

— «Непремѣнно откроется! Только вотъ что; надо, чтобы дѣти тоже пока не знали...»

—«Ихъ Палашка давно во флигель упрятала; Домна при нихъ, а Домнѣ мы тоже ничего не сказали.»

— «Умно, очень хорошо!..»

— «Леонтій Степанычъ!» сказалъ дворникъ тихо, входя въ прихожую.»

— «Что тамъ?»

— «Полицмейстеръ спрашиваетъ.»

— «Гдѣ онъ?»

Объяснясь съ полицмейстеромъ, Полочка воротился въ комнаты, сдѣлалъ всѣ надлежащія распоряженія, и отправился къ больной.

Она металась въ сильной горячкѣ; бредила, но ничего нельзя было понять изъ словъ ея. Будучи годовымъ врачемъ въ домѣ Лысакова, Штырхъ дѣйствовалъ рѣшительно; и можетъ быть благодаря этой рѣшительности, недугъ уступилъ колоссальнымъ мѣрамъ Христіана Христіановича, и около полуночи она пріутихла и заснула довольно спокойно. Тогда Полочка поспѣшилъ въ полицію, чтобы узнать что нибудь о несчастномъ другѣ. Весь домъ полицмейстера былъ освѣщенъ; у воротъ, на тро-

туаръ толпа любопытныхъ разгуливала будто на иллюминаціи; но на дворъ никого не пускали. Полочка столько же узналъ тутъ новаго, сколько и вся эта толпа. Онъ уже хотѣлъ идти домой, какъ вдругъ на городскихъ часахъ загудѣлъ колоколъ; пробило полночь; Полочка замѣтилъ, что изъ воротъ кто-то выѣзжаетъ на дрожкахъ.

— «Батюшка!» вскрикнулъ Полочка, увидавъ отца Исидора.

— «Это вы? Васъ то мнѣ и нужно. Садитесь со мной!»

— «Ради Бога, не мучьте меня,» сидя на дрожкахъ уже спрашивалъ Полочка: «что Сергѣй мой, неужели могли повѣрить?..»

— «Дома, дома!»

Пріѣхали къ священнику; заперлись въ особой комнатѣ.

— «Сжальтесь надо мной!» сказалъ Полочка: «я будто на угольяхъ стою; говорите!»

— «Читайте! Это письмо къ вамъ; оно написано, какъ вы увидите, недавно; въ немъ вся разгадка; но прежде дайте мнѣ слово, что вы никому не разскажете содержанія!»

— «Честное слово!»

— «Читайте!»

Полочка развернулъ свитокъ тонкой почтовой бумаги, искусно заклееный съ надписью: «Въ собственныя руки только одному Леониду Степанычу Полочкѣ.»

— «Леонидъ! Ты видѣлъ меня вчера въ ужасѣ. Я искалъ векселя; нѣтъ, я обманулъ жену и тебя;

я искалъ ножа, что купилъ я въ роковую ярмарку; онъ былъ мнѣ дорогъ, страшенъ; въ немъ видѣлъ я сѣкиру, висящую надъ моею головою; пока онъ висѣлъ въ моей оружейной, прикрытый древнимъ щитомъ, я былъ спокоенъ. Онъ пропалъ и я понялъ, что онъ пропалъ на мою погибель. Это предчувствіе едва ли меня обманетъ. Я десятый годъ ожидаю казни... десятый исходитъ. Я уѣхалъ въ Зипуновку. Любовь къ Танѣ доводила меня до съумасшествія; я прогналъ Карпа; онъ надоѣлъ мнѣ; я уходилъ въ поле, покрытое рыхлымъ снѣгомъ; я шатался изъ лѣска въ лѣсокъ какъ полоумный; на мнѣ висѣла походная фляга съ ромомъ и роковой ножъ. Смерклось. Я озябъ.. осушилъ флягу до послѣдней капли; мнѣ стало тепло, но голова кружилась; я хотѣлъ идти домой; оставалось пройти лѣсокъ. Стой! ни съ мѣста! кричитъ кто-то. Гляжу — Лычкинъ. Посыпались страшныя ругательства; я закипѣлъ; въ рукахъ его поднялась на меня рогатина приготовленная на медвѣдя; я обезпамятѣлъ; рука, безъ воли разума моего, выдернула ножъ; Лычкинъ застоналъ; рука также судорожно выдернула ножъ изъ груди его и спрятала въ ножны: Лычкинъ лежалъ мертвый. Я ушелъ... Отъ тебя узналъ я, что мое невольное убійство прикрылъ и покрылъ собой медвѣдь... Но ни что не покроетъ голоса совѣсти. Я не долженъ былъ жениться на дочери, не долженъ былъ дотрогиваться до богатствъ мною убитаго... Вчера пропалъ ножъ, и муки тайныя, не оставлявшія меня десять лѣтъ, стали нестерпимы; мнѣ кажется,

что я близокъ къ страшному недугу или другому окончательному несчастію. Завѣщаніе готово, но тамъ ни слова о моей тайнѣ. Не убей жены моей ужаснымъ открытіемъ. Она проститъ мнѣ, когда увидимся на томъ свѣтѣ. Если доживу до Страстной, ты этого письма не получишь. Я сложу мой грѣхъ въ сердце моего духовника, учителя, отца Исидора. Я написалъ тебѣ это письмо, потому что боюсь за слѣдующую минуту. Что-то страшное такъ и ходитъ кругомъ меня... Не продай, не погуби памяти о твоемъ другѣ Сергѣѣ...»

Полочка прочелъ, отеръ слезы и спросилъ священника съ чувствомъ:

— «Батюшка, батюшка! Вы знаете, что тутъ написано...»

— «Знаю! На предсмертной исповѣди, онъ открылъ все; я самъ, по его глаголу, снялъ съ груди его письмо, и поспѣшилъ исполнить послѣднюю волю покойнаго...»

— «Онъ умеръ?..»

— «Заснулъ сномъ вѣчнымъ, тихо, покойно, слагая мертвѣющими устами хвалебную пѣснь Господу... Леонидъ Степанычъ! Не предавайся не умѣренной горести! Будь мужемъ твердымъ; теперь все зависитъ отъ твоей твердости и благоразумія...»

— «Господи, помилуй и укрѣпи мой бѣдный разумъ! Что́ намъ теперь дѣлать?»

— «Начнемъ съ начала; поѣдемъ къ губернатору...»

Весьма трудно разсказывать конецъ событія, которое уже давно кончилось. По обстоятельствамъ

это однако же необходимо. Мы постараемся соблюсти возможную краткость.

Съ разрѣшенія почтеннаго и добраго начальника губерніи, тѣло Сергѣя Аѳонасьича въ туже ночь было перенесено въ особый флигель его дома; кабинетъ и кладовыя опечатаны, но до жилыхъ комнатъ не прикасались, чтобы не потревожить больную, которой сначала сказали, что по неожиданному извѣщенію изъ Зипуновки, Лысаковъ, убѣдясь что опасность болѣзни Тани миновалась, поскакалъ въ старый посадъ свой; Полочка недѣли двѣ получалъ отъ него письма; читалъ ихъ Танѣ, наконецъ получилъ увѣдомленіе, будто Лысаковъ занемогъ; недугъ усилился. Приготовивъ Таню къ роковому извѣстію, Полочка призвалъ на помощь отца Исидора... Усердіе и неподдѣльное краснорѣчіе и духовное и свѣтское этихъ достойныхъ людей имѣли полный успѣхъ. Таня много плакала, долго молилась надъ могилой мужа, но перенесла потерю свою съ большою твердостію и христіянскимъ смиреніемъ. Много помогло ей и то, что Карпъ явился въ судъ; объявилъ, что желая участвовать въ охотѣ на медвѣдя, затѣянной Иваномъ Ивановичемъ, онъ ночью во время пересмотра оружейной племянника, узналъ и похитилъ азіятскій ножъ. Поразивъ медвѣдя близъ города, онъ такъ былъ доволенъ подвигомъ, что и забылъ про ножъ. Чтобы отвезти медвѣдя къ Ивану Ивановичу, послали въ городъ за извозчикомъ, который и доставилъ звѣря по назначенію, но въ немъ ножа уже не было. Полагали, что выпалъ дорогой. Открыли извозчика,

открыли въ немъ и убійцу Сѣвалдышева. Онъ сознался, что утаилъ ножъ, а къ убійству увлекъ его разговоръ двухъ господъ, которые, возвращаясь съ Лычкиной мызы, между собою толковали: будто Сѣвальдышевъ всѣ свои деньги носитъ съ собой... Все такимъ образомъ объяснилось и всѣ были совершенно довольны этимъ объясненіемъ. Нѣтъ такой яркой картины, которая бы не пожукла отъ времени. Нѣтъ такихъ воспоминаній, которыя бы не потускли. Сватъ, опекунъ, душеприкащикъ, другъ и воспитатель дѣтей Сережи, года черезъ полтора послѣ роковаго девятаго марта, пришелъ къ Татьянѣ Семеновнѣ съ докладомъ о разныхъ дѣлахъ. Замѣтно было, что онъ чѣмъ-то крайне недоволенъ; отдавъ отчетъ во всемъ, онъ заключилъ такъ:

— «Два раза былъ я вашимъ повѣреннымъ и оба раза не совсѣмъ удачно. Первый разъ я долженъ былъ уступить мѣсто другому; теперь приходится сдѣлать тоже.»

— «Что это значитъ?»

— «Много значитъ! Мнѣ теперь сорокъ семь лѣтъ! Возрастъ зрѣлый. Теперь я могу смѣло ѣхать за границу, не опасаясь ни какихъ соблазновъ. Здоровье мое вполнѣ удовлетворительно, такъ, что я смѣло могу пуститься даже подъ экваторъ... Словомъ, я хочу, я долженъ ѣхать, и пришелъ къ вамъ проститься въ отпускъ.»

— «Не то, не то, Леонидъ Степанычъ! Я знаю что васъ такъ сильно растревожило... Вечеръ у Анны Ѳедотовны... Не правда ли?»

— «Такъ вы все знаете? Впрочемъ, они говорятъ нѣкоторымъ образомъ правду. Вамъ теперь нѣтъ еще сполна тридцати пяти лѣтъ; а по лицу и тридцати ни кто не дастъ; вы здоровы, прекрасны, богаты; могли бы пользоваться всѣми удовольствіями свѣта, а между тѣмъ сидите дома, никого къ себѣ не принимаете. Полочка, да Полочка, да старая Кузминишна, овдовѣвшая купчиха для преферанса и приличія. Нѣтъ, полно. О, конечно, мнѣ жаль разстаться съ такою чудесной жизнію; вы, ваши дѣти, ваше благосостояніе, вотъ до нынѣ была цѣль моей жизни... Но... consumatum est. Меня задѣли за живое... Я не хочу; я не могу... Ѣду за границу... Пожалуй, я не поѣду, но только дайте слово, что вы станете выѣзжать...»

— «На прогулку, извольте, но не больше, и то съ вами...»

— «По крайней мѣрѣ станете принимать у себя; я устрою вечера, заведу пѣніе, танцы; приглашу все, что ни есть лучшаго въ городѣ; авось кто и приглянется; вы изберете себѣ друга по сердцу...»

— «Да развѣ это такъ необходимо нужно?»

— «Необходимо, непремѣнно; я этого хочу, требую...»

— «Такъ извольте, если такъ, я уже избрала...»

Полочка испугался.

— «Кого же,» смутясь спросилъ онъ.

— «Того, кто двѣнадцать лѣтъ былъ постояннымъ другомъ мнѣ и вторымъ отцемъ моимъ дѣтямъ...»

— «Кого же это?» покраснѣвъ какъ ракъ и съ трудомъ скрывая слезы, спросилъ Полочка...»

— «О, какъ вы недогадливы!.. Васъ, Леонидъ Степанычъ!..»

— «Обижать! Меня обижать! Смѣяться надъ старикомъ! За что это, Татьяна Семеновна, за что?...»

— «Зато, что вы вполнѣ достойны моей признательности, благодарности, уваженія... буду откровенна.., любви искренней, къ какой еще способна баба моихъ лѣтъ... Я буду выѣзжать, буду у себя гостей принимать, но когда буду за-мужемъ за Леонидомъ Степанычемъ...»

— «Полочкой!»

— «Да! Это мое послѣднее слово.

Полочка подскочилъ, сдѣлалъ пируэтъ и упалъ на колѣни.

—

Полочка ложился спать. Прохоръ снималъ сапоги.

— «А что, Прохоръ, говорилъ я тебѣ дураку, помнишь, что и у меня будетъ своя Татьяна Семеновна. Вотъ и будетъ!»

— «Хуже будетъ!» проворчалъ Прохоръ, но на этотъ разъ ошибся. Дальше разсказывать не могу. Исторія прошедшая дѣлается современною... Значитъ, вы спросите, они всѣ живы, сыновья торгуютъ, дочери замужемъ?..»

Извините, не могу! нельзя! — и кончено.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

(Повѣсти и Разсказы.)

III.

		стр.
XVIII.	Егоръ Ивановичъ Сильвановскій, или Завоеваніе Финляндіи при Петрѣ Великомъ	1.
XIX.	Три Оперы	90.
XX.	Староста Меланья	134.
XXI.	Старый Хламъ	160.
XXII.	Шахъ и Матъ	209.
XXIII.	Закладъ	256.
XXIV.	Инструментъ	372.
XXV.	Остапъ и Ульяна	406.
XXVI.	Леночка, или Новый 1746 Годъ .	432.
XXVII.	Вольный Гетманъ Панъ Савва . .	454.
XXVIII.	Девятое Марта.	486.

MAR 12
524054